

ВОЙНА
НАЧИНАЛАСЬ
В
ИСПАНИИ

ВОЙНА НАЧИНАЛАСЬ В ИСПАНИИ

ИСПАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ
О НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ВОЙНЕ

Перевод с испанского



МОСКВА
«РАДУГА»
1986

ББК 84.4 Ис
В65

Составление, справки об авторах и предисловие
Хуана Кобо

Редактор **Н. Матяш**

В65 Война начиналась в Испании. Испанские писатели о национально-революционной войне: Сборник. Пер. с исп./ Составл., справки об авторах, предисл. Х. Кобо.— М.: Радуга, 1986.— 544 с.

Сборник рассказывает о первой крупной схватке с фашизмом, о мужестве героических защитников Республики, об интернациональной помощи людей других стран. В книгу вошли произведения испанских писателей двух поколений: непосредственных участников национально-революционной войны 1936—1939 гг. и тех, кто сформировался как художник после ее окончания.

В 4703000000-335 50-86
030(05)-86

ББК 84.4 Ис
И(Исп)

Все произведения, включенные в настоящий сборник, кроме отмеченных в содержании знаком *, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

© Составление, справки об авторах, предисловие и перевод на русский язык, кроме произведений, отмеченных в содержании знаком *, издательство «Радуга», 1986

ИСПАНИЯ: ПУШКИ И МУЗЫ

Это было полвека назад. Но как будто вчера...

Предчувствие военной грозы носилось в воздухе, усиливаясь день ото дня. Все было пронизано ожиданием неминуемой грандиозной схватки с фашизмом, неотвратимой титанической борьбы, в которой решится судьба человечества.

1 января 1937 года в «Известиях» появились стихи, передававшие это настроение. Автор их предлагал новогодний тост за тех

...кому за пулемет
браться,
 За тех, кому с винтовкой быть
дружным,
 За всех, кто знает, что глагол
«драться» —
 Глагол печальный, но порой
нужный.
 За тех, кто вдруг, из тишины
комнат,
 Пойдет в огонь, где он еще
не был,
 За тех, кто тост мой через год
вспомнит
 В чужой земле и под чужим
небом¹.

Впрочем, Константин Симонов знал, что уже в тот момент идет борьба с фашистами «в чужой земле и под чужим небом» и в ней принимают участие его товарищи — некоторых он сам проводил в дальнюю дорогу. Но по соображениям высокой политики тогда — да и долго еще потом — об этом не говорилось впрямую, хотя все и в Советском Союзе, и за его пределами знали: за Пиренеями, помогая испанскому народу отбивать первый натиск фашистских орд, воюют советские летчики и танкисты. Обучение глаголу «драться» — печальному, потому что в отличие от «белокурых бестий» советские добровольцы-интернационалисты были представителями народа-созидателя, не исповедовавшего культа насилия, но нужному, ибо свободу необходимо уметь защищать, — шло уже в полную силу.

В тот же день другой советский писатель в осажденном Мадриде записывал в блокнот, который позже станет черновиком книги «Испанский дневник»:

«1 января 1937 года.

Новый год мы встречали с «курносыми». За длинными столами сидели пилоты-истребители, их коротко стриженные русые головы, круглые лица, веселые глаза и зубы сделали

¹ Симонов К. Новогодний тост.— Собр. соч. М., «Художественная литература», 1979, т. I, с. 43.

неузнаваемой сумрачную трапезную францисканского монастыря... спокойные герои, спокойно и просто рискующие каждый день своими молодыми жизнями, чтобы спасти жителей Мадрида от летающей смерти, черной смерти... По устному приказу командира эскадрильи часы в трапезной перевели на восемьдесят минут вперед. Это чтобы «курносые» пораньше легли спать. Ведь завтра опять, как всегда, воздушный бой»¹.

В силу тех же соображений секретности Михаил Кольцов не мог тогда написать, что русоголовые и веселоглазые парни были добровольцами из Советского Союза. «Курносыми» же он их именует потому, что мадридцы так называли истребители-бипланы «И-16», на которых летали русские пилоты; одно появление «курносых» в небе над испанской столицей вызывало необузданный восторг — ведь город безнаказанно разрушали немецкие и итальянские бомбардировщики. Не мог Михаил Кольцов и назвать имена летчиков, благодаря действиям которых воздушные стервятники Гитлера и Муссолини вынуждены были умерить свой пыл, — имена у летчиков были испанские или французские, совсем не подходившие к их круглым лицам. И не только у летчиков. У танкистов и моряков — тоже. И у военных советников — Родиона Малиновского, который станет маршалом и министром обороны СССР; Николая Воронова, будущего Главного маршала артиллерии; Николая Кузнецова, будущего адмирала; Александра Родимцева, который станет прославившимся в Сталинграде генералом, — были нерусские имена.

До начала второй мировой войны оставалось еще около трех лет. До начала Великой Отечественной — четыре с половиной. Но вооруженная схватка с фашизмом уже началась. Война вовсю бушевала на прокаленных летним солнцем и выстуженных зимними ветрами плоскогорьях Кастилии, в нежных вечнозеленых долинах Каталонии и Леванта, среди оливковых рощ Андалусии и Эстремадуры. Испанский народ первым в Европе отражал натиск вооруженных до зубов объединенных сил международного фашизма. Война начиналась в Испании...

Испанский народ не желал этой войны. Шаг за шагом продвигался вперед, используя мирные средства. В феврале 1936 года созданный левыми и либерально-демократическими партиями Народный фронт, объединенный стремлением защитить демократию и пресечь наступление внутреннего фашизма, одержал убедительную победу на выборах. В ответ пять месяцев спустя, 18 июля, реакционная военщина при поддержке фаланги и других правых партий и организаций подняла мятеж против законного правительства. Но и тогда дело могло бы обойтись без гражданской войны. Народ разгромил путчистов в главных городах страны, большая часть Испании, в том числе все

¹ Кольцов М. Испанский дневник. — Избр. соч. М., ГИХЛ, 1957, т. 3, с. 346—347.

промышленные и густонаселенные районы, оказалась под контролем правительства. «Учитывая сложившуюся ситуацию,— сообщил 25 июля в Берлин германский посол в Мадриде,— невозможно надеяться, что военный мятеж одержит победу»¹.

Если бы те события были чисто внутренним конфликтом, развязка стала бы скорой и определенной—мятежники не смогли бы продержаться больше двух-трех недель, от силы месяца. Но расправа с республиканской Испанией давно фигурировала в геополитических планах экспансии фюрера и дуче, инспирировавших и поддерживавших заговор реакционных испанских генералов: Пиренейский полуостров имел стратегическое значение—он должен был поставлять необходимое странам «оси» сырье; Испанию было решено превратить в полигон для отработки будущих агрессий (об этом цинично и прямо заявил на Нюрнбергском процессе Геринг в своих показаниях; по его словам, он выступал за оказание массовой помощи Франко, чтобы «испробовать технические возможности молодой германской авиации»²). В политическом плане уничтожение демократии в Испании должно было стать наглядным «уроком» для других стран Европы, где возникали антифашистские широкие фронты: Гитлер и Муссолини хотели запугать народы этих стран, внушить им, что ничто не спасет их от экспансии фашизма.

28 июля, всего десять дней спустя после начала мятежа, на территории тогдашнего Испанского Марокко стали приземляться десятки транспортных самолетов: немецких «Юнкерсов-52» и итальянских «Савой-81». Они образовали первый в истории «воздушный мост», по которому из Северной Африки на территорию Испании были переброшены отъявленные головорезы Франко из колониальных войск—африканского экспедиционного корпуса, насчитывавшего более 14 тысяч солдат и офицеров,—а также марокканские наемники, учинившие на материке кровавую оргию. Одновременно стали прибывать в полном составе воинские части из Германии, Италии, Португалии. К концу февраля 1937 года в Испании находилось более 30 тысяч только немецких военнослужащих—главным образом летчики из эскадрильи «Рихтгофен» и зловещего легиона «Кондор», который варварски разбомбит Гернику, а также технические военные специалисты. (Состав немецких солдат и офицеров постоянно обновлялся, так что общее число гитлеровцев, принявших участие в испанской войне, было по меньшей мере в три раза больше.) Итальянцы прибывали целыми дивизиями—всего их участвовало в войне в Испании более 120 тысяч. Салазар послал в распоряжение каудильо около 20 тысяч солдат

¹ Tamames R. La República. La Era de Franco. Madrid, Alfaguara, 1973, p. 264

² Там же, с. 272.

и офицеров¹. Так по воле стран «оси» и их ставленника Франко военный путч превратился в затяжную и кровопролитную гражданскую войну, длившуюся около трех лет.

Постыдную позицию заняли буржуазно-демократические страны Запада: стремясь «умиротворить» Гитлера, они оставили Республику один на один с международным фашизмом. Законному правительству Испании было отказано в поставках оружия и боеприпасов — даже тех, которые уже оплатили до начала мятежа. Созданный в Лондоне пресловутый «комитет по невмешательству» лишь развязал агрессорам руки, стремясь якобы «локализовать» конфликт в Испании.

Когда это стало ясно, Советский Союз отказался участвовать в гнусной комедии и оказал законному правительству Испании всестороннюю помощь, в том числе оружием и военными специалистами. Именно тогда, в октябре и ноябре 1936 года, за Пиренеи стали прибывать и добровольцы-интернационалисты из многих стран мира, вошедшие в состав покрывших себя неувядающей славой Интернациональных бригад, в которых находились бойцы 50 национальностей, объединенные верой в демократические идеалы. И все же число добровольцев-иностранцев, воевавших в Испании на стороне народа, не превышало 20 тысяч человек. Главная тяжесть борьбы против франкистских войск и итало-германских интервентов легла на плечи испанцев.

Больше 1000 дней и ночей длилась неравная схватка испанского народа и пришедших ему на помощь добровольцев-интернационалистов с превосходящими силами мирового фашизма. Республика в Испании в конце концов пала. Но первое решительное вооруженное сопротивление фашизму на земле Европы сыграло важную роль в дальнейших событиях: оно отсрочило начало второй мировой войны, дало возможность силам прогресса во главе с Советским Союзом мобилизоваться и подготовиться к решающей встрече с «коричневой чумой». Пройдет немного времени, и, когда будет окончательно решаться, куда пойдет дальше XX век, те, кто воевал в Испании по разные стороны фронта, снова встретятся на полях сражений второй мировой войны — на земле, на море и в воздухе. Тогда станет особенно ясно, что самоотверженная и героическая борьба народа Испании не была напрасной, что она тоже стала вкладом в победы под Москвой, Сталинградом, Курском и Орлом, где был сломан хребет фашистскому зверю...

Но события 1936—1939 годов не были просто цепочкой следующих одно за другим военных действий, наступлений и отступлений, побед и поражений, которые можно показать красными стрелами на штабных картах, отразить в боевых сводках. Они вызвали огромное духовное потрясение у всего

¹ Цифры приведены по: Тамарес Р., с. 271, 273, 276.

человечества, способствуя четкому пониманию того факта, что фашизм и человеческая цивилизация — несовместимы, способствуя росту антифашистского самосознания, который во многом обусловил наступление Дня Победы. На примере Испании народы мира впервые смогли увидеть воочию, что представляет собой фашизм на деле. «В Мадриде мы, военные корреспонденты, в прошлом месяце девятнадцать дней были свидетелями убийства,— говорил на II конгрессе американских писателей в июне 1937 года Эрнест Хемингуэй.— Совершала его германская артиллерия, и это было отлично организованное убийство... К войне привыкаешь... Но к убийству привыкнуть нельзя. А мы в Мадриде девятнадцать дней подряд наблюдали массовое убийство. Фашистские государства верят в тотальную войну. Это попросту значит, что, всякий раз как их бьют вооруженные силы, они вымещают злобу за свое поражение на мирных жителях... Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его»¹.

С такими же страстными призывами остановить распоясавшихся фашистских бандитов обращались к человечеству в те дни и другие видные представители мировой интеллигенции, сыгравшие важную роль в мобилизации мирового общественного мнения против нацистской экспансии. Многие из них побывали в те годы в Испании, активно выражали свою солидарность с испанским народом и интеллигенцией, вставшими на защиту демократии.

Как писал много позже испанский историк и социолог

¹ Хемингуэй Э. Собр. соч. М., «Художественная литература», 1982, т. III, с. 550. Эрнест Хемингуэй не только сообщал в газеты о событиях в Испании и писал о них яркие художественные произведения — как и многие его собратья по перу, он активно участвовал в организации мощной кампании в поддержку справедливого дела испанских республиканцев во всем мире, разоблачал фашизм. Особенно важно это было в США, поэтому писатель специально выехал из Испании на родину, чтобы рассказать правду о событиях за Пиренеями. Консервативные американские газеты сознательно искажали истину об испанских делах, влиятельные политические круги не скрывали своих симпатий к франкистским мятежникам. Американские нефтяные концерны все три года, что длилась война в Испании, щедро обеспечивали топливом франкистскую зону, отказав в поставках законному правительству. Симпатии к мятежникам были столь крепки в США, что они до сих пор дают о себе знать в этой стране, в том числе и при оценке событий 1936—1939 годов. Так, в мае 1985 года президент Рейган сделал кощунственное заявление, вызвавшее глубокое негодование в Испании: по его словам, американские добровольцы, воевавшие в «батальоне имени Линкольна», который входил в состав Интернациональных бригад, якобы «сделали неверный выбор», сражаясь на стороне «красных».

Амандо де Мигель в своей книге «40 миллионов испанцев 40 лет спустя», «...в те три года воевали друг с другом не только военные — в эту борьбу было втянуто и все гражданское население, разбившееся на два лагеря; кроме оружия, в борьбе были задействованы и мощные идеологические средства. Впервые в Западной Европе в столь массовых масштабах была применена пропаганда — литература, радио, кино. В этой борьбе активно участвовала интеллигенция. И роль ее была настолько большой, что многие интеллигенты выступали как окруженные своего рода мифическим ореолом античные герои, как настоящие воины»¹.

События 1936—1939 годов нашли широчайшее отражение в прозе, поэзии, драматургии всего мира, не говоря уже о журналистике, а также о написанных во время войны и после нее фундаментальных социально-политических исследованиях. Ведь эмоциональное воздействие испанских событий было огромным: оно сыграло важную роль при решении миллионами людей в разных странах вопроса о том, по какую сторону баррикады им стать; глубоко врезалось в их души и сердца, пробудив в них самые святые и благородные чувства; навсегда отметило их судьбы. На фоне всепроникающего мещанского меркантилизма, в который был погружен буржуазный мир, яростный всплеск героизма народа Испании, чистое благородство тысяч идеалистов, по велению души пришедших ему на помощь из разных стран, были настолько прекрасными, что вызвали искреннее восхищение, всколыхнули старые мечты человечества по романтике, прочно врезались в память. Поэтому и сейчас многие современники тех событий могли бы повторить за Маргаритой Алигер строки, написанные ею в Испании недавно, когда ей привелось побывать на испанской земле:

Ближе к роковому рубежу
проще и мудренее законы.
Не спеша по Рамблас прохожу,
улыбаясь розам Барселоны...

Думаю, какой она была
боевой, тревожной, опаленной.
В сущности, вся жизнь моя прошла
между той и этой Барселоной².

Между той и этой Испанией, между 1936-м и 1986-м годами, прошло уже столетие. Но и по сей день испанская тема волнует людей, вызывает в них глубокий и живой отклик. По этой причине лучшие романы, стихи, пьесы, писательские

¹ Miguel Amando de. 40 millones de españoles 40 años despues. Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 250.

² Алигер М. Барселона. Четверть века. М., «Советский писатель», 1981, с. 354—355.

репортажи, написанные об этой войне и на ее материалах Эрнестом Хемингуэем, Антуаном де Сент-Экзюпери, Андре Мальро, Сесаром Вальехо, Жоржем Бернаносом, Пабло Нерудой, Людвигом Ренном, Илей Эренбургом, Михаилом Кольцовым, Константином Симоновым и многими, многими другими, не только прочно вошли в сокровищницу прозы, поэзии, драматургии, публицистики XX века, но и стали книгами, к которым постоянно возвращаются, перечитывая вновь и вновь.

«Литература, боровшаяся с фашизмом в открытом бою и запечатлевшая трагедию испанского народа,—писал Константин Симонов в 1968 году,—оказалась бессмертной. Ее бессмертие засвидетельствовано во всех континентах миллионами читателей»¹.

Слова эти с полным правом можно отнести и к испанской литературе, посвященной гражданской войне. Однако она до недавнего времени не получала за пределами Испании известности, которую заслужила. Исключением из этого правила, пожалуй, была поэзия—написанная по свежим следам событий, она тут же переводилась на многие языки, печаталась значительными тиражами. Драматургия же осталась вне внимания зарубежных читателей и зрителей—возможно, потому, что, рожденная в пылу сражений и отвечающая сиюминутной злобе дня, была обращена к испанцам, сопротивлявшимся франкизму, и не обрела из-за этого универсального звучания, осталась фактом литературной истории. Что касается прозы, которой понадобилась некоторая временная дистанция для глубокого осмысления и анализа тех бурных и непростых событий, то она фактически стала создаваться испанскими писателями-изгнанниками в 40-х годах, долго оставалась достоянием главным образом знатоков и специалистов, ибо издавалась малыми тиражами преимущественно в странах Латинской Америки. В самой Испании такого рода литература в 40—50-е годы была запрещена; лишь по мере того, как всенародное движение за демократию постепенно расшатывало устой франкистского режима, ее начали читать тайком, со временем явно, а потом и печатать. Но это стало возможным лишь к концу 60-х—началу 70-х годов, когда испанским писателям удалось в упорной борьбе вырвать у цензуры право более откровенно и всесторонне рассказывать правду о тех событиях. А после смерти каудильо в 1975 году в стране вокруг книг, посвященных гражданской войне, начался настоящий издательский бум, продолжающийся по сей день. Список художественных произведений на эту тему огромен.

Правда, можно согласиться с крупнейшим советским исследователем испанской литературы XX века И. А. Тертерян, что литература Испании еще не создала своего «Тихого Дона»—

¹ Цит. по: Симонов К. Испанская тема в творчестве Хемингуэя.— Хемингуэй Э. Собр. соч., с. 686.

«эпоса и трагедии своей гражданской войны»¹. Вместе с тем по общей тональности и глубокой человечности, пронзительному гуманистическому чувству лучшие произведения испанских писателей на эту тему удивительно напоминают главную шолоховскую книгу. В любом случае это, как правило, книги значительные, глубокие, высокохудожественные.

Да и могло ли быть иначе, если к началу тех событий в Испании литература переживала свой второй золотой век? Литераторы так называемого «поколения 1898 года» — Мигель де Унамуно, Рамон дель Валье-Инклан, Пио Бароха, Асорин, Мачадо и другие — продолжали работать, были не просто общепризнанными мэтрами испанской словесности, но и властителями дум. И уже вступили в жизнь, находились на взлете духовных и творческих сил представители «поколения 1927 года» — блистательное созвездие талантов дерзких, отважных, искавших непроторенных путей: Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес, Луис Сернуда, Леон Фелипе, Висенте Алейсандре, Педро Гарфиас, Эмилио Прадос, Рамон Хосе Сендер, Франсиско Аяла, Хосе Бергамин и многие другие.

Особого расцвета в канун гражданской войны достигла поэзия; казалось, проза (и прежде всего роман) в те годы не поспевала за бурным течением событий. Но и из-под пера прозаиков выходили интересные, яркие вещи. «Кто из нас не помнит общее настроение тех лет, упоение, с которым мы отвергали давно устоявшееся и утверждали свое, полные готовности подвести черту под прошлым и одним ударом создать что-то небывалое новое, другой мир, живой, динамичный и блестящий,—вспоминал в 1949 году о той поре Франсиско Аяла.— Слово принадлежало нам, молодым... И мы испытывали чуть ли не чувственное наслаждение, играя образами, метафорами, глаголами, мы, потрясенные, радовались открывающемуся перед нами миру, стремясь передать его богатство через язык...»²

Поразительно при этом, что, несмотря на удивительное несходство темпераментов и личных склонностей, приверженность к разным школам и направлениям, которых в Испании тогда было великое множество, несмотря на бурные перепалки в литературных журналах в защиту все новых «измов», представители того поколения художественной интеллигенции были тесно связаны между собой живыми творческими нитями, а многие и крепкой личной дружбой. «У всех нас общий путь, который мы прошли рядом до того момента, когда кровавая драма гражданской войны вторглась в

¹ Тертерян И. Современный испанский роман (1939—1969). М., «Художественная литература», 1972, с. 282.

² Ayala F. La cabeza del cordero. Buenos Aires, Iosada, 1949, p. 8—9.

наши судьбы»,—говорил полвека спустя Рафаэль Альберти¹.

Такая общность, не мешавшая поразительному разнообразию характеров и творческой манеры, объяснялась, безусловно, глубоким и подлинным, без деланной позы, уважением к народу, из глубин творчества которого литераторы черпали силы для своей работы. Эстетическую платформу, выразившую и этическую позицию большинства писателей той поры, четко выразил Антонио Мачадо: «Стучитесь в двери каждого сердца, каждого сознания. Не человек для культуры, но культура для человека, для всех людей, для каждого из людей...» Ему вторили его более молодые соратники по перу. «Ни один настоящий человек,—писал Федерико Гарсиа Лорка,—уже не верит в эту чепуху о чистом искусстве, об искусстве для искусства. В эти драматические дни художник должен плакать и смеяться вместе со всем народом»².

Это не значит, что все писатели того поколения были политическими активистами, хотя среди них были такие: Рафаэль Альберти и Сесар Муньос Арконада еще в начале 30-х годов вступили в компартию, стремились объединить товарищей по писательскому цеху на революционных позициях. И все же в стране, раздираемой борьбой между «двумя Испаниями», полярность которых воплощало давнее противостояние старого и нового, мракобесно-клерикального традиционализма и социального прогресса, интеллигенция в целом давно уже сделала ясный выбор.

Испанской интеллигенции, частице своего народа, была чужда война, насилие, ее гуманистические идеалы строились на начале Добра. Однако фашизм, поставивший перед собой цель прервать естественное течение истории и повернуть ее вспять, в удобное ему русло, навязал испанцам кровавую братоубийственную войну, на которую народ, защищая свободу и демократию, дал национально-революционный ответ. Вместе с ним, приравняв перо к штыку, на пути франкистов стали поэты, прозаики, драматурги.

18 июля 1936 года подвело черту под их прошлым, начав отсчет новой страницы в их жизни, полной героической патетики и в то же время горького драматизма. Писатели поставили свой талант на службу борющемуся народу. Они активно выступали в левых журналах «Ора де Эспанья», «Моно асул», «Комисарио»; участвовали в таких боевых организациях, как Альянс антифашистской интеллигенции; защищали Республику на международной арене. Многие были военными корреспондентами, редакторами армейских газет; некоторые, как Мигель Эрнандес, стали комиссарами; иные, как Луис Сернуда,

¹ Цит. по: Тертерян И. Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века. М., «Наука», 1973, с. 359.

² «El Sol», 10.06.1936, p. 11.

с оружием в руках воевали в Сьерра-Гвадарраме, обороняя Мадрид. Происходившее побуждало их занимать более отчетливые политические позиции, вело к радикализации их взглядов. Убийство Федерико Гарсиа Лорки в Гранаде, которое потрясло Испанию и мир, воочию показало, что фашизм по сути своей враждебен культуре и ее лучшим представителям («Война в Испании, изменившая мою поэзию, началась для меня тем, что сгинул поэт. И какой поэт!.. Кто бы поверил, что на земле существуют чудовища, способные на такое невероятное преступление?»¹ — писал позже Пабло Неруда, бывший участником тех событий, после которых он стал коммунистом).

А в стане франкистов не оказалось ни одного сколько-нибудь значительного литератора. Подтвердились пророческие слова, сказанные жарким летом 1937 года Эрнестом Хемингуэем, исходившим при этом из своего испанского опыта: «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — ложь, изрекаемая бандитами... и потому обречен на литературное бесплодие»².

Жизнь давно доказала, что старый афоризм: когда говорят пушки, музы молчат — не соответствует истине. В республиканской зоне Испании, во всяком случае, музы говорили в полный голос. Были в произведениях той эпохи «бури и натиска» неизбежные элементы лозунговости, и тем не менее это была литература высшей пробы. Вспомним, казалось бы, одно из самых агитационных стихотворений комиссара прославленного Пятого полка поэта-коммуниста Мигеля Эрнандеса. В общий торжественно-приподнятый и патетический лад:

Ветром народа сорван,
ветром народа взвезя,
голос мой каждым звуком
с ветром народа сверен —

вдруг, заключая поэтическую мысль, врывается неожиданная концовка поистине потрясающей силы:

Я песнею смерть встречаю,
как тот соловей весенний,
который в кольце винтовок
поет на полях сражений!

(Перевод А. Гелескула)

Сочетание ораторской страстности с тончайшим лиризмом стало характерным для того искусства. В драматургии тоже присутствовал — иначе быть не могло — налет агитационности. Ведь пьесы в те боевые годы писались по горячему «социально-

¹ Цит. по: Гибсон Я. Гранада 1936 года и убийство Федерико Гарсиа Лорки. М., «Прогресс», 1983, с. 6.

² Хемингуэй Э. Писатель и война.—Собр. соч., с. 549.

му заказу», рождались как прямой отклик на события. Ставились они, как правило, в передвижных театрах прямо на улицах, в окопах, в цехах. Это, впрочем, соответствовало традициям народного театра, ставшего очень популярным еще до войны,—вспомним, каким большим успехом пользовался передвижной театр «Ла Баррака», созданный в 1933 году Федерико Гарсиа Лоркой. Тогда получил бурное развитие такой вид драматургии, как короткая пьеса-фарс на злобу дня, в духе которого написано произведение Сесара Муньоса Арконады «Взятие Мадрида» и Рафаэля Дьесте «На рассвете». В них, как и в других пьесах той поры, широко используются своего рода «плакатные маски», родившиеся в результате переименования гиньоля под политические темы. В пьесе Арконады, например, действуют как будто бы реальные лица—те самые пресловутые «четыре генерала», наступавшие на Мадрид, которые сделались мишенями язвительной насмешки в одноименной озорной песенке, сочиненной народом и распеваемой на всех углах. Но фигуры эти собирательно-условные, как условны в «Мистерии-буфф» Маяковского. Российский спекулянт, Американец, Ллойд-Джордж, Клемансо.

Театр Испании той поры не был, однако, скован жестким корсетом определенного жанра или способа выражения. Так, Хосе Бергамин в своей «Юной партизанке» использует не только абстрактные «плакатные маски»—в ней есть и высокая лирика, стилизация песенного фольклора (добавим, что первое издание этого произведения иллюстрировал Пабло Пикассо).

Нет, то искусство вовсе не уподобилось, как утверждали его противники, оркестру, в котором слышался лишь гром барабана да пение фанфар—в нем выводили свою партию скрипки и виолончели, гобой и челеста, звучало все богатство музыкальных инструментов.

Безусловно, на характере звучания этого «оркестра» сказывались перипетии войны, тяготы и страдания народа, приближение трагического исхода. После поражения Республики литературный процесс оказался на время прерванным. Писатели, сражавшиеся вместе с народом, вынуждены были уйти в изгнание, многие из них прошли через концентрационные лагеря во Франции, созданные там для «интернирования» республиканских бойцов. Да и потом, когда они осели на новых местах—как правило, в странах Латинской Америки,—начинать жизнь заново было непросто: не сразу находилось пристанище и работа, невыносимой была тоска по родной земле, жгла душу горечь поражения.

Но пережитое за три драматических года войны в Испании требовало выхода. Молчание оказалось недолгим. Причем в «литературе изгнания»—хотя и поэты сказали в ней свое веское слово—с самого начала стала задавать тон проза, и не только в малых жанрах, но и в романе—форме, которая

позволяет всесторонне осмысливать происшедшее, более глубоко проникать в потаенную суть явлений.

Эта литература породила множество рассказов и повестей, десятки романов и даже романские циклы: «Реку Тахо» Сесара Муньоса Арконады, «Нити Ариадны» и другие произведения Рамона Сендера, тетралогия «Поля» Макса Ауба, трилогию «Накануне» Мануэля Андухара, «Невесту ветра» Харнеса.

А с начала 60-х годов в Испании стали публиковаться романы на ту же тему, написанные как теми, кто, не будучи в военные годы литераторами, находился во франкистской зоне и затем пересмотрел свои позиции, так и теми, кто сражался за Республику, прошел гологофу тюрем и концлагерей каудильо. Один за другим стали появляться романы, в которых все более открыто говорилось правда о войне: «Ложись!» Рикардо Фернандеса де ла Регеры; «Мститель» Луиса Кастильо Пуче; «Миллион мертвых» Хосе Мариа Хиронельи; трилогия о войне Анхеля Мариа де Леры, в которой выделяется роман «Последние знамена»; «Штурм города» Грегорио Гальегоса, написанный в тюрьме и увидевший свет только в 1983 году.

С этой же темой соприкасаются и многие произведения представителей так называемого «молодого романа» — писателей, которые пережили войну детьми, выросли в удушающей обстановке диктатуры и вступили в жизнь убежденными антифранкистами: Хуана и Луиса Гойтисоло, Хесуса Фернандеса Сантоса, Альфонсо Гроссо, Антонио Ферреса и других. «Трудно найти книгу писателя моего поколения, — отмечала одна из наиболее ярких представительниц этой плеяды Ана Мариа Матуте, — где бы в той или иной форме, на той или иной странице не возникла война, она оказалась нашим наследством, мы жили ею много лет спустя после того, как она кончилась»¹.

Испанская литература о гражданской войне обращается к теме с самых разных сторон. Она воссоздает эпизоды той поры, обстановку на фронте и в тылу, образы республиканских бойцов («Лучший из нас» и «Гильермо из Каспе» Мануэля Андухара), колоритные и яркие типы, характерные для той романтической эпохи (благородный мечтатель Матиас, напоминающий Дон-Кихота; обаятельный русский летчик «Николаас Николавич» в рассказах Франсиско Гарсиа Павона, которые — трудно в это поверить — проскочили мимо франкистской цензуры в конце 50-х годов!). Большое место занимает анализ того, как ведет себя человек перед лицом выбора («Хромой» Макса Ауба), изображение трагического финала войны и страданий, выпавших на долю побежденных («Театральный задник» и «Безымянный январь» того же автора).

¹ Матуте А. М. Гражданская война и писатели моего поколения. — «Иностранная литература», 1966, № 9, с. 123.

И все же писатели, вникая в эту тему, все настойчивее стремились уйти от хроникальной описательности, простого воссоздания событий, все больше сосредоточивались на том, используя слова Франсиско Аялы, «как гражданская война прошла через сердца людей». Литература Испании, всегда отличавшаяся особым тяготением к философскому осмыслению жизни, и в этом случае стремилась проникнуть в самую сердцевину нравственно-философской и морально-психологической проблематики гражданской войны, тем более что она давала для этого обильный материал. Писатели отвергали трактовку событий, предложенную некоторыми западными философами и социологами, согласно которой гражданская война была порождена якобы имманентно присущими испанской нации чертами.

В этом смысле показательна повесть Рамона Сендера «Реквием по испанскому крестьянину», давно расцененная критикой как одно из лучших произведений испанской прозы XX века. Отталкиваясь не от надуманных абстракций, а от наиболее типических конкретных жизненных ситуаций, писатель смело обращается к, пожалуй, наиболее жгучей проблеме испанской гражданской войны — проблеме насилия, щедро обгабившего кровью землю Испании в 1936—1939 годах. Впоследствии появилось много всевозможных теорий, основанных на том, что жестокость вообще представляет собой особенность национального характера испанцев и потому в равной степени была присуща обeim сражающимся сторонам. Автор «Реквиема...», безусловно, выступает против этих теорий, которые не соответствовали истине.

Спору нет, и в республиканской зоне — особенно в первые недели после начала мятежа и как проявление стихийного гнева против фашистов — нередко были случаи самосуда простых людей над теми, кого они считали фашистами и их сторонниками. Свою лепту в это внесли и анархисты, прежде всего в Каталонии и Арагоне, подстрекавшие простой люд на расправы, не признавая никакой законности; бывало, что и обычные уголовники занимались своими делами под видом республиканцев; случалось в этой неразберихе и сведение личных счетов. Но такой произвол со временем был сведен к минимуму усилиями республиканского правительства, в чем ему оказали активное содействие коммунисты и представители других левых партий. В любом случае, как теперь документально подтверждено, число жертв террора в республиканской зоне не идет ни в какое сравнение с числом жертв, погибших от рук франкистов. Причем в Испании по этому поводу установилась широко разделяемая точка зрения: нельзя ставить на одну доску спонтанную, в чем-то неизбежную и спровоцированную мятежниками реакцию народных низов, которые вымещали в первые

недели войны на угнетателях, к тому же восставших против законного правительства и вызвавших братоубийственную войну, свою вековую ненависть, и планомерный, холодный и систематически продуманный террор франкистов, направляемый сверху, усиливавшийся изо дня в день и продолжавшийся много лет после войны. Каудильо преднамеренно разжигал его, так как руководствовался каннибальской целью не только искоренить, как выражалась его пропаганда, «красную заразу» (а под это определение подходила большая часть страны), но и, как он заявил во всеуслышание в первой же речи после войны, «покончить в Испании с идеями энциклопедистов»¹.

На примере судьбы благородного крестьянского вожака Пако-с-Мельницы Рамон Сендер убедительно показывает, кто и как чинил произвол в Испании тех лет. История, о которой он повествует, очень типична. Типичен и образ священника, который предает своего воспитанника Пако — в этом была своя внутренняя логика, ибо в целом клерикалы активно поддержали фашистский мятеж, возведя его в ранг богоугодного «Крестового похода». (Вместе с тем в пьесе Хосе Бергамина «Юная партизанка» священник, поддерживающий народное дело, окружен симпатией крестьян — появление такого персонажа вызвано не только взглядами Бергамина, но и тем реальным фактом, что действие происходит на севере страны, где низшие слои духовенства выступили в защиту Республики и отношение народа к ним было иным.)

Война не завершилась для миллионов испанцев вступлением франкистских войск в Мадрид — последствия ее ощущались ими на протяжении еще многих лет: народ сопротивлялся фашизму в самых разных формах, в стране свирепствовали репрессии, страх, нищета, голод. Порожденные этим проблемы нашли свое отражение и в литературе — не только в романах, но и в жанре повести и рассказа («Няня Лена» Хесуса Искарая, рассказы Алонсо Саморы Висенте, Антонио Ферреса, Антонио Мартинеса Менчена).

Стремясь укрепить свою слабевшую со временем власть, Франко, прибегая к тактике «разделяй и властвуй», искусственно старался сохранить в стране деление на «победителей» и «побежденных», совершенно сознательно, как и в годы войны, натравливал людей друг на друга, разжигал в них низменные инстинкты, калечил их души («Возвращение» Франсиско Аялы). Но исподволь в недрах испанского общества, в сокровенных глубинах мудрого народного сознания назревало крепшее с годами ощущение, что, лишь подведя черту под прошлым и объединившись против диктатуры, можно создать новую Испанию. Таким ощущением проникнуты рассказы Франсиско Аялы

¹ Laga Tuñón de. España del siglo XX. Madrid, Laya, 1976, t. 3, p. 224.

«Тахо» и Пере Калдерса «Потерянный батальон», в котором в иносказательной, притчевой форме, характерной для прозы на каталонском языке, высказана мысль, что все испанцы «ранены на той войне». Только залечив эти раны, можно было преодолеть поистине «каиново» проклятье франкизма. Передовые люди Испании, уловив эту тенденцию, положили ее в основу тактики борьбы против режима, полностью себя оправдавшей. И в этом испанскому народу также помогали его писатели.

И еще следует добавить, что испанской литературе о гражданской войне присущ ряд специфических особенностей, которые следует учитывать. Так, ей свойственно несколько иное видение событий 1936—1939 годов, чем иностранным соотечественникам по перу. Для Хемингуэя, Кольцова, Эренбурга, написавших правдивые и блестящие страницы о той войне, главным в ней были — и это естественно — романтика революционной борьбы за свободу, героизм отпора фашистской военной машине, благородство действенной солидарности лучших людей планеты с испанскими демократами. Писателями Испании и подавляющим большинством их соотечественников, оказавшимися в эпицентре схватки, где брат вставал на брата, отец на сына, те события воспринимались не только как легендарная эпопея, где они выступали в роли героев и вправе были этим гордиться, но и как кровавая драма, в которой им выпало быть также жертвами. Это придает испанской литературе о гражданской войне неповторимый, обостренный гуманистический заряд, сообщает ей большой не только антифашистский, но и антивоенный пафос...

Сколько раз, пока длилась ночь тирании над Испанией, вспоминались взволнованные слова, написанные Эрнестом Хемингуэем в самом конце войны, в феврале 1939 года: «Этой ночью мертвые спят в холодной земле Испании... и проспят всю холодную зиму, пока вместе с ними спит земля. Но весной пройдут дожди, и земля станет рыхлой и теплой. Ветер с юга мягко обвеет холмы. Черные деревья оживут, покроются зелеными листьями, и яблони зацветут над Харамой. Весной мертвые почувствуют, что земля оживает... Наши мертвые с ней всегда будут живы. Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству»¹.

Годы шли, и в душу порою вкрадывалось сомнение: неужто не сбыться этим словам? Но пророчество все же сбылось — много позже, чем ожидалось, совсем не в той форме, что предполагалось. Крот истории прогрызает порой самые неожиданные подземные ходы. Не прошло и ста дней после смерти Франко, как его режим, который он создавал «на века», стал рассыпаться на глазах. «Кто же, в конце концов, здесь побе-

¹ Хемингуэй Э. Американцам, павшим за Испанию.— Собр. соч. М., «Художественная литература», 1982, т. III, с. 5.

дил?!» — недоуменно вопрошал на заседании Регентского совета весной 1976 года один из престарелых генералов-ультра, ветеран мятежа, не способный понять, что правящие круги вынуждены делать уступку за уступкой демократической общественности, дабы волна всенародного движения за демократию не смела все на своем пути. Ответ на вопрос уже тогда был ясен: полное и сокрушительное поражение, на этот раз бескровное, потерпел франкизм, последний фашистский режим в Европе, оставшийся от времен Гитлера и Муссолини.

В стране укреплялся демократический строй, получали права гражданства моральные и духовные ценности, за которые сражались борцы за свободу в 1936—1939 годах. Те представители культуры, что были когда-то властителями дум, снова становились выразителями народных чаяний.

«Националисты пытались приговорить к забвению выдающихся испанцев, ставших гордостью левой интеллигенции: Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорку, Пабло Пикассо, всех, кто верой и правдой служил Республике...— писал в 1976 году Амандо де Мигель.— Все эти фигуры, как теперь стало ясно, не только не забыты, но и сверкают обновленным блеском... Хотя в прошлом победили правые, со временем убедили левые. И произошло это несмотря на то, что многие из левых интеллигентов, ставшие ныне национальной гордостью, были выброшены из страны, преданы отлучению по обвинению в антииспаннизме... В изгнании они стали певцами блеска и нищеты своей родины, с каждым годом проникаясь все большей любовью к своему нарсду. Бергамин... Сендер, Аяла... Макс Ауб— это имена лишь некоторых из многих испанцев-эмигрантов, которые, долгое время находясь в изгнании, не переставали публиковать труды и книги на испанские темы, не переставали вникать в «Испанию как проблему»... Феномен этот сам по себе потрясает. Так называемая «Антииспания» на деле оказалась подлинной Испанией, «антиродина» — воплощением прекрасного патриотизма, люди, оторванные от своей земли, продолжали оставаться творцами ее истории, хотя и находились за пределами родины»¹.

И вместе с писателями-изгнанниками широким признанием окружены имена тех литераторов, которые, находясь в стране, имели мужество говорить правду об истинной истории Испании, способствуя крушению фашизма в стране. Насильственно прерванная франкистами связь художественных поколений восстановилась. Испанская литература, посвященная гражданской войне—творимая и в эпоху «бури и натиска», и в годы критического раздумья, вне страны и внутри ее,—снова заняла достойное место на родине.

Хуан Кобо

¹ Miguel Amando de, p. 384.

ПОЭЗИЯ

МАДРИД

Мадрид! Мадрид! Твое бессмертно имя,
Испании защитный волнолом!
Земля вздымается, и небо мечет пламя,
ты — улыбаешься, израненный свинцом.

1936

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЫЛО В ГРАНАДЕ

I

Преступление

Он уходил, шагая среди ружей
по длинному кварталу,
туда, где над холодными полями
плыла звезда и медленно светало.
Его убили
с первыми лучами.
Никто из палачей глаза не поднял.
Была молитва краткой:
«Да не спасешься милостью господней!»
И мертвым пал на землю Федерико:
в глазах — рассвет, в груди — свинец заряда...

В Гранаде преступление было — знайте, —
в его Гранаде!.. Бедная Гранада...

II

Поэт и смерть

Он уходил, шагая с Нею рядом,
Не трепеща перед холодной сталью.

«Уже бегут лучи от башни к башне
и наковальня будит наковальню...» —
он говорил. И спутница внимала
словам любви в молчанье погребальном.
«За то, что в ритмы строф моих, подруга,
удар сухих ладоней ты вплетала
и серп твой наполнял мои напевы
сверканием и холодом металла,
твое я славлю призрачное тело,
твоих очей незримые овалы,
и волосы, разметанные ветром,
и жгучий рот, от поцелуев алый.
Цыганка смерть! Как встарь, моя хитана,
под этой лаской утренней прохлады
мне хорошо наедине с тобою
в родных полях — полях моей Гранады!»

III

И он ушел...

Из камня и надежды
могильный холм ему сложите, братья,
в Альгамбре, чтобы плакали фонтаны,
над ним роняя горестные пряди,
и говорили вечно:

«Преступленье
в Гранаде свершено — в его Гранаде!»

1936

ДНЕВНЫЕ РАЗДУМЬЯ

Пока полыхает пальма,
которую жжет закат,
и вечер исполнен мира,
и сад тишиной объят,
и Гуадалавьяр Валенсию
поит водой, как брат,
и в небе Аузиаса Марка
стройные башни стоят,
и к морю река стремится
сквозь розы, сквозь их аромат,
я о войне размышляю.

Она, как железный град,
верховья Дуэро хлещет —
там колос на нивах смят,
идет от Эстремадуры
в этот лимонный сад,
от серой Астурии — к морю,
где воздух от света свят...
Я думаю об Испании, проданной целиком —
от гор до гор,
от рек до рек,
от головы до пят.

1937

СМЕРТЬ РАНЕНОГО МАЛЬЧИКА

Ночь. Снова лихорадки молотки
в висках, бинтами стянутых. Томится
ребенок.

«Мама... мотыльки,
а это — видишь? — золотая птица».
«Усни, мой мальчик!»

Матери рука
ручонкой слабой к простыне прижата.
«Как жар твой остудить хотя б слегка?»
В укромной спальне горький запах мяты...

Во мраке город за окном уснул.
Высокий купол под луной белеет.
И башня. Самолета дальний гул.
«Спит, слава богу... спит. И жар слабеет...»
Звон стекол. Вихрь ночной в окно дохнул.
«Мой мальчик... холодеет... холодеет!..»

1938

ПОЭТ ВСПОМИНАЕТ ПОЛЯ СОРИИ

То в небе — как стрела на крыльях лука,
то долгоногой тенью у протока,
то над развалистым гнездом из дрока
на каждой башне — аист-закорюка!..

О Сория, ты накатила снова.
Твое немое поле смотрит ныне—
зеленый сон на каменной равнине,
пречистый край, где кромка гор лилова.

Эй, бомбовоз, летящий в земли эти,
ответь-ка мне: Дуэрское верховье
все так же помнит о своем поэте,

почав свой романсеро цвета крови?
Иль вновь гуляет Каин по планете?
Ответь, оса, чье жало наготове?

1938

ВЕСНА

Сильней войны, ее смертей и слез,—
когда неловкою дрофой кренится
в полете трехмоторный бомбовоз,
чтоб снизиться над ветхой черепицей,—

твой труд, который жизнь полям принес,
твой лист, что в почке тополя томится.
На лед кровавый—след свинцовых гроз—
с горы лавина чистых вод стремится.

Пока сирена воеет, все грозней
гудит гора и по морской равнине
дым стелется, как хоровод теней,—

ты трудишься, не ведая унынья,
и слышится мне острый звук твоей
пастушьей скрипки, юная богиня.

1937

ГИМН

Под солнцем утра, утра славы
и жизни, мира и любви
цветет свобода величаво,
являя чудеса свои.

Свобода!
Ты у Испании в крови,
как роза правды для народа,
цветок любви.
С надеждой, с верою идущий
поет.
Испания к весне грядущей
идет вперед
в единстве моря и полей.
Испании моей
огонь — надежда и порука,
но он испепеляет тех,
кто на нее поднимет руку.
Свобода!
Ты миру шлешь лучи свои,
как песня правды всех народов,
как гимн любви.

1937

* * *

Россия, благородная Россия!
Ты во сто крат святей и благородней
С тех пор, как, жезл и скипетр свой сломав,
В свои ты руки серп взяла и молот!
Здесь крайний выступ Запада, здесь горы
Уходят ввысь зубчатую стеною,
Подобно необъятным лирам
Из камня и из солнца. Но повсюду,
Где бурые раскинулись равнины,
Где зеленеют нивы, где глубоко
Струятся реки, где морской простор
Светло смеется, где растет терновник,
На солнце зреет золотой лимон,
Где рядом с дроком расцвела гвоздика,
От гор к горе и от реки к реке
Испании ты слышишь голос.

Раскат грозы военной покрывая,
Гремя от моря и до моря,
Он говорит тебе:
— Сестра!

1938

* * *

Испания, от моря и до моря
простертая, как лира... Руки злые,
окопы, рвы и щели фронтовые
ведут через поля, холмы, нагорья.

В трусливой злобе отчий крик позоря,
дубы корчуют, гроздья золотые
в давальнях мнут, колосья налитые
жнут, на твоём взошедшие просторе.

Опять, мой скорбный край, опять страну,
омытой ветром и морской волною,
предатель помыкает! Все, что свято
во храмах божьих, канет в забвенье!
Все, что созрело, лишь цена и плата,
все для гордыни и для дел ее!

1937

ВЕТЕР НАРОДА

Ветром народа сорван,
ветром народа взвезан,
голос мой каждым звуком
с ветром народа сверен.

Плеть до земли склоняет
темные лбы воловьи,
но головы не клонит
лев в белозубом реве.

Народ мой — не вол в упряжке,
народ мой иной породы:
при каждом ударе множась,
встают из глубин народа
лавины отваги львиной,
теснины орлиных кличей
и в гордых рогах утесов
гранитные гряды бычьи.
Волю никогда не жили
на нашей земле суровой.

Так кто же на это племя
накинет ярем воловий!
Так кто же стреножит бурю,
и вал заарканит пенный,
и молнию в тесной клетке
удержит орлицей пленной!

Отважные астурийцы
и вы, сыновья Кастильи,
отточенные, как лемех,
и трепетные, как крылья;
кипучие андалузцы,
чью бронзу из слез отлило
расплесканного рыданья

клокочущее горнило;
бесстрашные арагонцы,
изваянные веками;
туманные галисийцы
и баски — кованный камень;
ржаные эстремадурцы,
мурсийцы — порох и солнце;
веселые валенсийцы
и твердые каталонцы;
наваррцы, верные стражи
нужды, топора и пота,
монархи темных забоев,
сеньоры черной работы;
все, кто в земле пролагает,
как корневища тугие,
путь от рождения к смерти,
путь от могилы к могиле.
Ярмо вам сковали люди,
в чьих венах — настой цикуты;
скорее об их же спины
разбейте стальные пути!
Воловьи потемки тают,
когда рассветает небо.
Ложатся волы под обух,
одетые в запах хлева,
но львы умирают стоя,
в кровавом наряде гнева.
И жалкая смерть воловья
ни для кого не потеря,
но дарит миру величье
кончина гордого зверя.
Так пусть же, голову вскинув,
приму я удар кровавый
и, мертвый и трижды мертвый,
лицом к раскаленной лаве
застыну, сжимая зубы,
впиваясь губами в гравий!
Я песнею смерть встречаю,
как тот соловей весенний,
который в кольце винтовок
поет на полях сражений!

1936

ПОЖАР

Европа вспыхнула, пылает пожарищем:
из края в край, от России и до Испании
в порыве высоком и всежигающем
пожар полощется полотнищем знамени.

Его костры табунами проносятся,
он все сметает ураганом внезапным.
Он похож на победного знаменосца,
водрузившего стяг багровый над Западом.

Пожар пылает, как очистительный факел,
опалая во мгле небоскребы серые,
свергая статуи, вгрызаясь в темь:
прогнившие зданья сгорают во мраке,
словно это косынки кисейные.
И ночь увядает, и зреет день!

Пожар, порождающий грозные штормы,
управляет сердцами людей и моторами.

Это Ленина свет над миром кочует,
алеет над ледяными просторами
и горные одолевает хребты.
Он бережно раны людские врачует —
раны печали и нищеты.

Словно солнце затмило химеру луны!
Словно сердце, морского коралла багровей,
титаническим рифом поднялось из волны
и пролилось на землю потоками крови.

Это запах, радующий обоняние,
это песня, чье эхо по штрекам развеяно.
Над кострами рассветными распевает Испания,
украшенная портретами Ленина.

Здесь люди сгорают, как метеоры...
Но Испания борется, не щадя усилий,
сердцем солдата озарена.

Через оскорбленные Пиренейские горы,
как руки, к далеким кострам России
свои костры протянула она!

1938

ИНТЕРБРИГАДОВЦУ, ПАВШЕМУ В ИСПАНИИ

Если есть исполины с душою бездонной
и лавиной кудрей, над землею простертых,
чье лицо бороздят горизонты и склоны
в кораблях и снегах,—ты из этой когорты.

Руки родин тебе протянули знамена,
чтобы ты их наполнил дыханием гордым.
И навстречу убийцам ты встал непреклонно,
опалая огнем их звериные орды.

Собирая в груди все ветра и приливы,
ты в Испанию врос и воздвиг над камнями
свод ветвей, осеняющих земли и воды.

Из костей твоих мертвых восстанут оливы,
и навеки сплетутся стальными корнями,
и единым объятьем обнимут народы.

1938

НАД ТЕЛАМИ МЕРТВЫХ

Застыв над телами мертвых,
склоняюсь к могилам братским,
безмолвно припав губами
к пустым сапогам солдатским,
и скорбно душа простерта,
одна среди смертной жатвы,
и тяжкие руки сердца
в кулак иступленно сжаты.
Пусть крик мой летит к вершинам
и рушится громом горным—
об этом ныне и вечно
тоскую сердцем и горлом!

Народ мой, о брат мой кровный,
приди же на звуки зова!
Навек под твоею кроной
я в цепи корней закован,—
и здесь, над трупами павших,
ладонями рук твоих властных
я кровь и голос вручаю,
как два ружья безотказных.
Если я вскормлен землею
на пустыре опаленном,
если я выношен в муках
горьким и нищенским лоном,
значит, самой судьбою
мне этот жребий дарован —
быть соловьем горемычных,
отзвуком доли суровой,
петь, откликаясь и вторя
тем, кто слова мои ловит,
петь о нужде и о скорби,
петь о земле и о крови.
Вчера мой народ проснулся
нагой — и покрыться нечем,
голодный — и нет ни крошки,
и новой заре навстречу
встает он в крови по пояс,
в раскатах грозы по плечи.
И вновь, как в былые годы,
винтовки в руках упрямых
хотят обернуться львами,
навстречу гиенам прянув.
И если не хватит ружей,
не дрогнет хребет твой львиный,
народ, миллионный мститель,
карающих сил лавина,—
плати палачам сторицей,
пока не иссякнут силы,
клыки, кулаки и ногти,
дыхание, плоть и жилы!
Как буйные вихри, буен,
крылат, как ветер крылатый,
за ненависть, смерть и муки
плати им такой же платой!
Не в спину тебя сразили —

ты грудью встречал преграды
и пули встречаешь грудью,
широкой, как баррикады.
Оплачет твоих героев
мой голос на поле бранном —
одни ведь у нас невзгоды,
одна вековая рана,
и боль одного закала,
и плач одного чекана,
и из одной древесины
единым резцом ваяли
мой лоб и твои надежды,
мой лавр и твои печали.
Мне кажется жизнь вратами,
распахнутыми в молчанье.
Я здесь для того, чтоб жить,
пока не замрет дыханье,
и для того, чтоб пасть,
когда мой черед настанет,—
и пусть мне омоет раны
народа родник глубинный!..
Вся жизнь — череда глотков,
а смерть — лишь глоток единый.

1938

ПАБЛО ДЕ ЛА ТОРРИЕНТЕ, ПОЛИТКОМИССАРУ

«Я остаюсь в Испании, друзья!» —
ты клятвою влюбленного поклялся.
И срублен ствол ударом лезвия —
в траве Испании навеки ты остался.
Не плачут над могилою твоей:
молчат бойцы — обветренные камни,
и тлеет жар обугленных бровей
над грозными гранитными зрачками.
Равняя строй, проходит командир,
вливая силу в траурные волны,
и, как вулканы, в каменной груди
стальные слезы копит он безмолвно.

И Мануэль, застенчив и горяч,
смыкает губы гневно и печально —
так обрывает сиротливый плач
утратившая молот наковальня.
И руки офицеров и солдат,
склоняясь над могилою твоею,
кладут в нее осколки от гранат —
кладут как погребальные трофеи.

Твой голос смолк для мертвых и живых,
ты убаюкан доблестными снами
и никогда на звонких мостовых,
как стройный смерч, не встанешь перед нами.
Ты пал в Испании
и в сердце у меня,
тебя не встретит солнце спозаранку;
быки твою отвагу сохранят
и горы — гордую твою осанку.
Доверчиво прижав к чужой земле
о поцелуях бредившие губы,
ты спишь с испанским солнцем на челе
и в смертный мрак уносишь солнце Кубы...

Перед кубинским рыцарем застыв,
сомкните строй, бойцы его бригады,
спаяв ладоней стиснутый порыв
с рывком штыка и яростью приклада.
С улыбкой глядя на могильный ров,
на комья глины, порохом пропахшие,
на белизну немых его зубов,
клянитесь отомстить за раны павших.

Для Пабло оборвался бег минут...
Но он из тех, чьи раны как рассветы,
из тех, что даже мертвыми растут,
пока дробят столетья их скелеты!

1938

* * *

Нет, он не пуст — окрашен
мой дом, мое созданье,
окрашен цветом горьких
несчастий и страданий.
Он вырвется из плача,
в котором встал когда-то
с пустым столом без крошки,
с разбитою кроватью.
В подушках поцелуи
распустятся цветами,
и простыня сохнет
над нашими телами
густой ночной лианой
с пахучими вьюнками.
И ненависти бурю
мое окно удержит.
И лапа разожмется.
Оставьте мне надежду.

1936

ПЕСНЯ ЖЕНАТОГО СОЛДАТА

Я чрево твое засеял зерном и любовью, подруга.
Всей кровью тебе откликаюсь,
 тобой мои вены полны,
над пашней жду я всходов, жду ожиданием плуга,
дошедшего до глубины.

Хмельной глоток моей жизни,
 жена моей плоти и кожи,
смуглянка дозорных башен,
 всевидающих глаз и огня,
твои безумные груди на ланей зачавших похожи —
они заждались меня.

Мне кажется иногда,
 что ты — бокал тонкостенный:
чтобы тебя не разбить, я боюсь шевельнуть рукой.
Своею кожей солдата я хочу облечь твои вены,
словно вишенку кожурой.

Зеркало моей плоти, крыльев моих опора,
я смерть потому и отвергнул,
 что жизнь для тебя берегу.
Я так люблю тебя, милая,
 здесь, среди пуль и пороха,
где гибель на каждом шагу.

Здесь, над гробами пустыми,
 ждущими нас под обстрелом,
над растерзанными, для которых
 и могила-то не нужна,
я люблю тебя и хотел бы поцеловать всем телом,
даже в прах рассыпаясь, жена.

Когда я тебя вспоминаю
 на страшном поле сраженья,
твой образ не исчезает, не стирается, но — растет!
Я вижу: ты приближаешься,
 и вся ты в эти мгновенья —
огромный голодный рот.

Почувствуя меня в траншее,
 пиши мне на поле брани.
Имя твоё воскрешая, я пишу ружейным огнём,
чтоб защитить твоё чрево, тоскующее в ожиданье,
и сына — во чреве твоём.

Наш сын родится, и будет
 в кулачок рука его сжата,
сына нашего спеленает гитар победный напев.
И жизнь моя постучится в твой дом рукою солдата,
забывшего боль и гнев.

Сейчас мы должны убивать,
 чтоб жизнь восторжествовала,
но под сенью твоих волос я найду однажды покой,
на простынях засыпая,
 похрустывающих от крахмала,
шитых твоей рукой.

В тяжком движении к родам
 шаги твои непреклонны,
и уста твои непокорные
 непреклонны на этом пути.

Сюда, в мое одиночество,
где взрывы, атаки и стоны,
свой поцелуй — я знаю — ты хотела бы донести.

Для нашего сына добуду я мир на поле сраженья.
И пусть по закону жизни однажды накатит час,
когда в неизбежной пучине
потерпят кораблекрушенье
два сердца — мужчина и женщина,
обессилевшие от ласк.

1938

* * *

Агония прощаний,
кладбищенские рвы.

Вчера с тобой прощались,
вчера еще кончались.

Сегодня мы мертвы.

Как поезд похоронный
причалы и перроны.

Рука платок уронит —
и ты уже вдали.

Живыми нас хоронят
на двух концах земли.

1938

ВОЙНА

В селе нелюдимо,
и поле не орано,
любовь без любимых,
пыль, травы и вороны.
А молодость где?

Погибла в беде.

Леса облетели.
Недвижной колодою
вдова на постели.
И злоба холодная.
А молодость где?

Погибла в беде.

1937

18 ИЮЛЯ 1936—18 ИЮЛЯ 1938

Не град, а кровь мой виски стегает.
Два года крови, как два наводнения.
Той кровью злое солнце истекает,
и пуст балкон, и валятся строения.

Тех благ, что кровь, никто не достигает.
Кровь для любви копила озаренья,
а мутит море, поезд настигает,
страшит быков, где львам внушала рвенья.

И время—кровь. Оно ворвалось в вены.
Часы, заря и ранят и карают,
гремят все виды крови, как гроза.

Ту кровь и смерть не сделает забвенной:
не меркнет страстный блеск—его вбирают
мои тысячелетние глаза.

1938

ГНЕТЕТ ПОЛЯ ПРЕДЧУВСТВИЕ ДОЖДЯ¹

Гнетет поля предчувствие дождя.
Земля, как перевозданная, тиха.
Мутится высь, тоскою исходя
над жаждой пастуха.

¹ Стихотворение написано в тюрьме, куда М. Эрнандес, комиссар республиканской бригады, был заключен после поражения Республики.—
Здесь и далее примечания переводчиков.

И лихорадит мертвых этот гнет,
а дали ждут, как вырытые рвы,
пока последний вздох не оборвет
агонию листвы.

И в час дождя, потусторонний час,
сердца часов так тягостно стучат —
и наши раны прячутся от глаз
и вглубь кровоточат.

Смолкает мир наедине с тобой,
и все в дожде немеет, как во сне,
и все на свете кажется мольбой
о вечной тишине.

То льется кровь волшебно и светло.
О, навсегда от ледяных ветров
забиться в дождь, под серое крыло,
под мой последний кров!

Последней крови капли тяжелы,
В тяжелой мгле чуть теплятся сады.
И не видны могилы и стволы
за трауром воды.

1939

ОБОРОНА МАДРИДА

Мадрид — сердце Испании —
бьется, как в лихорадке.
В нем бурно клокочущей крови
все яростней клокотание.
Эта кровь не утихомирится,
к рассвету сном не забудется.
А если Мадрид задремлет,
когда-нибудь он пробудится.
Мадрид, не забудь о подвиге,
Мадрид, позабудь усталость!
Помни — зрачками подлыми
враги на тебя оставились.
В небе кружатся коршуны,
вниз готовые ринуться,
на крыши, что кровью крашены,
на площади и на улицы.
Мадрид! Пускай не посмеют
сказать о тебе иные,
что в жарком сердце Испании
кровь превратилась в иней.
Истоки отваги и мужества
еще в тебе не иссякли.
Огромные реки ужаса
оттуда возьмут начало.
Пусть каждый квартал и улица,
когда этот час настанет,
сильнее крепости станет.

1936

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ БРИГАДАМ

Вы пришли издалека... Но что такое «далеко»
для вашей крови, чья песня не признает границы?
Смерть, не зная пощады, вас выкликает до срока
на каждом поле, в пути, на площадях столицы.

Из каждой страны, из той, из великой, из малой,
из той, что видна на карте только пятном туманным,
вы явились сюда со своей мечтой небывалой,
и корни у вас одни, хоть каждый стал безымянным.

Вы даже не видели краску на этих стенах суровых,
когда из-под них в атаку ходили железным строем,
вы защищаете землю, в которую вас зароят,
кровью своей и смертью, смертью, одетой боем.

Вам говорят деревья: братья, оставайтесь с нами!
Так желают деревья, равнины, частицы света,
так возглашает чувство, колеблемое волнами.
Братья, оставайтесь с нами!

Мадрид воздаст вам за это!

1938

ВЫ НЕ ПОГИБЛИ

Погибшие в жару и в холод, погибшие в стужу и
в ливень,
погибшие возле артиллерийских воронок
или на чахлой травке, жалкой и сиротливой,
где стебель в крови журчащей, как струны сухие, звóнок.

Ростки молодой плоти, вырванные неумолимо
из одичалой почвы, из материнского лона,
вновь возрождает войною вспаханная долина,
вновь превращает в зерна быстро и неуклонно.

Слышно, как вы прорастаете, слышно ваше страданье,
слышно, как вы ворочаетесь под оболочкой почвы,
земля из вас лепит колос и в тайнстве воссоздания
чувствует, как молодеет, как наливается сочно.

Кто сказал, что вы умерли? В свисте свинцовой пули слышится звук, похожий на победные клики, и вы лежите далеко — в этом победном гуле — от похоронной процессии и погребальной мотыги.

Братья, среди живущих вас никогда не забудут!
Так пойте вместе с нами песни свои боевые.
Подставьте лицо ветру, подставьте весеннему гуду,
вы — грядущая молодость. Вы — вовеки живые.

1938

ЭЛЬ-ПАРДО

Сколько солнца на фронте; в контрасте с синевой тишина так резка, так надменно небес безучастье, снисходящее так свысока;

так полянам до смерти нет дела;
ход часов так собой поглощен;
снег такую горячку белой
смотрит с гор вне пространств и времен,—

что от боли ваюсь я и слепну,
и лазурь, превратясь в динамит,
темнотой рассыпается склепной
и расколотой тишью гремит.

1937

СОЛДАТЫ СПЯТ

Погляди! Они спят, как в селеньях большие собаки — звери, злые и ласковые. Их сон затопил, как вода, он внезапно на них накатился, застиг их во мраке, и они задремали, как псы, охраняющие стада.

А вокруг темнота, как изрытый копытами выгон или поле, где вырыто множество братских могил. И колеса в их сон однотонным врываются скрипом, и вращаются сонно зрачки их, лишенные сил.

Да, вот так они спят. И во сне кулаки их разжаты,
на минуту забыли они, что на этой земле
есть враги и война, есть бои и солдаты...
И винтовки забыли на миг о своем ремесле.

1937

МАДРИД ОСЕНЬЮ

* * *

О, город горьких предчувствий, рожденных ночными часами,
здесь страх во власти тревоги, покорный ее приказам,
во мглу катакомбы ныряет с выпученными глазами.
О, если бы только мог я! В ярости, в остервененье
я вырвал бы собственный голос вместе с гортанью разом
и по твоим кварталам брел бы беззвучной тенью,
пусть заглушает журчанье
крови — пусть заглушает мои шаги и рыдания.

Иду землей бугристой, землей предместий горячей,
она под моросью дрогнет, окрестности серы и хмуры,
иду по желтым листьям, по глине окопов бурой,
по топи, по вязкой круче,
за стены и за ограды деревья прячут стыдливо
тощие голые сучья,
пристально смотрят в небо черные амбразуры,
а небо бежит от пожара, дрожит от каждого взрыва.
Столица, ты ждешь обстрела, все время ты ждешь
бомбежек —
аллеи завалены щебнем, кварталы лежат в руинах.
Здесь, рядом, твои музеи (вспомнишь — мороз по коже!),
за этой вот баррикадой фасады зданий старинных.

А стены жилых домишек нависли, грозят обвалом:
в зияющих провалах — утлого скарба ворох,
скатертью стол еще застлан, покрыта кровать одеялом.
Драма покинутых платьев разыграна молча в утробе
шкафа стенного без створок —
и роются в гардеробе
лезвия лун ущербных полночной тихой порою
и смешивают лоскутья с траншейной землей сырою.

Мой город, ты стал похожим
на тех, кто лег после боя и задремал устало:
тебе в лицо стреляют, ты пулями искорежен,
бока твои в ранах рваных, стонут деревья, равнины,
но будет стучать твое сердце, как издавна стучало,
хотя на него навалили все скалы и все руины.
Город, нынешний город,
в твоём огромном чреве, в недрах борьбы и трагедий
уже шевелится зародыш — будущее шевелится.
Грохот динамита, твой горизонт распорот,
но слышно: уже ты рождаешь, рождаешь сына победе,
схватками родовыми охвачена ты, столица!

* * *

Дворцы, библиотеки! Листы фолиантов рваных!
Их уже не вмещают лугов зеленых просторы;
на этих выцветших плюшах,
на выпотрошенных диванах
один лишь ветер дремлет,
здесь только ветер — сторож;
семейных портретов странных
груды лежат перед нами,
на этих семейных портретах — деды, отцы и дяди,
увешаны, как побрякушками, военными орденами,
лежат, в глаза нам глядя,
в грязи, в осколках стеклянных.
На этих примятых лицах тупое выраженье:
такое бывает часто
у тех, чье призванье с рожденья —
казнить бедняков безымянных.
Эти портреты, книги, слепое неистовство это
от тихой мирной печали освободили меня —
это зари твоей сгустки,
кровавые сгустки рассвета.
Хочу помочь твоим родам — явлению нового дня.

1937

КРЕСТЬЯНЕ

Они идут, сверкая смуглой кожей,
которой, верно, не берет топор.
С кремневой искрой их усмешка схожа,
а скрытность глубже, чем кедровый бор.

Козлом несет от вымокших шинелей,
в мешках картошка, и на ней песок,
и багажа походного тяжеле
лепешки на подошвах их сапог

Все те ж они на мостовых столицы,
что на полях в страду у шалашей.
Им кажется, как семенной пшеницы,
их ждут в глубоких бороздах траншей.

Никто не отдает себе отчета,
куда спешит, а подоспевши вблизи,
находит ток, где до седьмого пота
молотят смерть, чтоб заработать жизнь.

1937

* * *

Шагать,
не дорогами, не полями.
Нет, бесконечными мерить шагами
лестницы и переходы метро.
Реклама вокруг мелькает пестро.
На каждой платформе, на каждой стене —
ДЮБО ДЮБОН ДЮБОННЭ.
По буквам скачешь усталым взглядом,
а тут еще шпик оказался рядом,
вот привязался, сойти с ума! —
ну как при нем раскроешь «Юма»!

— Bonjour, madame!¹
Рынок.

¹ Здравствуйте, мадам! (франц.).

Мадрид сражался и побеждал,
Мадрид держался и голодал,
на корке хлеба, на горстке муки
держались наши штыки.
И побеждали свободы солдаты,
и сыпались градом с неба гранаты,
рвались снаряды, ухали мины,
Мадрид сражался за счастье мира.
(Мадрид мечтал
о всеобщем счастье,
а подлый враг
его рвал на части.)

Des pommes de terre.
Entrecôte.
Place Monge¹. Реклама, реклама.
Над крышей каждую.

— К испанским проблемам пропал интерес.
Vive la Garde Républicaine!²
К оружию, граждане!

1940

ПАБЛО НЕРУДЕ, ПОСЛЕ ВСЕГО ПЕРЕЖИТОГО

Сначала были море и весна,
покой и мир гвоздики и сирени,
и в этом мире умиротворенья
была душа к добру устремлена.

Потом настали злые времена
стальной гвоздики, и в кровавой пене
вскипело море. На ожесточенье
сердца и души обрекла война.

¹ Картошка. Антрекот. Площадь Монж (франц.).

² Да здравствует Республиканская гвардия! (франц.)

Когда гвоздики проросли клинками,
и океаны иссушило пламя,
и сердце тяжелело, как свинец,

ты был в огне цветком благоуханным,
и самым необъятным океаном,
и самым раскаленным из сердец.

1951

ИЛЬЕ ЭРЕНБУРГУ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Увидеться нам — это значит
опять нас увидеть вдвоем
в Мадриде, горячем от зноя,
в Мадриде, горящем от боя...
Быль перерастает в былое,
но не порастает быльем.

Увидеть тебя — это значит
опять нам изведать с тобой
всю ту незабытую радость
и ту незабвенную боль.

Пришел — и уже «до свиданья».
Но разве прервется свиданье,
когда ты уйдешь? Потому
увидеться нам — это значит
опять нас увидеть вдвоем
в Мадриде, горящем от боя...
Быль перерастает в былое,
но не порастает быльем.

1953

СМЕРТЕЛЬНО НЕНАВИЖУ

Им — смрадные тифозные болота,
им — топкие зловонные трясины,
им — ржавые чахоточные лужи,
и им — морские хищные глубины.

Никто им не поможет.

Ребенка тронут — обернется тигром,
а женщину — увидят пасть гиены;
в дороге злая пыль забьет им ноздри,
зной опалит их пламенем геенны.

Никто их не оплачет.

Кругом шипы, колючки, когти, зубы;
так ощути, наемник чужеземный,
свирепый взгляд Испании строптивой,
и шкуру жесткую, и нрав неподъяремный.

Никто их не схоронит.

Умрите здесь, отродье негодяев,
ублюдки хищников и земноводных,
вдали от рек Италии печальных
и от германских пустошей холодных.

Никто о них не вспомнит.

1938

**ХУЛИАНУ ГРИМАУ,
РАССТРЕЛЯННОМУ
СЕГОДНЯ В ИСПАНИИ ПО ОБВИНЕНИЮ
В «ВОЕННОМ МЯТЕЖЕ» 1936 ГОДА**

Это он-то мятежник? Ответь мне, господь!
Кто же первым поднял на Испанию руку?
Кто, отчизну предав, истерзал ее плоть
и обрек ее душу на долгую муку?

Это он бунтовщик? Где ты был, что смогли
на суде святотатствовать тать и предатель?
Покарай же их! Молнией испепели!
Сколько можно терпеть? Отвечай мне, создатель!

1963

ГАЛОП

Испанские земли, долины, равнины,
огромные земли, пустынные земли.
Галопом, скакун белоногий!
Воитель народный,
мчись к звездам и к солнцу!
Галопом,
галопом,
на недругов наших — потопом!

В сердцах наших звоном, трезвоном,
трезвоном
звонят кандалами испанские земли.
Галопом, воитель народный!
Скакун белоногий,
скакун белопенный!
Галопом,
галопом,
на недругов наших — потопом!

Наметом — ведь нет впереди никого там.
Не в счет эта смерть, что коня оседлала!
Галопом, скакун белоногий!
Воитель народный,
твои это земли.
Галопом,
галопом,
на недругов наших — потопом!

1938

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Мне имя его неизвестно.
Он там, на линии фронта,
он там, у речной переправы,
он там, на улицах города.
Встает он каждое утро,
и заря в лицо ему смотрит,
обдавая горением жизни,
обдавая смертельным холодом.
Встает он каждое утро,
распрямяясь клинком отточенным,
и взгляд его глаз смертелен,
он разит наповал, как молния.
Мне имя его неизвестно,
и никто мне его не напомним.
Встает он каждое утро
на западе или востоке
и, сжав кулаки, наступает,
расправляясь с врагами сурово
где ступит, врастает навечно,
скалой преграждает дорогу,
тысячью пуль пронзает,
ширится пропастью черной.
В Мадриде все его знают,
Мадрид в нем бурлит и клопочет
и в жилах вибрирует гневно
толчками горячей крови,
а в сердце его неумолчно
стучат сердца миллионы.
Кто он? Откуда? Не знаю.
Он там — на улицах города.
Мадрид ему дышит в спину,
Мадрид в лицо ему смотрит.

Телом, душой и жизнью
от врагов заслоняя город,
стоит солдат неизвестный —
великан суровый и грозный.
Он высок, белокур и крепок?
Или смугл, сухощав и строен?
Он — как все. Ведь он — это люди.
Как зовут его? Имя бродит
под пронзительный свист осколков,
оно бродит живым среди мертвых,
оно бродит цветком нетленным,
оно живо и вечно, как подвиг.
Как зовут его? Педро? Франсиско?
Мануэль? Рикардо? Антонио?
Хосе? Лоренсо? Висенте?
Хуан? Андрес? Или Хорхе?
О нет! Зовут его просто —
непобедимым народом!

1937

ПЛАЧ МОЙ... МОРЕ...

Это будет потом,
завтра...
Моря хватит на всех!
Человек изойдет горьким плачем,
и горькие воды поглотят
выжженные пески.
Горькой соли хватит на всех,
завтра
моря хватит на всех.
Море снова одно, как в начале начал,
и человек только с совестью с глазу на глаз.
Моря хватит на всех,
и один останется человек.
Без племени,
без епископа,
без оружия.
Один останется человек,
без истории и без голоса.
На его разбитой ладье
морем сорваны трапы и лот унесен.
Один останется человек,
каждый человек,
и я останусь один,
да — совсем один.
На волнах морских,
на дне моих слез.
Под бледной гордыней небес,
высокомерных,
безмолвных
и звездных.
Если есть в мире свет, предназначенный мне,
он должен тонуть, отражаясь,
в зеркале слез огромном.

В море...

В море...

Завтра

моря хватит на всех:

оно колыбели колышет

и разрушает работу столетий,

оно ведет счет каждой фазе луны

и каждому обороту нории,

оно разбивает плотины и дамбы

и яйца чаек.

В нем начало начал

и конец всех концов.

Завтра

море сомкнет свои волны над миром.

Над лисицей и над коршуном — море,

над епископом и его кольцом с аметистом — море,

над трупом и над топором — море.

И над плотью моей — море...

Море,

море.

Море, снова одно, как в начале начал.

Плач мой... Море...

1938

* * *

Скажи, Испания,

Из какой еще модной, чужеземной

материи

сошьют тебе саван

услужливые господа?..

Замолчите!

Не смейте так говорить.

Будет день,

и к истокам вернется история,

опять возвратится весна,

а Испания

остается нетленной в веках.

Будет день,

и сломается ворот прогнивший,

старый мул упадет на песок,

перестанут вертеться колеса,

прекратится течение воды

и бесславно закончится черная
братоубийственная пантомима.
Помните — судьбы земные вершит
нетленная плоть земли.

1937

СЛОВНО ТЫ...

Эта жизнь моя,
камешек легкий,
словно ты. Словно ты,
перелетный,
словно ты,
попавший под ноги,
сирота проезжей дороги;
словно ты,
певучий клубочек,
бубенец дорог и обочин;
словно ты,
что в день непогожий
затихал
в грязи бездорожий,
а потом
принимался снова
плакать искрами
в лад подковам;
словно ты,
пилигрим, пылинка,
никогда не мостивший рынка,
никогда не венчавший замка,
словно ты, неприметный камень,
неприглядный для светлых залов,
непригодный для смертных камер...
Словно ты, искатель удачи,
вольный камешек,
прах бродячий...
Словно ты, что рожден, быть может,
для пращи, пастухом несомой...
Легкий камешек придорожный,
неприкаянный,
невесомый...

1949

ИСПАНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Обращаюсь к тебе,
суть таинственная
нашей расы;
поговорим сквозь века,
дух, создавший людей,
существующих ныне,
но так искалеченных злостью,
что своими руками
они сделали смерть декорацией жизни твоей.

Когда снова весна
оплетет древних пут волшебством
бесконечное тело —
отыщет ли птица гнездо,
узнает ли старая ветвь,
где пробиться зеленым ростком,
и найдет ли сияющий луч
иль туча над брошенным полем
зеркало — будь то вода или зеркало старых домов, —
чтоб разбиться цветною игрой?

Поговори же со мной;
матерью называя тебя, я уверен,
что женщина никогда не была для детей своих тем же,
чем для меня ты стала.
Поговори же со мной,
скажи мне хоть слово в те еле ползущие дни,
неясные, смутные дни,
что сверкают у времени в пальцах,
как горестный нож
в руках у твоих сыновей.

Не уходи просто так,
задумчиво, в шали из пепла,
укрывшей от нас красоту распахнувшихся глаз;
цветы у тебя в руках,
осыпавшись, утонули в болоте кровавом,
а раньше казалось — они распустились навек
столетья назад, когда моя жизнь только снилась
великим и мудрым богам.

Со смертью борясь,
мы тихо тебя окликаем, мы ищем тебя,
владычицу душ отлетевших —
они, улетаая навеки,
тебе завещали сияние чистого камня
и жажду бессмертья, укрытую в красоте.

Но ты — госпожа
не только умерших желаний;
ты любяще-нежно вливала желание жить,
полна состраданья пред нашим упадком внезапным.
А знаешь ли ты, что мы тоже достойны тебя?

Сквозь слезы взгляни:
ты видишь — предателей сколько,
подонков трусливых
постыдно бегут от тебя,
забыв твое имя, забыв свое лоно родное,
но дети твои терпеливо у ног твоих ждут,
чтоб только взглянуть —
и упиться наградою взгляда
за муки зловещих часов.

Не зная войны,
и жизнь оценить невозможно.
Война все парит
на темных разверстых крылах,
свистит леденяще,
и на сгоревшие травы
все падают гулко тела,
только я продолжаю бороться
вместе с теми, кто рядом, против тех, кто не рядом
со мной.

Все рвется во мне,
когда, с изболевшей душою, одну,
я встречаю тебя у развалин, что были когда-то
дарами любимых детей,
потому что я слишком люблю твое прошлое,
над преходящим забвеньем сияющее во мгле.

Твое прошлое — ты же сама,
и ты же — наша звезда,
что еще не взошла над полями,
но одна лишь останется жить,
и пред личиною смерти
одна заставит нас слепо
верить в будущее и ждать.

На мертвых — у нас и у них,
у нас и у них — на живущих,
печатью незримой на всех лежит твоя боль и
страданье;

их битвы, жестокость, и злость,
и жизни — ничто пред тобою:
ты вечна и всех создала
затем, чтобы миром и славой
свой род на земле осенить.

1938

ИСПАНЕЦ ГОВОРIT О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Дремотный свет карминный,
Пустующее взморье,
Утесы и равнины
В безлюдье и безмолвье,

Монастыри и замки,
Селения и кельи,
Которых и столетья
Коснуться не посмели,—

Все отнял победитель
Недрогнувшей рукою,

А мне братоубийца
Оставил жизнь изгоя.

Но в сердце ты запала;
И голос надо мною
Велел заговорить мне
Твоею тишиною.

В тебя одну я верил,
Жил мыслями твоими,
И сны мне полнит мукой
Твое святое имя.

Как проживет без почвы
Цветок, на ней возвращенный?
Он вечен, день мой черный,
И горек век никчемный,
Бессрочным ожиданьем
На память обреченный.

Когда-нибудь, свободна
От злобного навета,
Окликнешь ты. Но, мертвый,
Как отзовусь на это?

1940

РОДИНА

Этот солнечный свет, в нем открыл я глаза,
теплый и легкий, как утренний сон.
Переливами ласковых красок он лег
на простые и четкие формы вещей.

Колдовские просторы равнинной земли,
раскрытой навстречу мне, будто ладонь;
там лимонного дерева плод золотой
над фонтаном свисает из темной листвы;

там на закате вдоль старой стены
голубые цветы раскрывает вьюнок;
и каждое лето из дальних земель
возвращаются ласточки в гнезда свои.

Во мне пробуждает журчанье воды
своей музыкой вечной в вечерней тиши
еще не измятые жизнью мечты,
и чистой страницей судьба меня ждет.

И в сердце моем оживает все то,
что время умчало, казалось, навек.
Воспоминанье врезается в грудь,
словно тупой и безжалостный нож.

Корни дуба. Кто вытянет их из земли?
Радость первой любви. Как тебя позабыть?
Родина! Память моя и мечта,
чем ты дальше уходишь, тем ближе ты мне.

1942

ПРОЛОГ

Над яростью врагов,
среди нечистот войны,
как ветка тонкая,
трепещет голос мой,
и, смерть преодолев,
живучий в гневном сердце,
проросший, как цветок
среди камней замшелых,
он наливается, рождая в муках слово
моих стихов, и это слово ждет
в доверчиво-наивном убежденье,
что вдруг растают призраки войны,
поднимутся раздавленные зданья
и зарастут окопы сорняком.
Цветет миндаль, и на цветы его
летят свистящим роем пчелы смерти
из дул ружейных, как из темных ульев,
и заводь жадно предается ласкам
босой ступни — ведь целый долгий день
хрипит вода под сапогом солдатским.
Долбит породу истово кирка,
и пушки роют черные воронки...
Земля! Не нужно им твоих богатств,
им нужно все вокруг сровнять с землей!
Злодейский замысел — как он смешон,
сколь тщетны безрассудные угрозы!
Кровавой жертвой оплатив свой подвиг,
как пуля, молодость летит вперед.
Война! Мой стих, что так недавно был
еще в плену у чувства и раздумья,
теперь поет лишь ненависть и месть!
Он прославляет яркое безумье,

отважный бред, безудержный порыв
и красный пламень мстительных страстей...
О мой народ! Ты сбрасываешь бремя
своих тупых и злобных палачей
и возрождаешься в священном гневе!

1936

ПЕСНЬ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ

Тень войны и мертвых тени
на развалинах мелькают...
Но земля, в лучах весенних
отогревшись, оживает.

Тем, кто выжил, возрожденье
дарит солнечные блики.
Стынет ветер в изумленье
перед миром разноликим.

А боец глядит на море,
перед будущим в ответе:
то ли радость, то ли горе
принесут надежды сети...

Ты — грядущего стихия,
по твоей прозрачной коже
вдаль бегут пути морские,
на земные непохожи.

Человек, свой путь штурмуя,
оставляет свет мгновенный
раны или поцелуя
на волне гребнисто-пенной.

Смотрит он, как в отдаленье
море спорит с облаками...
Человек — венец творенья,
под полдневными лучами,

то неведеньем, то страстью,
то надеждою гонимый,

он чужой не знает власти,
он — победы сын любимый,

он рожден зарей кровавой,
он рожден зарей свободы,—
в наготе покрыт он славой
покорителя природы.

Дали тихо уплывают,
к небу тянутся вершины,
и холмы, как вздохи, тают
над спокойствием равнины.

Слезы, что лились потоком,
пали на цветы росую.
В склепе черном и глубоком
ночь укрылась под землю.

Ветра шквальные порывы,
словно черные султаны,
веют над лохматой гривой
пенно-белого тумана.

Смерть грозит нам бездной черной,
жизнь зовет нас к ярким звездам,
человек мечтой упорной
рвется ввысь, к орлиным гнездам.

1937

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

I

Война, я тебя умоляю о смерти последней,
потому что пора заглянуть в быстротечное время,
а сейчас я смогу там увидеть
свое тело, убитое болью,
как дерево, что убито и сломано грубой силой,
с оборванными плодами и стволом, предназначенным
пеплу...

Быть может, пустые глубины мне будут ответом,
а на земле от меня останутся только корни,
и зря беспечные птицы
будут искать свои гнезда
там, где руки клонились ветвями,—
но я знаю, что с тишиной и первым весенним дыханьем
из темноты подземелья
взойдут, внезапно, как слезы, и, как слезы, обильны,
слабые всходы жизни.

Я буду во всех и в каждом из этих юных созданий,
сплетая венок победный для побежденного дерева:
многоликая жизнь родится из смерти последней,
над землей разливаясь, как свет восходящего солнца.

II

Когда оно, то выжженное время,
дыханием войны опалено,
откатится, нас миром увенчав,—
тепло и дождь опять цвести заставят
Истории бесплодные поля.

Как родники, похожие на раны,
прорвав с трудом сырую ткань земли,
вмиг забывают подземелья мрак,
как наслажденья все берут начало
из дальнего и горького ключа,
как гаснет пламя, превращаясь в свет,—
так наша боль преобразится в славу.

III

Жизнь из смерти в мученьях рождалась
на земле, где кончалась война,
ураган отшумел, и осталась
вся планета чиста и нежна.

Непорочность ее возрожденья
осветила дорогу живым,
даже ветер затих в изумленье
перед этим рожденьем вторым.

Бывший воин весельем печальным
переполнен, а море зовет,
манит будущим, близким и дальним,
сладким, как неизведанный плод.

И вся жизнь впереди — словно море,
что по волнам уводит от ног
и теряет в безбрежном просторе
ленты многих чудесных дорог.

Но свою он отыщет дорогу,
с пенно-белой простится волной,
раны боль, поцелуй-недотрогу
унесут паруса за собой —

и тогда, вознесясь над скалою,
озирая бездонную гладь,
человек возродится с землею,
всей земле обновленной под стать,

возродится, невинен душою,
неизвестен себе и другим,
пьян от воли, как птица весною,
и желанием жизни томим.

Сын победы, смертями рожденный
на кровавых закатах войны,
он стоит на земле, осененный
своей славой, среди тишины —

и пред ним расступаются дали,
исчезают громады вершин,
что вздымаются вздохом печали
над покоем уснувших долин,

для него превращаются в росы
слезы вдов и веков пелена,
даже ночь, разметав свои косы,
мчится в гости, мертва и черна,

легкой тенью летит колесница
с покрывалом из буйных ветров,
и трясет на скаку кобылица
черной гривой далеких штормов,

но над этою скачкой nocturno
и над бездною смерти заря
новой жизни встает, за собою
человека вперед уводя.

IV

Сквозь завесу из криков и стонов,
сквозь укрывшие землю руины,
сквозь холодные, тяжкие думы,
придавившие глыбами сердце,
как цветы сквозь уснувшие стены,
прорастают, источены смертью,
новой жизни несмелые всходы.
В них мой прежний, мой истинный голос
спрятал полные нежности строки
до тех пор, пока призраки сгинут,
пока станут домами руины
и полями ромашек окопы,
а сегодня средь горьких соцветий
только пули жужжат, словно пчелы,
залепившие сотами дула,
только грубость подошвы солдатской
оскорбляет притихшую заводь,
где когда-то прозрачные струи
ноги путников мирных ласкали,
только взрывы копают воронки —
не для саженцев, тонких и гибких,
потому что воронки бесплодны, —
и богатствами полные шахты
взрывников до сих пор не дождутся.
Но желанье убить угасает,
и угрозы дряхлеют, бессильны
удержать молодых — ни угрозы,
ни страдания их не удержат,
как ничто не удержит мой голос,
новый голос, рожденный войною,
изменивший любви ради песен,
где в горячке строфа разметалась,
жаждой мести охвачены строки
и пронизаны гневом народа,
его верой в свое возрожденье
из кровавого пепла страданий.

V

Смерть последняя — это мир:
можно плакать над смертью твоею,
можно жизнь свою в песнь превратить...

Скажи, скажи мне, моряк,
сумевший путь проложить
в бессмертье, — как песню сложить
из правды; скажи мне, как
мне быть, если смертью твоей
мир рожден для земли и людей, —
горе помнить иль радостью жить?

Смерть последняя — это мир:
можно плакать над жизнью своею,
можно смерть твою в песнь превратить...

1938

ОДА ИСПАНИИ

И одиночество моей страны все глубже,
громаднее день ото дня.
Я выбрал холм высокий и с него
меланхолические посылаю взгляды
в безмолвную пустыню.

Вверху текут бесстрастно небеса,
под ними скорбь моя застыла в ожиданье.
Ах, голубые дни!
По их поверхности так плавно я скользил.
Ах, пламенные ночи!
Испания, страна моя, народ мой!
Внизу — моя разрушенная жизнь,
и вдруг я стал лишь зрением и слухом.

Неясный шум ловлю,
что долетает из глубин души
и разрывает тишину на части,
он волнами растет,
становится так громок,
что я не слышу собственного сердца.
Из мрака выступают предо мной
лбы без морщинки,
груды без дыханья,
глаза, что ни о чем не вопрошают,
руки, что не тянутся навстречу.

И гнется скорбь моя,
как ветвь, отягощенная плодами,
и клонится к земле,
горячей и сухой,
где поджидает множество других
скорбей — они лишь крепче и спокойней
и чище, будто выбелены солнцем.

Все ближе к ней, к возлюбленной земле!

И понемногу жизнь
вновь устремляется по руслу вен моих,
и мир заколосился спелой нивой.
И, выпрямлен невидимой пружинной,
я вновь стою среди моей земли,
моей земли — теперь уж навсегда.
Прибой веков меня толкает в спину...
А впереди не вижу ничего — лишь смерть,
и только смерть. Вперед же!

1936

ЛОЗУНГИ

Товарищ новобранец!
Подойди, поболтаем по дружбе.
Ты какого года рожденья?
Кем ты был до военной службы?
Ты студент, ты ремесленник,
рабочий или художник?
Крестьянин!
Девять из десяти отвечают одно и то же.
Крестьяне Испании, к испанской земле пригвожденные,
вы не сводите глаз
с той земли за изгибом горы,
с той земли, что украли у вас.
Это вы принесете свободу, вы, —
как поле приносит всходы травы.
Посмотри на эти оливы с плодами засохшими,
посмотри на это пространство, плугом забытое, —
а земли не хватает на свете —
сколько крови стоит добыть ее!
Эта яма в земле — от бомбы,
это дерево снес снаряд;
оно росло и росло
много лет подряд,
вращенное сильной рукой человека,
и вот то, что в небе свистит, как таинственные
ты это услышишь еще, —
разнесло его вместе с корнями в куски.

волчки, —

Война — серьезное дело. Они ее развязали
и получают больше войны, чем ожидали.
А теперь — в окопы.
Мы с песней сражаться будем.
Пусть знают враги,
что с песней здесь умирают люди.
Всегда выполняй приказы,
приказ командира — свят.
А ты — бунтовщик? Я тоже был бунтарем,
и вот потому-то теперь я солдат.
Я здесь, чтоб свободу добыть, —
не просить, понимаешь? Добыть!
Надо солдатом стать, чтобы мира добиться,
надо рабом дисциплины быть,
чтобы завтра стать вольным, как птица.
Береги винтовку свою и здоровье свое,
быть здоровым и сильным — этому надо учиться.
А страха не знай. Если смерть подойдет,
смотри на нее глазами самой революции.
Сотни тысяч детей отдали в руки твои
свою жизнь. Ты слышишь, как слезы их льются?
Чтобы храбрым быть, достаточно честным быть.
Я всегда буду рядом с тобою,
чтоб руками и грудью тебя защитить.
Когда побываешь в бою,
узнаешь, что там, впереди, перед нами, —
враг.
А тот, кто рядом с тобою дерется с врагами, —
ты не спрашивай, кто он, это неважно, —
твой брат.
Вот командир.
Ты — солдат.
Я такой же, как твой командир, и такой, как ты сам.
Я — комиссар.

1936

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКЕ

А еще я хочу сказать тебе, Федерико, —
правда, голос мой хрипловат и клокочет,
вырываясь из горла, как пенные волны из моря, —

я хочу сказать тебе, что в Гранаде
не преступленье свершилось —
не прав был великий Антонио, —
а заря занялась, решившая участь мира,
потому что тогда, на рассвете,
по чреву фашизма, как черви,
начала расползаться смерть.
Мертва была ночь, застывшая словно камень,
был мертвым рассвет — он умер вместе с водой
и светом, уснувшим в гробу из неподвижных теней,
и мертвые на рассвете убили тебя, а значит —
жизнь, цветок и колосья, траву и деревья, но ты,
ты был поэтом народа и, на едином вздохе
прожив отпущенный срок,
погиб в тот день и в тот час,
когда для других твоя смерть стала источником жизни.
Брат мой, Федерико, я знаю,
что ты под землей истощенной
не спишь, томясь в ожиданье
светлого залпа победы;
так знай же — она придет,
знай, что каждый солдат, каждый рабочий испанский
ее приближает, копая своими руками
в земле могилы погибшим и окопы живым.

1936

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛАЧ

Мне причиняет боль глоток воды
и ткань одежды на моих плечах,
от ветра легкого меня знобит,
мне собственная тень внушает страх.
Покоя ночью не дает постель,
мне в тягость даже молодость моя
и горек хлеб. И солнечных лучей
за черной пеленой не вижу я.
На улице мне тяжело давит лоб
угрюмых дум удушливый туман,
спешу домой, но только на порог —
стучит в висках зловещий барабан.
Мне на земле печаль не удержать,
она из сердца рвется в облака,
чем ниже опускаю я глаза,
тем выше поднимается тоска.
И только разум мужество мое
оберегает, как суровый страж...
Мне причиняет боль тяжелый сон
и сновидений гибельный мираж.
Я одинок. Мне причиняет боль
зияющая в сердце пустота,
но между прежней радостью и мной
лежит теперь незримая черта.
Нет места для любви и для друзей,
пока ликует ненавистный враг.
Иду по окровавленной земле,
и причиняет боль мне каждый шаг.

1937

ПРОЩАНИЕ С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ

Мой голос так часто перекликался с вами,
и рядом с вами тень моя отдыхала,
мы утром так часто вместе смотрели в небо,
и смерти в глаза мы тоже вместе смотрели,
мы так сроднились, что в кровь мою вы проникли,
я приютил вас под крышей воспоминаний
и потому зову вас не просто братья —
вы часть меня и в теле моем живете.

По плоти моей вы как по земле бродили,
искали счастья — его обрели в свободе,
которой наша любовь отдана без остатка;
одни и те же цветы мы мяли ногами —

и вот теперь расстаемся: Испания наша
прощается с вами, достойные, твердые люди,
умевшие кровью горячей зажечь свое сердце, —
что тягостнее могло уготовить время?

Сегодня разум властью своей отлучает
от жизни то, что только мечте доступно
и недоступно сытой, здоровой мысли,
но знайте — мечту ничто превзойти не может
и, как вода, испаряясь, стремится к туче,
пылающей страстью в темно-синих глубинах,
несущей боль по ступеням горячих молний,
так наша мечта станет высшим разумом жизни.

Тогда вы вернетесь, и всю Европу затопит
Испания наша — ее далекие звезды
усеют мирное небо над головою,
могилы героев вечностью озаряя.

Они под землей, а мы на земле все вместе,
мы, кого смерть еще только готовит в жертву,
чтоб в дар войне принести. Мы должны быть
мертвые пусть остаются рядом с живыми. вместе,

Пусть в сердце вашем не блекнут эти пейзажи,
вы любовались ими, их защищая,

и нет оливы цветущей или граната,
спасенных вами, которые вас не помнят.

Вы рядом со мной, во мне, вы кровью струитесь
под хрупкими сводами мной обжитого тела,
поверьте — сегодня каждый испанец скажет
вам те же слова, когда вы пройдете рядом.

1938

В НЕБЫТИИ С ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКОЙ

I

Утрата

К тебе не дотянуться.

К тебе не дотянуться —
тебя уносят ветры
в далекие пространства,
что и во сне не снились.

К тебе не дотянуться
от темного окна,
где умирают тени;
к тебе не дотянуться.

Простерлись мои руки,
и голос мой несется,
ища тебя по миру,
ища и не встречая.

Простерлись мои руки,
но не дано коснуться
им очертаний тела,
его щемящей боли.

К тебе не дотянуться.

К тебе не дотянуться,
тебя зовут напрасно,
ты сам себя не сыщешь;
во тьме неразлично
мерцанье твоей плоти.

К тебе не дотянуться.

Взгляни, взгляни на землю,
взгляни на эти скалы,
где скорбь и человечность
обнажены, забыты.

Взгляни, взгляни на розы:
среди позорной бойни
их облик эфемерный
нетронут, юн и строен,

хоть лепестки их знают,
что смолкли твои песни,
и на песке видали
поутру капли крови.

Взгляни, взгляни на землю,
на тот пустынный берег,
где мы детьми искали
жемчужную ракушку.

Тебя, как дети, ищем
на берегу пустынном,
в молчанье бессердечном
пустой и темной ночи.

Взгляни, взгляни на землю.

К тебе не дотянуться,
рукой хватаю пену:
то разлилась волною
приливной весть о смерти.

К тебе не дотянуться.
Взгляни, взгляни на землю.

Нет, мне не дотянуться.
Устав блуждать в пространствах,
глаза мои слабеют,
а с ними — и надежда.

II

Поиск

И вновь, и вновь я слышу: уход твой возвещают
и ни на миг не смолкнут, дабы тебя познать.
Иль ветер наших судеб, как человек, капризен?
Чье тело он уносит? И где же, где ты сам?

Под жесткой шкурой ветра, терзаемой войною,
в округлых очертаньях печально-тихих слез,
из лилий славословья венки тебе сплетают
те, кто тебя не видел и рук твоих не знал.

В морских просторах, знаю, бывал твой компас верен,
и курс держал корабль на светлый горизонт,
туда, где занимались прекраснейшие зори,
где были хлеб и уголь, добытые трудом.

Сейчас смотрю на землю: такой не знала боли
она, когда целили ее твои шаги.
Но ты ушел, и лоно земли исходит кровью.
И чередой страдальцев — деревья вдоль дорог.

Какие же пространства сегодня видишь сердцем?
Я соков твоей жизни изведаль тайный вкус.
Взгляни: сегодня реки текут твоею болью.
Хотел бы, но не в силах я здесь найти тебя.

Ты не даешь ответа. Пусть время выкликает
во мраке твое имя — ты не придешь на зов.
Холодной пустотою оделось твое тело —
лишь я тебя наитьем провижу, как зарю.

Тебя хотят открыть мне те, кто тебя не знает,
кто никогда не слышал, как стонет кровь твоя.
Вновь говорят о смерти те, кто тебя не знает.
Но ты — само пространство, поет мне хор с небес.

III

Встреча

Едва глаза закрою, как в смерть свою вступаю;
вселенная замкнулась в моих глазах навеки.
Едва глаза закрою и повернусь спиной ко времени,
я снова обретаю ту жизнь, что ускользала, как вижу:

В глубинах сна бурление — нет, то не кровь
своим немолчным зовом вернуть меня из мрака;
нет, жизнь и в тяжелой дреме мне не дает покоя:
закрытыми глазами слежу ее боренье.
Ночь черная простерлась безжизненной бездной,
огромным мертвым небом, где взор мой заблудился.
Но рокот сердца ровен, как мерный шаг в молчанье,
и память жадно ищет судьбы моей приметы.

Едва я в смерть вступаю, как чувствую: не время.
Едва глаза закрою, как чувствую: я жив.
Едва я смежу веки:

там, там земля осталась,
пригвождена навечно, среди пустоты вселенной.
Здесь кровь моя струится сверкающим потоком,
бросая отблеск ясный на тайну вечной жизни.
Вдали война колышет деревья и строения;
здесь свет неугасимый о людях вопрошает.
Едва глаза закрою, как в смерть свою вступаю,
и исчезает тело, но нет и здесь забвенья.

О, мир уединенья!

Едва глаза закрою, как возрождаюсь к жизни,
той, где границ не ставит нам плоть в своих
терзаннях.

Закройте же глаза мне!
Хочу я оказаться
под темною землею, навек сливаясь с нею,
и быть среди вселенной, плодом ее порывов,
и плыть под небесами, в их пустоте безбрежной.

Закройте же глаза ей, моей несчастной жизни!
А плоть мою оставьте, пусть гибнет бесконечно.

IV

Единение

Мир света отрицает твое существование;
луч ни один не брезжит в твоей крови остывшей;
навек смолк твой голос, не подпевает ветру,
в забвении немея под каменной плитой.

И солнце исполняет свое предназначенье:
прочь гонит ночь за ночью неверным робким светом
и завершает круг свой, твоей не встретив тени...
Но чей же стон, не твой ли, наполнил грудь мою?

Ты — ткань моя живая, тепло мое и сила,
в моих струишься венах, стучишь в моих висках.
Едва глаза закрою, ты восстаешь из тени:
ты, унесенный ветром, в моем дыханье веешь.

Едва глаза закрою, как вновь тебя встречаю,
и только так могу я тебя увидеть мертвым —
рука в руке со мною шагающим; а где-то
тебе слагают песни те, кто тебя не знает.

Да, тело стало прахом, могильною землею,
но имя остается парить мечтою в небе.

* * *

Слушайте нас, мадридцы,
те, что мужчины, не овцы:
каменщики, трамвайщики,
служащие, торговцы,
строители, металлисты!
Говорит Пятый полк!
Слушайте нас, мадридцы,
возьмите себе это в толк!
Пусть мухи не слышно будет,
откройте шире глаза,
и ты, и ты, подойдите!
Сейчас уходить нельзя
ни к девушке, ни в кино!
У мужчины есть долг.
Слушайте нас, мадридцы!
Говорит Пятый полк!
Имени Победы и Тельмана
стальной и ударный полк,
полк Листера и Галана,
Модесто, Гарсии полк!
Для вашего блага, товарищи,
друзья, ради вас мы тут!
Пусть трусы наденут юбки,
нейтральные — палец сосут!
Слушайте нас, мадридцы!
Вперед, на бой и на труд!
Наемникам-марокканцам,
легионерам проклятым,
священникам и банкирам,
бездельникам-аристократам
в Мадрид не войти! Не будет
рвать тело живое волк!

Затем я зову вас, испанцы!
Говорит Пятый полк!
Четыре у нас батальона,
чтоб защитить свободу.
Первый из них — Ленинградский,
он назван так в честь народа,
который прогнал Юденича
и белогвардейских псов
и ныне живет свободным,
без буржуев и ростовщиков.
Второй — Парижской Коммуны,
он назван так в честь народа
с мозолистыми руками,
что первым встал за свободу.
Еще — батальон Кронштадтский:
девятнадцать зим протекли
с тех пор, как с отчаянной храбростью
моряки Петроград спасли.
Наконец — батальон Мадрида,
он — наш, только наш, Мадрид;
звездю антифашизма
над всей землей он горит.
Затем я зову вас, испанцы,
в последний, решительный бой,
чтоб был уничтожен фашизм
вашей рабочей рукой.
Больные и дети, останьтесь,
нам только здоровый нужен,
кто верен своим идеям,
способен владеть оружием.
Записывайтесь, трудящиеся,
плоть от плоти народа,
в красные батальоны
стального полка свободы!
Чтоб вас не лишили работы,
чтоб голос Мадрида не смолк,
чтоб дети не голодали, —
да здравствует Пятый полк!

1936

ВОЙНА НАСМЕРТЬ

Так зелено поле,
и речка бежит.
Война эта — насмерть
или на смерть — за жизнь?

И лес шелестит,
и как золото — колос,
и катятся воды
в покое веселом.
Но воздух на части
рвут пули слепые,
а сердце на части
рвут чувства живые.
Так девушки милы...
Ах, сердце, кружись!
Война эта — насмерть
или на смерть — за жизнь?

В Испании нашей
от крови все красно;
народ за Испанию
борется насмерть.
Вокруг все чернеет,
и ненависть воет,
и зубы пришельцев
рвут тело живое.
Страна как застенок,
жандарм как паук,
и виселиц петли
как кольца гадюк.
Там слезы и муки
под каждой оливой...
Война эта — насмерть,
но за справедливость.

Винтовки пылают
в безжалостном небе,
летят самолеты
в безжалостном небе,
чтоб все, что люблю я,
отнять у меня —
и радость, и труд,

и родные края,
где землю пашу я —
земля ведь моя!

Свободной Испании
нивы, равнины,
лоза винограда,
на склонах маслины —
найдет в вас народ
достоянье и жизнь...
Как девушки милы...
Ах, сердце, кружись!
Как зелены горы,
и день ворожит...
Война эта — насмерть?
Нет, только за жизнь!

1937

ДОБРОВОЛЬЦАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

Братья наши, прощайте.

Вас ждут у перронов печальные поезда,
гудки их охрипли от долгого ожидания,
вас ждут у причалов забытые корабли,
гудки их пронзают дрожащий просоленный воздух
призывным, отчаянным криком.

Скорей поднимайтесь на борт.

Вы честные люди, достойные бурных морей,
и старые волки морские, суровое племя,
приветствуют вас — их прочное братство рождалось
в лихих испытаньях,
в борьбе с подступавшей тоской,
и гордость недаром сверкает в их темных зрачках.

Скорей поднимайтесь на борт.

Испания смотрит, как вы возвращаетесь в мир, —
так матери наши, закутавшись в скорбные шали,
укрыв неизбывное горе от глаз любопытных,
смотрели с порогов своих обедневших домов,
как вы уходили в сражения
их защищать.

Прощайте, братья, прощайте,
братья наши по крови.

Вы, гонимые немцы,
норвежские демократы,
ясноглазые чехи, словаки,
изгнанные австрийцы,

французы, чистым весельем
вспыхивающие внезапно,
китайцы с неколебимым
тайным желаньем свободы,
те, кто сражался под флагом
именитых родов английских,
сражался достойно и смело,
добровольно жизнь отдавая,

гордые итальянцы,
нация непокоренных,
прибившие пулей и кровью
флаг Италии древней
перед молча погибшей толпою,

и вы, герои подполья:
поляки, болгары, датчане,
греки, бельгийцы и шведы,
все, кто прошел через земли,
через реки, горы, границы,
преодолея преграды,
вставшие стражей лютой
на пути безысходной жажды,
чистоты ваших лиц открытых
и сердец, распахнутых настезь,—
слушайте голос Испании.

Слушайте все, и вы,
наши далекие братья,
дети дальнего континента:
свободные американцы,
мексиканцев чистейшее племя,
презираемые мулаты
и оскорбленные негры,

кубинцы и аргентинцы,
выдубленные пампой,
молчаливые уругвайцы,
угнетаемые чилийцы,
все расы и все народы,
все люди, чье сердце честно,
кому знакомы печали,

кто груз истории носит
в усталом, но ясном взоре,
все, кто по первому зову
пришел на испанскую землю
и встал у истоков единства,
защищая наши деревни,
делясь с детишками хлебом
и кровью своею — с нами.

А наша Испания — что подарила взамен?
Грусть пыльных обочин и бесконечной дороги,
безмолвия горечь, щемящее чувство тоски,
усталое тело, уныло зудящее грязью,
шум пыли в горах
и в долинах холеры набат,
наш гнев, обожженный в горниле больших городов.

Но она же дала вам,
и тем нас сроднила навек,
глубокую гордость,
мужское, без слез, состраданье
и смерть, что подобна быку,
вложившему в крик свой предсмертный всю силу
и мощь:
в бою обретенную смерть!

1938

ПЕСНЬ СВОБОДЕ

I

Вам не добраться до ее ростков кощунственной рукою:
свобода угнездилась в вышине, куда не досягнуть слепой
гордыне.
Так свет дневной недостижимо выше теней лесной
чащобы.

И ее история —
это история роста человека,
история стремления реки к неистово бушующему морю,

история тех губ, что в напряженье неслыханном на свет
произвели
звучанье первых слов,
и яростных, и алчущих, и трудных.

II

Понадобилось, чтоб упали годы, как стены дома, сгнившие
до основанья,
чтоб пращуры ушли и их потомки, что были раньше нас.
Чтоб тысячи и тысячи людей, от нас живущих к северу и
к югу,
среди лесов сосновых, и дубрав, и тополевых рощ,
листвой звенящих,
познали смерть, позор и униженье и море слез пролили,
чтобы Ты взошла как солнце над моей Испанией,
землею, мне знакомой с малолетства.

Понадобилось людям предпочесть благую смерть,
ее завоевать, как вражескую землю, пядь за пядью,
чтоб зазвучала Ты, окрещена как именем сладчайшим из
созвучий,
которое язык наш произносит так, словно ощущает капли
меда.
Ты возродилась, словно заиграло у статуи холодной и
фальшивой
на почерневших мраморных устах горячее и юное
дыханье.
О, образец чистой белизны!

III

Вы можете, вы можете усеять камнями путь ее
иль закидать ее той липкой грязью, что на груди
скрывали и в
глазах потупленных,
или в бессилье вырвать себе язык, уставший
проклинать,
но не добраться до ее ростков кощунственной рукою.

IV

Где человек живет, там смерть гнездится.
Где кровь кипит, там холод притаился смертельною
угрозой для людей.
Но Ты превыше всех, поскольку в смерти скрыта
и в жизни появляешься порою, мгновенно и неведомо
откуда.
Но Ты превыше всех, ничто тебя не ранит,
ведь, чтобы ранить, нужно дотянуться.

Да, Ты превыше всех.
Твой голос — это тружеников голос, как руки их в работе,
затверделый,
Ты видишься им давним обещаньем, неторопливым, как
воловья поступь,
Ты видишься им хлебородной нивой, волнуемой ветрами,
и воздаянием за труд их каждодневный.
Трепещешь в небе Ты победным стягом
над зданьем человеческих усилий,
венчая все, чем славен человек.

V

Но кто свободен, кроме пастухов?
Но кто свободен, кроме хлебопашцев?
Но кто свободен, кроме мудрецов, философов, поэтов?
Нет, не добраться до ее ростков кощунственной рукою.
Не будете свободны в разобщенье, но только вместе
бросив вызов смерти.
Не будете свободны, если вы не проходили скорбно средь
развалин,
не ощутили, как из-под обломков растет иная жизнь
и как сердца, что бьются в унисон, друг другу говорят
«товарищ»,
как несозвучные биенья пульса сливаются в едином
твердом ритме
и мужество рождается в смертный час.

VI

И наконец, о радость!

Придите посмотреть! Глаза раскройте! И напрягите слух!
А языки пусть говорят погромче на том наречье тайном,
что, волнуя, приводит нас в движенье.

О, говорите, говорите с миром.
Со странами, что молча наблюдают.
Пусть человек подумает о смерти.
Придите, мы вам кое-что покажем:

дымится город, и дома в руинах, а улицы — скопление
обломков,
а вот проспект, где поселилась смерть.
Вот люди, потерявшие детей, родителей, мужей, и жен, и
братьев.

Придите, подойдите к нам поближе, узнайте нас, и мы
хотим узнать вас,
открыты наши руки для объятья.

Придите же и разделите с нами наш кров и хлеб.
Придите к нам, придите, чтобы забыть все то, о чем
грустили,
нет грусти среди нас, но только скорбь глубокая и
радость просветленья.

Все мы — мужчины, женщины, — что раньше любили свои
грязные конуры,
сегодня спим в таких же иль похожих, но в них теперь
вдыхаем воздух братства
и хлеб едим, такой же, как вчера, но ставший ныне
знаком единенья,
ведь все живем мы в городе, где ныне неистовствует
смерть.

И
в окруженье злобной темной смерти, что нам упорно
расставляет сети,
мы все — мужчины, женщины и дети — сегодня снова
стали Человеком
перед лицом братающей нас смерти.

И злобу забываем мы подобно тому, как забывают о
ребенке, чтоб взрослый мог свободно умереть,
и забываем грязь домашних дрызг, назойливых и темных,
застойное тягучее смирение и буржуазный тягостный наш
быт...

О, это восхитительное чувство опасности, что в имени
твоём!

VII

О нет. Нет, никогда.

Вам не добраться до ее ростков кощунственной рукою.

Нет, прежде пусть погибнут чувства сыновьи и
родительские разом.
Пусть рухнут города, что создавались трудом на протяже-
нии столетий,
в прах обратятся улицы и зданья от взрывов буйного
слепого гнева.

И пусть умрет любовь,
та мелкая корыстная любовь, что нам, как собственность,
чужда и ненавистна,
но пусть зажгутся радостью глаза при виде чистоты твоей
и блеска
и твой полет орлиный заставит сладко замереть сердца.

Пусть камня не останется на камне,
но Ты останься с нами,
навек живая силой нашей смерти, достойной и
свободной.

1938

ПРОЩАНИЕ С МИНУВШИМ ГОДОМ

Убегают часы
и уводят тебя за собой
навсегда. Ты — летучий корабль,
натянувший последний канат
ради dalej без трав и границ.
Ты обрубишь концы
и, отброшенный бурей минут,
под раскаты глухой тишины
улетишь за пределы времен,
в бесконечность, где тысячи глаз,
перед ужасом жизни твоей
застыв, возвестят о тебе.
Ты пока еще здесь —
дыханием спекшихся губ
и незримым целителем ран,
но, подхваченный вихрем часов,
ты растаешь, как легкий туман,
распушенный над сонной рекой,
ты не явишься горечью дня
на изрытых железом полях,
и забудется имя твое,
затерявшись в бесстрастной толпе
бесконечно коротких секунд.
Когда трепетный шаг
подведет тебя к краю земли
и с последним ударом часов
злая вечность поглотит тебя —
кровь из трюмов бездонных твоих,
груды с жадностью принятых жертв,
превращенные в копоть и дым
из десятков натруженных труб,
всё, что звать приходилось нам «жизнь»,
годом прожитым мы назовем,
слабой памятью высветив даль.

Будь же славен вовек,
разрушитель без чувств и страстей,
выпускавший людские сердца
в небо стаями призрачных птиц,
потому что тоска твоих дней,
в красных маках, под шепот руин,
убегает от нас навсегда.

То последняя ночь,
и в холодных окопах бойцы
вспоминают тебя, колдуна,
что исчезнет вот-вот, увозя
с мертвецами последний вагон.
Будь же славен вовек,
грудь из камня и огненный меч,
потому что прощанье с тобой —
это светлый источник надежд
на преемника жизни твоей;
уйди — пусть надежды парят
над пустой и холодной страной...

1937

СЛОВА В ОГНЕ

Да сгинут навсегда смиренные душой
и те, кто жив лишь гордостью своею,
ест хлеб чужой и пьет чужую кровь,
кто прожил жизнь, не поднимая глаз,
и не увидев лунного сиянья,
и не узнав, как трудится кузнец,
чтоб, резвые, легко бежали кони.

И да не будет более в Испании
писателей, банкиров, коммерсантов,
изысканных, как профиль на монете.
Пастух с незамутненными глазами,
силач каменотес,
простой строитель
и смуглолицая красотка жница
сейчас моими говорят устами:
Все будет светлым, ясным, как вода,
возвышенно-свободным, как полет,
как одинокого орла паренье.
Такой достойной будет радость, величественной — скорбь,
какие были у друзей ушедших,
что, умерев, навек остались с нами.
Сроднится все слияньем разной крови и слаженным
биением сердец.

Да сгинут,
да сгниют холодные светила,
вечно бесплодные жрецы досуга,
что сеют скуку криком и кривляньем
капризных выродившихся павлинов.
Да сгинут все они,
наш воздух пощадят своим дыханьем,
наш хлеб и молоко не оскверняют,
да не пригубят нашего вина.

И в сладкий кус, у жизни взятый с бою,
да не вонзят гнилые зубы тот,
кто не знавал усталости и боли,
кто не делил свой кров с тенями павших братьев,
не испытал совместного усилья, нам хлеб дающего,
и радость, и свободу,
и Родину с ее землей и нивой, простором, городами и
людьми.

1937

ITPO3A

РЕКВИЕМ ПО ИСПАНСКОМУ КРЕСТЬЯНИНУ

*Посвящается Хесусу Вивед
Майралу*

Священник, облаченный для отправления заупокойной службы, ждал, сидя в кресле и низко опустив голову. В ризнице пахло ладаном. В углу с Пальмового воскресенья¹ залежалась охапка оливковых веток. Листья на них совсем высохли и стали похожими на металлические. Проходя мимо, мосен² Мильан старался не задеть их: листья осыпались и падали на пол.

Мальчик-служка в белом одеянии то и дело входил и выходил. Два окна ризницы глядели в маленький церковный дворик. Снаружи доносились простые, повседневные звуки.

Кто-то яростно орудовал метлой, сухие прутья царапали каменные плиты; чей-то голос звал:

— Мария... Мариета...

Под окном, чуть приоткрытым, в кустах отчаянно бился кузнечик, старался выбраться на волю. А дальше, у площади, ржал жеребенок. Жеребенок-то, подумал мосен Мильан, жеребенок, должно быть, его, Пако-с-Мельницы, вот и бродит беспризорный по селению. Бродит-шатается и всем в селении напоминает Пако и горемычную его жизнь.

Положив локти на подлокотники кресла и скрестив руки на черной, шитой золотом ризе, он продолжал молиться. Пятьдесят один год изо дня в день повторял он эти слова, так что вполне мог, не прерывая молитвы, перенестись мыслями в другое. И мысли повели его по селению. Он ждал, когда соберутся родственники покойного. Он был уверен, что они придут — а как же иначе, — надо отслужить заупокойную, будет реквием, хотя никто его не заказывал. И еще мосен Мильан

¹ Соответствует православному Вербному воскресенью.

² Почтительное обращение к священнику, принятое в Каталонии.

надеялся, что придут друзья покойного. Правда, на этот счет у священника были сомнения. В друзьях у Пако было почти все селение, за исключением двух самых богатых семейств: дона Валериано и дона Гумерсиндо. Третья богатая семья, семья сеньора Кастуло Переса, не была ему ни другом, ни врагом.

Вошел служка, взял в углу колокольчик и, придерживая язычок, чтобы не звонил зря, пошел к двери, но тут мосен Мильан задал ему вопрос:

— Пришли родственники?

— Какие родственники? — в свою очередь спросил служка.

— Не говори глупостей. Разве не помнишь про Пако-с-Мельницы?

— А, ну конечно, сеньор. Только в церкви никого нет, пока еще.

И мальчик снова вышел; он тоже думал про Пако-с-Мельницы. Как же ему не помнить Пако? Он видел, как тот умирал, а после смерти Пако люди сложили о нем романс. Кое-что из того романса служка помнил:

Осудили на смерть Пако
и его товарищей верных,
и жизнь он свою оплакал,
ступая дорогой смертной.

Насчет плача была неправда, потому что служка своими глазами видел Пако, и тот не плакал. Я видел его, думал служка, и других тоже, из машины сеньора Кастуло, я вез святые дары, чтобы мосен Мильан помазал святым елеем покойных. Служка входил и выходил, тихонько сквозь зубы напевая романс про Пако. И, не замечая того, ступал в такт песне:

...вот подошли к ограде,
центурион вскинул винтовку.

Строчка про центуриона у служки связывалась со Святой неделей, с пасхальными процессиями и молитвами. В окна ризницы просочился запах жженой травы, и мосен Мильан, не прерывая молитвы, уловил в нем желанья и муки своей собственной юности. Священник был стар и приближался к тому возрасту, думалось ему,

в котором соль теряет свой вкус, как говорится в Библии. Он бормотал молитву, не разжимая рта, прислонясь головой к стене в том месте, где на стене со временем образовалось темное пятно.

Служка выходил и входил, то с шестом зажечь свечи, то с церковным вином, то с требником.

— Есть народ в церкви? — снова спросил священник.

— Нет, сеньор.

Мосен Мильан сказал себе: пока рано. Крестьяне еще не успели закончить молотьбы. Но семья покойного не может не прийти. А колокола все звонили погребальным звоном, медленным, мерным, печальным.

Мосен Мильан вытянул ноги. Носки башмаков высохли из-под белой ризы над плетеной дроковой циновкой. Пола ризы начинала уже обтрепываться. На башмаках залегли складки в месте, где они сгибались при ходьбе, и священник подумал: надо отдать их в починку. Сапожник в селении был новый. Прежний не ходил в церковь, но обувь священнику починял с величайшим старанием и брал меньше, чем с других. Тот сапожник и Пако-с-Мельницы были закадычными друзьями.

Мосен Мильан вспомнил день, когда в этой самой церкви он крестил Пако. Утро крещения было холодным и золотистым, студеное утречко, и речной гравий, которым посыпали площадь ко Дню Тела Христова, хрустел под ногами. Ребенок прибыл на руках крестной матери, завернутый в пышные кружевные простынки, сверху было наброшено гладкое белое покрывальце, шитое тоже белым шелком. Всю возможную роскошь крестьяне приберегают для торжественных обрядов. Когда крестник вступал в церковь, малые колокола отзванивали весело. Сразу можно было понять, кого собираются крестить — мальчика или девочку. Если мальчика, то колокола — один тоном выше другого — отзванивали: *то не дочка, а сын; то не дочка, а сын*. Если же девочку, то звон менялся и получалось: *то не сын, а дочка; то не сын, а дочка*¹. Селение находилось по соседству с Леридой, и у крестьян часто проскакивали каталонские слова.

При виде младенца ребятня на площади загалдела. Крестный отец захватил с собой большой бумажный пакет и теперь доставал из него конфеты и засахаренный

¹ No és pena, que és nen; no és nen, que és pena (катал.).

миндаль. Он знал: не сделай он этого, ребятишки в один голос примутся выкрикивать обидные для новорожденного слова, поминать его пеленки, да не сухие, а мокрые.

Слышно было, как орешки отскакивали, ударяясь о двери, оконные стекла и о головы ребятишек, но те не теряли времени, не жаловались. А на колокольне малые колокольцы все отзванивали: *то не дочка, а сын*, и крестьяне входили в церковь, где их ждал облаченный, как подобает случаю, мосен Мильан.

Ту церемонию священник помнил среди сотен других, потому что крестником был Пако-с-Мельницы. На крещении присутствовало несколько человек, очень серьезных, в траурно-строгом наряде. Женщины в черных мантильях или шالях. Мужчины в крахмальных рубашках. От крестильной купели веяло древними тайнами.

Мосен Мильан был приглашен отобедать в семействе новорожденного. Никаких крайностей на том обеде не было, по зиме праздники выходили тихими, не то что летом. Мосен Мильан помнил, что на столике горели нарядные витые свечи, а у стены стояла колыбелька крещеного. Подле колыбельки—мать, с низко посаженной головой и полной грудью, торжественно-серьезная, какими обычно бывают роженицы. Отец ухаживал за гостями. Один из гостей поднялся, подошел к колыбельке и спросил:

— Это твой сын?

— Право, не знаю,—ответил отец, спокойной усмешкой подтверждая очевидную ясность дела.—Одно скажу наверняка—он сын моей жены.

Засим последовал взрыв хохота. Мосен Мильан, читавший требник, поднял голову:

— Ну, не надо. К чему такие шутки?

Женщины тоже смеялись, и больше всех—Херонима, повитуха и знахарка, она как раз подносила матери куриный бульон и стакан вина-мускателя. Потом она распеленала ребенка и переменяла ему повязку на пупочке.

— Ишь ты какой. Этот парень спляшет все, что ему положено,—говорила она, намекая на его выдающиеся мужские причиндалы.

А крестная мать все твердила, что во время крещения мальчик высунул язычок и облизнул соль, из чего следовало: хороший получится парень, от женщин отбоя не

будет. Отец ходил туда-сюда, то и дело останавливаясь поглядеть на новорожденного: «Удивительная штука жизнь! Пока не родился на свет этот малыш, я был всего лишь сыном своего отца. А теперь я еще и отец своего сына».

— Мир — круглый, что колесо, и катится, — сказал он вслух.

Мосен Мильан знал наверняка: на обед будет куропатка в соусе. В этом доме любили готовить куропатку. И когда в воздухе потянуло куропаткой, священник поднялся, подошел к колыбельке и, достав из тревника крошечную ладанку, положил ее младенцу под подушку. Не переставая молиться, священник смотрел на ребенка. Казалось, ребенок понимал, что он — центр этого праздника, и улыбался во сне. Мосен Мильан отошел от колыбельки, думая: чему он улыбается? Священник повторил свою мысль вслух, а Херонима объяснила:

— Да ему снится сон. Снятся реки из теплого молочка, и мать его.

Это «мать его» прозвучало немного двусмысленно, но все, что говорила Херонима, всегда звучало именно так.

Подошли остальные, и обед начался. Во главе стола с одной стороны сел счастливый отец. Бабушка указала священнику на другой конец стола:

— А здесь — другой отец, мосен Мильан.

Священник признал ее правоту: мальчик родился два раза, один — для мира, а другой — для церкви. И отцом второго рождения был приходский священник. Мосен Мильан ел мало, берег место для куропатки.

И теперь, двадцать шесть лет спустя, он вспоминал ту куропатку и на голодный желудок, перед церковной службой, чувствовал, как тогда, запах чеснока, уксуса и оливкового масла.

Облаченный для мессы, он вслушивался в колокола и на минуту притушил воспоминания. Поглядел на служку. Тот не помнил всего романа про Пако и, закусив палец, остановился в дверях, стараясь вспомнить:

...вот уже ведут, ведут их,
веревкой связаны руки.

Эту сцену служка видел как сейчас: кровь, выстрелы.

Священник вспоминал крестины, а служка все повторял, просто так, чтобы сказать что-то:

— Не пойму, что такое, мосен Мильан, почему сегодня не идут в церковь.

Священник помазал тогда елеем затылок Пако, нежный затылок с двумя мягкими складочками на шейке. Теперь, думал священник, этот затылок в земле, прах во прахе. В то утро все то и дело подходили поглядеть ребенка, и чаще всех—отец, однако время от времени счастливые лица чуть затуманивались. Нет на свете большей тайны, чем новорожденный.

Семья эта, вспоминал мосен Мильан, никогда не была особенно набожной, но все обязанности по приходу выполняла и следовала привычке совершать два приношения в год: одно—шерстью, а другое—зерном, в августе. Делали они так скорее по обычаю, чем из набожности, думал священник, однако же, делали.

Что касается Херонимы, ей было хорошо известно: она священнику не по нраву. Время от времени Херониме случалось—причиной тому было ее занятие или ее *присловочки-приговорочки*, как сама она выражалась,—возмутить стоячие воды селения. И молилась Херонима—чтобы отвести град или сдержать наводнения—странными молитвами, и даже к той, что оканчивалась словами «Боже Правый, Боже Всесильный, Боже Бесмертный, избавь нас, Господи, от всякого зла», она добавляла еще латинскую фразу, которая звучала полной непристойностью и значения которой священник никак не мог разгадать. Она же произносила ее самым невинным образом, а на вопрос священника, откуда она выкопала столь диковинную латынь, отвечала, что переняла у своей бабки.

Мосен Мильан был уверен, что, подойди он сейчас к колыбельке и подними подушечку младенца, он непременно обнаружит там амулет. Мальчику Херонима всегда подкладывала маленькие ножницы, раскрытые крестом, дабы оградить их от ножевой раны—от ярости железа, говорила она,—а девочкам—розу, самолично ею высушенную при свете луны, дабы даровать девочкам красоту и уберечь от тяжелых менструаций.

Один момент доставил мосену Мильану тайное удовольствие. Сельский врач, молодой человек, войдя, поздоровался, снял очки, протер их—они у него запотели—и подошел к колыбельке. Осмотрев ребенка, он строго велел Херониме не прикасаться больше к пупочку

новорожденного и не менять повязки. Он сказал это сухо и, что гораздо хуже, перед всеми. Его слышали даже те, кто находился в кухне.

Как и следовало ожидать, едва доктор вышел, Херонима отвела душу. Она сказала, что со старыми докторами у нее всегда все шло ладно, без сучка без задоринки, а этот зеленый юнец, видите ли, считает, мол, только его наука годится, да мне довольно услышать, чем ты похваляешься, и я тебе сразу скажу, чего тебе не хватает. У этого врача не столько знания, сколько форсу и зазнания. Она изо всех сил старалась посорить родителей младенца с врачом. А не знаете разве, как он ходит по домам, влетает, не постучавшись, и напрямиком — в спальню, а там, может, женщина, хозяйка, одевается, ему все нипочем. И не одну уже заставал в лифчике или в нижней юбке. А бедняжки — что? Да ничего. Вскрикнул и убегут в другую комнату. Вот он, ваш врач. Херонима все говорила и говорила, но мужчины уже не слушали. Мосен Мильбан в конце концов вмешался.

— Ладно, Херонима, замолчи,— сказал он.— Врач есть врач.

— Вина тут не в Херониме,— сказал кто-то,— а в вине.

Крестьяне говорили о делах. О том, что зерновые взошли хорошо, рассада овощных тоже прорастает, одно удовольствие будет весной высаживать бахчевые и салаты. Когда беседа начала иссякать, мосен Мильбан заговорил о суевериях. Херонима слушала в молчании.

О вещах серьезных священник говорил с крестьянским подходом. Он говорил, что церковь радуется рождению младенца так же, как и отец с матерью, и что надо оберегать ребенка от суеверий, ибо все суеверия — дело рук дьявола и не сегодня, так завтра могут повредить мальчику. И добавил, что, как знать, может, мальчик станет для христианства новым Саулом¹.

— По мне, пусть он в доме мужиком будет, а в поле — старшим,— сказал отец.

Херонима засмеялась, лишь бы позлить священника. И добавила:

— Парнишка станет тем, кем ему должно стать. Да кем угодно, только не священником.

¹ Основатель Израильско-Иудейского царства.

Мосен Мильан поглядел на нее удивленно:

— Какая ты грубая, Херонима.

Тут кто-то пришел за знахаркой. Она ушла, а мосен Мильан приблизился к колыбельке, поднял подушку и обнаружил под ней сложенные крестом гвоздик и маленький ключ. Он вынул их из-под подушки и вручил отцу со словами: «Ну, видите?» И прочитал молитву. А потом повторил, что, даже если маленький Пако и станет когда-нибудь в поле старшим, ему Пако — духовный сын, и он должен печься о его душе. Разумеется, Херонима своими суевериями большого вреда не причинит, однако добра от этого тоже не будет.

Прошли годы, и маленький Пакито превратился в Пако, и вернулся с военной службы, и умер, а мосен Мильан в годовщину его смерти хотел отслужить заупокойную; и Херонима все еще жила на свете, хотя и состарилась так, что начала заговариваться, и никто на нее больше не обращал внимания. Служка мосена Мильана, стоя в дверях ризницы, то и дело выглядывал за дверь — что делается в церкви — и говорил священнику: — Еще никто не пришел.

Священник поднимал брови и думал: не понимаю. Все селение любило Пако. Все селение, кроме дона Гумерсиндо, дона Валериано и, может быть, еще сеньора Кастуло Переса. О чувствах этого, последнего, никто не мог знать наверняка. Служка тоже рассуждал сам с собой словами романа про Пако:

Солнечный свет — на вершинах,
а в ущельях прячутся тени...

Мосен Мильан закрыл глаза и ждал. Вспоминались новые подробности детских лет Пако. Он любил мальчика, а мальчик любил его. Дети и животные всегда любят тех, кто любит их.

В шесть лет он уже «ходил в бега» — другими словами, убегал из дому к ребятишкам. И шатался с ними по соседям, от кухни к кухне. Крестьяне следуют старому присловию: соседскому мальчишке вытри нос и впусти к себе в дом. Пако было чуть больше шести, когда он первый раз отправился в школу. Дом священника был совсем рядом, и мальчик иногда заходил к нему. Приходил он к нему по доброй воле, и это трогало священника.

Он давал мальчику цветные картинки. Иногда, выходя от священника, мальчик сталкивался с сапожником, и тот говорил ему:

— Да ты, вижу, друг мосена Мильана.

— А вы разве не друг? — спрашивал мальчик.

— Ну! — уклончиво отвечал сапожник. — Священники — такой народ, за любую работу берутся, лишь бы не работать. Но мосен Мильан — настоящий святой.

Последнюю фразу он произносил с подчеркнутым почтением, дабы никто не подумал, что говорит он это серьезно.

А маленький Пако открывал для себя жизнь. Однажды он застал священника за переодеванием сутаны и, обнаружив, что под сутаной у него брюки, страшно удивился, просто не знал, что думать.

Каждый раз, встречая отца Пако, мосен Мильан справлялся о мальчике в лестной для отца форме:

— А как поживает наследник?

У отца Пако был пес, тощий и противный. Крестьяне к собакам равнодушны, обращаются с ними сурово, и, без сомнения, по этой самой причине те обожают своих хозяев. Иногда пес увязывался за мальчиком в школу. Плелся за ним, не выказывая ни особой радости, ни привязанности, и защищал его своим присутствием.

Пако изо всех сил старался убедить пса в том, что обитавший в доме кот тоже имеет право жить. Пес никак не мог этого понять, и бедному коту в конце концов пришлось убраться из селения. Пако хотел разыскать кота, но отец сказал, что это бесполезно, что хищники, должно быть, уже растерзали кота. Филины, например, терпеть не могут, если рядом появляются другие животные, которые тоже умеют видеть в темноте. Они гонятся за котами, убивают их и съедают. С тех пор как Пако узнал об этом, ночь наполнилась для него тайнами и страхами, и, ложась спать, он слушал-прислушивался к звукам, доносившимся снаружи.

Ночь, может быть, и принадлежала филинам, зато день — ребятишкам, и к семи годам Пако стал настоящий сорвиголова. Ночные страхи и заботы не мешали ему увязываться в драку, едва он выходил за дверь школы.

В то время он был уже помощником служки, вроде запасного. У ребятишек в селении были свои сокровища,

и одно из них — старый револьвер, который все время переходил из рук в руки, ни у кого больше недели не задерживался. Когда же Пако заполучил его — может, выиграл, а может, и выменял на что-то, — то он с ним не расставался ни на минуту и, даже прислуживая в церкви, держал его за поясом, под одеянием.

Однажды, меняя тревник, он преклонил колени, револьвер выскользнул из-за пояса и с грохотом вывалился на пол. Мгновение револьвер лежал на полу, и оба саужки кинулись на него. Но Пако оттолкнул того, второго, и схватил револьвер. Задрал сутану, сунул револьвер за пояс и успел ответить священнику:

— Et cum spiritu tuo¹.

Когда служба окончилась, мосен Мильан позвал Пако, отчитал его и потребовал револьвер. Но Пако успел спрятать его за алтарем. Мосен Мильан обыскал мальчика, однако ничего не нашел. А Пако так уперся, что даже палачам древней инквизиции, наверное, не удалось бы из него ничего вытянуть. В конце концов мосен Мильан признал собственное поражение и только спросил:

— А зачем тебе этот револьвер, Пако? Кого ты хочешь убить?

— Никого.

И добавил, что держит револьвер у себя, чтобы он не попал в руки других ребят, которые хуже, чем он. Этот довод поразил священника.

Мосен Мильан с вниманием относился к мальчику и знал, что семья его не очень религиозна. Священник полагал, что, сумев привлечь сына, он привлечет тем самым и всю семью. Пако было семь лет, когда в селение прибыл епископ и состоялся обряд конфирмации сельских ребятишек. Облик священнослужителя, высокого, беловласого старика, поразил Пако. В митре и плаще, с золоченым посохом в руках, он казался мальчику очень похожим на то, каким должен быть Господь бог на небесах. После конфирмации епископ разговаривал с Пако в ризнице. Епископ назвал его постреленком. Никогда раньше не слышал Пако этого слова. А разговор был такой:

— Это что за постреленок?

— Пако, к усугам Господа и Вашего преосвященства.

¹ И с духом твоим (лат.).

Мальчика заранее наставили, как себя вести. А епископ очень приветливо продолжал:

— Кем же ты хочешь быть в жизни? Священником?

— Нет, сеньор.

— Генералом?

— Тоже нет, сеньор. Я хочу стать землепашцем, как мой отец.

Епископ смеялся. А Пако, видя, что его слова понравились, продолжал:

— И чтобы у меня было три пары мулов и я выходил бы с ними на главную улицу и погонял:— Пошевеливайтесь, паскуды, мать вашу!..

Перепуганный мосен Мильан знаками велел ему замолчать. Епископ смеялся.

Пользуясь впечатлением, которое произвел приезд епископа, мосен Мильан начал готовить Пако и других ребяташек к первому причастию, а для себя решил, что больше проку, если он будет посвящен в их детские проказы, нежели если станет порицать их. Он знал, что Пако хранит револьвер, но больше никогда не заговаривал с ним об этом.

А Пако чувствовал себя в жизни уверенно. Сапожник иногда поглядывал на него чуть насмешливо—с чего бы это?—а врач, встречая его по дороге домой, говорил:

— Привет, Кабаррус¹!

Почти все соседи и друзья семьи хранили какой-нибудь секрет Пако: историю с револьвером, с разбитым оконным стеклом или оборванными черешнями в соседском саду. Самую серьезную его проказу покрывал мосен Мильан.

В один прекрасный день священник заговорил с Пако о сложных вещах: мосен Мильан учил его разбираться с собственной совестью и рассматривал все десять заповедей, от первой до последней. Когда они дошли до шестой заповеди, священник после недолгих колебаний проговорил:

— Пропусти ее, у тебя таких грехов еще нет.

Пако подумал и догадался, что речь, наверное, идет об отношениях между мужчинами и женщинами.

В церковь Пако ходил часто, хотя прислуживал

¹ Франсиско Кабаррус (1752—1810)—известный испанский политический деятель, просветитель.

только в тех случаях, когда требовались сразу два служки. А на Страстную неделю ему открылись замечательные вещи. В эти дни все в храме изменилось. Образа накрыли фиолетовыми платами, главный алтарь тоже занавесили огромным полотном цвета мальвы, а один из нефов превратился в диковинное, окутанное тайной место. Там было *распятие*. К передней его части вели широкие ступени, покрытые черным ковром.

На огромной белой блестящей подушке возвышалось металлическое распятие, накрытое фиолетовой тканью, которая, ниспадая с крыльев креста, образовывала ромбовидную фигуру. Из-под ромба выглядывало изукрашенное основание креста. Верующие приближались к нему, преклоняли колени и целовали. Рядом стоял огромный поднос, на котором лежали две-три серебряные монетки и множество медных. В полутьме церкви то тихое и освещенное место, к которому вели ступени, уставленные подсвечниками и горящими свечами, навело на Пако тайну.

Где-то за распятием невидимые для глаз двое мужчин играли на тростниковых флейтах грустную-грустную мелодию. Коротенькую мелодию, которая повторялась и повторялась целый день. Все это производило на Пако очень сильное и противоречивое впечатление.

На Великий четверг и Страстную пятницу колокола не звонили. Вместо них трещали трещотки. Под сводами колокольни были установлены два громадных деревянных цилиндра и ряды деревянных молоточков. Цилиндры вращались, и молоточки били по деревянной поверхности полых цилиндров. Этот механизм был укреплен над колоколами на оси, вделанной в стены колокольни и смазанной рыбьим жиром. Звук гигантских трещоток походил на стук костей. У служек были еще и ручные трещотки, и они трещали ими, выходя к мессе. Пако, пораженный, глядел во все глаза и слушал.

Особенно интересовали Пако статуи, возвышавшиеся по обе стороны накрытого фиолетовой тканью распятия. А само оно напоминало ему огромную фотографическую камеру с вытянутым объективом-гармошкой. Больше всего смущало Пако то, что он уже видел эти статуи, но видел их покрытыми пылью и неубранными на чердаке церкви, где был свален всякий ненужный хлам. Там были и ноги, отвалившиеся от распятий, и статуи мучеников, голые и страдающие. Головы от льющих слезы и страждущих ессе

homos¹; висевшие по стенам платки вероник; фанерные треножки, увенчанные женским бюстом; стоило набросить на них покрывало и придать ему коническую форму, и они превращались в Богоматерь, покровительницу обездоленных.

Другой служба, когда они вдвоем оставались на чердаке, вел себя с этими фигурами крайне по-свойски. Он вскакивал верхом на кого-нибудь из апостолов и костяшками пальцев стучал по его черепу, чтобы узнать—так он говорил,—не завелись ли в нем мыши; другому совал в рот свернутую трубочкой бумажку наподобие сигареты или вырывал у святого Себастьяна из груди стрелы и зверски втыкал их обратно. В углу стоял погребальный стол, на который клали покойника во время отпевания. Черное покрывало, сброшенное сверху, было закапано свечным воском, и со всех четырех сторон на нем были изображены череп и скрещенные кости. Именно под него залезал иногда второй служба и, сидя там, распевал непотребные песенки.

В Великую субботу утром ребятишки шли в церковь с маленькими деревянными колотушками, которые целый год хранили специально для этого случая. Они шли—кто бы мог подумать!—убивать евреев. Чтобы не разбили вдребезги скамьи, мосен Мильбан накануне приказывал принести к паперти три длинных-предлинных бревна. Считалось, что евреи—внутри этих бревен, а детскому воображению только дай волю. Ребятишки садились позади бревен и ждали. И как только священник во время мессы произносил слово *resurrexit*, они принимались отчаянно колотить по бревнам, и грохот продолжался до тех пор, пока не запевал хор и не начинали звонить колокола.

К концу Великой недели Пако почувствовал себя словно бы выздоровевшим после тяжелой болезни. Проповеди были потрясающими, даже названия у них были диковинные: о мраке, о семи словах, о поцелуе Иуды, о разорванных покровах. А Великая суббота выглядела как бы обратным отвоеванием света и радости. И пока на башне трезвонили колокола—после трехдневной полной тишины,—Херонима выбирала из речного песка камеш-

¹ *Esse homo* (лат.)—се человек.

ки: положишь такие камешки в рот, говорила она, и зубная боль отступит.

Пако ходил домой к священнику вместе с другими ребятишками, которых тот готовил к первому причастию. Священник наставлял их, советовал в эти дни не слишком проказничать. Не следовало затевать драк или слоняться возле пруда, где женщины стирали белье и вели слишком вольные разговоры.

У ребятишек эти наставления только разжигали любопытство, и, проходя мимо пруда, они вострили ухо. Между собой они обсуждали предстоящее событие и выдумывали чудовищные опасности, которые якобы их подстерегали: к примеру, утверждали, что во время причащения надо разевать рот как можно шире, чтобы облатка не коснулась зубов, не то причастник упадет замертво и напрямик отправится в ад.

Однажды мосен Мильан попросил служку пойти с ним — отнести святыне дары тяжелобольному. Они вышли из селения и направились туда, где домов уже не было, а люди жили в пещерах, вырытых в скалах. Вошли в одну из них через прямоугольный проем с белеными извесью краями.

Пако нес бархатную сумку, куда священник положил принадлежности для предстоящего обряда. Наклонив голову, они вошли в проем и осторожно двинулись вперед. Две комнаты, пол выложен плиткой небрежно, кое-как. Темнело, и в первой комнате не было света. Во второй тускло горел масляный светильник. Старуха в лохмотьях встретила их со свечным огарком в руках. Потолок в скале был вырублен совсем низко; хотя и можно было стоять в полный рост, священник на всякий случай нагнул голову. Кроме наружной двери, никакой вентиляции не было. В глазах старухи застыла усталость и холодный страх.

В углу, на сколоченном из досок топчане, лежал больной. Священник не проронил ни слова, женщина — тоже. Слышалось лишь трудное и хриплое дыхание, вырывавшееся из груди больного. Пако открыл сумку, и священник, облачившись в сутану, достал кусочки пакли, маленькую баночку с маслом и стал на латыни читать молитву.

Старуха с огарком свечи слушала, уставившись в пол. Силуэт больного — грудь высоко, а голова совсем низко —

четко рисовался на стене, и от малейшего колебания свечи тень на стене двигалась.

Священник обнажил ноги больного. Огромные, сухие, потрескавшиеся ступни. Ступни пахаря. Потом подошел к изголовью. Видно было, умирающий все оставшиеся силы вкладывал в этот ужасный труд — дышать. И дыхание становилось все более хриплым и частым. Пако видел: две или три мухи вились над лицом больного, отливая металлом в пламени свечи. Мосен Мильан помазал умирающему глаза, нос, ступни. Больной не замечал ничего. Закончив, священник сказал женщине:

— Господь принимает его в свое лоно.

Старуха молчала. Иногда у нее подрагивал подбородок, и тогда под кожей обрисовывалась челюсть. Пако осматривался. В пещере не было ни света, ни воды, ни очага.

Мосен Мильан спешил уйти, однако скрывал это, спешить не подобало — не по-христиански. Они пошли к выходу, и женщина со свечой проводила их до двери. Никакой мебели, только хромоногий стул прислонен к стене. В комнате, из которой был выход наружу, в углу виднелись три закопченных кирпичика и горстка остывшей золы. Священник, похоже, собирался что-то сказать, но промолчал. Они вышли.

Совсем стемнело, и в высоте засветились звезды. Пако спросил:

— Эти люди — бедные, мосен Мильан?

— Да, сын мой.

— Очень бедные?

— Очень.

— Самые бедные в селении?

— Может быть, однако на свете есть вещи и пострашнее бедности. И эти люди несчастны по другой причине.

Служка видел, что священник отвечает неохотно.

— По какой? — спросил он.

— У них есть сын, который мог бы им помогать, но я слышал, он в тюрьме.

— Он кого-нибудь убил?

— Не знаю, но, если это так, я бы не удивился.

Мальчику не молчалось. Они шли в темноте, по неровной земле. Пако вспомнил больного и сказал:

— Он умирает, не может больше дышать. А мы уходим, оставляем его одного.

Они шли дальше. Мосен Мильан выглядел совсем измученным. Пако добавил:

— Ну, не совсем одного, жена с ним. Не так страшно.

До селения было еще порядочно. Мосен Мильан сказал мальчику, что сострадать людям—добродетель и что у него доброе сердце. Мальчик спросил: люди не ходят к ним потому, что они бедные, или потому, что у них сын в тюрьме? И Мосен Мильан, желая закончить этот разговор, заверил Пако, что с минуты на минуту больной умрет и наверняка попадет на небо, где станет счастливым. Мальчик поглядел на звезды.

— Их сын не может быть плохим, Мосен Мильан.

— Почему?

— Если бы он был плохой, у его родителей были бы деньги. Он бы наворовал.

Священник не стал отвечать. Они все шли и шли.

Пако чувствовал себя счастливым оттого, что идет рядом со священником.

Быть другом священника—почетно, хотя Пако и не мог бы высказать это словами. Они шли и больше не разговаривали, но, когда дошли до церкви, Пако повторил свой вопрос:

— А все-таки—почему к ним никто не ходит, Мосен Мильан?

— Какая разница, Пако? Человек, умирая, богатый он или бедный, всегда оказывается один, даже если к нему и приходят люди. Так устроена жизнь, и Господь, который ее создал, знает, зачем так.

Пако помнил, что больной не произнес ни слова. И женщина—тоже. К тому же у больного ступни были деревянные, как ступни, что отломились от распятия и теперь валялись на чердаке. Священник положил на место сумку с елеем. А Пако сказал, что пойдет и скажет сельчанам, чтобы они навестили больного и помогли его жене. Он попросит как бы от имени Мосена Мильана, и тогда никто не откажется. Но священник сказал, что лучше ему пойти домой. Если Господь допускает бедность и горе, сказал он, значит, это зачем-то нужно.

— А что ты можешь поделать?—добавил он.— Пещеры, которые ты видел, бедны и жалки, но в других селениях есть и хуже.

Наполовину убежденный, Пако пошел домой, но за ужином два или три раза заговаривал об умирающем и

сказал, что у них там, в лачуге, нет ни полена, чтобы развести огонь. Родители молчали. Мать выходила и входила. Пако сказал, что у бедолаги, который умирал, нет матраса и он лѣжит на голых досках. Отец перестал резать хлеб и посмотрел на мальчика.

— В последний раз,— сказал он,— ходил ты с мосенем Мильаном соборовать умирающего.

Но мальчик все-таки сказал, что у больного есть сын, каторжник, а его отец в этом не виноват.

— И сын тоже.

Пако ждал, что отец скажет что-то еще, но тот заговорил о другом.

Как и в любом селении, было тут место, которое жители называли солнцегреем,—глядевшая на юг площадка среди скал. Зимой тут было тепло, а летом прохладно. Здесь собирались женщины—самые бедные и, как правило, старые—шить, прясть и судачить о том, что творится на свете.

Зимой здесь всегда было полно народу. Какая-нибудь старушка причесывала внучку. Здесь, на солнцегрее, Херонима всегда была веселой и своей веселостью заражала остальных. А случалось, ни с того ни с сего, когда на солнцегрее становилось скучно, она пускалась в пляс одна, под звук церковных колоколов.

Это она разнесла по селению историю о том, как Пако пожалел умирающего и его семью, как мосен Мильан не желал помочь им—на этом она делала особый упор—и какой запрет наложил отец мальчика. По ее словам, выходило, что отец сказал мосену Мильану:

— Что вы на себя берете, таскаете за собой парнишку на соборование?

То была неправда, но на солнцегрее верили всему, что бы ни рассказала Херонима. А Херонима с уважением отзывалась о многих, кроме, конечно, семейства дона Валериано и дона Гумерсиндо.

Двадцать три года спустя мосен Мильан вспоминал все это, сидя в своем длиннополом одеянии и прислонясь головой к стене—в том месте, где темнело пятно,—в ожидании, когда придет пора начинать службу. Он думал, что увиденное тогда в пещере очень повлияло на все, что произошло с Пако потом. Он пришел со мной. Я его привел, добавлял он в смущении. И снова появился в дверях ризницы служка и сказал:

— Еще никто не пришел, мосен Мильаён.

И повторил сообщение, потому что священник сидел с закрытыми глазами и, казалось, не слышал его. А потом, про себя, вспомнив новые строки, принялся напевать:

...в горах Пако искали,
но найти-отыскать не сумели;
с собаками к дому ходили,
чтобы псы след его взяли;
и нюхают, нюхают злыдни
старые вещи Пако.

Колокола все звонили. А мосен Мильан вспоминал Пако. «Первое причастие—словно вчера это было». После того мальчик взялся расти, и за три или четыре года вымахал почти с отца. Люди, до тех пор называвшие его Пакиито, стали звать его Пако-с-Мельницы. У его прадеда была мельница, которая теперь ничего уже не молола, и в ней хранили зерно. Там же, на мельнице, держали маленькое стадо коз. Однажды, когда козы ягнились, Пако принес мосену Мильану козленка; козленок так и остался в церковном садике.

Понемногу мальчик стал отдаляться от мосена Мильана. Почти перестал попадаться ему на улице, а навестить бывшего духовника времени не находил. Но каждое воскресенье он шел в церковь—только изредка летом пропускал мессу—и на Пасху каждый год обязательно исповедовался и причащался.

Мальчик, хотя еще и безусый, стал подражать повадкам взрослых. Теперь он уже не таясь ходил к пруду послушать, о чем разговаривают женщины, и, случалось, те метили в него ядерной шуткой, да и он за словом в карман не лез. Место, куда девушки и молодые женщины собирались стирать, называлось прудовой площадью; это и впрямь была площадь, две трети которой занимал довольно глубокий пруд. Жаркими летними вечерами молодые парни приходили сюда искупаться и плавали в чем мать родила. Прачки, казалось, приходили в смущение. Но то было лишь на словах. Крики, смех и шуточки, которыми они перебрасывались с парнями под щелканье аистов, гнездившихся на колокольне, обнаруживали простую и незамысловатую радость.

Однажды вечером и Пако-с-Мельницы пошел искупаться и часа два в полное удовольствие плавал, на

радость не устававшим зубоскалить прачкам. Они подначивали его и подзадоривали—вроде бы поддевали, а на самом деле желали польстить, как это умеют делать женщины. С этого момента началась его взрослая жизнь. После того случая родители уже не возражали, если он уходил по вечерам и возвращался, когда они уже спали.

Иногда Пако разговаривал с отцом о делах семьи. Однажды они заговорили об очень важном: о том, как арендуются горные пастбища и во что эта аренда им обходится. Каждый год они вносили плату старому герцогу, который никогда не бывал в селении, а плату взимал с жителей пяти окрестных сел. Пако счел это неправильным.

— Правильно это или неправильно—спроси у мосена Мильана, он приятель дона Валериано, герцогского управляющего. Поди спроси, увидишь, что будет.

Пако с юношеской непосредственностью задал этот вопрос священнику, и тот сказал:

— Какое тебе дело до всего этого, Пако!

Пако набрался смелости сказать—он слышал это от своих родителей,—что в селении есть люди, которым живется хуже, чем скотине, и что можно было бы им помочь выбраться из прозябания.

— Какое же это прозябание?—сказал мосен Мильан.—Есть места, где люди живут и хуже.

И стал корить его за то, что он ходит на прудовую площадь, плавает на виду у женщин. Тут Пако пришлось замолчать.

А Пако вырослел и становился все серьезнее. По воскресеньям под вечер, надев новые вельветовые штаны, белую рубашку и жилет в цветочек, он шел играть в кегли. Сидя дома над молитвенником, мосен Мильан слушал стук шаров и звяканье монет—парни делали ставки. Иногда священник выходил на балкон. Видел Пако, такого повзрослевшего, и думал: «Вот он. А ведь будто вчера крестил его».

Священнику становилось грустно: ребяташки вырастают и отдаляются от церкви, и только потом люди снова возвращаются к ней—в старости, когда начинают бояться смерти. А к Пако смерть пришла гораздо раньше старости, и вот мосен Мильан сидит в ризнице и вспоминает, вспоминает в ожидании минуты, когда ему начинать службу. А колокола все звонят на колокольне.

Снова вышел служка:

— Мосен Мильбан, дон Валериано прибыл.

Священник по-прежнему сидел с закрытыми глазами, прислонясь головой к стене. Служка вспомнил еще строки:

...и в горной долине Пардина
настигли они Пако.
Сдавайся, сдавайся, Пако,
не то уьем на месте.

В дверях ризницы показался дон Валериано. «С вашего позволения»,— сказал он. Дон Валериано одевался, как городские господа, только на жилете у него было больше, чем надо, пуговиц и массивная золотая цепь с брелочками позвякивала при ходьбе. Лоб у дона Валериано был узкий, глаза глубоко посажены. Усы висели, скрывая углы рта. Когда речь заходила о деньгах, он употреблял слово *затраты*, которое казалось ему более благородным. Видя, что мосен Мильбан не открывает глаз и словно бы не замечает его, дон Валериано сел и сказал:

— Мосен Мильбан, в прошлое воскресенье вы с амвона сказали, что надо забыть. Забыть нелегко, но вот я— первый.

Священник, не открывая глаз, кивнул. Дон Валериано положил шляпу на стул и добавил:

— И плачú за нее, за мессу, если вы намерены ее отслужить. Скажите, сколько и все такое прочее.

Не открывая глаз, священник отрицательно качнул головой. Он помнил, что дон Валериано больше других причастен к злополучной кончине Пако. Он служил управляющим у герцога, да и сам владел землями. Дон Валериано, как всегда довольный собой, снова заговорил:

— Я говорю, забудем старые счета. Я, как и мой покойный папаша, незлобивый.

А у мосена Мильбана в памяти звучал голос Пако. Он вспомнил день, когда Пако женился. Пако женился не с бухты-баряхты, как, бывает, женятся молодые парни, едва в них безудержно вспыхнет желание. У Пако все вершилось без спешки и доброты. Перво-наперво семейство Пако заботило, как бы его не забрали на военную службу. Все может быть, вытщит на жеребьевке плохой номер— и отправится в солдаты, эта мысль не давала им покоя. Мать Пако поговорила со священником, и тот посовето-

вал им молить милости у Господа бога и благочинными делами заслужить ее.

Мать предложила сыну на Пасху пойти в процессии; на Страстную пятницу выйти вместе с другими на покаяние босым, опутав щиколотки цепями. Пако отказался. Ему случалось видеть этих каяльщиков. К ногам они привязывали цепи длиною не менее шести метров, цепи страшно гремели и громыхали по каменным плитам и утоптанной земле. Некоторые искупали бог знает какие грехи и, по велению священника, шли с незакрытыми лицами, чтобы все их видели. А те, что всего лишь просили какого-нибудь даяния, предпочитали закрывать лица.

Когда в сумерки процессия возвращалась в церковь, щиколотки у каяльщиков кровоточили, и все они при каждом шаге переваливались из стороны в сторону и влачились понуро, точно загнанная скотина. Пение богомолоч звучало диковинным противоречием громыханию тех цепей. А под сводами храма цепи гудели и гремели еще страшнее. На колокольне в это время грохотали трещотки.

Пако вспомнил, что старики ходили на покаяние всегда с незакрытыми лицами. И когда они проходили мимо, женщины переговаривались, сообщали друг другу жуткие вещи:

— Смотри-ка,—говорила Херонима.— Вон идет Хуан, с улицы Святой Анны, тот, что ограбил вдову портного.

Каяльщик обливался потом, волочил цепи. А женщины, прикрыв ладонью рот, шептались:

— А вот тот — Хуан, коровий пастух, подсыпал матери сулемы, чтоб поскорее наследство получить.

Отец Пако, к религии относившийся равнодушно, решил сам пойти с цепями на ногах. Облачился в черное длиннополое одеяние с капюшоном, затянулся по поясу белой веревкой. Мосен Мильан не мог этого понять и сказал Пако:

— Это не зачтется, отец поступает так, чтобы легче было договориться со старшим, если тебе выпадет жребий идти на военную службу.

Пако передал эти слова отцу, и тот, все еще залечивавший солью и уксусом стертые щиколотки, воскликнул:

— Я вижу, мосен Мильан любит говорить лишнее.

Однако по той причине или по другой, но Пако на

жеребьевке вытащил один из самых крупных номеров, и вся семья так была счастлива, что им пришлось скрывать свою радость, выходя на улицу, чтобы она не ранила тех, кому выпали номера мелкие.

Самым лучшим в невесте Пако, по мнению сельчан, было ее прилежание и трудолюбие. За два года до того, как стать ее женихом, Пако на работу в поле каждый день обязательно шел мимо ее дома. Едва заря занималась, а у девушки на окнах уже проветривалось постельное белье и улица перед домом была не только чисто выметена, но и по-летнему свежеполита. Иногда Пако видел и саму девушку. Проходя мимо, он здоровался, и она ему отвечала. Со временем приветствия становились выразительнее. Потом они начали перебрасываться словечком: что да как в поле. В феврале, например, она спрашивала:

— Ты уже видел жаворонков?

— Нет еще, но, того гляди, появятся,— отвечал Пако,— ведь дрок уже зацветает.

А потом, боясь, что не увидит девушку в дверях или в окне дома, Пако заранее стал оповещать о своем приближении, громко понукая мулов, а если этого было мало — то песней. К середине второго года она — а ее звали Агеда — уже смотрела ему прямо в лицо и улыбалась. А когда устраивались танцы, приходила туда с матерью и танцевала только с Пако.

Позднее произошел случай, наделавший шуму. Однажды алькальд запретил ночную ронду, узнав, что на нее собираются три соперничающие компании и может выйти драка. Вопреки запрету Пако с приятелями отправились на ронду, двое жандармов разогнали гулянье, а Пако задержали. Его повели *проспать* в тюрьму, а Пако по дороге отобрал у жандармов винтовки. Правду сказать, жандармы, которые были в приятельских отношениях с Пако, не ожидали от него подобной выходки. А Пако с двумя винтовками пришел домой. На следующий день все уже знали о случившемся, и мосен Мильан пришел к Пако и сказал, что дело это нешуточное и может обернуться неприятностью не только для самого Пако, но и для всего селения.

— Почему? — спросил Пако.

Мосен Мильан припомнил, что подобный случай был как-то и в другом селении и правительство в наказание

предписало на десять лет оставить округу без жандармов.

— Представляешь? — сказал напуганный священник.

— А мне и без жандармов неплохо.

— Не говори глупостей.

— Я говорю правду, мосен Мильан.

— Ты что же, думаешь, без жандармов можно удерживать людей в порядке? На свете много зла.

— Я в это не верю.

— А люди из пещер?

— Лучше не жандармов держать, а с пещерами покончить, мосен Мильан.

— Мечтатель. Ты просто мечтатель.

Алькальд не стал раздувать скандала, водворил винтовки на место и замыл дело. А Пако тот случай принес славу отчаянного парня. Агеде это нравилось, хотя и внушало беспокойство.

И пришел день, когда Агеда с Пако договорились пожениться. Нравом невеста была живее будущей свекрови, и, хотя вела себя смиренно и почтительно, характерами они не очень сходились. Мать все твердила Пако:

— Тихий омут. Осторожно, сынок, она — тихий омут.

Пако отделялся шутками. Ясное дело, материнская ревность. Как и положено жениху, он выходил на ронду ночью, а накануне для Святого Хуана засыпал цветами и зелеными ветками все подоконники, дверной порог, крышу и даже трубу в доме своей невесты.

И свадьба получилась такой, какую ожидали. Пир горой, музыка, танцы. Еще венчание не начиналось, а у многих белые рубахи уже пестрели винными пятнами — крестьяне упрямо пили вино только из бурдюков. Жены пытались их отговаривать, но те знай смеялись и твердили, что напоят рубахи допьяна, а потом отдадут их бедным. Этой прибауткой — мол, отдать бедным — они тешили себя, убеждали, что сами-то они, конечно, не бедные.

Во время венчания мосен Мильан обратился к жениху и невесте с маленькой речью. Он вспомнил, как крестил и конфирмовал Пако, вспомнил первое причастие. Зная, что жених и невеста не слишком тверды в вопросах религии, он напомнил им, что церковь является матерью для всех и источником не только земной, скоротечной жизни, но и жизни вечной. Как всегда бывает на свадьбах, некоторые женщины плакали и звучно сморкались.

Мосен Мильан сказал еще и много других вещей, а закончил следующими словами: «Сей смиренный слуга Господа, благословлявший ваше ложе при рождении, ныне благословляет ваше брачное ложе и, если Господу будет угодно, в назначенный час благословит ваше смертное ложе. In nomine Patris et Filii¹!...»

Пако решил, что насчет смертного ложа было сказано не к месту. Ему вдруг вспомнился предсмертный хрип бедняка, которому он давным-давно, мальчишкой, носил святые дары. (То был единственный раз, когда он видел смерть.) Но в такой день зачем вспоминать грустное...

Венчание окончилось, и они вышли из церкви. В дверях их поджидали человек пятнадцать — все с гитарами и бубнами — и заиграли во всю мочь. А на колокольне тоненько отзванивал самый маленький колокол.

Какая-то девушка, прижимая огромный кувшин к бедру, при виде свадебной процессии сказала:

— Всякая себе пару находит, и я, глянь-ка, тоже не одна!

Процессия направилась к дому жениха. Матери новобрачных не переставая плакали. Мосен Мильан быстро переоделся в ризнице и тоже пошел на праздник. Неподалеку от дома жениха ему повстречался принаряженный сапожник. Сапожник был низенького росточка и, как почти все его товарищи по ремеслу, широк в бедрах. Мосен Мильан, со многими бывший на «ты», сапожнику всегда говорил «вы». Он спросил сапожника, был ли тот нынче в доме Господа.

— Вот в чем все дело, мосен Мильан. Если этот дом — Господа, то я недостойн туда ходить, а ежели нет — то что мне там делать?

Но, прежде чем пойти дальше, своей дорогой, улучил момент и сообщил священнику необычайные вещи. Сказал, что знает от верных людей: в Мадриде король зашатался, а коли он упадет, то много чего еще упадет вместе с ним.

От сапожника пахивало вином, и потому священник не придал значения его словам. А сапожник со странной радостью повторил:

— В Мадриде готовится заварушка, господин священник.

¹ Во имя Отца и Сына... (лат.)

Может, в том и была доля правды, да сапожник имел славу человека с длинным языком. И равняться с ним могла одна Херонима.

Повадками сапожник походил на старого кота, он никому не был другом или недругом, но разговаривать—разговаривал со всеми. Мосен Мильан вспомнил, что газета, выходившая в главном городе провинции, не обнаруживала никакой тревоги по поводу происходящего в Мадриде. Право же, он не знал, что и думать.

Священник смотрел на торжественных новобрачных, на шумно ликующую молодежь, на сдержанно веселящихся стариков. И ни на минуту не переставал думать о том, что сказал сапожник. Сапожник надел костюм, в котором, по его словам, был на собственной свадьбе, и от костюма пахло камфорой. Сейчас вокруг него толпились шесть или восемь гостей, все те, кто мало привержен церкви. Должно быть, он рассказывает им, думал мосен Мильан, о скором падении короля и о том, что в Мадриде *готовится заварушка*.

Начали разносить вино. На одном столе был приготовлен маринованный перец, куриная печенка и редиска в уксусе—закуска для аппетита. Сапожник наливал себе вина, прежде выбрав бутылку по вкусу. Мать жениха указала ему на одну:

— Вот это—терпкое.

В соседней комнате были накрыты столы. А по кухне бродила Херонима, приволакивая сведенную ревматизмом ногу.

Старуха-то старуха, однако веселила, развлекала до смеху молодежь.

— Не велят мне из кухни выходить,—говорила она,—боятся, как бы от моего духу вино не скисло. А мне—все одно. В кухне-то еще лучше. Я ведь в жизни толк понимаю. Замуж не вышла, в церкви не венчана, но за церковной оградой все мужики, кого только хотела, были мои. Одинокую осталась, но как кошка нагулялась.

Девушки смущались, но хохотали.

В дом вошел сеньор Кастуло Перес. Его приход произвел впечатление—такого гостя никто не ожидал. Он принес две фарфоровые вазы, завернутые в бумагу и аккуратно перевязанные ленточкой. «Не знаю, что там,—сказал он, вручая их матери невесты.—Это моя хозяйка положила». Увидев священника, он подошел к нему:

— Мосен Мильан, похоже, в Мадриде готовится переворот.

Слова сапожника можно было подвергнуть сомнению, но заявление сеньора Кастуло — ни в коем случае. Сеньор Кастуло — человек осторожный, и, похоже, искал дружбы Пако. С какой целью? До священника доходили разговоры насчет выборов. Но когда священник спросил сеньора Кастуло напрямую, тот ответил уклончиво: «Какие только слухи не ходят». И, обернувшись к отцу жениха, крикнул весело:

— Нам главное — не что с королем будет, скинут его или оставят, а чтобы изморозь не побила виноградники. Пусть Пако скажет, если я не прав.

— В такой день, как сегодня, Пако, пожалуй, и не до виноградников, — сказал кто-то.

Сеньор Кастуло только повадки имел простецкие, а характер — железный. Да это и видно было по глазам, холодным и цепким. Прежде чем обратиться к священнику по сути, он всегда начинал словами: «С должным почтением...» Однако по всему чувствовалось, что почтение его не так уж велико.

А гости все прибывали, и вот уже, кажется, все собрались.

Не отдавая себе в этом отчета, они занимали места согласно своему положению в обществе. Все, за исключением священника, стояли в ряд по стенам. Чем важнее был гость — а важность каждого определялась его имущественным, — тем ближе он становился к переднему углу комнаты, где стояли два кресла-качалки и шкафчик с манильскими шальями и перламутровыми веерами, составлявшими гордость семьи.

В одном из кресел — Мосен Мильан. Рядом — новобрачные, стоя, принимали поздравления прибывающих гостей, а заодно договаривались с владельцем единственного в селении наемного автомобиля о том, сколько он возьмет за то, чтобы довезти их до железнодорожной станции. Владелец автомобиля, у которого был контракт на доставку почты, говорил, что ему запрещено везти в машине одновременно более двух пассажиров и поскольку один, по контракту, уже есть, то с новобрачными выходит трое. Тут в разговор вступил сеньор Кастуло и предложил отвезти новобрачных на своей машине. Услышав о таком предложении, священник насторожился.

Он не считал сеньора Кастуло близким другом этой семьи.

Пользуясь тем, что девушки, разносившие вино, сновали туда-сюда, Херонима передала с одной из них насмешливое послание сапожнику, и тот объяснил стоявшим рядом с ним:

— У нас с Херонимой свой любовный телеграф.

В этот момент на улице заиграли музыканты.

Кто-то запел:

Глаза жениха и невесты
что ясные звезды сияют;
в ее глазах — нежность жасмина,
в его — огонь розмарина.

И во второй песне, которую запели вслед за долгим проигрышем веселой танцевальной хоты, снова говорилось о свадьбе, и это было совершенно естественно:

Пусть здравствуют Пако-с-Мельницы
и Агеда, стройная дева.
Вчера — жених и невеста,
отныне — навеки вместе.

Музыканты наяривали вовсю, так играют крестьяне, у которых руки грубеют от работы, а горячие сердца не черствеют. Когда же они решили, что играли достаточно, то всей компанией вошли в дом. Сбились в свою группку на конце, противоположном переднему, и там остались пить и разговаривать. А потом все прошли в столовую.

Во главе стола сели жених с невестой, их родители, мосен Мильан, сеньор Кастуло и еще несколько богатых сельчан. Священник заговорил о детстве Пако, помянул его детские проказы, но при этом не забыл, как мальчик негодовал на филинов, которые по ночам охотятся на бродячих кошек, вспомнил, как он хотел, чтобы все селение навещало бедных людей из пещер и помогало им. Когда он говорил об этом, то заметил, что взгляд у Пако стал серьезным и сдержанным, и священник сменил тему, добродушно припомнил случай с револьвером и некоторые проделки Пако на прудовой площади.

Чего только не было на столе — и куропатки под соусом, и запеченная форель, и фаршированные каплуны! Из рук в руки переходили кувшины, бурдюки и бутылки с вином разных лет урожая.

Весть о свадьбе долетела и до солнцегрея, и там старухи прядильщицы тоже выпили за здоровье новобрачных, а вино отнесли им Херонима с сапожником. Сапожник в тот день был веселее обычного и острее на язык, он сказал, что на белом свете только священников все называют отцом, все, кроме их родных детей, которые кличут их дядей.

Старухи разговаривали, намекали на новобрачных:

— Ночами-то свежо стало.

— В самый раз нырнуть дружку под бочок.

А одна рассказала, что на ее свадьбу снег выпал до колен.

— Худо пришлось жениху,— сказала другая.

— Почему?

— Да верно, все его мужские достоинства от холоду в печенки ушли.

— Эй ты, чугунный зад. Как овдовеешь, вспомни про меня, может, чего и обломится,— крикнула Херонима.

В ответ сапожник—не ей в обиду, а чтоб людей посмешить—выпустил целый залп смешных ругательств:

— Заткнись ты, дьявольское отродье, язык твой без костей, подрезать бы его не мешало, старая греховодница, чучело огородное. Помолчи и послушай добрую новость: Его величество король играл-играл—и доигрался, влип в историю.

— А мне-то что?

— А то, что при республике ведъм на кострах не жгут.

Сама про себя Херонима говорила, что летает на метле, но другим такого не позволяла. И хотела уже ответить сапожнику, но тот продолжал:

— Говорю тебе, чумичка, старая плутня, подзаборница, рвотное зелье, тварь богомерзкая, пигалица криволапая, мутноглазая, мокроносовая, куница вонючая...

Знахарка пятилась, а он наступал на нее и все сыпал, сыпал... Старухи надрывали животики от хохоту, а сапожник решил—пока Херонима не оправилась от замешательства—с победой удалиться. Уходя, он прислушивался к тому, что говорилось за его спиной. И слышал голос Херонимы:

— Кто бы мог подумать, что у старого баламута столько *приговорок* залежалось?

И снова заговорили о новобрачных. Пако в селении был самым завидным парнем и невесту достойную взял. И

в откровенных выражениях старухи пустились обсуждать, что да как будет у них в первую брачную ночь.

Семь лет спустя мосен Мильбан вспоминал ту свадьбу, сидя в старом кресле в ризнице. Он не открывал глаз, не хотелось утруждать себя разговором с доном Валериано, алькальдом. Ему всегда было трудно с ним говорить, потому что дон Валериано никогда не слушал собеседника.

В церкви слышались шаги, то были сапоги дона Гумерсиндо. Ни у кого в селении не было больше таких сапог, и мосен Мильбан наверняка знал, что это дон Гумерсиндо, до того еще, как тот вошел в ризницу. Дон Гумерсиндо был весь в черном; увидав, что священник сидит с закрытыми глазами, он тихо поздоровался с доном Валериано. Попросил позволения закурить и достал кiset. И тогда мосен Мильбан открыл глаза.

— Кто-нибудь еще пришел? — спросил он.

— Нет, сеньор, — сказал дон Гумерсиндо извиняющимся тоном, словно в том была его вина. — Я в церкви не заметил, как говорится, ни одной живой души.

Мосен Мильбан выглядел усталым, он снова закрыл глаза и прислонился головой к стене. Вошел служка, и дон Гумерсиндо спросил его:

— А ты, пацаненок, знаешь, по ком заупокойная?

В ответ у мальчика сорвались с языка слова романа:

Вот несут его неживого,
несут его на кладбище...

— Дальше не надо, паренек, не надо, тут алькальд, он тебя в тюрьму запрячет.

Служка испуганно поглядел на дона Валериано. Тот, уперши взгляд в потолок, сказал:

— Каждой шутке — свое время и место.

Повисло тяжелое молчание. Мосен Мильбан снова открыл глаза и встретился взглядом с доном Гумерсиндо, шептавшим:

— По правде сказать, не знаю, может быть, следует принять меры...

Священник заговорил и сказал, что для этого нет оснований. И велел служке выйти на площадь, посмотреть, может, народ там ожидает начала службы. Бывало, что люди не входили, пока не отзвонят колокола. Однако

на самом деле священник не хотел, чтобы служба произнес те слова из романса, где говорилось о нем:

Священник, его крестивший,
мосен Мильан нареченный,
не вылезая из машины,
грехи ему отпускает.

Дон Гумерсиндо любил распространяться о своей доброте, как говорится, и о тех неблагодарных, что воздавали ему злом за его добро. Особенно уместным представилось показать ему свою доброту сейчас перед священником и доном Валериано. Его одолел приступ щедрости:

— Мосен Мильан, сеньор священник, вы меня слышите? Вот тут два дура, на сегодняшнюю службу.

Священник открыл глаза, словно просыпаясь, и сказал, что дон Валериано сделал точно такое же предложение, однако эту заупокойную службу он хочет отслужить без платы. Наступило долгое молчание. Дон Валериано наматывал на указательный палец золотую цепочку, а потом отпускал ее. Брелоки звенели. В одном из брелоков, в медальоне, была заперта прядь волос его покойной жены. В другом — мощи святого, доставшиеся ему в наследство от прадеда. Тихим голосом дон Валериано заговорил о ценах на шерсть и кожу, но ему никто не ответил.

Мосен Мильан, с закрытыми глазами, все еще вспоминал свадьбу Пако. В столовой какая-то гостья потеряла сережку, и двое мужчин ползали на четвереньках по полу, искали. Мосену Мильану подумалось, что на всех свадьбах всегда находится женщина, которая теряет сережку из уха, ее всегда ищут и всегда — напрасно.

Невеста — уже не бледная, как утром, после бессонной ночи, — вновь обрела свой цветущий вид. Она то и дело спрашивала у жениха, который час. И после обеда новобрачные уехали на станцию в машине, за рулем которой сидел сам дон Кастуло.

Почти все гости высыпали на улицу и провожали новобрачных громкими кликами и шутками. Многие затем разошлись по домам, а молодежь завела танцы.

Мосен Мильан все вспоминал и вспоминал, не хотелось вникать в то, о чем говорили дон Гумерсиндо и дон Валериано, которые, как всегда, разговаривали, не слушая друг друга.

Через три недели после свадьбы Пако с женой возвратились, а в следующее за тем воскресенье состоялись выборы. Вновь избранные советники были людьми молодыми и все, за редким исключением, по словам дона Валериано, люди малопочтенные. Отец Пако обнаружил, что все, вместе с ним избранные, считаются противниками герцога и ярыми врагами сложившейся системы аренды. Узнав об этом, Пако почувствовал себя счастливым и подумал, что, пожалуй, в первый раз политика на что-то сгодится. Давайте отнимем у герцога травы, твердил он.

Результаты выборов немного всех озадачили. Священник был в замешательстве. Ни одного из советников нельзя было назвать человеком твердых религиозных устоев. Он позвал Пако и спросил его:

— Что за разговоры ходят насчет герцогских пастбищ?

— Разговоры как разговоры. Все — правда. Настали новые времена, мосен Мильан.

— А что в них нового?

— Короля провожают под фанфары, и с богом, счастливого пути.

Пако думал, что священник заговорил с ним потому, что не решился говорить об этом с его отцом. И добавил:

— Признайтесь, мосен Мильан, вам ведь известно: с того дня, как носил с вами святые дары в пещеру, я, и не я один, думаем, ломаем голову, как нам исправить эту несправедливость. И особенно теперь, когда случай представился.

— При чем тут случай? Такие вещи делаются с деньгами в руках. А вы где их возьмете?

— У герцога. Сдается мне, что для всех герцогов настал день Святого Мартина.

— Замолчи, Пако. Я не утверждаю, что герцог всегда прав. Он тоже человек и тоже может совершать ошибки, но в таких делах всегда надо ходить прямой дорогой, а не баламутить людей и не разжигать дурные страсти.

Слова юноши обсуждались на солнцегрее. Рассказывали, будто Пако заявил священнику: «И королей, и герцогов, и священников — всех резать будем, как свиней в день Святого Мартина». Но на солнцегрее всегда немного преувеличивали.

Вскоре стало известно, что король бежал из Испании.

Новость эта потрясла дона Валериано и священника. Дон Гумерсиндо просто отказался этому верить, утверждал, что это выдумки сапожника. Мосен Мильбан два дня не выходил за церковную ограду и в храм шел не улицей, а двором, чтобы ни с кем не разговаривать. В первое же воскресенье на мессу собралось много народу, послушать, что скажет мосен Мильбан, но священник на эту тему ни словом не обмолвился. В следующее воскресенье церковь была пустой.

... Пако пошел поговорить к сапожнику, но тот замкнулся и молчал.

А между тем трехцветный флаг¹ развевался на балконе аюнтамьенто и над дверью школы. Дон Валериано и дон Гумерсиндо не показывались на улице, а дон Кастуло старался встретиться с Пако и пройти рядом с ним по улице, но дон Кастуло играл сразу двумя колодами, потому что, увидев священника, говорил ему, понизив голос:

— Куда мы катимся, мосен Мильбан?

В селении предстояло провести повторные выборы: по мнению дона Валериано, некоторые детали в процедуре предыдущих делали их незаконными. На вторых выборах отец Пако отдал свое место сыну. И парня выбрали.

В Мадриде отменили привилегии землевладельцев, установленные еще в средние века, и присоединили их земли к муниципальным владениям. И хотя герцог стоял на том, что его горные пастбища под это положение не подходят, все пять селений, по инициативе Пако, договорились не платить больше герцогу арендной платы до тех пор, пока трибунал не вынесет своего решения. Когда Пако пришел сообщить об этом дону Валериано, тот на минуту уставился в потолок, крутя на пальце медальончик с локоном покойной жены. Наконец он решил не понимать, что к чему, и попросил, чтобы муниципалитет дал ему письменное распоряжение.

Новость пошла гулять по селению. На солнцегрее рассказывали, что Пако угрожал дону Валериано. С удовольствием расписывали дерзость и высокомерие Пако, какие не по плечу были им самим. На солнцегрее любили семью Пако и других таких же, как он, мужчин,

¹ Республиканский флаг, красно-желто-фиолетовый.

которые работали от зари до зари. Женщины с солнцегрея ходили в церковь, однако не отказывались посмеяться, когда Херонима распевала песенку, где были и такие слова:

Священник позвал служанку
молиться с ним на полянку.

Никто в точности не знал, что аюнтамьенто собирается делать для тех, кто «жил в пещерах», но фантазия работала и надежды у бедняков разгорались. Пако отнесся к вопросу очень серьезно, и на всех собраниях только об этом и говорили.

Пако послал дону Валериано решение властей, и управляющий передал его хозяину. В ответ от герцога была получена следующая телеграмма: «Приказываю моим сторожам охранять горные пастбища и стрелять в любого—будь то животное или человек,—кто ступит на них. Властям следует широко объявить мой приказ, дабы избежать потерь, имущественных или людских». Прочитав эту телеграмму, Пако предложил алькальду: пусть сторожа уволятся с этих должностей, а им дадут другие, которые оплачиваются лучше—по обслуживанию оросительной системы. Сторожей было всего трое, и они с удовольствием согласились. Сложили свои карабины в углу зала для собраний, и все селение беспрепятственно выгнало свой скот на горные пастбища.

Дон Валериано, посоветовавшись прежде—и не раз—с мосеном Мильаном, позвал Пако к себе домой; тот пришел. Дом у дона Валериано был огромным и мрачным, с нависающими над улицей балконами, с большими воротами. Дон Валериано заранее настроился на мирный, рассудительный лад и пригласил Пако закусить. Дон Валериано заговорил о герцоге в тоне шутивного и свойском. Он знает, Пако винит герцога в том, что тот будто бы никогда не бывает в селении, однако это не совсем так. Трижды за последние годы герцог приезжал взглянуть на свои владения, только ночевал он не здесь, а в соседнем селении. А еще дон Валериано помнит: когда сеньор герцог и сеньора герцогиня разговаривали с самым старым из сторожей, а тот слушал, держа шляпу в руке, вышла занятная история. Сеньора герцогиня расспрашивала сторожа о каждом человеке из его семей-

ства. И когда поинтересовалась старшим сыном, дон Валериано помнил слово в слово, что ей ответил сторож, и теперь повторил:

— Кто, Мигель-то?—сказал сторож.— Да накрутите, вашесочство, хвост этому Мигелю, чего он там, в своей Барселоне, сидит, девять песет в день получает!

Дон Валериано смеялся. Засмеялся и Пако, но тут же снова стал серьезным и сказал:

— Очень может быть, что герцогиня — человек душевный, не спорю. Про герцога я слышал всякое. Только все это никакого отношения не имеет к нашему делу.

— Что правда — то правда. Итак, вернемся к нашему делу, сеньор герцог согласен повести с вами переговоры,—сказал дон Валериано.

— Насчет горных пастбищ?—(Дон Валериано сделал утвердительный жест.)—Тут не о чем договариваться, тут надо склонить голову, и все.

Дон Валериано ничего не сказал, а Пако решился добавить:

— Сдается, герцог никак не может перестроиться со старого.

Дон Валериано продолжал молчать, глядя в потолок.

— А раз так — значит, мы сами спляшем эту хоту,—добавил Пако.

Наконец дон Валериано заговорил:

— Ты сказал: склонить голову. А ты знаешь, кто склоняет голову? Только быки под ярмом.

— И честные люди перед законом.

— Я-то знаю, что закон такой есть, да вот адвокат сеньора герцога думает иначе. Разные бывают законы.

Пако налил себе вина, пробормотав: «С вашего позволения». Эта маленькая вольность оскорбила дона Валериано, он улыбнулся и сказал: «Наливайте», когда стакан Пако был уже полон.

Пако снова спросил:

— О чем же герцог собирается договариваться? Есть только один путь: отдать горные пастбища и больше к этому вопросу не возвращаться.

Дон Валериано смотрел на стакан Пако и поглаживал усы, такие гладкие, такие аккуратно округлые, что казались накладными. Пако пробормотал:

— Надо бы поглядеть, какие бумаги есть у герцога на эти пастбища. Если они вообще у него есть!

Дон Валериано начал раздражаться:

— И тут ты ошибаешься. Речь идет о многовековом владении, и в этом вся сила. Нельзя переделать в один день то, что складывалось четыреста лет. Горы—это тебе не бутылка вина,—добавил он, видя, что Пако снова наливает себе в стакан,—а дарованная привилегия. Привилегия, дарованная королем.

— То, что было сделано человеком, может быть человеком и переделано, я так считаю.

— Верно, только человек человеку рознь.

Пако помотал головой.

— Что касается этого,—проговорил он, допив второй стакан и прищелкнув языком,—передайте герцогу: если у него столько прав, то пусть приходит сюда сам защищать их, да пусть винтовку не забудет, те, что были у сторожей, теперь в наших руках.

— Пако, что я слышу! Кто бы мог подумать: у человека всего ничего, клочок земли да пара мулов, а он осмеливается так разговаривать! После этого меня уже ничего не удивит.

Переговоры закончились, дон Валериано сообщил их результаты герцогу, тот прислал новый приказ, управляющий оказался между двух огней, не зная, что делать, в конце концов уехал из селения, но прежде побывал у мосена Мильана, на свой лад пересказал ему то, что произошло, и заявил, что теперь, видно, селением будут править приговорки, сочиненные на солнцегрее. Он сказал, будто Пако угрожал и оскорблял его, и особенно напирал на подробность с бутылкой. Священник что-то слушал, а что-то пропускал мимо ушей.

Теперь он вспоминал все это в ризнице и жалостливо чуть кивал головой. Снова вошел служка и прислонился к притолоке; ему не стоялось на месте, он потирал ногу о ногу и, глядя на священника, вспоминал новые строки романса:

Четверо Пако вносили,
вносили его на кладбище,
матери, пусть будут здоровы
дети, и да хранит их
господь наш всемогущий
с ангелами святыми...

Дальше в романсе говорилось о других преступниках, которые умерли тогда же, но служба не помнил их имен. Все они были убиты в те самые дни. Хотя в романсе это слово не упоминалось, а говорилось: были казнены.

Мосен Мильбан вспоминал. В последнее время вера в бога у дон Валериано сильно пошатнулась. Дон Валериано говорил, что бог, который позволяет твориться такому, не заслуживает большого уважения. Священник устало слушал его. Несколько лет назад дон Валериано подарил решетку часовне Иисуса Христа, а герцог дважды оплачивал ремонт церковного свода. Мосену Мильбану не был знаком порок неблагодарности.

На солнцегрее поговаривали, что теперь, когда деньги за аренду пастбищ идут в аюнтамьенто, там, мол, думают, как улучшить жизнь в селении. Старухи с солнцегрея в один голос славил Пако-с-Мельницы и твердили, что парень он крепкий и все у него на своем месте.

Соседнее селение проводило себе питьевую воду к самой площади. У Пако-с-Мельницы были другие планы—в его селении вода была,—и он не переставал думать о пещерах, обитатели которых всегда представлялись ему хрипящими в последних смертных муках, а вокруг—ни света, ни огня, ни воды. И даже воздуха—дышать—им не хватает.

На землях герцога была часовня; праздник ее приходился на один из летних дней, и в тот день к часовне шли процессии верующих. Участники этих процессий делали подарки священнику, а аюнтамьенто оплачивало ему церковную службу. В тот год алькальд нарушил заведенный порядок, и крестьяне последовали его примеру. Мосен Мильбан сказал об этом Пако, и тот ответил, что все произошло с ведома властей.

— С ведома властей, говоришь? Что же это за власти такие?—вопросил раздраженный священник.

Пако стало жаль мосена Мильбана, потерявшего контроль над собой, и он сказал, что поскольку часовня стоит на герцогских землях, а люди настроены против герцога, то вполне понятно, почему народ охладел к самому празднику. Мосен Мильбан в сердцах возразил:

— Не много ли ты взял на себя, заявив: если герцог придет в горы, он и трех шагов не сделает, потому что, мол, ты будешь ждать его с карабином, который прежде

принадлежал его сторожу? Не знаешь разве, что такая угроза — преступление?

Пако ничего подобного не говорил. Дон Валериано солгал. Но священник не желал слушать Пако.

В те дни сапожник нервничал и, казалось, был сбит с толку. А если его спрашивали, что с ним, он отвечал:

— Дурные предчувствия.

На солнцегрее над ним подшучивали, а он знай твердил:

— Кувшин ли падает на камень, камень ли — на кувшин, все одно, плохо для кувшина.

Его загадочные слова ничего не проясняли. Всю жизнь сапожник ждал этого момента, а когда момент настал, не знал — что думать, что делать. Кто-то из муниципальных советников предложил ему должность судьи по орошению — решать споры, возникающие при распределении оросительных вод.

— Благодарю, — сказал сапожник. — Но я придерживаюсь мудрости, гласящей: сапожник пусть тачает сапоги.

Постепенно он стал сближаться со священником. Выходило, что сапожнику главное — всегда быть против власти, неважно, чего она хочет и какого она цвета. Дон Гумерсиндо уехал в главный город провинции, и это тоже беспокоило священника. Он говорил:

— Все уезжают, я бы тоже мог уехать, но не уеду. Это дезертирство.

Иногда казалось, священник старался понять Пако, но потом опять принимался за свое: мол, люди забыли, что такое уважение, а сам он — мученик. Все его споры с Пако всегда кончались так: священник представлял себя испупительной жертвой. Пако смеялся:

— Да никто не собирается убивать вас, мосен Мильан.

Смех Пако приводил священника в бешенство, он едва владел собой.

Когда люди уже начали забывать про дона Валериано и дона Гумерсиндо, те неожиданно возвратились в селение. Держались они спокойно и уверенно, ежедневно совещались о чем-то со священником. Сеньор Кастуло, сторя от любопытства, ходил вокруг да около, но разузнать ничего не смог. Они ему не доверяли.

Однажды, то было в июле месяце, все жандармы, по приказу, отбыли из селения в место — как было сказано, —

где должна была сосредоточиться жандармерия всего района. Советники почувствовали, что в воздухе запахло опасностью, однако, в чем она состоит, понять не могли.

И однажды в селение прибыла группа господчиков с дубинками и пистолетами. С виду как будто люди приличные, хотя некоторые что-то истерично выкрикивали. Но оказалось, подобных негодяев селение еще не видело. Обычно таких чисто выбритых и гладеньких, точно женщины, типов на солнцегрее называли кобельками, но эти первым делом страшно избили сапожника, так что вышло, никакой нейтралитет ему не помог. А потом они убили шестерых крестьян — четверо из них жили в пещерах — и бросили тела прямо на обочине дороги, что вела от селения к солнцегрею. А одного из герцогских сторожей поставили отгонять собак, которые сбегались на запах и лизали кровь. Никто ни о чем не спрашивал. Никто ничего не понимал. И в селении не осталось ни одного жандарма, чтобы встать на пути у чужаков.

В церкви мосен Мильбан сказал, что Святое распятие будет выставлено денно и ночью, а потом заявил протест дону Валериано, которого пришлые господчики сделали алькальдом: шестерых крестьян убили, не дав им даже исповедаться. Весь день и часть ночи священник не переставая молился.

Селение охватил страх, никто не знал, как быть. Херонима слонялась по селению, но язык придерживала. И только на солнцегрее поносила всю пришлых господчиков, призывала на их головы самые страшные кары. Но это не мешало ей, завидев сапожника, вспомнить дровапалки, дубье-колье — словом, всячески намекать на приключившуюся с ним беду. Спрашивала она и про Пако, но на этот вопрос никто не мог ей ответить. Знали только одно: Пако исчез и его искали.

На следующий день после того, как Херонима смеялась, подшучивала над сапожником, его нашли на дороге, ведущей к солнцегрею, мертвого, с пробитой головой.

Несчастливая женщина побежала и накрыла тело простыней, а потом заперлась дома и не показывалась целых три дня. Прошло время, и она стала выходить из дому, даже пришла на солнцегрей, но там ее встретили руганью и попреками. Херонима заплакала (до той поры никто и

никогда не видел, чтобы она плакала), стала причитать, что, мол, ее вообще надо забить камнями, как гадюку поганую.

А через несколько дней Херонима уже снова потешала народ, пересыпая свои обычные шуточки проклятьями и угрозами.

Никто не знал, когда убивают людей. Вернее, знали, но своими глазами не видели. Это происходило по ночам, а днем селение выглядело спокойным.

На дороге к солнцегрею нашли еще четыре трупа, четырех убитых советников.

Многие сельчане находились в поле, косили. А их жены по-прежнему сбегались на солнцегрей и повторяли имена новых убитых. Иногда они начинали молиться, но потом бросали и, как ни боялись, принимались на чем свет стоит ругать жен богатеев, и в первую очередь Валерианшу и Гумерсиндшу. Но Херонима говорила, что хуже всех — жена Кастуло и что из-за нее убили сапожника.

— Неправда,— сказал кто-то.— Убили потому, что сапожник, говорят, был агентом России.

Никто не знал, что такое Россия, все думали, что речь идет о рыжей кляче с мельницы, ее звали именно так. Однако это не имело никакого смысла. Но если разобраться — то, что происходило в селении, тоже смысла не имело. Не осмеливаясь говорить громко, они все же перебрасывались привычными присловками:

— Кастулша, сквалыга косматая.

— Дура набитая.

Херонима не отставала:

— Мокрица вонючая.

— Гнида жирная.

— От ее дома воняет,— не унималась Херонима,— как от залитого мочой костра.

Она слышала, что городские господчики собираются поубивать всех, кто голосовал против короля. В те страшные дни у Херонимы все время возникали таинственные, сверхъестественные ощущения, повсюду ей чудился запах крови. И все-таки, заслышав на солнцегрее колокольный звон или порой, в контрапункт ему, удары молота по наковальне, она не могла удержаться и начинала приплясывать и трясти юбками. И снова кляла и обзывала свинячьей мордой Гумерсиндшу. Херонима все

хотела разузнать, что с Пако, но никто не знал о нем ничего, кроме того, что его ищут. Херонима делала вид, будто уж ей-то все известно, и говорила:

— Такого славного парня им голыми руками не взять.

И вспоминала все его достоинства, какие ей открылись, когда она меняла ему, новорожденному, пеленки.

Теперь, в ризнице, мосен Мильбан вспоминал, какие то были смутные дни, и, вспоминая, испытывал скорбь и замешательство. По ночам — выстрелы, кровь, разгул дурных страстей, грубость и бесстыдство чужаков, которые при этом имели вид людей воспитанных. А дон Валериано: сам вроде сетовал на происходящее и сам же подначивал городских молодчиков убивать дальше. Думал священник и о Пако. Отец Пако в те дни сидел дома. Кастуло Перес поручился за него, сказал о нем: этот — чистое зерно, а не сорняк паршивый. И местные богачи не решались тронуть его — видно, ожидали случая добраться до сына.

Никто, кроме отца Пако, не знал, где находится его сын. Мосен Мильбан пошел к ним в дом.

— То, что происходит в селении, — сказал он, — ужасно и не имеет названия.

Отец Пако слушал его молча и чуть побледнев. Священник все говорил. Он видел: молодая жена слоняется по дому словно тень, не смеется и не плачет. В те дни никто в селении не смеялся и не плакал. Мосен Мильбан подумал, что жизнь без смеха и без слез была бы ужасна, под стать кошмарному сну.

Дружеское отношение нуждается иногда в похвале и поддержке, и, движимый этим чувством, мосен Мильбан дал понять, что знает, где скрывается Пако. Он намекнул, что, мол, знает, где Пако; отец и жена должны были почувствовать к нему благодарность за то, что он знает, но молчит. Священник не сказал прямо, что знает, просто дал понять. Судьбе же угодно было подшутить, и отец Пако попал в ловушку. Он поглядел на священника и подумал именно то, чего хотел священник: «Если он знает и не донес, значит, он человек честный и благородный». И от этой мысли ему стало легче.

А дальше, в разговоре, отец открыл убежище сына, полагая, что ничего нового священнику не сообщает. Мосен Мильбан испытал неприятное ощущение. «Вот незадача, — подумал он, — лучше бы он мне этого не

говорил. К чему мне знать, что Пако прячется в долине Пардинас?»

Мосен Мильан почувствовал, что боится, хотя не понимал — чего. Он распрощался и ушел, испытывая желание оказаться один на один с городскими молодчиками и под дулами пистолетов доказать себе самому, как он стоек и как он верен Пако. Так и случилось. И напрасно центурион со своими приятелями проговорили с ним целый день. В ту ночь Мосен Мильан помолился и заснул так спокойно, как не спал уже давно.

На следующий день в аюнтамьенто было собрание, городские господчики произносили речи, драли глотку. Они сожгли трехцветный флаг, а потом согнали всех жителей селения и заставили их в виде приветствия по приказу центуриона вскидывать руку кверху.

У центуриона было добродушное лицо и темные очки. Трудно было представить, чтобы этот человек мог кого-то убить. Крестьяне было решили, что у этих людей, делавших ненужные жесты, щелкавших каблуками и странно вопивших, просто неладно с головой, однако, увидав Мосена Мильана и дону Валериано, восседавших на почетном месте, не знали, что и думать. Единственное, что сделали эти люди в селении — если не считать убийств, — вернули герцогу горные пастбища.

Несколько дней спустя дон Валериано сидел у священника. Заложив большие пальцы обеих рук за жилет — отчего брелоки на цепочке стали видны еще лучше, — он сидел и смотрел священнику прямо в глаза.

— Я никому не хочу зла, как говорится, однако разве Пако — не один из заводил? Так вот, сеньор священник: те, что погибли, виновны куда меньше.

Мосен Мильан говорил:

— Оставьте его в покое. К чему проливать новую кровь?

И тем не менее ему приятно было намекнуть, что он знает, где скрывается Пако. И доказать тем самым алькальду свою верность и благородство. Но дело в том, что Пако не прекращали искать, просто с ног сбились. Даже к дому его собак приводили, чтобы те, понюхав старую одежду и башмаки Пако, взяли его след.

В этот самый момент к дому священника подошел центурион с добродушным лицом и в темных очках; услышав слова священника, он сказал:

— Нам не нужны слабаки с размягченными мозгами. Мы чистим селение, и тот, кто не с нами, тот против нас.

— Вы считаете меня,—сказал мосен Мильан,—слабаком с размягченными мозгами?

И тогда все стали рассуждать спокойнее.

— Последние казни производились таким образом, что преступников не лишали ничего. Их даже соборовали. Чем же вы недовольны?

Мосен Мильан стал говорить о том, что погибли некоторые честные люди и что необходимо покончить с этим безумием.

— Говорите правду,—сказал центурион, доставая пистолет и кладя его на стол.—Вы знаете, где прячется Пако-с-Мельницы.

Мосен Мильан подумал: зачем центурион выложил пистолет на стол—чтобы пригрозить ему или чтобы пистолет не оттягивал ремень? Этот жест он видел у центуриона уже не в первый раз. И еще он подумал о Пако, которого крестил и которого венчал. Вспоминались всякие мелкие подробности: ночные филины, запах куропатки в соусе. Возможно, от его ответа зависела жизнь Пако. Он очень любил Пако, но его любовь была не к человеку как таковому, а к Богу. Ему принадлежала эта любовь, и она была надо всем—и над смертью, и над жизнью. А кроме того, он не мог лгать.

— Вы знаете, где он прячется?—выпалили сразу четверо.

И мосен Мильан ответил—наклонил голову. А это означало «да». Могло означать «да». Когда же он это понял, было поздно. И тогда он попросил: пусть ему обещают, что Пако не убьют. Можно судить его. И если окажется, что он виновен, можно посадить его в тюрьму, только не совершать еще одного преступления. Центурион с добродушным выражением лица пообещал. И мосен Мильан открыл ему, где прячется Пако. Он хотел сказать еще что-то в защиту Пако, но его уже не слушали. Опрямев выскочили вон, и священник остался один. Ужасаясь себе самому и в то же время испытывая облегчение, он стал молиться.

Полчаса спустя пришел сеньор Кастуло и сообщил, что с солнцегреем покончено: городские молодчики дали по нему две очереди из пулемета, и несколько женщин убито, а другие бросились врассыпную, визжа и оставляя

за собой кровавый след, точно птичья стая, по которой ударили дробью. Среди спасшихся была Херонима, и, поведав об этом, Кастуло добавил:

— Сами знаете. Дурная трава, сорняк...

Священник, увидев, что Кастуло засмеялся, побледнел и схватился за голову. Вот он какой, однако чужого убежища, возможно, никому не выдавал. Какое же право я имею возмущаться?—спрашивал себя в ужасе священник. И снова молился. А Кастуло все говорил—он сказал, что одиннадцать или двенадцать женщин ранены, не говоря о тех, что убиты наповал. А врач брошен в тюрьму, и потому вылечиться раненым будет не так-то просто.

На следующий день центурион возвратился без Пако. Он был в бешенстве. Сказал, что, едва они вступили в Пардинас, беглец встретил их выстрелами. У него карабин одного из герцогских сторожей, и приближаться к нему означало рисковать жизнью.

Центурион попросил священника пойти к Пако парламентаром. Двое из его центурии были ранены, и он не хотел рисковать остальными.

Год спустя мосен Мильан вспоминал те события так, словно они происходили вчера. Увидев входящего в ризницу сеньора Кастуло—того самого, что год назад смеялся, рассказывая о преступлении на солнцегрее,—священник снова прикрыл глаза и сказал себе: «Я выдал убежище Пако. И я пошел к нему парламентаром. А теперь...» Он открыл глаза и увидел, что напротив него сидят трое. В середине—дон Гумерсиндо, он чуть выше остальных. Три лица бесстрастно глядели на мосена Мильана. Колокола на башне отзвонили—три последние удара, мерные и печальные, еще дрожали в воздухе. Сеньор Кастуло сказал:

— С должным почтением. Я бы хотел оплатить эту заупокойную, мосен Мильан.

И полез в карман. Но священник отказался и снова попросил служку выйти—посмотреть, есть ли народ в церкви. Мальчик вышел, как и прежде припоминая слова романса:

На колючий куст придорожный
свой платок уронил он,
птицы мчатся стрелою,
плывут облака спокойно...

Мосен Мильан снова закрыл глаза, правым локтем опершись о подлокотник кресла и положив голову на ладонь. И хотя молитву закончил, делал вид, будто продолжает молиться, чтобы его оставили в покое. Дон Валериано и дон Гумерсиндо, в один голос и стараясь перекричать друг друга, объясняли Кастуло, что они тоже хотели заплатить за эту мессу.

Служка влетел взволнованный, не в силах выложить сразу все новости.

— В церкви — мул, — вымолвил он наконец.

— Что?

— Людей — никого, а мул вошел и бродит между скамей.

Трое мужчин вышли, а потом возвратились и сообщили, что это не мул, а жеребенок Пако, тот, что беспризорный шатается по селению. Все в селении знали, что отец Пако слег, а женщины чуть ли не помешались от горя. Скот и клочок земли, который у них оставался, совсем заброшены.

— Ты не закрыл за собой дверь на паперть? — спросил священник служку.

Трое мужчин уверяли, что все двери закрыты. А дон Валериано с угрюмой усмешкой добавил:

— Кто-то пошутил. И злонамеренно.

Они стали прикидывать, кто мог запустить жеребенка в церковь. Кастуло считал: Херонима. Мосен Мильан усталым жестом положил конец спорам и попросил вывести животное из храма. Трое мужчин, а с ними и служка, вышли. Растянувшись широкой цепью и раскинув руки как можно шире, они принялись ловить жеребенка. Дон Валериано сказал, что совершенно кощунство и, наверное, придется освящать храм заново. Остальные считали, что это не так.

И продолжали ловить жеребенка. С решетки часовни Иисуса Христа кованый дьявол, казалось, подмигивал им. Иоанн Креститель в нише воздевал кверху палец и выставял напоказ голое, совсем женское колено. Дон Валериано с Кастуло так разошлись, что кричали во весь голос, точно в стойлах:

— Эййй! Эййй!

А жеребенок носился по храму в свое удовольствие. Женщинам с солнцегрея, если бы солнцегрей еще существовал, было бы о чем посудачить. Едва алькальд с

дном Гумерсиндо нагоняли жеребца, как он вскидывался и с веселым ржанием несся в другой конец храма. Сеньору Кастуло пришла в голову счастливая мысль:

— Растворите дверь настежь, как во время процессий. И жеребенок поймет, что может выйти на улицу.

Служка пошел к двери, хотя дону Валериано план не понравился — потому лишь, что он терпеть не мог, когда в его присутствии сеньор Кастуло проявлял инициативу. Широкие створки двери распахнулись, и жеребенок с удивлением уставился на ворвавшийся в церковь сноп света. В глубине, за папертью, виднелась площадь, совершенно безлюдная, только дома, один — желтый, другой — беленый, с синими карнизами. Служка от двери позвал жеребенка. Жеребенок, уверившись наконец, что тут ему не место, вышел. А мальчик все бормотал:

...рассаживаются воробы
по крестам на кладбище.

Двери закрыли, и церковь снова погрузилась в полутьму. Святой Михаил обнаженной рукой заносил шпагу над драконом. В углу, над крестильной купелью, мерцала лампада.

Дон Валериано, дон Гумерсиндо и сеньор Кастуло сели на переднюю скамью.

Служка направился к ризнице, проходя мимо алтаря, преклонил колени и скрылся за дверью:

— Он ушел, мосен Мильан.

А священник все еще вспоминал то, что было год назад. Пришлые господчики с пистолетами заставили мосена Мильана отправиться вместе с ними в Пардинас. А там велели священнику идти одному.

— Пако,— крикнул тот со страхом.— Это я. Разве не видишь, это я?

Никто не ответил. В окно глядело дуло карабина. Мосен Мильан крикнул снова:

— Пако, не сходи с ума. Лучше тебе сдаться.

Из темного провала окна послышался голос:

— Сдамся только мертвый. Уйдите отсюда, пусть подойдут те, если осмелятся.

Мосен Мильан придал голосу великую искренность:

— Пако, ради всего, что ты любишь, ради жены твоей, ради твоей матери. Сдайся.

В ответ — ничего. И наконец снова голос Пако:

— Где мои родители? Где жена?

— А ты думаешь — где? Дома.

— С ними ничего не случилось?

— Ничего, но, если ты будешь упорствовать дальше, кто знает, что может произойти?

Вслед за этими словами священника снова наступило долгое молчание. Мосен Мильан звал Пако, но тот не отвечал. Наконец Пако выглянул. В руках он держал карабин. Вид усталый, бледный.

— Мосен Мильан, я вас спрошу, а вы мне ответьте.

— Да, сын мой.

— Вчера я убил кого-то из тех, что приходили за мной?

— Нет.

— Никого? Вы уверены?

— Пусть Господь накажет меня, если я лгу. Никого.

По-видимому, это смягчало положение. И священник, понимая все, добавил:

— Я пришел сюда с условием, что тебе ничего не сделают. Другими словами, тебя будут судить, и если ты виновен — пойдешь в тюрьму. Но не больше.

— Вы уверены?

Священник помедлил. Потом сказал:

— Я просил об этом. Как бы то ни было, сынок, подумай о своей семье, они не должны расплачиваться за тебя.

Пако молча поглядел вокруг. И наконец сказал:

— Хорошо, у меня осталось еще пятьдесят пуль, и я мог бы дорого продать жизнь. Скажите им, пусть не боятся и подойдут, я сдаюсь.

Из-за ограды послышался голос центуриона:

— Пусть выбросит карабин в окно и выходит.

Пако повиновался.

А через несколько минут пинками и ударами Пако гнали из Пардинас в селение. Руки ему связали за спиной. Пако сильно хромал, а ярость и двухнедельная щетина на лице неузнаваемо изменили его. Но, глядя на него, Мосен Мильан решил, что, пожалуй, вид у него еще и виноватый. Пако бросили в тюрьму.

В тот же день пришлые господчики согнали народ на площадь и произносили речи, которых никто не понял, — что-то об империи, о бессмертном назначении, о порядке,

о святой вере. Потом они спели гимн, вскинув кверху руки, после чего приказали всем разойтись по домам и не выходить до следующего дня под угрозой сурового наказания.

Когда же на площади никого не осталось, они вывели из тюрьмы Пако и еще двух крестьян и погнали их на кладбище. К месту пришли уже затемно. Позади лежало оцепеневшее от страха селение.

Центурион вспомнил — когда троих уже поставили к стене, — что их не исповедали, и послал за мосенем Мильаном. Священник удивился, что его везут в машине сеньора Кастуло. (Сеньор Кастуло предложил ее к услугам новых властей.) Машина смогла подъехать к самому месту казни. Мосен Мильан не осмеливался ни о чем спросить. И когда увидел Пако, не испытал удивления, просто пал духом. Исповедовались все трое. Один когда-то работал в доме у Пако. Бедняга, не понимая, что к чему, все твердил еле слышно: «Обвиняю себя, святой отец... обвиняю себя, святой отец...» Исповедальней служил автомобиль сеньора Кастуло: открыли дверцу, а священник остался сидеть внутри. Преступник становился на колени к подножке. Когда мосен Мильан произносил *ego te absolvo...*¹, двое оттаскивали покаявшегося обратно к стене.

Последним исповедовался Пако.

— В недобрый час я вас вижу, — сказал он священнику тоном, какого мосен Мильан никогда от него не слышал. — Вы же меня знаете, мосен Мильан. Знаете, кто я.

— Да, сын мой.

— Вы обещали, что меня отдадут суду, что будут судить.

— Меня тоже обманули. Что я могу поделывать? Подумай, сын мой, о душе и забудь, если можешь, обо всем остальном.

— За что меня убивают? Что я сделал? Мы никого не убили. Скажите вы, что я ничего дурного не сделал. Вы знаете, что я невиновен, что мы, все трое, невиновны.

— Да, сын мой. Вы все невиновны, но что могу поделывать я?

— Если меня убивают за то, что я защищался в

¹ Отпускаю тебе... (лат.)

Пардинас, пусть убивают. Но ведь двое остальных вообще ничего не сделали.

Пако вцепился в сутану мосена Мильана и повторял: «Они ничего не сделали, а их хотят убить. Они ничего не сделали». Мосен Мильан не мог сдержать слез и сказал:

— Иногда, сын мой, Господь допускает, что умирает невинный. Так он позволил, чтобы умер его собственный Сын, а тот был еще более невинен, чем вы трое.

Услыхав эти слова, Пако замер и умолк. И священник тоже ничего больше не сказал. Слышно было, как далеко, в селении, лают собаки и звонит колокол. Вот уже две недели день и ночь звонил этот колокол. Пако сказал с неожиданной твердостью:

— Значит, мосен Мильан, нам и вправду не будет спасения, но у меня остается жена. Она ждет ребенка. Что с ней станет? Что станет с моим отцом и матерью?

Он говорил так, словно ему не хватало дыхания, и мосен Мильан отвечал ему так же, в безумной спешке, еле выговаривая слова. Порою слова трудно было разобрать, но в эту минуту между ними протянулось понимание, поверх всяких слов. Мосен Мильан сбивчиво говорил о намерениях Господа, горестно сетовал и под конец спросил:

— Ты раскаиваешься в своих грехах?

Пако не понял. Впервые он не понял слов священника. Когда же тот в четвертый раз, механически, повторил вопрос, Пако наклонил голову утвердительно. И тогда мосен Мильан воздел руку и произнес:

— Ego te absolvo in...

Услыхав эти слова, двое схватили Пако под мышки и потащили к стене, к остальным. Пако крикнул:

— За что убивают этих? Они ничего не сделали.

Один из крестьян жил в пещере, как тот, кому давным-давно они носили святые дары. Фары автомобиля—того самого, в котором сидел мосен Мильан,—зажглись, и почти в тот же миг раздался залп, хотя никто не отдавал приказа, во всяком случае, голоса слышно не было. Двое крестьян упали, а Пако, заливаясь кровью, кинулся к автомобилю.

— Мосен Мильан, вы же меня знаете,—кричал он, обезумев.

Он хотел внутрь, в автомобиль, но не мог открыть дверцу. И все-все вокруг запачкал кровью. Мосен Мильан

молчал и, закрыв глаза, молился. Центурион приставил револьвер к уху Пако, но кто-то испуганно сказал:

— Нет-нет. Только не здесь!

И Пако потащили к стене. А он хрипло твердил:

— Спросите мосена Мильана, он меня знает.

Прозвучали еще два или три выстрела. И наступила тишина, только Пако еще шептал: «Он меня выдал... мосен Мильан, мосен Мильан...»

Священник сидел в машине, глаза его были широко раскрыты, он слышал: произносят его имя—и не мог молиться. Кто-то погасил фары.

— Все?—спросил центурион.

Мосен Мильан вышел из машины и с помощью служки совершил последнее помазание всем троим. Кто-то отдал ему часы Пако—свадебный подарок жены—и носовой платок.

Потом возвращались в селение. Через окошко машины мосен Мильан глядел на небо и вспоминал ту ночь, когда они с Пако ходили в пещеры соборовать умирающего; осторожно завернув часы в платок, он держал их в ладонях. Он все еще не мог молиться. Проехали мимо ставшего пустырем солнцегрея. Огромные голые скалы походили на головы, сблизившиеся для беседы. Мосен Мильан думал о погибших крестьянах, о несчастных женщинах с солнцегрея и невольно испытывал чувство презрения, которое в то же время наполняло его стыдом и виною.

После того мосен Мильан две недели не выходил из дому никуда, кроме храма.

Селение мрачно замолкло и походило на огромную могилу. Иногда на улице появлялась Херонима—она шла на солнцегрей одна, разговаривая сама с собой. Порою, если думала, что ее никто не слышит, она что-то кричала, а то, молча, принималась считать на скалах выбоины от пуль.

С тех пор прошел год, а казалось, что век. Смерть Пако так свежа была в памяти, что мосену Мильану иногда чудились пятна крови на одеянии.

Он открыл глаза и спросил служку:

— Ты говоришь, жеребенок ушел?

— Да, сеньор.

А про себя—перенеся вес тела сперва на одну ногу, а потом на другую—служка пробормотал:

...вот так и вручил он душу
Всевышнему.— Аминь.

Рядом, в ящике шкафа, лежали часы и платок Пако. Мосен Мильан никак не мог собраться с духом и отнести их родителям и вдове Пако.

Он вышел из ризницы и начал службу. В церкви не было никого, только дон Валериано, дон Гумерсиндо и сеньор Кастуло. И, произнося *introibo ad altare Dei*, мосен Мильан вспоминал Пако и думал: это правда. Я его крестил, и я его соборовал. Во всяком случае—да простит его Господь,—он родился, жил и умер в лоне Святой Матери-Церкви. Ему чудилось, он слышит, как губы умирающего шепчут его имя: «...мосен Мильан». И он думал, испытывая в одно и то же время страх и умиление: а теперь я служу за упокой его души этот реквием, за который враги его хотели мне заплатить.

1962

НЯНЯ ЛЕНА

Мы познакомились в Валенсии в 1945 году. Товарищ предложил встречаться дома у Няни Лены, считая, что это самое надежное место. С тех пор мы виделись там довольно часто. Она шила для магазинов готового платья, брала заказы у знакомых, вязала чулки. Но и этих многочисленных занятий было мало, чтобы заработать на пропитание, так что по четвергам, субботам и воскресеньям ей приходилось ездить куда-то на окраину продавать билеты в кассе кинотеатра, нескладного барака, который в эти дни наполняла шумная публика, солдаты, крестьяне и ребятишки.

На вид я дал бы ей лет сорок—сорок пять, а то и больше, но такая у нее была хрупкая фигурка и такой детский голосок, что всякому, кто его слышал, Няня Лена казалась моложе, хотя волосы ее подернулись пеплом. Седые пряди—и черные глаза, ясные и зоркие глаза уроженки Кордовы, взгляд горький от пережитых бед и лишений—и все же полный жизни. Этот контраст придавал строгую прелесть ее увядшему лицу, хотя, судя по неправильным чертам, красавицей она никогда не была.

Держалась Няня Лена приветливо, но робко. Когда приходил один из нас, провожала его в столовую, служившую одновременно мастерской, а как только появлялся второй, забирала недошитые вещи, иголки, нитки и, пришепетывая, как все жители Кордовы, тихо извинялась:

— Я оставляю вас... Если что-нибудь понадобится, позовите...

И проскальзывала на кухню.

Я как-то спросил, состоит ли она в партии.

— Как многие—фактически состоит, хотя официально не вступала,—ответил товарищ.—Помогает нам чем может, а раза два или три, когда ее квартира не

использовалась как явочная, ей поручали работу связной. И эта скромница — представь — оказалась решительной женщиной!

— У нее никого нет в Валенсии?

— Никого. Муж ее, наш товарищ, убит на Кордовском фронте в одном из последних боев. А она с окончания войны жила здесь у родственницы — бывшей хозяйки этой квартиры, — но та недавно умерла.

Больше ничего о нашей Магдалене я не знал.

До тех пор пока однажды она сама не рассказала мне свою историю. Привычки откровенничать, по-моему, у нее не было, и этот разговор завязался произвольно. Она говорила не столько со мной, сколько с собственными воспоминаниями. Ей, должно быть, давно не случалось ни перед кем раскрывать душу.

Обычно я приходил на встречи первым и, чтобы скоротать время, Няня Лена занимала меня разговорами, не переставая нажимать на педаль своей швейной машинки, развалины образца 1900 года, такой же дряхлой, как мебель и все вещи в доме. В тот вечер она, как всегда, говорила о чем-то, а я через полуоткрытую балконную дверь слушал, как потрескивает земля, обожженная августовским солнцем. Горячий бриз доносил запах близкого моря, вдалеке над рисовыми полями клубился и растекался по земле густой пар.

— Ну и печет!

И тут, припомнив другие, по-иному жаркие дни, я спросил:

— Магдалена, вы ведь из Кордовы?

— Да, из тех мест. Родилась в Баэне, а с тех пор, как выросла, жила в ... — И она произнесла, как выдохнула, название поселка в провинции Кордова, который мы, ради безопасности Няни Лены, назовем здесь условно Альменар-дель-Рио.

— Он стоит на холме, близ Монторо. Вы бывали в тех краях?

— Да, случалось.

— До чего же там хорошо!

Я принялся вспоминать вслух:

— Если смотреть с обрыва, Гвадалквивир до того зелен — не отличишь от заросших берегов.

— О, да это только зимой! А наступит апрель — и в глазах от пестроты рябит! Все расцветает... Нет другой

такой реки, как Гвадалквивир!

— Вас выслали из родных мест?

— Я сама себя выслала.

Оторвав глаза от работы, она загляделась на вечернее небо, в котором день, уже побежденный, догорал багровыми сполохами. Я молчал, пока она не обернулась и не спросила робко:

— Вы были там во время войны?

— Был, но недолго.

— Тогда вы могли знать моего мужа... Антонио Вальядарес, хаэнский шахтер... Он был комиссаром бригады...

— Думаю, знал.

— Хотите посмотреть на него?

Она открыла ящик комода и достала истрепанный номер «Комбатъенте де Андалусия».

— Вот он.

Не знаю, приходилось ли мне на фронте встречаться с товарищем Вальядаресом, но, даже если приходилось, я едва ли узнал бы его на мутной и выцветшей газетной фотографии 1937 года. Единственное, что я увидел, — неясный силуэт военного с бледным пятном вместо лица.

— Ну конечно, — в голосе Магдалены мне послышалось разочарование, — разве вы сможете узнать его на этой фотографии? Я — другое дело! Каждый раз смотрю и вижу его таким, как в жизни...

Мгновение она молчала, с нежностью разглядывала портрет, потом неожиданно резко тряхнула седыми волосами.

— Знаете, что он сказал мне в последний вечер, когда уже близок был тот проклятый день? «Если услышишь, что война закончена... не верь, Лена! Конец у этой войны будет не такой... Если услышишь, что мы проиграли... не верь! Придут тяжелые времена, но ты не плачь и не предавайся отчаянию. То, что мы посеяли на земле, не исчезнет, когда исчезнет фронт. Где бы ты ни оказалась, почувствуешь, как оно бьется, живет...»

Она вздохнула и еле слышно проговорила:

— Он ясно видел это в то время, когда мрак еще только начал сгущаться над нами... А я это вижу теперь... И себя вижу... Когда пришел он, кем я была? Жалкой рабыней, не понимающей, что она рабыня. Теперь... вы видите, мне приходится нелегко, но, насколько мы,

бедняки, в силах, я сама распоряжаюсь своей судьбой!

И нежным тихим голосом начала она рассказ о нем и о себе. Перескажу вам своими словами—а где позволит память, и ее собственными—историю Няни Лены.

Большой пустырь, окруженный давящими и угольными сараями, считался в поселке главной площадью. Он вполне бы сошел за скотный двор, не возвышаясь над ним облупившаяся громада церкви. На этой площади 16 февраля утром Педро Луна, полновластный владыка Альменара-дель-Рио, вещал:

— Говорю вам, сеньоры, ждите перемен. И если власть возьмут фашисты, то уж они обуздают этот сброд... Заходят по струнке оборванцы, которые едят мой хлеб, а сами даже шляпу не соизволят передо мной снять!

Через несколько часов он вдруг сорвался и уехал в Кордову. Пробыл там три недели, а вернувшись, остановился посреди площади и заявил кучке прихлебателей, но так громко, чтобы слышали все:

— Я был и остаюсь сторонником законной власти. Мною получены важные указания от губернатора, человека широко образованного и здравомыслящего. Выяснилось, что он придерживается в жизни того же принципа, что и я: порядок прежде всего. А там, где есть порядок... там все есть!

Но, взглянув в угрюмые лица батраков, остановившихся его послушать, Луна заскрипел зубами от гнева: «Говорю все это, унижаюсь... Унижаюсь! А им хоть бы что. Ничем не проймешь!»

Резким движением Педро Луна раздвинул толпу и молча пошел к дому, ощущая затылком сверлящие взгляды. Да разве в прежние времена ходил он как пойманный вор по площади, по своей площади! Нет, прежде он шествовал по ней гордо, а батраки и арендаторы почтительно расступались. Он чувствовал себя счастливым оттого, что все здесь принадлежит ему, что это его люди. Иногда блаженство переполняло его душу, он останавливался и в благоговейной тишине оказывал милость тому, кто меньше всех этого ожидал, заговаривая с ним: «Ну что, Нато?.. Слышал, сына твоего забирают нынче в армию. Узнай, куда его пошлют: не мешает замолвить словечко перед его полковником». Бывало, обходя поля,

он подзовет управляющего, опустит руку в карман, где всегда позвякивало несколько дуру, и скажет: «Держи! Угостишь парней от моего имени...» И все казались довольными... Да все и были довольны... Только кто теперь об этом вспомнит!

Задумавшись, он остановился у больших деревянных, обитых гвоздями дверей своей усадьбы. Но крик, ударившись в стену как камень из пращи, словно подтолкнул его в спину.

— Да здравствует Народный фронт!

«Это Вентура, возчик. Четыре поколения его родни едят мой хлеб, и кто же, как не он, неблагодарный, больше всех меня ненавидит!» — подумал дон Педро. Но тут кровь ударила ему в голову: вспомнилось, что сказал однажды Вентура, услышав эти слова, на которые, по его, Педро Луны, мнению, возразить было нечего: «То-то и плохо, дон Педро. И не дай бог моим детям повторить судьбу деда и бабки, всю жизнь гнувших спину на этой земле, обогащая ваших деда с бабкой».

Педро Луна вошел во внутренний двор, залитый солнцем и полный птичьих трелей. Черным пятном в золотом свете возник перед ним тонкий силуэт жены, вечно одетой в траур. Она вышла встретить его.

— Ты уже приехал?..

«В этом доме я жила до начала жизни, до второго рождения,— продолжала Няня Лена.— Жена Педро Луны приходилась дальней родней моей матери. Жила я хоть и не за решеткой, но как в тюрьме. Для чужих — бедная родственница, пригретая из милости; для хозяев — бесплатная прислуга, пара рабочих рук и душа, принадлежавшая семейству Луна на тех же правах, что лошади, домашняя птица, оливы. Альменарские поденщики требовали, протестовали, восставали против кабалы. Я принимала ее как неизбежное зло, само собой разумеющееся. Последний из батраков Педро Луны был свободнее и счастливее меня!

Я вставала на рассвете, но и к полуночи не попевала со всеми делами. Служанки в доме иногда пели. Я заканчивала одну работу и принималась за другую молча, как автомат. В семье Луна было трое детей, и мне поручили о них заботиться. Нет женщины, не любящей детей. Я привязалась к ним и в том находила утешение...

Особенно мне дорога была Крусита, веселая, как ясное утро. Я любила даже старшего, Рафу, хотя он был весь в отца: казалось, так и родился с плеткой.

Дети называли меня няней и, не выговаривая моего полного имени, сократили его до Лены. Так я и осталась для всех Няней Леной.

Я жила среди людей, но в полном одиночестве. Для Луны и ему подобных приживалка как бы и не существовала. Служанки, поденщицы и батраки не доверяли «хозяйской родне» и старались меня избегать. Жена Педро Луны замкнулась в своем мрачном мире. Болезненная, малокровная, унылая, она равнодушно скользила по дому, вечно одетая в траур: как только кончался срок одного, начинался другой. Думаю, в глубине души, может, и не признаваясь себе, она ненавидела мужа, волкодава, стиснувшего зубы на ее горле.

Одиночеством, тем, что не знала ни людей, ни жизни, можно объяснить ту спячку, ту покорность, с которой я принимала свое тогдашнее существование. За стенами дома сеньора Луны, за оградой его усадьбы начинался огромный мир. Тот мир, в котором можно бы жить иначе. Что же я, не знала о нем? Нет, как было не знать! Но он был чужим для меня, я его боялась... И если иногда начинала догадываться, что у меня хватило бы сил вырваться из тюрьмы, одна мысль об этом казалась безумием и неблагодарностью.

— Какая же ты старушка, девонька,—повторяла то и дело Петра Хименес, угольщица из Вильянуэвы, о которой речь еще впереди.

— Как вы можете так говорить, ведь я молодая!—сказала я однажды, обиженная ее жалостливым тоном.

— Когда ты одинок, молодость—не молодость,—ответила она.

И я подумала, что так оно и есть. Но только потом поняла, что молодость, когда ее не замечаешь, хуже старости. Моя молодость началась тогда, когда уже близилась к закату, когда мне шел тридцать пятый год. Но не надо забегать вперед... В ту ночь—потом я узнала, что это было в ночь с 17 на 18 июля,—Педро Луна примчался из Кордовы на автомобиле. Он выпрыгнул на ходу и вихрем пронесся через двор, громко зовя жену.

— Собери детей, мы сейчас уезжаем,—распорядилась она мгновение спустя.

— Надолго? — спросила я.

— Не знаю, — ответила она с привычным безразличием. — Это все Педро...

Педро Луна позвал меня и сказал чуть мягче, чем обычно:

— Мы уезжаем. Дом остается на тебя, будь как хозяйка. Смотри, чтобы никто ничего не трогал! Никто ничего!

В полночь вся семья выехала в Монторо».

На закате следующего дня толпа вооруженных людей с трехкратным криком: «Вставай, Испания! Хвала Христу! Да здравствует армия!» — ворвалась на площадь.

Почти у всех у них были такие истошные голоса и вызывающие жесты, что их можно было принять за пьяных, они и были пьяны, если не от вина, то от собственной наглости и злобы. Командовали мятежниками Хулио Моро и двое его сыновей — вторые по величине имений помещики в Альменаре, — за ними шли: Блас Рубио, виноторговец, братья Кабрал, владевшие маслобойней на равных паях с Педро Луной, унтер-офицер гражданской гвардии в отставке, священник, ризничий и десятка два богатеев из окрестных поселков; некоторые со своими управляющими.

— Господа идут! — вскрикнула в испуге какая-то женщина.

Как по сигналу, исчезли все, кто был на площади, только Хуану Кортине годы и хромота помешали вовремя скрыться. Хуан когда-то первым начал создавать организацию сельскохозяйственных рабочих в Альменаре-дель-Рио. Всего десять минут, как он расстался с товарищами, еще накануне собравшимися в заброшенной давяльне с гордой вывеской «Народный дом».

Лавина обрушилась на старика.

Сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, Хуан видел, как взлетали и опускались приклады, как сверкали глаза нападавших и как Хулио Моро, оскалив волчьи клыки, выл:

— Кричи: «Долой Республику!»

— Не буду.

Братья Кабрал и младшие Моро оттащили его к ближайшей оливковой роще. Там они принялись копать яму.

— Вы что собираетесь делать? — всполошился Блас Рубио.

— Не смейте! Не делайте этого при мне! — закричал священник.

Но разъяренных бандитов ничто не могло остановить. Когда яма была готова, Хуана Кортину зарыли в ней, оставив снаружи только его седую голову.

— Ты ведь хотел земли?.. Получай!

Издали казалось, что голова прикатилась с холмов, а вблизи, что она растет из земли. Глаза налились кровью, изо рта вырывались то проклятия, то предсмертные стоны.

— Пусть издыхает!

Они оставили бы его так, но один из управляющих не выдержал и спустил курок. И вместе с голосом Хуана Кортины угас среди умирающей зелени олив закат.

Так начался в Альменаре-дель-Рио фашистский мятеж. Когда стемнело, пистолеты, пулеметы и винтовки были направлены на Народный дом, но оттуда дружными залпами ответили крестьянские ружья. Ночью, в ожидании подкрепления из Монторо или Пособланко, мятежники разбились на два отряда. Пока одни держали в осаде Народный дом, другие обходили поселок, хватая и расстреливая «тех, кто больше всех шумел насчет земли», — такова была установка, данная доном Хулио Моро.

На рассвете три грузовика в клубах пыли начали медленно подниматься по зажатой между скал дороге к Альменару-дель-Рио. Но это были не подкрепления, которых ждал дон Хулио Моро, а шахтеры из Хаэна, опоясанные взрывчаткой и вооруженные новенькими винтовками.

Банда рассеялась. Одни пытались спастись, карабкаясь вверх по скалам, двое управляющих сдались, остальные засели в церкви. Храмы, игорные дома, казармы гражданской гвардии и бордели каждого андалусийского поселка служили мятежникам бастионами.

Шахтеры и крестьяне окружили церковь. Оборонявшиеся забаррикадировались и стреляли из боковых дверей, сквозь витражи, из окон ризницы. Их пули отскакивали от бортов фонтана в центре площади, оставляли выбоины на столбах галерей, беззвучно впивались в глиняные стены угольных сараев. Кошачьим прыжком парень-шахтер подлетел к фонтану, лег под его прикры-

тием и, описав в воздухе рукой большую дугу, бросил в сторону церкви гранату. Половина ворот обрушилась. Увлекая за собой других шахтеров и крестьян, парень бросился вперед через площадь, но, сраженный пулей, упал на плиты паперти.

Стихли выстрелы из боковых дверей. Следующая граната заставила умолкнуть и те, что раздавались из ризницы. Жители поселка ворвались в церковь. За поваленной статуей святого Антонио с отбитой головой, возле купели, лежал Блас Рубио, мертвый, он сжимал винтовку, словно целясь в вошедших. Чуть поодаль скорчился ризничий. Глаза его были неестественно выпучены, бурые пятна крови покрывали сутану, из-под которой виднелся пистолет. От него пахло свечами, порохом и кровью.

С башни все еще стреляли. Там засели безумевшие от страха дон Хулио Моро с сыновьями и бывший унтер-офицер гражданской гвардии.

Оставив несколько человек на посту у главного алтаря, чтобы отрезать выход с колокольни, шахтеры и крестьяне вернулись на площадь и стали призывать обороняющихся не упорствовать, а прекратить сопротивление. В ответ те уложили одним выстрелом мальчика из парикмахерской. Тут же по башне началась стрельба из всех винтовок и ружей, что только были у нападающих. Пули ударялись в колокола, бронза скорбно гудела.

Внезапно с обеих сторон огонь прекратился. С башни показали белый платок, привязанный к стволу винтовки.

— Сдаются! — радостно закричали на площади и, покинув укрытия, бросились к церкви, однако залп с колокольни заставил отступить.

Два батрака и женщина остались лежать на площади.

Слышно было, как унтер-офицер вопил, умоляя троих Моро:

— Не стреляйте! Хватит стрелять!

Оцепенение прошло, и гнев придал нападающим сил. Под пулями несколько шахтеров и батраков прорвались к церкви на подкрепление тем, кто остался у лестницы, на колокольню. Все вместе они начали медленно подниматься по ступеням. Снаружи продолжали обстреливать башню.

Под напором наступавших мятежники были вынуждены покинуть укрытия. Младший из братьев Моро первым

сорвался вниз. Та же участь постигла унтер-офицера, когда он по веревке пытался спуститься в апсиду.

Вне себя от ужаса дон Хулио и его старший сын вылезли на крышу, надеясь перепрыгнуть на соседний дом. Сын скатился вниз, как только шагнул с колокольни. Отец шел к краю крыши, размахивая поблескивающей на солнце винтовкой. До карниза оставалось шага два, Моро уже собрался прыгать, но вдруг раскинул руки крестом, на мгновение замер в напряженной позе пугала и мешком рухнул на площадь.

Как только было покончено с мятежниками, жители Альменара в один голос закричали:

— К Педро Луне!

Знавшие дона Педро были уверены, что не застанут его, но и они бежали вместе со всеми, заразившись надеждой отплатить тому, кого считали главным виновником разрушений и смертей этого дня.

С гневным ревом толпа подкатилась к воротам сеньора. На мгновение сельчане замерли при виде запертых балконов и ставен. Внезапное молчание было красноречивее слов: все поняли, что хозяин поселка успел скрыться. Но, не желая примириться с очевидным, крестьяне вновь разразились проклятиями и угрозами в адрес Педро Луны, крики не стихали до тех пор, пока все голоса не перекрыл голос Вентуры, возчика, бывшего среди тех, кто сражался на площади.

— Криками ничего не добьешься. Птичка упорхнула в Кордову!

Подозревая, что в доме есть оружие, парни собрались ломать дверь, но тут вперед выступил огромный детина, в котором по тому, как он вел себя во время штурма церкви, все признали командира горняков:

— Тут работы—одному слесарю. Есть слесарь в поселке?

Слесаря нашли, и он, хоть и не без труда, справился с замками на дверях дома Луны. С ружьями на изготовку шахтеры и батраки обошли весь дом, но никого не обнаружили. Только несколько часов спустя, когда командир шахтерского ополчения уже устроил в доме командный пункт и послал связных в Монторо и Вильянуэву, двое бойцов явились в импровизированный кабинет, ведя перед собой перепуганную женщину.

— Обнаружена в погребке, за кувшинами.

Полушутя-полунастороженно командир спросил женщину:

— Кто такая и от кого прячетесь?

Прежде чем она успела произнести слово, Вентура ответил за нее:

— Это Няня Лена.

— Что за Няня Лена?

— Говорят, дальняя родственница жены дона Педро, а по-моему, такая же служанка, как все,—серьезно проговорил Вентура.

— А в отношении политики?

— Политикой... нет, не занималась.

Шахтер внимательно посмотрел на Няню Лену, а потом произнес уже чуть мягче:

— Оставайтесь в доме... и не прячьтесь. Таким, как вы, нас нечего бояться.

«Штаб отряда хаэнских горняков,—продолжала Няня Лена,—расположился в доме Луны. Хаэнцы, а с ними полсотни жителей поселка—все, кто имел ружья,—присоединились к ополченцам Вильянуэвы и правительственным войскам, окружившим Пособланко. В доме осталось всего несколько шахтеров. В первые дни я едва осмеливалась к ним подойти. Не потому, что боялась их—если мне и приходила в голову мысль, что они могут меня обидеть, то я тут же прогнала ее,—а потому, что мне казалось, что иначе как с предубеждением они на меня смотреть не могут. Но главное, моя проклятая застенчивость—видите, до сих пор от нее до конца не избавилась—не вязалась с их вызывающей грубостью.

Я плохо тогда разбиралась в шахтерах, но подумала про себя, что до войны они должны были быть... как бы сказать?... не такими резкими, более сдержанными. Шутка ли—в первый раз почувствовать себя хозяевами своей судьбы... Понять, сколько от них зависит... В шахте они были ничем, на фронте—всем. Ну и принялись козырять... Так?

— Да, я примерно то же чувствовал во время войны.

— Вскоре,—продолжала Няня Лена прерванный рассказ,—мы с шахтерами подружились, и я стала у них домоправительницей. Только и слышалось: «Компаньера, то, компаньера, это».

Вы будете смеяться, но поначалу я вздрагивала, когда ко мне так обращались. Однако постепенно привыкла к этому слову, поняла его... Оно стало мне нравиться и в конце концов сделалось для меня чем-то вроде «сезам, откройся». Впервые меня называли «компаньера» и обращались как с равной! Сама не заметила, как стала ходить по дому и по поселку так, как никогда раньше не ходила: с высоко поднятой головой.

Командира я больше не видела, он был на фронте с ополченцами... Но вот однажды вечером в конце июля... Как и во все предыдущие вечера, я вышла на веранду подышать свежим ветром с реки и послушать, как поют во дворе шахтеры. А пели они очень красиво, особенно фанданго. Я сидела на скамейке, и вдруг на веранде в двух шагах от меня появился он. Я вскочила, собралась уйти, но он задержал меня, спросив с добродушной улыбкой:

— Все играем в прятки?.. Сядьте, не уходите и скажите мне, много ли вам хлопот с товарищами?

— Нет, сеньор, они хорошие люди.

— Они — народ!

Он смерил меня с ног до головы изучающим взглядом.

— Мне сказали, что вы живете в каморке, полной старого хлама. Выберите себе другую комнату, получше. Несправедливо, что мы занимаем дом, а вы ютитесь на чердаке... И знаете что, не называйте меня сеньором... Мне это не подходит, да и вообще режет слух...

Последнюю фразу он произнес слишком напыщенным тоном, который не шел к его простым манерам и казался неестественным. Тоже козырял...

Прошло вечеров восемь или десять, прежде чем он опять появился на веранде. Утром того дня им сдались взбунтовавшиеся солдаты гражданской гвардии, засевшие на мукомольной фабрике в Пособланко. Он был очень рад, я поняла это по его словам:

— Еще один бастион врага взят. Мы продвинулись от Пособланко до Серро-Муриано. Пусть недалеко, но так, шаг за шагом, и придем к победе. Не сомневайтесь! — добавил он, будто я возражала. — Мы выиграем войну, мы спасем Дитя, как называли родину наши деды. Неплохая наступит жизнь, вот увидите!.. А там, пройдет время... Я уже пень корявый, но и то думаю застать

социализм в нашей многострадальной Испании. Да что далеко ходить... Представляете, Андалусия — социалистическая!

— Представить социализм? Да я не знаю, с чем его едят.

— Вообразите рай. Социализм — это что-то вроде.

Во дворе рассмеялись, и он засмеялся тоже. Потом стал рассказывать о том, что произошло утром.

— Нет, подумайте!.. До чего иногда остро чувствуешь глубину перемены! Вот смотрите... Гражданские гвардейцы сдались с условием, что им сохранят жизнь. Эвакуировать их вместе с семьями, как только они сложат оружие, — таков был договор, и мы его выполнили. Конвоиры, сопровождавшие гвардейцев до станции, чтобы идти быстрее, взялись нести их тюки и чемоданы. Я тоже, крепя сердце, взвалил на себя сундук одного. Сам он плелся рядом, опустив голову, без треуголки и без обычного гонора. Вдруг оборачивается, глядит на меня и бледнеет как смерть. И тут я начинаю смутно что-то припоминать. «Из Линареса в Убеду?» — спрашиваю шепотом. «Нет, сеньор, — отвечает, — из Пуэртольяно в Хаэн». И двух лет не прошло с тех пор, как этот гвардеец гнал меня по дороге в наручниках, босиком, с окровавленными ногами, как бандита. «Из Пуэртольяно в Хаэн». Лучше, чем я, запомнил. Мне, шахтеру-коммунисту, столько дорог пришлось пройти закованным под жарким солнцем Андалусии, что о той, проделанной когда-то перед его конем, я уже и забыл.

У Антонио появилась привычка выходить на веранду всякий раз, когда он приезжал ночевать в Альменар, а я... я тоже выходила каждый вечер.

— Ну как дела, Лена?

— Да вы же знаете... Все так же...

Он стоял, облокотившись о перила, чаще молча, рядом с моей скамейкой. Скоро я заметила, что не все просто в характере Антонио. Когда он рассказывал о дорогом, о борьбе, о своих идеях, я слушала как замороженная и повторяла про себя, что никогда никто не говорил при мне о чем-то с таким увлечением, так горячо. Но в иные моменты он казался мрачным и замкнутым. Позднее, когда я узнала его ближе, поняла, что есть в его душе и грусть, и спокойная сила, и доброта... но главное — доброта!

Иногда он рассказывал мне о своей жизни:

— Нет в ней ничего из ряда вон выходящего, и все же думаю, что жизнь рабочего может вас кое-чему научить. Я сам научился многому, глядя на жизнь моего отца. И на его смерть. Такие, как мой отец, на языке шахтеров назывались страшным словом «освинцованный». Свинец разъел его легкие, выступил на синюшном лице, в бесцветных глазах, так глубоко запавших, что казалось, они смотрят уже из могилы. Как сейчас вижу его: вот он сидит на балконе, на своем плетеном стуле, и смотрит, как мимо идут на работу шахтеры, которых он знал с пеленок. «Известно тебе, что с тобой будет через двадцать лет? Посмотри на своего отца, и увидишь как в зеркале. Из тебя выжмут все соки в этих норах, просвинцуют до костей, а когда ты уже ни на что не будешь годен, вышвырнут с шахты помирать на свалку. Смотри же, не повтори мою судьбу!»

Он грустно усмехнулся:

— Смерть меня, во всяком случае, ждет другая.

А когда молчал! Как мне было хорошо сидеть рядом с ним в те вечера, не говоря ни слова!

Да, бывало хорошо, но все чаще меня что-то грызло изнутри: «Раз приходит все время, значит, любит меня? ... Меня любить? ... Разве может такой человек полюбить меня? ... А почему бы и нет, в конце концов?» ...

«Если бы он тебя любил, Лена, он давно бы признался. Хотя...»

В любви я разбиралась хуже первоклашки, но заметила, что и он в этом деле профессором не был.

Как-то раз... без особого повода... он заговорил об одной женщине.

— Мы собирались пожениться, но не сложилось... Жизнь моя такая!.. Слишком суровая, чтобы заводить семью... Тем более с ней...

Больше он к этому не возвращался.

С каждым вечером я узнавала о нем все больше. Поняла, что он не командир, как мне казалось раньше, а комиссар. По его совету пошла работать в мастерскую, где женщины Альменара и Адамуса шили белье для Народной армии. Заботилась о доме, о горняках-солдатах и, почти не отдавая себе отчета, думала все время об Антонио. Каждый вечер выходила я на веранду и даже тогда, когда знала, что он не придет, сидела и ждала его

до тех пор, пока тут же на скамейке не засыпала под глухой плеск реки.

Однажды после долгого отсутствия он снова появился на веранде и начал спокойно, как всегда, говорить о Кордовском фронте, о том, как идут дела в Мадриде... Вдруг, видимо заметив, что я дрожу, он прервал рассказ, накинул мне на плечи свой плащ и сказал, ласково улыбнувшись:

— Да вы еле живы от холода, Лена! Жаль, придется расстаться с верандой до весны.

Закутывая меня в плащ, он поцеловал мои волосы, и я разрыдалась как дурочка, поняв, что он меня любит.

В один прекрасный день мы с ним отправились на фронт. Я нарядилась как могла и пригласила с собой пол-Альменара. Командир дивизии должен был поженить нас.

«Ну и свадьба!— думала я по дороге.— Разве такие свадьбы бывают?» Но мне и в голову не пришло вернуться. В глубине души я знала, что выхожу замуж по-настоящему и многие еще позавидуют мне.

Словом, в тот вечер мы поженились».

Тут Няня Лена, прервав рассказ, посмотрела на часы, которые тикали на комод, и пробормотала:

— Почему он не идет?.. Случилось что-нибудь?

Я знал, как она переживала, если кто-то из нас задерживался хоть на минуту.

— Мы договорились на полвосьмого, он опаздывает всего на несколько минут,— сказал я.— Не беспокойтесь. Продолжайте, пожалуйста.

— На чем мы остановились?

— На вашей свадьбе...

Да. Так вот потом...

«Потом наступили последние дни...

Я видела, что при мне он старается казаться уверенным и веселым, хотя на душе кошки скребут. Но это веселье, как фейерверк, быстро гасло. Молчание вставало между нами...

Он молчал. И я молчала, обнимая его в темноте так, как будто боялась потерять на следующее же утро...

— Что слышно в тылу?— спросил он как-то раз с наигранным безразличием.

Трудно было ответить, потому что... как бы это объяснить?.. ничего не было слышно... Люди страдали молча. Как я. Как он. Земля уходила у нас из-под ног, мы видели, что пришел конец, но поверить не могли. Всей душой отказывались верить. Это было до того несправедливо, что казалось неправдой.

— Мы проиграли войну, Антонио...

Он взорвался:

— Кто тебе сказал!.. Програли войну!.. Этого быть не может! И если даже ходят такие слухи, моя жена не должна повторять их... Ясно тебе?

Он говорил с яростью, которой я в нем не подозревала. Но скоро отошел, успокоился и, неловко приласкав меня, сказал:

— Спи, Лена.

Что будет с ним? А со мной?.. Ведь проиграть войну—значит потерять его... Неужели жизнь моя, не успев начаться, рассыплется в прах... Он прав, этого быть не может!

— Спи, Лена.

И через мгновение—шепот в темноте:

— Стиснуть зубы и идти... Другого не остается. Впереди—ни просвета...»

Когда у моста через Гвадалквивир солдаты Иностранного легиона и фалангисты были остановлены выстрелами, их командир не поверил своим глазам. «Неужели все еще?..» Он вскочил на скамеечку перед громкоговорителем и, надрываясь, прокричал:

— Всякое сопротивление бесполезно! Всякое сопротивление бесполезно!

Но бойцы, у которых против бомб было одно оружие—винтовки, продолжали стрелять из темноты...

Комиссар Антонио Вальядарес, распластавшись на берегу, стрелял, а в промежутках между очередями говорил со своими людьми. Почти все, кто был рядом, кого он мог различить в ночи, черно-зеленой, как заросли кустарника и река, шли с ним рука об руку с первого дня, с той, другой ночи, когда они вскочили в кузов грузовика, выйдя из Народного дома в Линаресе. Спроси его кто-нибудь несколько дней назад, он бы с уверенностью сказал, что успел уже выложить этим людям все, что знал, и научить их всему, что умел. Даже шутил: «Сами не

заметили, как три года ушло на разговоры». Но теперь, под выстрелами, его одолевало желание говорить с ними, наставлять их. «Как мы выросли за эти годы!.. Но скоро расстанемся. И врзсь будет намного труднее... Не говоря им об этом и даже себе не признаваясь, я готовлю их... готовлю себя к тому, что нас ждет... Себя готовлю?.. А если напрасно? Если конец войны—и мой конец тоже?.. Схватят—и тогда уж...»

Он махнул рукой, прогоняя черные мысли. «Надо ко всему быть готовым... даже к этому».

Пули стучали по перилам. В воде отражались беглые огоньки выстрелов. Внезапно река вспыхнула и мост со страшным грохотом взлетел на воздух. Эхом отозвались горы. Стрельба умолкла, но через миг началась снова, чаще, отчаяннее. Берег закипел, вспаханный снарядами.

Комиссар Вальядарес все еще говорил с бойцами, не переставая стрелять. Но тут огненный смерч подхватил его, и вместе с лавиной земли, обломками ветвей он и трое его товарищей, трое шахтеров, воевавших с первых дней, рухнули с обрыва в реку.

Долго еще грохотали на берегу выстрелы. И только к полуночи под безлунным небом опять воцарилась тишина, и река безмолвно понесла в море окрашенные кровью воды.

«Печальной была моя жизнь прежде, но не худшее ли ждет впереди? Вечно мучиться воспоминаниями о промелькнувшем счастье... От этих мыслей,—продолжала Няня Лена,—болела моя душа... Только на этот вопрос у меня хватало слов. И я повторяла его в странном забытьи, понимая, что от ответа зависит все: буду ли жить так, как он научил меня, или вернусь к прежней жизни, которую жизнью не назовешь...»

Он погиб... Он был для меня воплощением жизни, я поверить не могла, что и такие люди умирают... Но он умер... Я опять одна... без него... Одна? Он оставил меня в большом, незнакомом прежде мире. По двору и по разоренным комнатам дома Педро Луны все еще ходили солдаты, шахтеры... его большая семья. Он так и говорил: моя большая семья. Когда способность рассуждать вернулась ко мне—а боль не отступила, нет!—я спросила себя: а что бы сказал он, если бы мог говорить со мной?

И я ответила за него, как мне казалось, его словами:

«Нет ничего страшнее, чем не знать, что есть на свете счастье, свобода. Твое горе огромно, боль будет терзать тебя всю жизнь. Но ты никогда не согласишься жить как раньше, не вернешься к той пустоте...»

Его путь... я выбрала его путь. И с какой же страстью принялась за дело в эти последние часы войны! Сердце обливалось кровью, но, зажав его в кулак, я ходила от дома к дому, повторяя слова, которые слышала от него, напоминала их солдатам, крестьянам — всем, кто нуждался в них, чтобы не дать надежде угаснуть.

Альменар опустел и затаился. Последние бойцы укладывали вещевые мешки. Кто отпраплялся в родные места, а кто с группой крестьян под командой Вентуры уходил в горы. Оставшиеся сидели по домам, закрыв окна и двери, как будто от беды можно запереться. Всем, кто уходил и кто оставался, твердила я как заклинание те прощальные слова Антонио, то единственное, на что в горе и изнеможении у меня хватало сил: «Неправда! Мы не побеждены!»

Площадь обезлюдела. Одна громада церкви со шрамами от пуль, выпущенных 18 июля, высилась над ней. Я пошла в дом сжигать бумаги, оставленные солдатами подразделения моего мужа. И там, в архиве комиссара бригады, нашла этот номер «Комбатъенте де Андалусия» с его фотографией.

Не выпуская ее из рук, я так и уснула перед рассветом... Проснулась с первыми лучами солнца и выглянула в окно... Площадь, примыкающие к ней переулки и поля, насколько хватал глаз, были пустынные, как будто жизнь остановилась.

Горный ветер продирался сквозь кусты розмарина и сбегал вниз по склонам, трепля ветви и листья. Горы и небо слились в сплошную пепельно-серую пелену. Вдалеке по долине проскакал испуганный конь без всадника. Чуть не вскрикнув, я скорее отошла от окна. Антонио мне рассказывал о смерти Васкеса — помните? — командира батальона имени Хуана Баутиста Гарсеа. Он, раненый, уходил от погони на коне. Его догнали. Привязали к дереву... Его конь, наверное как этот, скакал по равнинам Эль-Карпио... Без седока и без цели...

Через весь пустой дом я прошла в свою комнату. Тишина была такой глубокой, что эхо собственных шагов повсюду преследовало меня. Я начала медленно склады-

вать свои немногочисленные пожитки в чемодан. С этим чемоданом и с синим сундучком меня привезли и оставили в доме Луны двадцать два, а может, и двадцать три года назад. Как наяву увидела мать такой, какой запомнила ее в ночь нашего горя: растрепанную, зашедшую в крике: «Он умирает, дочка, умирает!» Увидела себя: сижу в постели, онемевшая, растерянная, ослепленная огромной луной, отпечатавшей на белых стенах домов тени оград—устремленные в небо копыя. Потом—дорога из Баэны в Альменар в ковьяляющей двуколке и голос матери: «Так я оставляю ее у вас...»

Я невольно опять взглянула на взлохмаченное ветром поле. Надо уходить из этого дома. Это было решено твердо, еще несколько дней назад, когда я начала думать как о чем-то реальном о возвращении Педро Луны. Именно к тому вело наше поражение в войне—к триумфальному возвращению Педро Луны.

И вот я складываю чемодан. Уехать, но куда? С тех пор как та двуколка привезла меня в Альменар, я дальше Монторо и Пособланко не выезжала. В Баэне у меня никого не осталось. Вспомнила, что здесь, в Валенсии, живет одна дальняя родственница моего отца, с которой я даже переписывалась когда-то. Можно было бы у нее пожить, пока не найду работу. Я собиралась работать, жить самостоятельно. «Время мало подходящее для того, чтобы вылететь из гнезда. Вся Испания будет тюрьмой»,—говорила я себе, вспоминая о предчувствиях мужа. Но все, даже тюрьма, даже смерть, если меня убьют,—лучше, чем жизнь в этом доме. Вернуться к прежнему? На это могла согласиться та, довоенная Няня Лена. Я—нет. Для меня это было непереносимо, невыносимо, невозможно.

В последний раз взглянуть на стены, хранящие эхо его голоса: «Нет, я не сплю, Лена. Просто до того устал, что говорить не могу...», «Ты поставила будильник на четыре, девочка? В четыре придет связной...»

Опять пройти по дому... Вот спушусь по лестнице, пересеку внутренний двор, открою двери и выйду на площадь... потом в поле... потом...

Шаги мои становились все тяжелее, я еле передвигала ноги. От горя и трудов последних дней меня одолела невероятная слабость. Но надо было вырваться из дома как можно скорее. Наконец-то оставляю за спиной

могильную тишину пустых комнат! Со двора донеслось пение птиц. Я остановилась перед клетками, наверное, от удивления: щеглы, чечетки и канарейки в такой день могли петь, как в обычное утро...

Вдруг с площади послышался шум, топот и звон оружия. Я бросилась к подъезду, решив выйти во что бы то ни стало, но поздно! Двери с оглушительным визгом распахнулись, я зажмурилась и тут услышала его голос, голос Педро Луны, пронзительный, с издевкой:

— Вот ведь повезло, сеньоры! Сама комиссарша нас встречает!

В ответ ему—взрыв хохота. Я открыла глаза. Он стоял передо мной расставив ноги, засунув руки в карманы полушубка, сама наглость и злоба. Двое или трое альменарских господчиков с пистолетами и двое гражданских окружали его. Возбужденные смехом и голосами, птицы щебетали как одержимые...

Он смерил меня взглядом, полным ненависти и... изумления. Сделав над собой усилие, я не опустила глаза. В первую минуту от его голоса меня бросило в дрожь и я почувствовала себя такой же безвольной и малодушной, как раньше. Но это длилось не дольше секунды. Потом, когда он шел ко мне, ослабившись, с выражением не то ярости, не то презрения на лице, я, застыв посреди двора, уже не ощущала страха... Во мне пробуждалась радость, сила, неведомая раньше... В первый раз я смотрела на Педро Луну без страха... И с ненавистью!

— Воображаешь, что о тебе ничего не знали? Знали. Я знал, слышишь, дрянь!..

Подойдя почти вплотную, он продолжал выкрикивать ругательства, но мне его голос казался далеким эхом, тонушим в щебете птиц. Я все еще стояла, когда увидела, как поднялась огромной тенью его рука...

Помню выкрик:

— Возьмите ее, капрал!

Потом люди, деревья—все замелькало передо мной и в охватившем меня мраке долго еще слышалось оглушительное пение птиц в клетках...»

«Придя в себя, я не знала, что и думать,—продолжала Няня Лена.—Очнуться не в камере и не на обочине дороги, а в одной из лучших комнат дома Педро Луны! Я вся горела, не было сил шевельнуться. После того, что

произошло во дворе, мне казалось непостижимым, как я до сих пор в этом доме, да еще на такой кровати.

Сидевшая со мною в комнате служанка ничего не могла объяснить. Она была новенькая и представления не имела о том, кто я такая. Ее наняли в Кордове во время войны и теперь «сеньора послала с другими слугами вперед, чтобы приготовить дом».

— Два дня и две ночи вы лежали с температурой и бредили, не передать как,— сказала она.— Слава богу, вас никто, кроме меня, не слышал... Кстати,— добавила она тише,— уже нет ни Кордовского фронта, ни Народной армии. Ничего, ничего этого нет...

Я спросила, здесь ли Педро Луна, и девушка мне ответила: «Да, он уже расположился в доме и послал за врачом для вас», чем окончательно меня озадачила.

Оставшись одна, я попыталась встать, решив выйти, даже если снова упаду в обморок посреди Альменарской площади, но я была так слаба, что, только приподнявшись в постели, вся покрылась испариной и снова упала без сил.

Через несколько часов явился врач, не тот, из Монторо, который всю жизнь лечил семью Луна, а молодой, младший лейтенант медицинской службы. Он принялся меня осматривать и расспрашивать с притворным сочувствием в масляных глазках. Мне стало неловко, я прервала его:

— Нет, не беременна. Оставили бы лучше меня в покое... Поможет скорее всех лекарств.

На следующий день Педро Луна пришел навестить меня. По пути от дверей до моей кровати он раза два пытался улыбнуться, но ни разу ему это не удалось. Наконец, остановившись посреди комнаты, он громко возгласил:

— Так мы уже не хандрим? Посмотрите только на нашу Няню Лену! Собралась умирать в самый день победы!..

Удивленная его наигранно бодрым тоном, я смотрела настороженно, не отводя глаз, но он делал вид, что не замечает этого, и продолжал говорить, уже у самой постели:

— А дело-то выведенного яйца не стоит!.. Врач говорит, истощение и что-то еще, анемия какая-то, точно не помню, но, в общем, то же, что хотеть есть... Так что,

хорошее питание — и скоро мы встанем на ноги и будем бегать как ни в чем не бывало!

— Мне только одного хочется, — ответила я, — уйти отсюда. Как только смогу подняться, уйду.

Напустив на себя серьезность, как всегда, когда собирался солгать или пытался расположить к себе человека, Педро Луна взял стул и сел рядом со мной.

— Вот это уж совсем ни к чему! Совсем некстати! — воскликнул он. — Ты должна набраться сил, прийти в себя, а там... там посмотрим... В конце концов, безвыходных положений нет...

Он начал накручивать на палец полу жилета.

— Конечно... я тогда вспыхнул... Но ты ведь меня знаешь... Кровь ударит в голову, и не разбираю, где правый, где виноватый... Но потом я сразу взял себя в руки... В самом деле, в чем твоя-то вина? Несчастье, особенно в такие времена, какие нам пришлось пережить, с любой может случиться...

— Со мной ничего не случилось... Ничего такого, что вы имеете в виду.

Он вскочил, готовый взорваться.

— Ладно... Сейчас не время. Пока достаточно сказать тебе, что разговор у нас впереди и ты еще образумишься... Образумишься, попомни мои слова!..

Будь я в другом состоянии, — заметила тут Няня Лена, — может, мне было бы достаточно этого разговора, чтобы все понять. Я, правда, спрашивала себя, почему Педро Луна держит меня в своем доме после того, что произошло, и зная обо всем, но ответа не находила. Боль оглушает, а у меня душа кровью истекала. К тому же я только об одном могла тогда думать: скорее начать ходить.

Ради этого я стала съедать все, что новая служанка — единственная, кто входил ко мне в комнату, — приносила. И дней через пять, когда была уже в состоянии сделать несколько шагов по комнате, я начала вставать и ходила сколько могла, а потом чуть ли не ползком добиралась до кровати. Так я надеялась скорее восстановить силы.

Однажды утром, когда мне стало уже намного лучше, на площади вдруг заиграли трубы и барабаны, и я услышала топот и голоса, постепенно удалявшиеся в сторону полей и дальше, в сторону гор... Из соседних комнат не доносилось ни звука. Я решила одеться и выйти.

на скотный двор. Думала: похожу там немного и, если не устану, завтра же отправлюсь в Монторо.

Оделась и прошла в коридор. Прислушалась. Кажется, в доме никого нет. Сдерживая слезы, вышла на веранду. С гор доносился запах тимьяна и розмарина; обернувшись к реке, я почувствовала на щеках влажную свежесть. И в этом году наступила весна! Трудно было поверить, но она пришла, окрасив в сто цветов холмы, кустарник, берега реки; ее теплое дыхание возвращало меня к жизни... Цвела лаванда, цвел розмарин, цвел даже колючий боярышник...

Мне не хотелось там оставаться, и я спустилась на скотный двор. Ноги держали... «Завтра, завтра уж обязательно...»

Я бродила по загонам и вдруг за оградой увидела Петру Хименес. Она собирала или делала вид, что собирает цветы дрока. У меня чуть не вырвался радостный крик: наконец-то вижу кого-то из своих! Я бросилась к ней, но она меня остановила, сказав с издевкой:

— Что же ты за пленница, если в празднике пленных не участвуешь!

Я спросила, о чем она. Посмотрев на меня подозрительно, Петра задумалась надолго, но потом все же ответила:

— Я о пленницах, которые раньше отзывались на имя «компаньера» и такие уж были — прямо свои в доску! Ясно, время сейчас подходящее, чтоб наплевать и забыть про красных, про мертвых и про живых... Но есть вещи, девочка моя, которые не проходят... Здесь по крайней мере это тебе не пройдет, здесь все своими глазами видели, какая каша заваривалась...

Она поставила корзинку на землю и так и пронзила меня взглядом.

— Знаешь, что весь Альменар говорит, Няня Лена?.. Пленницы вроде тебя умеют половить рыбку в мутной воде!

И тут я начала понимать.

— Подойди ко мне, Петра Хименес. Иди сюда и расскажи все по порядку, потому что я, клянусь его памятью, тут ни при чем и ничего не знаю.

Мои слова звучали так искренне, что она поверила. И начала рассказывать... По всей округе своры карателей не уставали расстреливать, терзать, сажать в тюрьмы респуб-

ликанцев. И ради оправдания каждого своего преступления приписывали десятки своим жертвам.

— Вот Викториано, который был подручным в да-вильне. Он тогда, в церкви, отличился—это все знают. И разделался с одним из Кабралов... тут тоже ничего не скажешь. Но сколько ему теперь навесили убийств? Тридцать пять, чтоб ты знала, ни больше ни меньше!

Героиней одной из бывших в ходу небылиц, сама того не подозревая, оказалась я. До самой Кордовы дошли слухи о Няне Лене, альменарской пленнице, сначала изнасилованной шахтерами из хаэнского ополчения, а потом похищенной комиссаром. И представители власти, и друзья, кто с заговорщическим видом, кто с любопытством, молча жали руку родным жертвы, впервые соизволившим публично признать свое родство, и Педро Луна бормотал с подобающей случаю интонацией:

— В священной войне лишения никого не обошли.

— На холме Серро-де-Агуа, где вроде застрелили какого-то фалангиста, удравшего из тюрьмы в Монторо,— сказала под конец Петра Хименес,— сегодня утром решили устроить показуху в честь пленников и пленниц. И тебя уж там представят во всей красе, будь спокойна!

Дальше я слушать не стала, я зашагала к холмам, не обращая внимания на Петру, которая, угадав мое намерение, кричала мне вслед:

— Стой, Няня Лена! Не ходи! Тебя убьют, если заговоришь!

Но до того ли мне было! Моя жизнь!.. Ведь моя жизнь была только временем, прожитым с ним, только тем, что он пробудил во мне, тем, что он мне оставил! И это хотели вывернуть наизнанку, втоптать в грязь, оболгать!

Позднее то, что я совершила в такой момент и в таких обстоятельствах, называли чуть ли не подвигом, но я вас уверяю, что ни смелость, ни тем более героизм здесь были ни при чем. А правда, *моя правда*, заключалась в единственном: не сделать того, что сделала, я не могла, не отказавшись от себя самой, рожденной в таких муках в военные годы... Ни на секунду мне не пришло в голову повернуть назад... Прийти и прокричать им в глаза правду означало похоронить прежнюю Няню Лену и утвердить—навечно!—рождение новой!

Путь до Серро-де-Агуа был неблизкий, давала себя знать перенесенная болезнь. Из последних сил я проди-

ралась сквозь кустарник, карабкалась на кручи, иногда на четвереньках, потому что ноги отказывались держать, и раз двадцать думала, что не выдержу, не дойду... но столько же раз, стиснув зубы, повторяла про себя: «Надо дойти! Не дойдешь—останешься навсегда прежней Няней Леной!» А это уж ни за что! Лучше повиснуть мертвой где-нибудь на скале!

Мне помогала память о нем. «Дойду! Он бы дошел, даже если ему пришлось бы всю дорогу сердце нести в руке!..»

Иногда я падала в заросли дрока, чтобы отдохнуть и набраться сил и чтобы ветер высушил обжигающий пот. Я была до того слаба, что даже жужжание пчел в кустах розмарина меня усыпляло. Но и раз, и другой мне удавалось подняться и продолжать путь... На колючих ветвях оставались клочья моей юбки... а может, и кожи... «Все равно дойду!»

Около полудня я наконец увидела холм. На нем толпилось сотни две народу. В центре священники в торжественных облачениях возносили над головой распятия. Там были все богатеи округа со своими семьями, военные, фалангисты, солдаты гражданской гвардии. В первых рядах выделялась обнаженная голова Педро Луны. Рядом один из синерубашечников торжественно разглагольствовал.

Я подошла, собираясь проложить себе дорогу в толпе, но вдруг остановилась, на миг ощутив то ли страх, то ли смущение... не знаю. Но тут люди сами расступились передо мной. Одни, видя меня в таком возбуждении, инстинктивно сторонились. Другие, звавшие меня, старались дать мне пройти, и я слышала: «Няня Лена!.. Это Няня Лена!» От меня все чего-то ждали.

Услышав мое имя—а я уже была в первых рядах,—фалангист, произносивший речь, на мгновение замялся, но сразу же заговорил снова и, вскинув голову, указал публике на меня. Вот, мол, живой свидетель и жертва подлости красных: Няня Лена, альменарская пленница, собственной персоной.

В первом же слове, которое я прокричала: «Ложь!», было все, что требовалось сказать, но у меня еще хватило силы, чтобы, воспользовавшись общим замешательством, добавить:

— Да, я была пленницей, это правда... Вашей пленни-

цей была я до их прихода! Никто меня не насиловал. Никто! А тот, про кого вы говорите, что он меня похитил... был моим мужем!

С трудом вспоминаю, что произошло потом. Откуда-то из-за спины Педро Луны, красного от ярости, выскочила кучка бесноватых и набросилась на меня. Потом вижу себя уже далеко от этих людей. Двое гвардейцев, взяв под руки, чуть ли не по воздуху волокут меня вниз, с холмов... Доставлена я была не в Альменар, а в тюрьму Монторо. Следующей ночью меня вывели оттуда и еще до рассвета, чтобы никто не видел, переправили в Хаэн. В провинции Кордова много толков ходило о Няне Лене, «альменарской пленнице».

И представьте, меня судили! В октябре 1940-го, после года тюрьмы, я предстала перед военным трибуналом в Хаэне.

— Вы отрицаете, что были изнасилованы и похищены? — допытывался председатель.

— Отрицала и буду отрицать.

Именно это, если верить непогрешимым аргументам прокурора, подтверждало мою виновность в помощи смутьянам. За соучастие, с учетом не знаю скольких смягчающих обстоятельств — слава богу! — меня приговорили к шести годам и одному дню! Но весной сорок третьего я вышла на свободу и после долгих скитаний оказалась наконец в этом доме. Потом разыскала товарищей, начала работать... Вот и вся моя история до сего дня...

Она помолчала, потом с грустной улыбкой добавила:

— Когда-нибудь... То счастье, что выпало мне, позднее и недолгое, уже не вернется... Мое время прошло... Но ведь есть и другие?.. Правда?..»

Закончив рассказ, она сидела молча, молчал и я. Все слова, что приходили в голову, казались пустыми и бесцветными. Наконец я пробормотал:

— Как хорошо, что вы с нами...

Мой голос вывел ее из задумчивости, взглянув на часы, она ахнула:

— Восемь! А вы договаривались на полвосьмого?..

Я давно уже заметил, что товарищ опаздывает, но ничего не сказал ей, чтобы не беспокоить. К тому же я знал, что он с утра уехал за город. Может, опоздал на

поезд и не смог вовремя вернуться. Пока для особой тревоги не было причин. Подождем еще минут десять, а там посмотрим...

Я встал и подошел к балкону. Портовые рабочие уже возвращались домой, их лица блестели от мазута и пота. Напротив, у дороги, стайка мальчишек гоняла в футбол. Няня Лена больше не произнесла ни слова, но я слышал, как она ходит за моей спиной из угла в угол, не в силах от волнения усидеть за работой.

Наконец в дверь позвонили. Два звонка: один длинный, один короткий.

— Вот и он! — радостно зазвенел голос Няни Лены.

И, вернувшись в комнату с тем, кого мы ждали, она взяла свою корзинку и, как всегда, проговорила:

— Если что-нибудь понадобится, зовите...

**ИСТОРИЯ ПРО ТО, КАК ХОСЕ РЕКИНТО
И НИКОЛАС НИКОЛАВИЧ
ПОЖЕНИЛИСЬ НА САГРАРИО И ПЕПЕ
ИЗ ПУЭРТО-ДЕЛЬ-СЕГУРА,
ПРОВИНЦИИ ХАЭН**

Во время сбора винограда в 1935 году неизвестно почему—то ли пришлых оказалось больше, чем надо, то ли урожай не удался,—только для многих батраков из Андалусии работы не нашлось. Их можно было увидеть на главной площади, где они усаживались на краешек тротуара или сбивались в кучки, карауля долгожданного хозяина, который наймет их поработать на виноградниках. Когда мимо проезжали повозки или грузовики с более удачливыми товарищами, они, приветствуя их, вяло и без особой радости махали руками. Пришли батраки из провинций Кордова и Хаэн, но главным образом из Сегуры и Бухалансе. Гонимые голодом, они пешком добирались до равнин Ла-Манчи в поисках заработка. Мужчины, высохшие и до времени постаревшие, в светлых линялых рубашках, курили самосад и глядели запуганно. Женщины с желтыми лицами и в цветастых платьях жевали тронутые гнильцой дыни. От всех несло кислым запахом пота, блеклую кожу, казалось, выдубило вековым голодом. Ночевали батраки прямо на улицах, сбившись в углы в человеческие гроздья, согревая друг друга теплом своих тел. Детей они оставляли дома у родни или соседей и таскались по улицам нашего городка со своими жалкими пожитками, надеясь найти хозяина, который даст им работу.

И вот однажды сентябрьской ночью, густой, как красное вино, дед заявился в дом с гладкой и крепкой девушкой, с детскими еще повадками. Одетая она была в заношенное платьице, альпаргаты свободно болтались на ногах.

Они вошли, когда мы сидели во дворе мастерских рядом с садиком—как раз вышли подышать воздухом на вечерней прохладе. Все тут же смолкли и принялись разглядывать девушку, которую привел дед. От нее так и

веяло свежестью. Она смутилась, старалась укрыться в тени, сжимая в руках узелок с бельем.

— Вот тебе прислуга, Эмилия,— сказал дед,— зовут ее Саграрио, она из Пуэрты. Хочет остаться в городе.

Все мы глядели на нее, удивленные ее пышностью и гладкостью, столь необычной для пришлых: обычно на тех только и было, что кожа да кости.

— Завтра купишь ей халат,— сказал дед, не отводя от нее взгляда.

Бабушка— а она никогда не оспаривала мужниных решений— задала Саграрио вопрос, на первый взгляд совсем невинный и бессмысленный.

— Хочешь жить с нами?

Саграрио попыталась ответить, но заплакала.

Бабушка посмотрела на деда, будто хотела что-то спросить.

— Что ты, дочка, что с тобой, черт тебя подери!

Некоторое время в ответ слышались лишь рыдания. Наконец, все еще всхлипывая, та сказала:

— Хочу быть с моей Пепой.

Выяснилось, что «ее Пепа»— землячка и подруга с детства, тоже попавшая сюда на неудачный сбор винограда.

Бабушка сказала, что ей нужна только одна служанка. Тетя поспешила уточнить: им вообще никто не нужен.

— А что представляет собой «ее Пепа»?— спросили женщины у деда.

— Не знаю, я ее и не видел вовсе.

— Она очень хотела, чтобы я устроилась работать,— продолжала, снова ударившись в плач, Саграрио.— И спряталась, как только сеньор заговорил со мной... Моя Пепа такая добрая.

Вот так обстояли дела, когда во двор, погруженный в темноту, неуверенной походкой— сказывалась болезнь— вошла мама. Она вернулась от своей сестры Паулины, жившей напротив.

Мама, устало, как всегда, присела со мною рядом, взяла мою руку в свои. Никогда не забуду, как светились ее огромные голубые глаза, какие у нее были гладкие волосы, а рука— совсем маленькая и невесомая.

Ей объяснили, в чем дело. Она посмотрела на Саграрио, которая все всхлипывала, вцепившись руками в жалкий узел, и на лице мамы появилось мягкое выраже-

ние, всегда возникавшее у нее, когда ей встречались люди простые и, как она сама, добрые сердцем.

— Ну вот, теперь еще и «ее Пепа» какая-то...— сказала бабушка, чуть передразнивая андалусский говор девушки.

Мама улыбнулась и сказала, что сам бог велел нам взять Пепу, если она такая добрая,— дело в том, что мама с утра в расстройстве, так как находившаяся у нас в услужении девица сообщила о своем решении с понедельника уйти на сбор винограда.

— Вот и возьми Пепу к себе,— сказал дед; он явно не был расположен расставаться с Саграрио.

— А твоя Пепа,—спросила мама девушку,—согласится жить у нас?

— Да, сеньора,—сказала Саграрио, просяив,—увидите, она согласится. Она очень, очень добрая. И такая веселая!

— А где сейчас Пепа?

— Там, где сеньор меня нашел,—на углу гостиницы «Порталес».

— Все в порядке,—сказал дед.—Пусть поживет у нас до понедельника, когда уйдет твоя служанка.

— Правда, сеньорита?—спросила Саграрио у мамы с детской радостью.

— Да, доченька.

— Тогда давай, оставь здесь свой узел и пошли за Пепой,—сказал дед, обрадовавшись, что все уладилось.

И они быстрым шагом пошли к тому месту под арками на главной площади, где осталась ночевать Пепа.

Пепа была красивая и довольно статная, хотя чуточку неуклюжая, медлительная в движениях, очень приятная, обаятельная и с юмором, но беззлобным, с эдакой ленцой. Говорила она и двигалась всегда не спеша, а кончив за столом есть, складывала руки на животе и говорила, обращаясь к сидевшим рядом:

Ну вот, мы и поели.

И мы повеселели.

Дай бог здоровья нам
и хозяевам.

Пусть живут себе спокойно,
лишь бы было всем нам вольно.

Ленивая медлительность, с которой она говорила и двигалась, очень нас веселила.

Часто, когда после ужина мы шли в гости к бабушке или та сама приходила к нам, Саграрио и Пепа гуляли вдвоем, говорили о родных краях, вспоминали общих друзей.

Время от времени Пепа говорила:

— Ну до чего же, сеньорита, скучные у вас здесь мужчины; хотя, с другой стороны, если кто из них на меня глаз положит...

Мама быстро прониклась к ней симпатией, могла подолгу слушать ее тягучие шутки и присказки.

— Нет, вы мне скажите, сеньора, и чего это нам так нравятся мужчины—они ведь такие страшные, да еще и волосатые?

А детям она рассказывала всякие случаи про цыган и сборщиков маслин, питавшихся только какой-то непонятной «гачамигой»¹.

Саграрио, которая была помоложе, слушала ее как замороженная, шумно и по-детски откликаясь на каждую шутку Пепы. Она хохотала громко и безудержно, как счастливый ребенок, Пепа же, наоборот, смеялась только глазами и лицом.

Не прошло и нескольких месяцев, как они стали жить в городе, а у Саграрио завелся жених. Звали его Пепе² Рекинто, был он маленького-маленького роста.

— Господи боже мой, чем же я провинилась, что ты послал мне такого мужчину-крохотулю!

— Уж потерпи,—говорила ей Пепа,—пока тебе не выпадет что-нибудь побольше: сама знаешь—лучше мало, чем ничего.

— Но он же мне до плеча не достает... И тоненький, как иголочка... Хи-хи-хи!

— И чего тебя так волнует рост у бедного Пепито Рекинто? Какая разница, раз ты собралась за него замуж.

— Ох, Пепа, а вдруг я утром после свадьбы, как проснусь, подумаю, что он у меня только что родился.

На следующий год, когда началась война, девушки уже приспособились к жизни в Ла-Манче, к нашим нравам.

¹ Хлебный суп, который едят бедняки в Андалусии.

² Уменьшительное от Хосе.

Саграрио была по всем правилам помолвлена с Рекинто.

— Как жалко, Пепа, что у тебя еще нет жениха,— ты ведь такая красивая!

— Не беспокойся, его еще где-то для меня выращивают.

Рекинто часто гулял с обеими подругами, изо всех сил стараясь при этом казаться выше ростом.

— Учти, Рекинто, ни за что на свете не оставляю я мою Пепу. Так, что, пока у нее жениха не будет, ходить нам всегда втроем.

Рекинто ворчал, хмурился, робко намекал на то, что любовь дает право оставаться с суженой один на один.

Был у Пепито Рекинто развалюха «форд», который он сам собрал, использовав детали и от других моделей. Иногда, решив поважничать, он подъезжал на нем к Саграрио. Но машина была такая безобразная, что даже милисианос не пожелали ее реквизировать.

Рекинто приглашал девушек покататься с ним, но они отказывались. Саграрио опасалась, что Пепе впадет в соблазн и не ограничится поездкой к замку Пеньяройа, как он обещал, а, воспользовавшись машиной, доведет ее до грехопадения. А Пепа говорила:

— Нет, вовсе я не боюсь, Рекинто, просто стесняюсь— не сеньора же я какая, чтобы на автомобиле раскатывать.

А потом рядом с городом, прямо за парком, на скорую руку соорудили летное поле, и туда то и дело стали прилетать эскадрильи двухмоторных самолетов— экипажи их отдыхали у нас или тренировались в полетах. Долгое время это были только русские летчики. Все, как правило, высокие, светловолосые, в грубых кожаных куртках. Русские улыбались каждому встречному, но ни слова по-испански не знали. Привлекали они внимание, кроме всего прочего, и тем, что курили необычные сигареты с длиннющими картонными мундштуками.

Врач, что жил напротив нас, подружился с первыми русскими, прибывшими к нам, а скоро так повелось, что все они, прилетая на аэродром, по вечерам непременно приходили к нему в гости. Летчики играли на пианино, стоявшее прямо во дворе, пели песни, казавшиеся нам очень грустными, плясали вприсядку до полного изнеможения.

Мы, ребяташки со всей округи, вместе с прислугой собирались у дома врача поглядеть, как русские летчики пляшут, поют, пьют вино. В один из вечеров мы—а с нами была и Пепа—смотрели, как летчики гуляют. На этот раз они веселились пуще обычного: танцуя, прыгали вовсю, обливались потом. Тот, что сидел за инструментом, пришел в полный раж. Не знаю—а может быть, забыл,—по какому поводу они тогда так веселились.

В перерыве между плясками один из летчиков—очень высокий, волосы совсем светлые, до этого он часто поглядывал в нашу сторону—подошел к нам с большой коробкой шоколадных конфет и с улыбкой протянул ее Пепе.

Она стала вся пунцовая и сказала:

— Пусть бог вас отблагодарит за это, добрый человек.

Он так и остался стоять, улыбаясь, забыв обо всем на свете, все глядел на нее. А Пепа опустила глаза. И стояли они так долго, что все обратили внимание на этот немой разговор между ними.

Наконец Пепа медленно, не поднимая глаз, открыла коробку, предложила русскому, а затем и всем, стоявшим возле нее. Русский, взяв одну конфету, благодарно поклонился. Потом, пока Пепа угощала нас, он смотрел на нее чуть раскосыми глазами—голубыми, со стальным оттенком. Затем летчик сам взял из коробки еще шоколадку, дал Пепе откусить половинку, другую поднес себе ко рту. Все происходило в полной тишине. Но не успели они доесть свои половинки, как остальные русские, смотревшие на эту сцену, вдруг высоко подняли бокалы. Один из них принес бокалы также Пепе и своему товарищу и что-то громко сказал, после чего все выпили, смеясь и шумно перебивая друг друга. Одна Пепа застыла, словно испугавшись. Но летчик, мягко взяв ее за руку, заставил ее пригубить из бокала. И снова начались пляски и песни. А когда русский летчик, обративший внимание на Пепу, пускался в пляс, он не сводил с нее глаз, словно посвящал ей свои прыжки и резкие повороты.

Все дни, что последовали за этим замечательным тостом, жители округи с интересом и явным удовольствием следили за романом русского летчика и Пепы. А она была наверху блаженства, ходила по дому с остановившимся взглядом, вроде как прислушивалась к сладкой и

нежной мелодии, звучащей в ее сердце.

— Ах, боже ты мой,—то и дело приговаривала она без всякого повода.

Мама внимательно следила за ней ясными и ласковыми глазами.

Как-то вечером—тогда разразилась сильная гроза—они долго разговаривали, усевшись у дверей на плетеных креслах, которыми мы обычно пользовались летом.

В другой раз я увидел, что мама гладит ее по головке.

Когда с наступлением вечера русские приходили в дом врача вместе с руководителем городского оркестра, который жил в той же гостинице, что и они, и подружился с ними, мама разрешала Пепе пойти с нами на улицу, хотя не дальше угла кондитерской. Она, бедняжка, кое-как прикалывала к волосам цветочек, сорванный на заднем дворе, где мама разводила цветы, и, смущенная, в простеньком светлом халатике и красных тапочках, ждала.

— А вон и Пепа, уже дожидается своего русского,—говорили соседки, наблюдая из дверей, окон и балконов.

Затем появлялись русские летчики в просторных кожаных куртках и с бутылками в руках, вместе с музыкантом, выучившим слово «товарич». Увидев Пепу, высокий летчик со стальными глазами, улыбаясь, подходил к ней. Глубоко поклонившись, он вручал ей коробку конфет, а то и кусок мыла, случалось даже—материал на платье. Потом они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Иногда он распевно произносил: «Амор, амор». Или: «Muchacha guara... amor»¹.

Пепа вся заливалась краской и дарила ему крохотный цветок, сняв его с волос. Русский бережно прикасался к нему губами и прятал в огромный планшет. Мы, ребята со всей округи, а также няньки и служанки глаз от них оторвать не могли. Но они нас не замечали.

— Боже ты мой, сеньора, а зовут-то его Николас Николавич.

— Ну и что из того, Пепа?

— Да ничего... Только зачем еще и Николавич?

Как-то в один из вечеров Николас пригласил Пепу войти в дом врача. Но она отказалась—очень уж стеснялась с того дня, когда за них тост подняли. Только когда

¹ Любимая, любимая... Красивая девушка... любимая (исп.).

вышла сама врачиха и пригласила, Пепа решилась переступить порог дома.

Вошли мы все в патио, и Николас Николаевич попросил тишины, а потом заговорил по-русски очень торжественно — говорил он долго и все на Пепу смотрел. После этого все захлопали. Затем один из русских, невысокого роста, похожий на монгола, какими их рисуют на детских картинках, перевел, мягко выговаривая, слова своего товарища: «...Николас Николаевич рад сообщить всем, что хочет попросить Пепу стать его спутницей жизни. А сейчас он от всей души, точнее, от всего сердца спляшет в ее честь. А сам он — то есть переводчик — также лично поздравляет Пепу, поскольку ей выпало счастье стать отныне частичкой великой семьи советских людей».

Теперь уже и испанцы захлопали. А русские один за другим стали подходить к Пепе и пожимать ей руку. Потом Николас Николаевич крепко поцеловал ее в обе щеки. Пепа принимала все эти знаки внимания к себе, окаменев, бледная, на лбу ее проступила испарина.

Николас Николаевич вскрикнул и неожиданно стал кружиться на месте под аккомпанемент пианино, за которым сидел один из русских, по фамилии Кольцов.

А мы все прихлопывали ему в такт вместе с русскими летчиками.

На шум праздника в дом врача стали сходить соседи. Не скрывая своего восхищения, они обступили Пепу; а та все стояла недвижно, неловко скрестив на груди руки, и глубоко-глубоко дышала.

На другой день Пепа долго обсуждала происшедшее с Саграрио и Рекинто. Саграрио слушала раскрыв рот, как всегда, когда говорила ее землячка. Он же внимал, стараясь казаться солиднее. Вдруг Саграрио захохотала, принялась ладошками хлопать по бокам.

— Пепа, милая... да как же ты с мужем разговаривать будешь... ты ведь его не понимаешь! Он же русский, бог ты мой! Ну, Пепа, что будет, что будет!

А Рекинто все курил, смотрел так, будто на его стороне правда.

— Никому не дано знать, как его судьба сложится, — изрек он наконец.

Судя по всему, Рекинто очень хотелось быть главным действующим лицом в этой любовной истории, получив-

шей широкую огласку во всей округе,—ведь, как выяснилось позже, его прямо-таки обуревала жажда славы, стремление выделиться.

— Совсем ты из-за него сдурела, Пепа, милая моя, хоть ни одного его слова не понимаешь. Кто бы мог такое представить! Что будет, что будет, когда в Пуэрте об этом узнают...

Рекинто, надо думать, было не очень по вкусу, что Пепа сдурела явно больше, чем его Саграрио.

Едва донья Нати узнала от мамы, какой намечается поворот в испанско-русских отношениях в лице скромных представителей обоих народов—Николаса и Пепы,—она дождалась момента, когда мы, направляясь в мастерские деда, проходили мимо ее дома, по давно заведенной привычке высунулась на балкон и велела подняться к ней.

Засим последовала продолжительная беседа, в ходе которой, естественно, говорила главным образом донья Нати, поскольку Пепа только коротко рассказала, как они с русским летчиком познакомились и полюбили друг друга.

Донья Нати выложила все-все, что думала по этому поводу. Она ссылалась на различия в климате, языке, религии, обычаях, питании, в политическом строе. В связи с последним пунктом она выступила с настоящей декларацией, объясняя, почему она, придерживаясь всего лишь либерально-республиканских взглядов, отвергает любой вид диктатуры и государственного вмешательства. Что она не согласна также с любой формой ущемления свободы совести и права мыслить, как кому заблагорассудится, не признает однопартийную систему, а также—хотя это было уже и не столь важно—весьма сдержанно относится к уравнильным теориям коммунистов в экономической и социальной области, поскольку, по ее убеждению, человек должен пользоваться полной свободой, даже быть бедняком... Однако—и тут она сделала театральные жесты, как бы подчеркивая важность долженствующих последовать за этим доводов,—она прекрасно понимает, что такое возвышенное чувство, как любовь, способно преодолеть все препятствия на своем пути, когда речь идет об истинно человеческих отношениях; если чувство это не руководствуется лишь таинственной

горячкой страсти, то подобное чувство, сказала она (а надо заметить, что донье Нати до седых волос нравились романтические выражения и обороты), если только оно достаточно сильное и чистое, способно сливать воедино живые существа, какими бы они ни были разными. И что Пепа, в конце концов, легко выучит русский язык—он сам, причем Пепа того и не заметит, войдет в ее мозг через кровь и сердце. Что же касается холода и вообще климата, а также обычаев и даже политического строя, то они со временем станут для Пепы совсем родными, если ее любовь к Николасу действительно такая глубокая и неодолимая, как она говорит... Одним словом, если любовь Пепы поистине так велика, то она правильно поступает, выходя замуж за русского летчика.

Когда донья Нати завершила свою речь, Пепа коротко ответила ей примерно следующее.

Что она очень любит Николаса. Что все произошло так внезапно, будто на нее напала горячка, которая все никак не проходит. Что она уверена: он очень добрый и хороший человек, способный нежно любить. Что в Испании ей терять нечего. Если говорить о холоде и голоде, так она с детских лет и до того, как попала к нам в дом, не знала не ведала, что каждый день можно есть горячее и спать на простынях. Что касается религии, то жалкая жизнь, выпавшая ей на долю, не очень-то вызывала симпатию к испанскому Богу. Ну а уж если заговорили о политических идеях, то, хотя она и не очень разбирается в диктатурах и свободах, ей, однако, вполне по душе страна, в которой нет бедных и богатых, поскольку все мы, как известно, божьи создания, а она никак не может до сих пор понять, с чего это у одних всего много и даже слишком, а другим даже куска хлеба недостает... И наконец, разве могла она мечтать выйти замуж не за полумертвого от голода батрака, по полгода сидящего без работы, а за военного, командира, да к тому же еще и летчика...

Донья Нати очень внимательно выслушала доводы Пепы, лишь время от времени делая неопределенные жесты в ответ на некоторые утверждения, но, столкнувшись со столь твердой решимостью, решила воздержаться от советов и пожелала Пепе счастья и удачи во всем.

Единственное, о чем она попросила Пепу, так это написать ей из России и рассказать об увиденном там,

чтобы она могла из первых рук узнать, что же это за загадочная такая страна.

Пепа пообещала, донья Нати поцеловала нас, мы попрощались и ушли.

А потом как-то утром, очень рано, у дверей наших появилась Мария по прозвищу Тюлениха. Она вечно была чьей-то приживалкой—тогда ее подкармливали в Международной красной помощи¹,—третьеразрядной сводницей, устраивавшей всякие делишки между прислугой, мальчишками на побегушках и охочими до любовных утех стариками. Заявилась она с доверительным сообщением для Пепы.

Была она толстая, вся почерневшая, один глаз слезился, а другой постоянно зыркал туда-сюда, туда-сюда, а над губой, как у китайца, пробивались усики. Тюлениха ходила, опираясь на грязную палку, которая до этого, судя по всему, подпирала где-нибудь ветку в саду. Серые и сальные волосы выбивались из-под черного, давно не стиранного платка, сбившегося набок и оттого похожего на шапку.

Подмигивая слезящимся глазом и со смаком растягивая слова, она сообщила бедной Пепе, что сегодня вечером русские, никого не ставя в известность, улетают в Россию. «Вот я, девонька, и пришла тебе об этом сказать, чтобы ты позаботилась, а то как бы тебе без женишка не остаться, бросит тебя твой самолетчик».

Когда мы проснулись, мама обнаружила Пепу в ее комнате—та лежала на постели и жалобно завывала, как раненое животное.

Мама присела к ней и, выяснив, что между нею и Николасом «ничего такого особенного не произошло», стала успокаивать Пепу, изо всех сил стараясь ее подбодрить.

— Нет, сеньора, нет, мы вели себя как ангелы, ничего такого себе не позволяли...

Вернувшись и узнав, в чем дело, отец тоже принялся успокаивать Пепу. Он сказал, что если судить по тому, как вел себя Николас, он не способен на бесчестный

¹ Так в капиталистических странах называлась МОПР (Международная организация помощи борцам революции)—организация, оказывавшая поддержку жертвам белого террора, борцам против фашизма.

поступок. Пепа немного пришла в себя и даже занялась делами по дому, хотя и продолжала время от времени всхлипывать. Как бы то ни было, сказал отец, после обеда он ходит к соседу-врачу узнать, точно ли русские уезжают. Но это не понадобилось.

Только мы приступили к обеду, как в дверь уверенно и громко постучали. Пепа на мгновение оцепенела, словно ее саму стукнули, но потом, дрожа всем телом, пошла открывать.

Дверь распахнулась настежь, в дом с улицы хлынули яркие лучи полуденного солнца. Послышались отрывистые слова, уверенные шаги трех русских и музыканта, знавшего слово «товарич». Один из них был, конечно, Николас Николаевич; другой — какой-то важный начальник в очень красивой форме; третий — переводчик с лицом монгола из детских картинок.

Они коротко кивнули, приветствуя нас, после чего переводчик обратился к папе, а остальные, в том числе музыкант, застыли молча.

Пепа, вся охваченная восторгом, глаз не отрывала от своего Николаса, а тот впился взглядом в лицо папы и следил за изменением выражения его лица по мере того, как говорит переводчик.

Мама предложила всем сесть, но они сказали, что не могут, очень спешат.

А переводчик говорил, что по приказу свыше эскадрилья должна сегодня же вечером вылететь на базу. Что Николас, как истинный кабальеро, по всей форме обратился к командиру — вот он, здесь, — с просьбой позволить забрать с собой Пепу, поскольку они, возможно, в Испанию больше не вернутся. Что командир согласен, но теперь требуется согласие на отъезд Пепы со стороны папы, который, как они поняли, приходится ей родственником или опекуном — в их стране слуг и хозяев не существует, этого они вообще не понимают, с таким покончили еще во время славной революции 1917 года. А потому командир хочет узнать, что по этому поводу считает папа, и в случае согласия с его стороны ему надлежит подписать вон ту бумажку, что они положили на стол.

Папа ответил, что Пепа совершеннолетняя, вольна оставить по своему усмотрению дом и выйти замуж за кого пожелает. Что, если она согласна, то он, зная о ее

чувствах к Николасу, ничего против не имеет. Тогда переводчик очень торжественно спросил Пепу, желает ли она сегодня же вечером улететь с Николасом в Россию, где они поженятся согласно существующим в стране законам. Не моргнув глазом она тут же сказала «да». И положила руку на плечо Николаса, а тот, продолжая стоять по стойке «смирно», обнял ее за пояс.

Папа добавил, однако, что, как он надеется, Пепа хорошенько все взвесила, поскольку никогда из Испании не выезжала и попадет в страну, совсем не похожую на ее родные края.

Не дав ему закончить, переводчик с гордостью сказал, что Пепу ожидает замечательная судьба. Она станет советской гражданкой, супругой отважного офицера авиации СССР и жить будет... «как у вас тут принято выражаться, не хуже настоящей сеньоры».

Не очень обратив внимание на последние слова переводчика, папа спросил Пепу, как отнесется к такому решению ее семья. Та ответила, что семьи у нее всего один брат и она сегодня же ему напишет, известив об отъезде.

Папа подписал бумагу, написанную по-русски; как ему разъяснили, это было разрешение на поездку Пепы. Под ней должны были поставить свои подписи также алькальд, военный комендант города и кто-то еще, не помню точно кто. Потом они распрощались с папой и мамой. Договорились, что через два часа Николас заедет за Пепой, так как ровно в семь вечера их эскадрилья должна взять курс на Россию. Пепе предстояло лететь на двухмоторном самолете, за штурвалом которого будет находиться Николас.

Эта новость мгновенно разнеслась по всей округе, в дом начали приходить желающие попрощаться с Пепой. Собралась она очень быстро — все ее вещички уместились в маленьком картонном крашеном чемоданчике. Сагратио безутешно рыдала.

— Ай, моя Пепа!.. Моя Пепа... Полетит на самолете... В Россию!.. Как мне ее жалко!.. Ай, моя Пепа, как же ей повезло!

Так она, бедняжка, от жалостных рыданий перекидывалась к белой зависти, и с такой детской непосредственностью, что любо-дорого было послушать.

Рекинто, потеряв дар речи и явно раздраженный всей этой суматохой, курил не переставая.

— Какое же счастье тебе привалило, Пепа,— выходишь замуж за летчика, да еще и офицера.

Услышав такие слова, Рекинто—а его не взяли в армию, так как он ростом не вышел,—бросил на Сагарио испепеляющий взгляд.

А Пепа с цветочком в волосах все улыбалась и ни на шаг от своего чемоданчика не отходила.

Каждый из гостей что-то ей говорил, все поздравляли, некоторые не могли удержаться от никчемных и неуместных замечаний.

— В Россию летишь, это ж надо — небось подальше, чем Франция!

— Будь там поосторожнее, дочь моя,— сказала сестра Мариана,— они ведь все там безбожники.

— Кто бы мог такое помыслить: была батрачкой на сборке винограда, а станешь командиршей, летчицей.

Мама подарила Пепе старинные сережки, а дед с Лильо принесли огромную охапку цветов. Пепа все ласкала нас, малышей, обещала написать.

Вскоре у дверей остановился автомобиль. Вошел Николас—он был в кожаном комбинезоне и теплой шапке, вроде тех, в каких ходят в горы. С ним был и музыкант.

— Ну и ну!—сказал он Пепе.—Ты теперь стала настоящей «товарич».

Через руку у Николаса был перекинут плащ цвета мальвы и шляпка в тон, которые Пепа должна была взять с собой в самолет. Но она тут же надела их на себя.

— Ай, Пепа, какая же ты красивая!—приговаривала Сагарио, разглаживая на подруге новую одежду.

Рекинто уставился в пол в полнейшем расстройстве.

В плаще и шляпке Пепу было не узнать. Она выглядела настоящей сеньоритой. Николас нежно поцеловал ее в лоб. Потом стал пожимать всем руки, говорил какие-то слова по-русски и по-испански, мы разобрали только «прощайте... прощайте».

Пепу все обнимали, она долго целовала маму.

Музыкант вручил ей разлинованную бумажку со значками и сказал, что это пасодобль «Русская невеста», который он сочинил в их честь.

Наконец Николас взял Пепу на руки и отнес в машину.

Автомобиль тронулся, все махали вслед.

А дед, стоявший позади всех, приговаривал:

— Черт побери, черт побери, бывает же такое...

На следующий день, рано утром, что уже само по себе было удивительно, дед оказался в нашем дворе и разговаривал с мамой. Он был чем-то возмущен. Скрестив руки на груди, все время кивал, поджимая губы.

— Вот какой фокус выкинула эта чертова девка.

— Думаю, во всем виноват Рекинто,— сказала мама.

Наконец я понял, что поутру Саграрио не нашли в комнате: постель ее была нетронута, исчезли и ее вещи.

Дед сообщил об этом куда положено, и власти вроде начали расследование, хотя с самого начала ничего особенно загадочного в этом деле не было.

Дед говорил очень возбужденно:

— Сколько мы для нее сделали... И куда же она подевалась?

Мама долго молча слушала его, потом, улыбаясь, сказала:

— Да ее Рекинто умыкнул. Это ясно как божий день.

— Как умыкнул? Зачем? Разве кто-нибудь возражал против их женитьбы?

— А просто он весь иззавидовался русскому.

— Ты так полагаешь?

— Готова на что угодно поспорить.

— Ну, посмотрим.

И дед как ошпаренный выскочил неизвестно куда.

К полудню все стало на свои места. Солдаты одного из дальних постов обнаружили Саграрио и Пепито в дешевой гостинице в Аргамасилья-де-Альба, всего в шести километрах от нашего города. Там и кончился бензин у развалюхи «форда» Рекинто.

Спустя три дня они вернулись, но не решались предстать перед нашей семьей. Деду пришлось пойти к ним и отвести их к судье, который их поженил.

Потом он сетовал друзьям:

— Надо было этим шальным милисианос реквизиловать у Рекинто его «форд».

И добавлял:

— Вдобавок еще этот Рекинто безумно гордится своей дурацкой выходкой. Можно подумать, он ее куда-нибудь в стратосферу с собой увез.

Точку на этой истории поставила донья Нати, сказавшая по поводу Сагарио и Пепы:

— Так уж, видно, Богом было задумано, что судьбы их схожие.

1958

ПРО СТОЛЯРА-АНАРХИСТА, НЕУДАЧНО ПРОЗВАННОГО ПРОРОКОМ МАТФЕЕМ

Дед и Лильо прозвали его Пророком Матфеем, но рабочие в мастерских называли его по-своему: левые — Бакуниным; правые — впрочем, такой был только один, по кличке Иезуит, — настоящим именем и фамилией — Матиас Лопес, но произнося их с подчеркнутой иронией. Мне больше всего нравилось прозвище Пророк Матфей — оно особенно ему шло, к тому же я не знал, кто такой Бакунин.

Высокий как жердь, он уже начал входить в лета. Из-под берета виднелись чуть вьющиеся волосы, то ли светлые, то ли седые. Ступал он медленно, движения — плавные, взгляд — в пол, руки — за спиной. Говорил редко, то и дело словно поглаживая несуществующую бородку. Видно, привычка осталась с иных времен, когда он носил бороду.

Смотреть, как Матиас работает за верстаком, всегда в стороне от других, было одно удовольствие. С инструментами и материалом обращался вдумчиво, любовно, прикасался к светлomu и пахучему дереву с нескрываемым наслаждением. Был он столяром. Но к работе краснодеревщиков относился с презрением. Он считал это занятием буржуйским, никому не нужным, только богачам. Такой подход деду нравился — он ведь и сам в глубине души считал себя просто-напросто столяром, и только столяром, признавая чистое, крепкое дерево, из которого

можно сделать вещи простые и полезные, не украшая их лаком, обивной тканью, металлом.

Работал Матиас медленно и уверенно, как святой Иосиф. Взглядом провожал он каждую стружку, вылетающую из-под фуганка; пилу вел прямо и плавно. Сосна, тополь, вяз, можжевельное дерево под его руками казались живыми, достойными уважительного и доброго обращения. Даже вбивая молотком костыли в балки и стропила, он будто просил извинения у пораненного дерева. А закончив вещь, он, прежде чем унесут, долго молча смотрел на нее, словно успел к ней привязаться и теперь прощался.

Пророк Матфей не пил, не курил, не ходил к женщинам. Он был вегетарианцем. Любил гулять по полям в одиночестве или со своими учениками и последователями. В кино и театр ходил, только если показывали такое, что способствовало, по его словам, «духовному приобщению». Жил один в дешевой гостинице «Лос-Порталес». Говорили, что комната его полна книг и фотографий бородатых правдоискателей с пылающими взорами.

Дед рассказывал, что взял Матиаса на работу, совсем его не зная. Рекомендации у того не было. Но деду достаточно оказалось услышать, как новичок говорит о дереве, о столярном и плотницком деле. Он сказал, вспоминал дед, что «ремесло это очень древнее, зародилось еще в золотом веке и из всех полезных дел, придуманных человеком, это ближе всего живому естеству... Древесина—плоть, у нее есть кровь, нервы, запах».

Он ненавидел машины и отказывался на них работать. Утверждал, что применение машин не приведет к счастью. Человеку хорошо с вещами исконно природными, живыми. Техника и механизация лишают человека радости, превращают в раба. Не выносил он и «узаконенные» религии, в присутствии священника немел, но о Христе—«Христе-человеке», как он выражался,—говорил с библейским благоговением. Ссылаясь на него, он называл его «тот галилеянин, мой старый товарищ по ремеслу».

Летними вечерами после работы Матиас усаживался вместе с другими работниками на штабелях досок во дворе, беседовал с товарищами, до ночи читал им книги, страницу за страницей. Разговаривая или читая, он

преображался и становился похожим на пылко-го пророка, но по-прежнему оставался человеком мягким и добрым.

Лильо и дед, несколько раз ходившие его слушать, до небес превозносили образованность и красноречие Пророка.

— Он, конечно, тронутый,— часто говорил дед,— но рассуждает, как большой ученый. Какие сравнения! А слог! Как он увлекательно рассказывает о грядущем счастливом мире, о новом золотом веке, где все будут делить поровну, не будет ни властей, ни правительств, ни парламентов, ни церквей, ни армий!

Над ним подшучивали, над его причудами посмеивались, но, когда он оказывался рядом и принимался говорить, те же шутники — люди простые — менялись на глазах, казалось, они начинали грезить наяву.

Самого верного своего ученика, Висенте, Матиас научил счету, даже признакам делимости на три. Он на свой лад пересказывал ему историю Испании, разных религий; отучил пить вино и курить, убедил не посещать больше «Голубую далию» и «Дом слепца».

Говорили, что он не раз сидел в тюрьмах, а в семнадцатом году¹ его жестоко пытали в Барселоне. Но сам он никогда о своем прошлом не рассказывал, вообще не говорил о себе. Только о счастливом будущем, которое анархизм принесет миру в не столь отдаленный день.

Как-то в пору, когда забивали скот, он вместе с другими мастеровыми работниками обедал в доме у деда. Стараясь не выделяться среди товарищей, не обидеть хозяина, он не стал отказываться от мяса и пригубил вино, скромно-снисходительно, как человек, способный поступиться такими мелочами, если нужно. Но в конце обеда, когда все, хорошенько поев и изрядно выпив, заговорили громче и шутить стали грубее, Матиас потихоньку вступил в разговор, и скоро звучал только его голос, негромкий и мягкий.

Помнится, говорил о любви, о женщине. О ее «священном предназначении в природе». О глубокой и сладостной тайне ее чрева. О том, что любовь должна быть размеренной и спокойной, подобной течению сока

¹ Имеются в виду события в Барселоне, когда власти жестоко расправились с народными демонстрациями.

по жилам растений, а не бурному кипению крови в жилах хищников. Что человеческое созидание — долгий и полный трудностей путь к всеобщему счастью. Когда нравы смягчатся, а человек вернется к Природе, покончив с такими преходящими и вредоносными порождениями, как религия, техницизм, политика, социальные классы и войны,—тогда женщина, истинная дочь земли, станет всеми почитаемой и высоко вознесенной богиней, ибо носит в лоне своем самую сокровенную тайну естества... Он говорил, что культ материнства, существующий в некоторых религиях, возник как прозрение, как символ того обожествления женщины, какое станет всеобщим правилом в золотом веке, к которому после многих трудов и страданий человечество придет, как река неизбежно вливается в море... И тогда животная страсть уступит место любви сладостной, самоотверженной и нежной, как весенние воздух и вода, она будет смягчать людей, дарует им единство и гармонию, какие есть лишь в самой Природе.

У бедных работниц, к которым он обратил эти слова, глаза увлажнились слезами.

Донья Нати иногда по вечерам усаживалась на балконе, дожидаясь, когда появится Пророк Матфей, и приглашала его в дом. Он входил, они заводили нескончаемые беседы, порой продолжавшиеся до утра.

Донья Нати была всего лишь либеральной республиканкой умеренных убеждений и не разделяла расплывчатых анархистских идей Матиаса. Ей вполне по вкусу было наше общество; однако она с удовольствием вызывала столяра на речи... «Голову ломит от проповедей этого Матиаса,—говаривала она,—никогда он меня не убедит в своей правоте. Все это — детские игры, наивные мечты; но как он верит! Родись он две тыщи лет назад — быть бы ему пророком». Единственное, в чем Матиас с доньей Нати сходились,—в неприятии церкви и в отношении к «Христу-человеку»; об остальном же они не переставали ожесточенно спорить, хотя она восторгалась столяром. Случалось, донья Нати переходила на крик, обвиняя Матиаса в наивности, но он улыбался и, не повышая голоса, продолжал развивать свою мысль, как только это ему удавалось. И она успокаивалась, убаюканная нежной и поэтической верой Пророка.

Когда началась война, поведение Матиаса ни в чем не

изменилось. Он искренне верил, что все это, чем бы ни кончилось, лишь этап на пути к «счастливному дню», только и всего. У любой дороги свои расстояния, и никто не волен их сократить. Судя по всему, он не питал особых иллюзий, очень спокойно относился к энтузиазму и восторгу одних и страхам других. В этой войне, как он считал, для него было лишь одно благо—он мог легче обращать людей в свою веру, свободнее и чаще говорить перед большой аудиторией. Он согласился стать пропагандистом местной организации ФАИ¹, почти каждый день читал лекции. Работал он как и обычно, а выступлениям и политической деятельности отдавал лишь свободные часы. Но, по правде говоря, в те бурные дни большого успеха он не имел, потому что никогда не говорил о сегодняшнем дне, вовсе не считал, что «на его улицу пришел праздник». Матиас не выкрикивал лозунгов, не выступал с радужными обещаниями, не призывал к решительным действиям. Он оставался верен своей излюбленной теме—описывал счастливое будущее, до которого еще далеко. К бешеному восторгу, который охватил милисианос, он относился как стойк, чей взор устремлен в завтрашний день. По этой причине авторитет Матиаса день ото дня падал, в речах его нуждались все меньше, он почти отошел от политических дел, только раздавал анархистские книги и брошюры, вербуя, по его выражению, «сторонников надежды». К марксистам относился свысока, точнее, считал, что от них есть польза лишь на определенном этапе, но не в будущем, когда будет достигнуто всеобщее благо.

Когда настал черед ввести рабочее самоуправление и в наших мастерских, ответственным единодушно избрали Матиаса. Политические взгляды его не внушали доверия, но честность была выше всяких сомнений. Несмотря на свой пост, он не оставил работу, не бросил обычных дел. Каждую субботу Матиас торжественно созывал всех, включая отца и деда, на середину цеха. Зачитывал данные о приходе и расходах, а также наметки затрат на следующую неделю, а затем, подсчитав разницу, точно и по справедливости распределял между всеми оставшиеся

¹ Федерация анархистов Иберии—главная анархистская организация Испании, очень многочисленная и влиятельная в 20—30-е гг.

деньги. Если память мне не изменяет, расчет велся «по ртам». Каждый член семьи — один «рот». Холостяк — один. Женатый, но бездетный — два. Женатый с ребенком — три. И так далее. Матиас громко говорил, что кому причитается: по десять, по сто, словом, по сколько песет приходилось на «рты», — и тут же раздавал деньги. Деду, как основателю предприятия, он выплачивал зарплату из расчета двух с половиной «ртов». Половинка была за то, что он создал мастерские... Себя самого Матиас считал за «полрта», ибо не хотел ни гроша больше того, что ему требовалось на самые простые надобности.

Матиас полагал, что предприятие, любое предприятие, должно не только кормить тех, кто на нем работает, но и выполнять определенные социальные задачи. И решил, что наши мастерские «Инфьерно» будут наилучшим образом способствовать общественному благу, если каждый работник, в том числе дедушка и папа, бесплатно, в свободное время будет изготавливать по одному столу в неделю — из тех, у которых внизу на поперечной стойке устанавливается жаровня.

Эту идею он изложил, выступив с торжественной речью. Почему-то ему казалось, что такой стол из сосны — символ семейного благополучия. Образец и пример единения и любви. Сердце и теплое средоточие семьи. Крохотная агора для проникнутого любовью общения. Место, где делят хлеб и вино, встречаются руки и взгляды. Сидя за этим чистым, из светлого дерева, без единого угла предметом, можно смеяться, грустить и вздремнуть после трапезы. «Я так понимаю, — сказал он, — что без такого стола не может быть полного семейного счастья, особенно теперь, когда дров для топки печей не хватает. Думаю, это самый прекрасный вклад, которым мы, столяры и плотники, можем способствовать сейчас всеобщему счастью».

И с терпеливостью, достойной монаха-францисканца, Матиас составил список семей в самых бедных кварталах, у которых не было стола с жаровней. А по воскресеньям утром во дворе наших мастерских честно, по жребию, разыгрывались пятнадцать столов среди бедняков, таких столов не имевших.

До чего же приятно было смотреть на счастливых, которые, взвалив на спину сосновый стол, направлялись домой, и на Матиаса, блаженно улыбавшегося, будто он

вручал им ключи от врат счастья!

Опилки, стружка и щепа также распределялись поровну между работниками, а то, что оставалось, набивали в мешки и дарили наиболее нуждающимся. Самой яркой противницей такого братского дележа выступила бабка, которая с незапамятных времен продавала эти излишки, пополняя таким образом свои сбережения; она проявила при этом, как тогда принято было выражаться, безудержную капиталистическую алчность: ее волновал лишь ущерб личным интересам и ничуть не трогало то обстоятельство, что раздавать и дарить — прекрасно и замечательно.

Что касается деда, которому при новой системе самоуправления пришлось затянуть пояс, то он не переставал изумляться диковинным выдумкам Матиаса и его потрясающим сумасшедшим выходкам. Но прежде всего его честности, нравственной чистоте и на свой лад разумному ведению дела.

— Какой это человек, Лильо, какой человек! Он убежден, что делает человечество счастливее, распределяя по жребью столы-жаровни.

— Брось, Луис, у него просто шарики за ролики завернулись.

— Согласен, согласен; но разве все это не прекрасно — и столы-жаровни, и распределение «по ртам»?

— А прекрасно, что твое дело, того гляди, развалится и тебе нечем будет кормить свои два с половиной «рта»?

Но дед смеялся так, что золотые зубы сверкали.

Не помню точно, как это случилось, но хозяйство в «Инфьерно» в конце концов развалилось. Людей стали призывать в армию по мобилизации, заказы прекратились. Так что распределять было нечего, да и некому. Мастерские снова стали частной собственностью, с грехом пополам продолжали работать, а там и война окончилась.

Когда Барселону сдали и стало ясно, чем кончится война, дед и Матиас — об этом мы узнали позже от деда — долго разговаривали, прощались. Матиас решил тогда пойти добровольцем на фронт, хотя его не брали в армию из-за возраста.

— Теперь?.. Зачем?

— Не знаю... Но там я смогу принести больше пользы людям, чем здесь... Тут я ни на что уже не гожусь... Да и

лучше умереть в поле, чем гнить в тюрьме. А может быть, удастся податься в Америку—там многое предстоит сделать... Долго еще нам дожидаться того времени, когда все будут счастливы.

Дед спросил, есть ли у него деньги, и тот ответил, что есть, недельное жалованье. Дед ничего не сказал, но сунул ему несколько банкнотов в карман пиджака, висевшего на вешалке.

Матиас попрощался со всей семьей и ушел. Мне случайно довелось увидеть, как он шагал по центральной улице к станции. Все его пожитки уместились в картонном чемоданчике. А книги и фотографии, как мы узнали, он роздал тем немногим друзьям и последователям, что остались у него в городке.

ТАХО

I

— И что его понесло на солнцепек? — услышал он за спиной зевающий, ленивый голос капитана.

Лейтенант Сантоалалья не ответил, не обернулся. Стоя в проеме двери, он оглядывал поле; взгляд его добежал до расположенных напротив холмов, где на безмолвных высотах окопался противник; потом, опустившись, задержался на мгновение на ярком пятне виноградника; вслед за тем лейтенант медленно, небрежной походкой, зашагал от командного пункта — сложенного из необожженных кирпичей домишки, почти хибары, где ротные офицеры коротали время за игрой в карты.

Едва он отошел от двери, его настиг звучный, отчетливый голос капитана, который прокричал ему изнутри:

— Захвати и для нас гроздь!

Сантоалалья не ответил: шутка уже приелась. Невесть сколько времени торчали они на этом месте: Арагонский фронт не двигался, не получал ни подкреплений, ни приказов, словно о нем позабыли. Война шла в других районах, только не здесь; в их секторе никогда ничего не происходило. Лишь по утрам стороны обменивались несколькими выстрелами — своего рода приветствие противнику, — а без этого можно было подумать, что и вовсе нет никого за тем краем безмятежного пустынного поля. Полушутя поговаривали иногда о том, чтоб устроить футбольный матч с красными: синие против красных. Зубоскальство, конечно; тем для разговоров было не густо, да и карты в конце концов надоедали... В часы полуденного затишья и ночью, тайком, многие отдалялись от своих рубежей; некоторые, случалось, переходили к противнику или исчезали, попадали в плен; а теперь, в августе, к скудным развлечениям прибавилось новое искушение — виноградники. Прямо между позициями, в низине, простирался заброшенный, но живописный ви-

ноградник, край которого, зеленым пятном проступавший на фоне сухой земли, был виден с командного пункта.

Лейтенант Сантолалья спустился с крутого склона по длинной отвесной тропе, потом свернул и зашагал в сторону—дорогу он уже знал и мог бы проделать весь путь с закрытыми глазами,—дошел наконец до виноградника и медленно углубился в живую стену разросшейся лозы. Напевая, посвистывая, он рассеянно шагал по твердой земле, опустив голову, давя ногами сухие листья и ветки, срывая по одной самые спелые виноградины, когда неожиданно—ч-черт!—вблизи, прямо перед ним, выросла какая-то масса. Это—и как он не разглядел его раньше!—оказался милисиано, приподнявшийся с колен и стоявший теперь, к счастью, вполоборота, с закинутой за спину винтовкой. Перепуганный Сантолалья едва-едва успел выхватить пистолет и прицелиться; когда солдат обернулся, лейтенант уже держал его на мушке. Только что безмятежное лицо перекошилось. «Нет, нет!»—удалось лишь произнести милисиано, как он уже сгибался, прижав к животу руки и валясь ничком наземь... На высотах, с обеих сторон, слепые в полуденном зное, защелкали винтовки, отвечая тревожно двум пистолетным выстрелам в низине. Сантолалья склонился над упавшим, достал из его кармана бумажник, подобрал свалившуюся с плеча винтовку и не спеша—выстрелы уже редели—вернулся на свои позиции. Капитан, второй лейтенант и все остальные поджидали его перед командным пунктом и приветствовали ликующими криками, увидев живым и невредимым, разве что немного бледным, с винтовкой в одной руке и бумажником—в другой.

Потом, усевшись на чью-то койку, лейтенант рассказал им случившееся; говорил неторопливо, нарочито замедленно. Бумажник он бросил на стол, винтовку поставил в угол. Бойцы тут же столпились вокруг винтовки, а капитан нехотя взял бумаги; второй лейтенант тоже поглядывал через его плечо на документы милисиано.

— Слушай,—сказал чуть погодя капитан, обращаясь к Сантолалье,—слушай, а ты, кажется, подстрелил кролика из своих краев. Ты ведь из Толедо?—и протянул ему профсоюзный билет со всеми личными данными и фотографией.

Сантолалья боязливо взглянул на снимок: эта самодовольно расплывшаяся в улыбке физиономия, в лихо заломленной набекрень пилотке, с торчащими с другой стороны вихраги,—неужели это то же перекошенное лицо—«Нет, нет!»—что всего какой-то час тому назад взглянуло в глаза смерти?

Это был снимок Анастасио Лопеса Рубиелоса, родившегося в Толедо 23 декабря 1919 года, члена профсоюза смешанных профессий ВСТ¹. Смешанных? Какая же профессия могла быть у этого любителя винограда?

Несколько дней—и немало—удостоверение пролежало на столе командного пункта. Поначалу, заходя внутрь, все, включая и солдат, приносивших офицерам суточные пайки хлеба, раскрывали и рассматривали его; рассеянно болтая, крутили в руках и снова оставляли лежать до прихода другого бездельника. А потом на него уже просто не обращали внимания. И в один прекрасный день капитан вручил документ лейтенанту Сантолалье.

— Вот, держи портрет своего земляка,—сказал он ему.— Можешь сохранить на память, можешь выкинуть, делай с ним что хочешь.

Сантолалья двумя пальцами взял удостоверение за корешок, мгновение поколебался и в конечном счете решил схоронить его в собственном бумажнике. И поскольку в те же дни был убран и труп из виноградника, случай этот наконец забылся, к великому облегчению лейтенанта. Ибо Сантолалье, при его-то замкнутости, пришлось перенести немало низкопробных шуток и намеков по поводу своего подвига, с тех пор как ветер порывами стал доносить снизу смрад разложения, и всеобщая симпатия и даже восхищение первых дней уступили незамедлительно место идиотским шуткам, выставлявшим его неуклюжим и невезучим типом, чудаком и бедолагой, чье похождение не могло не казаться смешным и лишь заставляло всех попрекать его учиненным зловонием; но так как запах этот уже становился невыносимым и, в зависимости от ветра, доставалось от него обеим сторонам, решено было заключить перемирие с противником, чтобы отряд милисианос мог открыто

¹ Всеобщий союз трудящихся—профсоюзное объединение рабочего класса, тесно связанное с Испанской социалистической рабочей партией.

забрать и похоронить останки своего товарища.

Таким образом, вонь прекратилась, Сантоалья убрал документы убитого в свой бумажник, и никто уже больше не вспоминал об этом случае.

II

Таким было его единственное запоминающееся происшествие за всю войну. Случилось оно осенью 1938-го, когда Сантоалья вот уже целый год служил лейтенантом все в том же секторе Арагонского фронта — тихом, занятом слабыми, плохо вооруженными частями, безынициативными и небоеспособными. Кампания уже приближалась к концу; совсем недолго оставалось до того дня, когда, ко всеобщей — от капитана до последнего солдата — тревоге, их рота получила приказ наступать, но никого не обнаружила перед собой: противник уже не существовал. Так что война прошла для Сантоальи без горестей и торжеств, если не считать этого эпизода, соченного всеми пустячным и даже — сколь ни нелепо — забавным и вскоре забытого.

Но он не забыл: хотел бы забыть, да не смог. После этого случая жизнь на передовой, пустая, заполненная лишь ожиданием и скукой, вызывавшая порой отвращение, начала становиться для него просто невыносимой. Он был сыт по горло и, откровенно говоря, даже чувствовал стыд. В самом начале, только вступив в армию, Сантоалья принял свое назначение с радостью: слишком много ужасов пришлось ему повидать в первые месяцы войны в Мадриде и в Толедо. И когда он очутился вдруг посреди безмятежности полевых просторов и обнаружил, вопреки ожиданиям, что дисциплина в действующей армии куда невзыскательней казарменной рутинной, знакомой со времени срочной службы, да и опасность не больше, когда сблизился с товарищами по оружию и ознакомился с должностными обязанностями, то почувствовал себя словно переполненным какой-то пленительной расслабленностью.

Капитан Молина, офицер запаса, как и он сам, оказался неплохим человеком; да и другой лейтенант

тоже; все они были заурядными людьми, разумеется, всяк со своими особенностями, своими слабостями и странностями, но людьми славными! По-видимому, какая-нибудь сила, влияние, известная рекомендация порадели в прошлом за каждого из них, дабы способствовать столь удачному назначению, но об этом, понятно, не говорилось. Исполняли обязанности, резались в карты, обсуждали военные новости и сплетни да жаловались беспрестанно: летом — на жару, зимой — на холод. Вульгарные шутки, всегда неизменные, одни лишь давали выход их радости и раздражению...

Сантоалалья, старавшийся не очень отличаться от остальных, нашел все же способ обособиться; ему не удалось избежать репутации странного типа, но именно благодаря ей сумел он добыть себе немного уединения: в жару ли, в снег ему нравилось бродить по полям, в то время как прочие мусолили карты; он брался за чужие обязанности, обегал траншеи, посты, дышал во всю грудь свежим воздухом, лишь бы быть подальше от душной, провонявшей табаком хибары. И тогда, в умиротворенности этого неторопливого существования, невообразимо далекие, вновь возвращались к нему сумятица и тревоги последних месяцев в Мадриде, разгул и психоз, которые он наблюдал, когда старался, как мог, подбодрить мать, подавленную, среди всеобщего кипения героизма и подлости, беспокойством за своего зятя, известного фалангиста, и дочь, Исабель, скрывавшуюся с ним; а сверх того, не давала покоя матери мысль о том, как бы не случилось чего в Толедо с упрямым и неосмотрительным стариком... Потому что дед не сдвинулся с места, наотрез отказался покинуть дом. И конечно же, именно ему, внуку, единственному молодому в семье, выпало ехать за дедом. «Хоть силой, но вывези его оттуда, сынок», — напутствовали его. Легко сказать! Возбужденный, старый, упрямый, дед не соглашался ни за что отдалиться от Алькасара, за стенами которого хотел и должен был, по его словам, находиться; тщетными оказались все уговоры вспомнить наконец о преклонном возрасте и покинуть встревоженный город, где каждая собака знала его взгляды, выходки и звание генерала запаса и где, помимо всего прочего, подвергался он, наравне со всеми, опасности попасть в неразберихе борьбы под шальную пулю в какой-нибудь уличной перестрелке, когда никто и не знал

достоверно, кто был своим, а кто — чужим, и народная ярость, отвага, страсть и гнев обламывали себе зубы и срывали ногти о неколебимые камни крепости. Так, в спорах, и застал деда и внука конец борьбы: в Толедо ворвались мавры, осажденные вышли из Алькасара, старик скакал от радости, как дитя, а он, Педро Сантоляля, чувствуя себя задетым, что-то недопонимающим, не заботясь более о том, чтобы сдерживать его нелепые ребяческие выходки, наблюдал, потрясенный, расправу и резню... Спустя немного времени он вступил в армию и был направлен лейтенантом на Арагонский фронт, безмятежность которого заставляла его минутами чувствовать себя почти счастливым.

Он не хотел признаваться и все же вполне отдавал себе отчет в том, что вопреки разлуке с семьей — с родителями, мыкающими горе в осажденном, обстреливаемом и голодающем Мадриде; с невесть где скрывающейся сестрой; с дедом, одиноким и старым, — вопреки разделявшему их расстоянию, здесь, посреди незнакомого доселе ландшафта и в окружении безразличных ему людей, к нему снова возвращалась счастливая беззаботность детства, незамутненное дыхание того времени, когда, свободный от какой-либо ответственности, движущийся по неизменному, но не обременительному кругу жизни, мог он еще дышать полной грудью, смаковать каждый миг, наслаждаться свежестью каждого утра и щедро, не считая, тратить отпущенные ему дни... Это было как вернувшиеся из детства каникулы, разве только немного грустнее, и, наслаждаясь полученной свободой, он бродил, срывая походя травинки, перетирая их между пальцами, или гонял по гибкому стебельку блестящего жучка, пока тот, добравшись до верха, не начинал спускаться или расправлял крылышки и исчезал, либо замирал, следя глазами за полетом двух далеких орлов, парящих выше самых высоких гор, и приходил в такое восхищение, что вздрагивал от неожиданности, если кто-нибудь, приятель или солдат, возникал рядом. Эти странные каникулы в разгар войны возрождали в его праздном уме воспоминания, эпизоды детства, связанные с настоящим каким-то непонятным и скрытым сходством: ароматом, порывом свежего ветра и солнцем, звонкой тишиной полудня; эпизоды, о которых он, разумеется, и не вспоминал с тех пор, как, закончив Толедский

институт, отправился продолжать образование в Мадридский университет и целиком погрузился в мужские заботы, переживания и проекты. Далеким и чистым мир их толедского дома, их имения, мир, к которому позже стал он таким невнимательным, обрывками возвращался теперь к нему: он видел себя (но видел отстраненно, извне, словно глядя на снимок) ребенком, в коротеньких штанишках и матроске, гоняющим обруч мимо цветочных горшков в патио либо идущим в воскресенье с дедом полакомиться горячим шоколадом или мороженым, смотря по времени года, в кафе у Сокодовера, где официант, с салфеткой на сгибе руки, подолгу и безмолвно ожидал дедушкиных распоряжений и, благодаря за чаевые, называл его полковником; вспоминал, как, изнывая от скуки, читал газету отцу, не понимая ни словечка в галиматье произносимых имен и незнакомых слов, в то время как тот брился, умывался, тер уши и голову полотенцем; видел себя играющим со своей собакой Чиспой, которую он научил нападать подобно быку, чтобы играть с ней в тореро... Иногда воспоминания наплывали слабым, едва ощутимым отзвуком некогда, по-видимому, ярчайших, пронзительных впечатлений: луч солнца на веках прикрытых глаз; прелесть цветов — гиацинтов и гибких веток сирени, — к которым приходили они с матерью в сад, тихими восторженными голосами окликая друг друга: «Мама, иди, посмотри — помнишь, этот бутон вчера еще был нераскрытым?» И она подходила и любовалась... Подобные картины, более или менее полные, вставали теперь в его памяти. Вспоминалось, например, как дед, сложив около тарелки газету и утерев салфеткой под усами тонкие насмешливые губы, говорил, обращаясь к отцу: «А твои обожаемые французишки (было это в годы мировой войны), похоже, и головы не кажут из траншей». Замолкал на мгновение, чтобы бросить на сына, старательно чистившего апельсин, язвительный взгляд, потом добавлял: «А вчера они превзошли самих себя в искусстве стратегического отступления...» Со своего места он, Педрито, следил за тем, как отец, терзаемый дедом, совершенствовал свою работу, с показным спокойствием очищая фрукт от кожицы, примериваясь — с легким дрожанием век за стеклами очков — разделить сочные дольки ухоженными ногтями. Он ничего не отвечал, лишь иногда угрюмо откликнулся: «Да?» И дед, флегматич-

но наблюдавший за ним, снова принимался за свое: «А ты сегодня не читал газету?» — и не отступался, пока тот не взрывался и, агрессивный, раздраженный, нервный, пускался в многословные рассуждения о германском варварстве, о цивилизации в опасности, о человечестве, о культуре и тому подобном, сопровождая нередко свои слова ударами кулака по столу. «Вечно одно и то же», — бормотала недовольно мать, не глядя ни на мужа, ни на свекра, из опасения, что глаза выдадут ее раздражение. И дети, Исабелита и он сам, наблюдали испуганно за очередным, привычным уже турниром между старшими: отцом, вспыльчивым, сосредоточенным, сдержанным, и дедом — язвительным, уверенным в себе, чьи речи воодушевляли его, Педрито, потому что он тоже считал себя германофилом и украдкой, на улице и даже в школе, цеплял напоказ на грудь обожаемый значок с цветами немецкого флага, хотя предусмотрительно прятал его в карман каждый раз, когда со стопкой книг под мышкой подходил к дверям своего дома. Да, подобно большинству сверстников, он был неистовым германофилом и в час обеда следил, затаив дыхание, за спорами между дедом и отцом, рукоплеща в душе остроумной диалектике первого и сожалея о досадном заблуждении второго, которого хотелось бы ему видеть переубежденным. Каждый такой разговор подогревал в нем энтузиазм, и только мать иногда зарождала в нем сомнения, когда, наедине, выговаривая ему ласково за увлечения и «глупости сопляка» — значок его, по доносу или случайности, был обнаружен, — поучала, мягко и нежно, тому, как следует относиться детям к подобным вопросам, не забывая мимоходом уколоть за выходки и деда, «к которому, как ты сам понимаешь, отец не может отнести непочтительно, хотя по старости тот и становится порою несносным», и упомянуть о зверствах, совершаемых немцами, — казни заложников, разрушения и тому подобное, чем полны были тогда газеты. «Этого, сынок, нельзя оправдать ничем на свете!» Голос матери звучал ласково, без жесткости, и это не могло не действовать на него. «А ты? — полупрезрительно, полуглумливо спрашивал он позже у сестры. — А ты — франкофилка или германофилка?.. Наверное, франкофилка; женщинам идет быть франкофилками». Исабелита не отвечала: ее утомляли домашние споры. А мать — случайно подслушал однажды Пед-

рито — просила отца «во что бы то ни стало» прекратить постоянные сцены «за столом, в присутствии детей и прислуги; до чего же отвратительное зрелище». «Но чего же ты хочешь от меня? — ответил тогда отец раздраженным тоном. — Ведь это не я, это он не знает удержу... Мало ему трепать языком в кругу своих старикашек?! Почему он меня не оставит в покое? Они, вояки, обожают Германию и тупицу кайзера, а сами-то ни на что не годны. Еще, куда ни шло, можно говорить об успехах немецкой армии, но посмотрели бы на себя: провал за провалом — Куба, Филиппины, Марокко!» Отец всю отводил душу, а он, Педрито, тайком, по случайности, подслушивавший разговор, чувствовал растерянность. Таков уж был отец: или отмалчивался, или взрывался, переходил черту, и тогда его было не остановить. Мать зато была всегда тактична, обладала безошибочным чувством меры и здравым смыслом и умела ненароочно подсказать ему, несмышленишу, верный взгляд на действительность, такую подчас жестокою и непостижимую. Сколько — семь? пять? — лет было ему, когда однажды прибежал он к ней, негодующий, с известием о том, что муж их домашней прачки напился, устроил драку и исколотил свою жену? — и мать сначала расспросила его — спокойный тон ее вопросов охладил лихорадочное возбуждение детского рассказа, — как и от кого узнал об этом он, пообещав затем вмешаться, лишь только закончит причесываться. Тщательно зашпиливая заколками волосы, стоя перед каминным зеркалом и наблюдая в него искоса за реакцией сына, она тоном и самим значением своих осуждающих слов дала понять, что случай этот, хотя и достойный сожаления, не был все же таким поразительным и чрезвычайным, как ему казалось, а, скорее, к несчастью, слишком уж обычным делом среди бедных и неграмотных людей. Коли мужчина, получив недельную плату, выпивает в субботу несколько рюмок, а бедняжка жена, распалившись, принимается его поносить, то понятно, что вино и отсутствие воспитания приводят нередко к побоям. «Но, мама, бедная Рита...» Он думал об обиженной женщине, жалел ее, а главное, был возмущен животным поведением мужчины, которого едва знал в лицо. Избить ее! Да где же это видано?.. Зайдя проведать Риту, он увидел ее склоненной, как всегда, над раковиной, но не решился с ней

заговорить. «Ну все, иду,— сказала, наконец мать.— Она у себя?» — «Она внизу, стирает. Нам придется их разлучить, да, мама?..» Когда, минутой позже, стоя за спиной матери, услышал вдруг Сантолалья, что, жалуясь на побои, готова бедная женщина покорно простить обидчика, то почувствовал, как жажда возмездия и гнев отступают в нем перед нахлынувшим презрением, и даже счел излишними попытки матери призвать пьяницу к ответу, изблечить его и припугнуть расплатой.

А в другой раз... Но хватит! Ныне все это представлялось ему ярко и отчетливо, очень живо, но словно бы в каком-то ирреальном мире, несказанно далеком от того юноши, который позже закончил учебу, завязал знакомства, готовился к конкурсам на получение должности, читал, спорил и жаждал чего-то посреди того круговорота, что втянул республиканскую Испанию в бойню гражданской войны. Сегодня, здесь, вдалеке от событий, в этом тихом секторе Арагонского фронта, лейтенант Педро Сантолалья предпочитал вспоминать своих родных в счастливые дни прошлого, нежели думать о слепом и неизвестном настоящем, которое, завладевая мыслью, лишь вызывало вздох в его груди или рождало дрожь по всему телу. А с другой стороны, можно ль было избежать сознания того, что, пока он пребывал здесь в безмятежности, погруженный в свои бездумные фантазии, они, быть может?.. Разлука умножает боязнь всевозможных несчастий, вызывая терзания множеством противоречивых предчувствий; и, лишь только одолевали мрачные мысли, Сантолалья, неспособный противостоять им, гнал от себя и старался поскорее замкнуться вновь в своих воспоминаниях. Порою возвращали его к действительности письма деда; но если первые из них и доставили ему некоторое успокоение, то, с другой стороны, породили и новые тревоги. Одно из них, торжествующее, сумбурное, сообщало о спасении Исабелиты с мужем из красной зоны — «благодаря любезной, но унижительной помощи некоего посольства» — и о том, что они уже были при нем в Толедо; сестра, в полной ласковых слов приписке, обещала ему сообщать новости. Сантолалья обрадовался, особенно за деда, который отныне был не одинок и окружен заботой... «А ведь тот,— подумалось ему,— наверняка уже принялся нажимать на все рычаги, чтобы подыскать лентяю зятю теплое местечко...» При этой мысли вол-

на смутной обиды на старика, такого крепкого и самоуверенного, залила его лицо краской противоречивой смеси возмущения и стыда; он вновь видел деда в дни толедской заварухи, одержимого, ежеминутно порывающегося выскочить на улицу или высунуться на балкон, когда Сантолалье — даже при помощи верной Риты, уже больной и старой, — с трудом удавалось удержать его, хотя что там мог делать старик в шестьдесят шесть лет, — только мешаться! А ведь зато внучка Педрито, в его двадцать восемь, небось быстренько пристроил с пополнением на этот тихий Арагонский фронт... Именно упрямство старика оказалось причиной того, что семью раскидало, и теперь родители одни подвергались опасности в Мадриде, где, если б не этот дурацкий каприз, делили бы они сейчас одну судьбу, поддерживая друг друга по-божески: ведь он мог облегчить им тяготы, и в любом случае, будь они вместе, даже неизбежные несчастья не томили бы душу такой тревогою, как в разлуке... «Теперь уже недолго, — заявил дед еще в смутные часы последних стычек, когда в Толедо вошла свирепая африканская колонна и был освобожден Алькасар. — Теперь это уже вопрос нескольких дней, переждем здесь». Но миновали дни, прошли недели, армия не вступила в Мадрид, война затянулась на долгие месяцы, и родители так и остались одни: мать, вся в горестных заботах, и отец, такой же, как она, бесхитростный, незащитный, нерасторопный, ни к чему не приспособленный...

Об этом и размышлял Сантолалья, бредя с опущенной головой, тем самым августовским полуднем, когда наткнулся в винограднике на милисиано и — единственное происшествие за всю войну, — опережая его, пригвоздил к месту двумя пистолетными пулями.

III

Начиная с того дня война — то, что было войной для лейтенанта Сантолальи: пустое и никчемное ожидание, которое поначалу приносило с собой изысканный аромат незапамятных каникул и которое позже научился он

переносить, даже в самые мрачные свои часы, как одну из несчетных жизненных доз, некую разновидность мимолетной болезни, вроде гриппа, что нужно лишь переждать,—с того дня война начала становиться для него совершенно невыносимой. Его переполняла тревога, он стал раздражительным; и если сразу после того происшествия его еще поддерживала и вдохновляла собственная ловкость, то в дальнейшем валявшиеся на столе документы милисиано, томительное течение последующих дней, чье-то постоянное любопытство породили в нем предательское недовольство, и совсем уже допекли шуточки, которые кое-кто стал позволять себе позднее по поводу запаха. Появившись впервые, еще едва заметный, запах этот заставил всех гадать о своем возможном происхождении; он долетал до них, расплзался и вновь пропадал; а потом кто-то вспомнил милисиано, убитого в винограднике лейтенантом Сантолальей, и, словно это было невесть как смешно, грохнул взрыв всеобщего хохота.

Именно в эту минуту, не раньше, и понял наконец Педро Сантолалья, почему вот уже некоторое время странным образом подсознательно всплывал в памяти мучительный и давно уже позабытый конец его собаки Чиспы: запах, тот же проклятый запах—все дело было в нем... И когда уступил он и поддался целиком осаждавшему воспоминанию, то почувствовал, как снова захлестнуло его со всей жесткостью ощущение беззащитности, пронзившее некогда сердце ребенка. Как это было нелепо! Почему по прошествии стольких лет, среди стольких несчастий вновь отзывалось в нем такое незначительное происшествие, как смерть бедного животного? И тем не менее отчетливой болью и во всех подробностях вставало перед ним воспоминание об исчезнувшей Чиспе. Плутовка обожала ускользать и совершать где-то таинственные набеги, на долгие часы убегая из дома; но на этот раз, казалось, пропала: она не возвращалась. Домашние, помня ее исчезновение, не сомневались сначала в том, что она вернется, и заранее грозилась наказать ее, запретить, посадить на цепь; потом забеспокоились, предполагая худшее. Сантолалья, не говоря ни слова, искал ее повсюду, кружил по дороге в школу и обратно, тщетно ожидая встретить где-нибудь, и, возвращаясь домой, каждый вечер первым делом спрашивал,

замирая, не вернулась ли Чиспа... «Ты знаешь, я видел твою собаку»,—заявил ему как-то утром школьный приятель. (Внешне безразличный, но с тайной надеждой в душе, Педрито позаботился сообщить ребятам причину своей печали.) «Я видел твою собаку»,—сказал приятель, ехидно на него поглядывая. «Правда?—проговорил он, стараясь погасить волнение в груди.—И где же?»—«Я видел ее вчера вечером, знаешь?—в тупике Сан-Андрес». Это была коротенькая улочка, тянувшаяся среди заборов и утыкавшаяся в садовую изгородь. «Я...—заколебался Сантолаля, падая духом,—я бы пошел за ней, но... ее ведь там уже не будет...»—«Как знать?—может, она еще там,—с уклончивой улыбкой заметил приятель и добавил:—Скорей всего, ее еще не подобрали».—«Как?»—подскочив, произнес Сантолаля упавшим голосом и бледнел по мере того, как приятель после паузы рассказывал, спокойный, беззаботный, с весело блестящими глазами: «Так ведь она же мертвая; впрочем,—предположил он,—может, это и не твоя собака! Я-то решил, что твоя; а вдруг нет?» Да, это была она. Педро Сантолаля прибежал в тупик Сан-Андрес и там нашел свою Чиспу, отвратительную, в окружении роющих мух; вонь не дала ему подойти. «Ну что, твоя была собака?»—спросил на следующий день школьный приятель. Потом добавил: «Так вот, я знаю, кто ее убил»,—и, лицемерно, с оговорками, рассказал ему, что собаку загнали камнями в тупик и там окружили какие-то парни постарше, а когда бедная, затравленная животина цапнула одного из них, эти изверги похватили палки и всем скопом, колами... «Она, наверно, отчаянно визжала; собаки всегда так жутко визжат».—«Представляю, как она визжала, совсем одна среди этих...»—«А откуда тебе все известно?»—«Вот этого я не могу сказать».—«Ты видел, что ли?» Но тот стал увиливать, понес чепуху, а в заключение заявил, что все это он предположил, увидев убитую собаку; Сантолалье не удалось больше выудить у него ни слова. Разбитый, он добрался до дома, не стал ничего рассказывать. В горле стоял ком, весь мир казался ему гадким, пустым. И то же самое чувство вновь испытывал он сейчас, вспоминая свою Чиспу мертвой, в тени вишневого дерева в глубине тупика. Вонь, проклятая вонь,—в ней было все дело! Только теперь она исходила от трупа гораздо большего, от человеческого

трупа, и не было необходимости узнавать, что за бездушная рука принесла ему смерть.

— Зачем вы убили его, лейтенант? — дурашливо сокрушаясь, приставал к нему шут Ирибарне. — Вы всегда так сердитесь, стоит лишь кому из господ офицеров испортить воздух... — тут он двумя пальцами пощипывал нос, — и поди ж ты, вон что наделали... Мой капитан, правда, лейтенант Сантолалья поступил бы лучше, притащив его ко мне? Я приставил бы этого невольника чистить офицерам сапоги, и вы б увидели, как все были бы довольны.

— Заткнись, болван! — обрывал его Сантолалья, но, поскольку капитан все же посмеивался, Ирибарне вскоре вновь принимался за свои шуточки.

Наконец милисиано похоронили, и все позабыли о нем; но Сантолалье это окончательно испортило настроение. Война начала казаться ему чересчур затянувшейся забавой, а присутствие офицеров — с их зевотой, с их «порчей воздуха», как говорил этот тупица Ирибарне, и неизменными выходками — становилось для него невыносимым, просто нестерпимым. Зарядили дожди, потом пришли холода, и при всем желании — которого у него и не было — невозможно уже стало выходить с командного пункта. Да и что ему было делать снаружи? Пока остальные резались в карты, он убивал время, валяясь на койке, и, отвернувшись к стене, во избежание распросов зажав в руках сотню раз перечитанный роман с Шерлоком Холмсом, раздумывал наедине с самим собой об этой нескончаемой войне, которая для него свелась к несчастному происшествию с убитым в винограднике милисиано. Он, как мог, высмеивал свой единственный подвиг на военном поприще. «Я убил человека, — думал Сантолалья, — и тем самым нанес врагу ущерб. Но убил я его не в борьбе, а подобно тому, как убивают кролика в поле. Так оно и было, по сути дела: я подстрелил кролика, как и говорил мне этот». И вновь слышал раскатистый голос Молины, капитана Молины, когда тот заявил ему, с бюрократическим видом (почтовый служащий, хоть и в военной форме!) проштудировав документы Анастасио Лопеса Рубиелоса, уроженца Толедо: «...а ты, кажется, подстрелил кролика из своих краев». И Сантолалья в который раз восстанавливал в памяти разыгравшуюся внизу, в винограднике, сцену: тень, неожиданно вырос-

шая перед ним, и он сам, перепуганный, стреляющий в несчастного милисиано, в то время как тот лепечет: «Нет, нет!..» — «Ах, нет? Получай же!» Две пули в живот... Само собой разумеется, защищаясь... Да какая, к черту, защита! Он прекрасно понимал, что все это не так. Ведь у бедного парня и времени-то не было схватиться за винтовку, он же остолбенел, еще держа в руке виноградную гроздь, которая через мгновение раскатилась по земле... Нет, не было на самом деле необходимости убивать: разве не мог Сантолалья приказать ему поднять руки и, уткнув пистолет в спину, привести на командный пункт пленным? Да конечно же мог! Так и надо было делать, вместо того чтобы бросать его там распростертым... Почему же он не поступил таким образом? Ни единой минуты не подвергался Сантолалья настоящему риску, ни минуты, что бы ни говорил он потом остальным, описывая случай. И потому выходило, что убил он его безнаказанно, попросту говоря — пристрелил, в точности уподобившись тем самым маврам, что, войдя в Толедо, резали раненых прямо на госпитальных койках. Будучи делом чужих рук, подобный поступок подавлял его, ошеломлял, заставлял трепетать от негодования; когда же такое случилось с ним, он еще находил оправдания и говорил себе: «защищаясь»; говорил: «а откуда мне знать — вдруг этот тип был не один?»; говорил: «так или иначе, передо мной стоял враг...» Бедный парень — вот кто это был, скорей всего — простой новобранец, оказавшийся там случайно, лакомившийся, как и я, виноградом; такой же беззащитный под дулом моего пистолета, как те раненые, что в толедском госпитале кричали: «Нет, нет!» — под кривыми тесаками мавров. А я выстрелил, да еще дважды, свалил его, бросил мертвым и ушел, вполне довольный своим геройством. Он видел себя рассказывающим о происшествии с наигранным безразличием — хвастовство и самолюбование такое же проявление чванства, как и любое другое, — и собственное поведение вызывало у него отвращение, потому что... «Верно то, — думал он, — что там, в винограднике, без свидетелей, я лишил жизни себе подобного, человека, ничем не лучше и не хуже меня самого; парня, который, как и я, хотел сорвать гроздь-другую винограда, и за сей великий грех я предал его смерти». Почти утешением было для Сантолалья допу-

скать, что поступил он так на самом деле под действием страха и его геройство было не чем иным, как актом трусости... И снова, в который раз, начинал ломать голову над одним и тем же.

В этом вымученном безделье, пока снаружи лил дождь, память осаждали давно минувшие сцены, которые некогда ранили его детское воображение и, как взболтанный осадок, вновь являлись сегодня, когда он считал их изгладившимися и вполне забытыми. Подобные фразы: «ранить воображение», или «записанный кровью», или «рубец воспоминания» — имели для него конкретный смысл, ибо сохраняли жгучую боль обиды, позорный рубец, неизгладимый, всегда приметный, почти не заживленный временем, чувство стыда и бессильное бешенство далеких дней, усиленные едкостью сегодняшней иронии. Среди всех неприятных случаев, вспоминавшихся ему в последние фронтовые месяцы, самым навязчивым был один — про себя он называл его «случай с Родригесом», — омрачивший, незаметно для посторонних, многие дни его детства. Недаром фамилия эта — Родригес — в дальнейшем всегда вызывала у него неприязнь и даже, как ни нелепо, предубеждала против любого, ее носящего! Никогда уже не смог он дружить — дружить по-настоящему — ни с одним Родригесом; и все из-за той ненавистной твари, жившей почти по соседству, которая, стоя на пороге своей мерзкой лачуги... Сантоалья и сейчас видел Родригеса, приземистого, ниже его ростом, с грязными ногами, в кепке на обритой башке, неизменно подстерегающего Педрито на этой злополучной дороге в школу, чтобы оскорбить какой-нибудь неожиданной выходкой. Пока дело не шло дальше обидных песенок, передразнивания и прочих шуточек (как в тот день, когда Родригес пристроился перед ним с парой кирпичей под мышкой, изображая Сантоалью с книгами), еще можно было, сохраняя выдержку, делать вид, что ничего не происходит, но потом дошло до швыряния навозом... Увидев появившегося из-за угла Сантоалью, Родригес подобрал две-три лепешки; держа их в руках, дождался, пока он подойдет поближе, и... Педрито все видел, понимал и читал на ехидном лице, что сейчас будет, ожидал этого и молил про себя: «Пусть он не осмелится! Пусть не решится!» Но тот решился и, крикнув: «Получай, красавчик!..», запустил по его панамке золотистой

мерзостью, позорным ливнем обдавшей лицо. И сегодня, вспоминая противоестественность омерзительного дождя, обрушившегося на детскую панамку, чувствовал лейтенант Сантолалья, как стыд заливаает щеки... Он остановился, повернулся к врагу, красный от ненависти, пошел на него, готовый разбить ему морду; но Родригес, с невозмутимой улыбкой на белозубом лице наблюдавший за его приближением, дождался, пока он подойдет вплотную, и — раз! — встретил его ударом ноги в пах, только одним, сухим и точным, от которого у Сантолальи перехватило дыхание и посыпались из-под мышки книги. Негодяй уже скрылся в своем доме, но прошло еще немало времени, прежде чем Педрито сумел оправиться... А горше всего оказалось другое: возвращение домой, его тоска, тревога матери, допрос отца, желавшего знать подробности, а потом, в последующие часы, уже наедине с самим собой, — стремительный всплеск мстительности. «Желание», «жажда мести» — это не те слова; правильнее было бы сказать — физическая потребность, столь же настоящая, как голод; притащить Родригеса домой, привязать к одному из столбов в патио, вогнать в него пулю из тяжелого дедовского револьвера — вот чего хотел он неукротимо и страстно, в чем была для него мучительная необходимость; а когда дед, от которого ожидал он подобного возмездия, рассмеялся в ответ и лишь погладил по голове, Педрито почувствовал себя покинутым всеми.

Прошли годы, он вырос, закончил школу, потом, в Мадриде, изучал философию и филологию; но всегда, с большими или меньшими промежутками, неизменно встречался ему тоже повзрослевший Родригес. Сталкиваясь, они смотрели друг на друга как незнакомые, с деланным безразличием, и продолжали свой путь; но притом разве не помнили оба?.. «Что же случилось с Родригесом в этой войне?» — спрашивал вдруг себя Сантолалья, воображая различные ужасы: например, мавров, устроивших в госпитале резню. «А ведь, попадись мне сейчас в руки этот ненавистный Родригес, я наверняка дал бы ему уйти», — думал он, снисходительно представляя Родригеса в своей власти и себя, отпускающего того невредимым. Это воображаемое великодушие доставляло ему неподдельное удовольствие, но его тут же сводила на нет мысль о милисиано, убитом без какого бы то ни бы-

ло повода или причины. «Но ведь несомненно,—убеждал себя Сантолалья,—что, успеет он, убит был бы я, враг есть враг. Я выполнил... я лишь неукоснительно следовал своему долгу, только и всего». Никто, никто не находил в том поступке ничего предосудительного; все нашли его совершенно естественным и даже достойным хвалы... «Так в чем же дело?»—угрюмо допытывался он у себя. Однажды, будто из любопытства, лейтенант спросил капитана Молину: «А как поступают с пленными, когда их доставляют в тыл?» Молина уставился на него, потом ответил: «Ну... не знаю! А что? Это зависит». Зависит!—только и смог ответить ему капитан своим звучным и ровным голосом. Ну как говорить о чем бы то ни было, как беседовать с такими людьми! Сантолалье хотелось бы обсудить свои сомнения с кем-нибудь из сослуживцев; обсудить, само собой разумеется, в самых общих чертах, как проблему отвлеченную. Но каким образом, если проблемой это было только для него? «Я, наверное, странный тип»; все здесь считали его странным типом; они бы лишь посмеялись над его трудностями. «Усложняешь себе жизнь чепухой»,—сказали бы они. И пришлось бы Сантолалье ограничиться гаданиями о том, как расценили бы случившееся с ним домашние, его семья; раз за разом оттачивал он в воображении предполагаемую реакцию каждого: гордость деда, который одобрил бы его поведение («Даже,—спрашивал себя лейтенант,—если объяснить ему, как легко было захватить в плен вражеского солдата?»), одобрил бы, не вникая особенно в подробности, но притом, в глубине души, счел бы этот поступок неожиданным, несоответствующим, несвойственным внуку; мимолетный испуг матери, довольной в конечном счете тем, что он вышел из опасности живым и невредимым; неприятную сдержанность и неодобрение отца, печально изучающего сына через стекла очков, желающего проникнуть в сокровенные уголки его сердца; назойливость зятя, лицемерного и напыщенного, покровительственно хлопающего по спине; одобрение сестры, убедившейся, что он из одного с ними теста.

Как всегда, воспоминание о родителях обострило до крайности отвращение Сантолальи к войне. Это было свыше всякой меры: уже два года он разлучен с семьей, не видел их, не имел достоверных известий, и все это,

думалось, из-за идиотского расчета, что Мадрид падет сразу. Одиноким, скольким лишениям и опасностям подвергались они там на каждом шагу!

Но затем, возбужденный до крайности, он спросил себя: «А по какому праву жалуюсь я на то, что война затянулась и никак не окончится, если днями напролет только и делаю, что плюю в потолок, среди окопавшихся идиотов, в то время как сражаются и тысячами гибнут другие?» Еще раз задался он этим вопросом и тогда решил — «не откладывая в долгий ящик», «лучше сегодня, чем завтра», «безотлагательно, теперь же» — выполнить то, что уже неоднократно обдумывал: подать прошение о переводе добровольцем в одну из ударных частей. (Каково будет изумление деда при этом известии!) Решение даже вернуло ему хорошее настроение. Остаток дня он провел посвистывая, набрасывая черновики, и наконец к вечеру подал по инстанции рапорт по всей форме.

Капитан Молина посмотрел на него со странной смесью любопытства, недоверия, смущения и ехидства во взгляде.

— Что на тебя нашло?

— Ничего, я по горло сыт этим местом.

— Но послушай, ведь все уже идет к концу, не делай глупостей.

— Это не глупость. Я уже устал,—повторил он с извиняющейся улыбкой.

Все уставились на него, как на редкого чудака. Ирибарне сказал:

— Лейтенант Сантоалья, похоже, вошел во вкус.

Он не ответил, лишь бросил презрительный взгляд.

Таким образом, прошение его двинулось по инстанциям, и Сантоалья, успокоенный, даже радостный, стал ожидать перевода.

Между тем, однако, близилась развязка: сначала возникли слухи, беспокойство, начались расправы и чистки, кампания стала казаться временами простой карательной операцией, республиканские войска отступали к Франции и, наконец, в один прекрасный день, поутру, их часть тоже снялась с места и двинулась в наступление без единого выстрела.

Война окончилась.

Встав с постели и распахнув окно спальни, Сантолаля пообещал себе: «Все! Сегодня—последний срок!» Утро было свежее, очень голубое; напротив отчетливо выделялась на фоне неба громада Алькасара... «Во что бы то ни стало—сегодня»,—повторил он, заводя ручные часы; он отправится в институт, проведет занятие по географии, а потом, еще до обеда, пойдет и разделается с этим, покончит раз и навсегда со своим обязательством. Пора уже: он достаточно давал себе времени и предоставлял отсрочек, но нельзя было и дальше откладывать этот акт милосердия, свершить который торжественно поклялся он перед своей совестью. Сантолаля обещал себе посетить семью несчастной жертвы, милисиано Анастасио Лопеса Рубиелоса, с которым столкнул его злой рок на Арагонском фронте августовским днем тридцать восьмого года. Шел уже сорок первый, а он так еще и не выполнил обет, данный себе в наказание сразу по окончании войны, когда казалось, что придется на этом пути столкнуться с множеством трудностей. «Я должен разыскать,—поклялся он тогда в душе,—я должен разыскать его родных, узнать, кто они, где живут, и сделать все, что смогу, дабы облегчить их судьбу». Но в первую очередь, разумеется, пришлось заниматься своей семьей и—будь оно неладно!—самим собой.

Едва война окончилась, Сантолаля сразу отправился к родителям. В Мадрид он прибыл без предупреждения; медленно, нехотя, словно оттягивая близкую теперь минуту свидания, поднялся по лестнице до квартиры сестры и, еще не коснувшись звонка, увидел, как открывается дверь: в темноте блеснул из-за стекол очков полный ужаса, а затем радости взгляд отца; упав к нему на шею, Сантолаля услышал глухой шепот: «Ты напугал меня, мальчик, военной формой!» В его объятиях, неразрывных и долгих, Сантолаля почувствовал, что близок к агонии: взор отца, мгновенная вспышка ужаса на утонченном лице немолодого образованного человека, был точной копией взгляда оцепеневшего милисиано, застигнутого и убитого в винограднике! Все еще не разжимая рук, он ощутил вдруг, как отчужден, как страшно далек от этого немолодого образованного человека. Словно

обессилев, Сантолаля рухнул в стоявшее поблизости кресло... «Ты напугал меня, мальчик...» Но каким покоем и надеждой светилось теперь лицо отца, исхудалого, постаревшего, даже очень, но улыбающегося и счастливо-го близостью сына! И только в глазах его в свою очередь тоже читалось сострадание. Сантолаля спросил: «А мама?» Мать куда-то вышла, но должна была вскоре прийти; она отправилась за чем-то вместе с сестрой. И оба вновь замолчали, сидя лицом к лицу.

Беседуя наедине, мать, как всегда, ввела его в курс домашних дел. «Ты какой-то другой, сыночек,— говорила она, пожирая его глазами и крепко держа за руку.— Ты изменился, изменился». Он ничего не отвечал, только смотрел на ее поседевшую голову, на согбенную, побежденную временем спину, на дряблую шею и чувствовал, как сжимается грудь. Ему было больно слышать лихорадочную трескотню матери, некогда такой уверенной в себе, благородно-сдержанной... Но это было лишь при первой встрече: потом она вновь проявила всегдашнюю рассудительность (хотя и была, увы, совершенно надломлена), когда принялась рассказывать ему во всех подробностях, как они жили, как смогли уцелеть, переждать самые черные дни. «Лишь знакомства отца,— объясняла она,— спасли нас от опасности, которая нависла над нами после бегства твоего зятя...» В течение всей войны отец проработал на какой-то канцелярской должности в системе снабжения. «И вообрази, сынок, его оставили там и сейчас!.. Ладно,— заключила она,— теперь у нас все пойдет по-другому: ты—офицер, да и дед всегда сможет помочь...» А дед, как всегда, петушился: «Какова закалка, парень! Слегка вроде осунулся, погрустнел, а в остальном все такой же!»

Сантолаля рассказал матери о происшествии с милисиано: решил рассказать, ибо чувствовал в том мучительную потребность. Он начал повествование с видом человека, который описывает любопытный случай, не придавая ему особенного значения, и подчеркивал главным образом элементы случайности и риска, но вскоре заметил по ее испуганным глазам, что она уловила скрытое под спудом раскаяние, и, отбросив притворство, жалкий, закончил, сбиваясь, свою историю. Слушая сына, мать не проронила ни слова; да он и не нуждался в этом; достаточно было ее внимания. Но когда, до конца излив

душу, Сантолалья достал из кармана документ Анастасио и поставил перед ее глазами фотографию парня, она побледнела и зарыдала. Боже всемогущий! Куда подевалась былая ее выдержка? Они обнялись; Сантолалья поспешил раскрыть ей намерение сблизиться с семьей убитого и предложить им в компенсацию свою скромную помощь, и мать горячо одобрила его решение: «Конечно, конечно, сынок!»

Но до того, как заняться этим, пришлось устраивать собственную судьбу. Он добился места на кафедре Толедского института, демобилизовался из армии, и наконец, хвала господу, семья снова, после всего пережитого, собралась в стенах старого дома. И уже тогда, обретя покой, войдя в нормальное течение жизни, Педро Сантолалья составил подробный план поэтапных и—надеялся он—плодотворных поисков этой несчастной семьи: списки горожан, старая перепись избирателей, управление военного округа, отдел выдачи удостоверений личности, картотека и списки полиции... Впрочем, столько хлопот не понадобилось, и розыск, по счастливой случайности, оказался совсем не сложным: при первых же предпринятых шагах он натолкнулся на имя Анастасио Лопеса Рубиелоса, сверил остальные данные и записал место жительства. Теперь оставалось лишь набраться смелости и довести до конца решенное.

«Сегодня—последний срок!»—сказал он себе тем утром, окунувшись с балкона в ослепительный день. Больше не было ни повода, ни причины откладывать далее исполнение своего намерения. Жизнь для него вновь улеглась в жесткое русло обыденщины; внешне все было как до войны, но деду приходилось занимать свое свободное время, другими словами—весь день, мелочными и нередко унижительными хлопотами, связанными с покупкой масла, хлеба и сахара; отцу—проводить за столом нескончаемые часы, переписывая изящным почерком бумаги какому-то нотариусу; мать без передышки крутилась по хозяйству и только вздыхала; а он сам, и без того всегда молчаливый, совсем замкнулся, был неизменно хмур, озабоченный преподавательской рутинной и ничтожными институтскими интригами. Нет, во что бы то ни стало—сегодня! Какое облегчение он почувствует, когда скинет наконец с плеч этот груз! Сантолалья понимал, что с его стороны все это глупо

(«странный я тип»), ведь никто другой не стал бы так терзаться раскаяньем, но... плевать он хотел на это! Ему по крайней мере станет намного легче. Да, сегодня, только сегодня!

Перед выходом он открыл верхний ящик комода, чтоб достать оттуда треклятые документы, бросавшиеся ему в глаза каждый раз, когда лез он за чистым платком, и, переложив их в карман, отправился на улицу. Хорошенькое занятие по географии провел Сантолалья тем утром! Едва освободившись, он неторопливо направился по заранее разведанному адресу: к бедному одноэтажному домику, стоявшему на склоне холма, очень низко, почти у реки.

Дверь оказалась открыта; льняная, в полоску, занавеска была отдернута, пропуская в помещение дневной свет, и с улицы виден был неподвижно сидящий в кресле старик, гревший ноги в солнечном луче, падавшем на красный кирпичный пол. Сантолалья робко заглянул, заколебался, но, нащупав в кармане удостоверение Анастасио, стремительно ступил внутрь. Старик не шелохнулся, лишь уставился на него, испуганно и тревожно, синими зрачками. Весь в морщинах, он казался очень дряхлым; голова его, покрытая беретом, была огромной; громадными и блестящими были уши; руки сжимали толстую желтую палку.

Сантолалья произнес: «Добрый день!» — и едва услышал свой приглушенный голос. Старик кивал, говоря: «Да, да!», и глазами, казалось, искал стул для гостя. Вслед за ним Сантолалья безотчетно оглядел комнату и увидел два стула: низенький, совсем крохотный, и второй, с продавленным сиденьем. Но зачем ему было садиться? Вот глупость! Войдя, он сказал: «Добрый день!», теперь добавил:

— Я бы хотел поговорить с кем-нибудь из семьи... — и уточнил: — Семья Анастасио Лопеса Рубиелоса здесь живет?

Он овладел собой, голос звучал уже твердо.

— Рубиелоса, да, Рубиелоса, — кивал старик.

— А вы, случайно, не из этой семьи? — снова спросил Сантолалья.

— Да-да, из семьи, — подтвердил тот.

Сантолалья не хотел молчать, но предпочел бы вести беседу с кем угодно, кроме этого старика.

— Вы его дед? — продолжил он все же расспросы.

— Мой Анастасио, — проговорил неожиданно дед с редкой уверенностью, — мой Анастасио уже не живет здесь.

— Я как раз принес вам известия о бедном Анастасио, — печально произнес наконец Сантолалья и в ту же минуту понял каким-то необъяснимым образом, что изнутри, из темной глубины дома, кто-то подглядывает за ним. Украдкой бросив туда взгляд, он смог различить в полумраке прикрытую дверь, только и всего. Определенно кто-то следил за ним, но кто — ему было не видно.

— Анастасио, — повторил старик с нажимом (его огромные руки сошлись на палке, глаза воспаленно и сухо блеснули), — Анастасио уже не живет здесь; нет, сеньор, — и уже тише добавил: — Он не вернулся.

— И не вернется, — сообщил Сантолалья; все у него было обдуманно, все подготовлено. Он заставил себя прибавить: — Анастасио не повезло: он погиб на войне, его убили. Поэтому я и пришел к вам...

Он произнес эти слова медленно, вытирая платком виски.

— Да-да, погиб, — подтвердил старик, убежденно и согласно кивая большой и морщинистой головой, — да, погиб Анастасио. А я — я здесь, все еще крепкий, в мои-то годы: меня смерть не берет.

Он засмеялся. Сантолалья, смущенный, ничего не понимающий, повторил:

— Дело в том, что его убили.

Вопреки всему Сантолалья не чувствовал бы себя так неловко, если бы не ощущение, что за ним подглядывают. Снова покосившись на прикрытую дверь, он подумал: «Глупо оставаться здесь дольше. При желании я мог бы уйти в любую минуту: один шаг — и я на улице». Но нет, он не уйдет: не так скоро! Стоя перед слабоумным, впавшим в детство стариком, Сантолалья чувствовал неловкость и скованность, но, начав, надо было продолжать. И он продолжил, как и собирался: рассказал, что служил с Анастасио, что встретились и сдружились они на Арагонском фронте, что были вместе, когда смертельно ранила того слепая вражеская пуля, и что тогда он забрал из его кармана этот документ... И с этими словами достал удостоверение Анастасио и показал его старику.

В то же мгновение из глубины дома ворвалась в

помещение крупная, одетая в черное темноволосая женщина; подойдя к старику, она повернулась к Сантолалье и спросила:

— В чем дело? Добрый день!

Сантолалья, как мог, тут же объяснил ей, что во время войны познакомился и сдружился с Лопесом Рубиелосом на Арагонском фронте, где они и провели всю кампанию, что место это, надо сказать, было довольно спокойное, но бедному парню не повезло, и шальная пуля, откуда ни возьмись...

— А с вами ничего не случилось? — грубовато спросила она, глядя на него снизу вверх.

— Со мной? Со мной, к счастью, ничего. Ни царапины за всю кампанию!

— Я говорю — потом, — медленно пояснила женщина.

Сантолалья покраснел, торопливо ответил:

— И потом тоже... Мне, знаете, повезло. Да, здорово повезло!

— Друзья, наверное, были, — задумчиво заметила она, изучая его внешность, костюм, руки.

Сантолалья протянул ей документ, который держал в одной из них, спросил:

— Вы его мать?

Женщина медленно, заторможенно взглянула на снимок, потом пробежала глазами печатный и вписанный от руки текст; смотрела и ничего не говорила.

Но через минуту она вернула удостоверение и ушла, чтобы принести ему стул; пока ее не было, Сантолалья и старик молча взирали друг на друга. Внеся стул и поставив его напротив себя, она проговорила глухим голосом:

— Шальная пуля! Шальная пуля... Это не плохая смерть. Нет, не плохая; хотели бы погибнуть такой смертью его отец и брат: с винтовкой в руках, сражаясь. Нет, не плохая смерть. Разве не хуже было бы, если б его пытали или пристрелили, как кролика? Расстрел, виселица — не хуже?.. Я ведь даже боялась, что он не погиб и его до сих пор где-нибудь...

Опустив голову и свесив с колен руки, сжимающие документ Анастасио, Сантолалья безмолвно и устало слушал ее хмурую речь.

— А так хотя бы, — угрюмо продолжала она, — он избежал того, что было потом, и по крайней мере погиб,

бедняжка, среди своих товарищей, с винтовкой в руках, как мужчина... Где это было? В Арагоне, вы говорите. И каким ветром занесло его туда? Мы-то считали, что он попал в мадридскую заваруху. Значит, в Арагоне сложил он свою головушку...

Женщина говорила словно про себя, уставившись взглядом в сухие кирпичи пола. Она замолчала, и старик, давно порывавшийся что-то сказать, спросил:

— Вам там хватало?

— Хватало чего?— с готовностью откликнулся Сантолалья.

— Еды хватало?— пояснил тот, сведя в щепоть огромные пальцы и поднеся их ко рту.

— Ах, конечно! Нам там хватало всего. Кормили вдоволь. И не только тем, чем снабжало интендантство,— он оживился, хотя и через силу,— но также,— на память ему пришел виноградник,— и тем, что выращивают в тех краях.

Вопрос старика позволил ему перевести дух, но он тут же испугался, что женщину заденет неуместная легкомысленность его ответа. Впрочем, она сидела, уткнув глаза в свои толстые красные руки, и казалась отсутствующей. Теперь, когда потух ее горящий и яростный взгляд, перед ним была обычная, изнуренная работой несчастная женщина, женщина, каких много. Казалось, она целиком ушла в себя.

И тогда Педро Сантолалья решился приступить к самой щекотливой стороне своего визита: он хотел бы сделать для них что-нибудь, но боялся обидеть, хотел помочь им, но возможности его были ограниченными, хотел помочь—и не показаться себе в то же время торгашом, по дешевке откупающимся за человеческую жизнь. Но почему же так нужно было ему помочь им хоть чем-то и что он мог сделать для них?

— Вот что,— глухо, с трудом выдавливая из себя слова, начал Сантолалья.— Я хотел бы попросить, чтоб вы относились ко мне как к товарищу... как к другу Анастасио...

Он остановился; это звучало насмешкой. «Какой цинизм!»— мелькнула мысль; хотя эти чужие ему люди и не чувствовали, как он сам, циничности его слов... не могли чувствовать, они ничего не знали... но как мог не поразить их этот заявившийся к ним «товарищ», одетый с

иголочки, с изящными манерами и гладким слогом преподавателя института?.. Как рассказать им придуманную историю, подробности своего «потом», пусть даже внешне и верные: что сейчас он относительно обеспечен и в состоянии помочь им, если они в чем нуждаются, в память о... ? Это было унижительно и очень далеко от тех благородных, полных патетики сцен, которыми он тешил свое воображение, представляя их по-разному, но всегда столь трогательно, что под конец слезы неизменно застилали глаза. Сантолалья видел себя плачущим, молящим о прощении, падающим на колени перед ними (перед «ними», совсем не похожими на «этих»), и они, конечно же, бросались его поднимать и ободрять, не давая ему целовать им руки...— красивые, возвышенные сцены... Но теперь, вместо этого, он торчал фатоватым господинчиком перед слабоумным стариком и подавленной, недоверчивой, недобро глядящей женщиной и собирался предложить им милостыню в уплату за то, что убил у них парня, чьи бумаги продолжал еще держать в руке как доказательство дружбы и обещание сердобольной мзды.

Невозможно было дольше молчать, нужно было что-то говорить; женщина уже подняла голову, вынудив его отвести взгляд в сторону, к вытянутым на солнце, огромным, в рваных башмаках, ногам старика.

Она в свою очередь поглядела на него подозрительно, выжидающе: к чему клонит этот тип? Что означали его красивые слова: просить, чтобы к нему отнеслись как к другу?

— Я хочу сказать,— уточнил он,— что был бы очень рад иметь возможность помочь вам чем-нибудь.

Он застыл, ожидая ответа, но ответа не последовало. Можно было подумать, что они не поняли. Тогда, после тяжелой паузы, жалко улыбаясь, он заставил себя спросить напрямик:

— В чем вы больше всего нуждаетесь? Скажите: чем я могу вам помочь?

Синие зрачки на сморщенном лице старика загорелись радостно и алчно; руки заворочались, оглаживая набалдашник палки. Но, прежде чем возбуждение его вылилось в слова, резко прозвучал голос дочери:

— Нет нужды, сеньор. Благодарствуем.

Слова эти захлестнули Сантолалью горестным потоком: он понял, что все пропало, надеяться больше не на

что. Теперь его единственным желанием было уйти, но даже уходить он не спешил. Сантолаля медленно обвел взглядом небольшую, почти без мебели комнату, которую заполняли только старик, теперь равнодушно взиравший на него со своего кресла, и женщина, стоявшая перед ним со скрещенными руками, и, протянув ей профсоюзное удостоверение ее сына, сказал:

— Возьмите, оно принадлежит вам по праву.

Но она не шелохнулась, не протянула руки. Лицо ее замкнулось, глаза сверкнули, казалось, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить ему спокойно и даже насмешливо:

— И что, по-вашему, мне делать с этим? Беречь? А зачем, сеньор? Как же, хранить дома документ социалиста!.. Ну нет! Благодарю покорно!

Сантолаля покраснел до ушей. Говорить больше было не о чем. Он сунул удостоверение в карман, что-то пробормотал на прощание и вышел на улицу.

1949

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

Я решил вернуться. Осторожно порасспросил разных людей—осторожно потому, что ни в коем случае не следовало привлекать внимания к моему возвращению, но зато порасспросил обо всем подробно и удостоверился, что ничем теперь особенно не рискую. Ушли в прошлое времена, когда людей вытаскивали из постели и расстреливали у кладбищенской стены по анонимному доносу, из-за пустых подозрений, да просто ни за что ни про что, лишь бы загрузить до отказа машину с заключенными. Конечно, кое-какие случаи бывали и теперь, и каждый, кто приезжал оттуда, привозил с собой изрядный запас жутких историй, и мы, усевшись вокруг него в лавке, что на углу, или в доме у кого-нибудь из соотечественников, воскресным вечером жевали эти истории и пережевывали, вертели и так и этак и в конце концов старательно их заглатывали. Редко случалось,

чтобы среди нас не оказался кто-нибудь только что оттуда; каждый пароход привозил кучу людей из Испании, и всегда бывали там то молодые ребята, приехавшие по приглашению родных, то старинный приятель одного из нас или даже друг детства, а то и просто человек, которого попросили передать подарки или какие-нибудь поручения; и все заходили на огонек и делились самыми свежими новостями. Были они по большей части крестьяне и рассказывали истории, случившиеся в их деревне, у них на глазах (а о чем им, беднягам, еще и рассказывать?), и хотя ужасы, о которых они повествовали, бывали изрядно разбавлены множеством никчемных подробностей и имен (крестьянин рассказывает по-своему: либо он говорит: «А ты помнишь этого, сына того?», либо: «Точно, приятель, точно, ты должен его помнить, ты ж его знал», и все в том же духе, и хотя, говорю, натерпевшись страху и досыта намолчавшись, они безотчетно драматизировали и преувеличивали ужасы, словно бы соперничая друг с другом в описаниях зверств, но что тут скажешь... и десятой доли того, что они рассказывали, хватило бы, чтобы волосы дыбом встали у самого крепкого. Слушали и каждую минуту думали—все, больше нам не выдержать, мы вот-вот закричим: «Хватит, не продолжай», но едва рассказчик прерывал свою страшную повесть и заговаривал о дне сегодняшнем или завтрашнем, начинал спрашивать о стране, в которую приехал, или же хотел поделиться впечатлениями от прославленного Буэнос-Айреса, по улицам которого гулял впервые, как тут же какая-нибудь ассоциация, возникшая у одного из нас, возвращала всех к прежней теме, и мы по второму кругу принимались жевать и пережевывать горькую жвачку.

Так все и шло из года в год с тех самых пор, как мне минуло двадцать семь, и по сей день, когда мне уже тридцать шесть (а что еще было делать, как не встречаться с такими же и не вспоминать родину?); и поэтому я все эти годы всякий день знал, что там у нас делается. Но вот что забавно—за все эти почти десять лет не возникало у меня намерения вернуться, нет, что я говорю «намерения», я хотел сказать—твердого решения; намерений и желаний у меня, ей-богу, всегда было хоть отбавляй, но горы ужасов, вполне реальных, со всеми датами, именами и названиями мест, волновали мою душу подобно тем

рассказам, ценность которых не в точности деталей, а — как бы это выразиться — в их литературном воздействии, в некоем наваждении, сила которого заставляет душу содрогаться и возвышает ее над повседневностью, унося в мир воображаемого. И то, что Мариана, подавляя зевоту, недоверчиво слушала эти «рассказы ужасов», приводило меня в бешенство; все женщины одинаковы, знаю, и она не исключение, но все равно меня это приводило в бешенство; зато уж в постели-то она вынуждена была внимательно меня слушать! При всем при том я ведь понимал... ну что тут особенного, если посторонний человек думает: «преувеличения и ложь», когда я сам, совершенно уверенный в правдивости этих историй, находил их невероятными? Ведь даже на устах убежденного в их истинности очевидца они звучали иначе, чем обычные истории из реальной жизни, и потому требовали особых интонаций, их реальность была иной, более высокого плана, в той реальности стиралась привычная грань между происходившим и придуманным, и это было неважно. Такой была и история — ее часто рассказывали последнее время, — происходившая в разных местах и с разными людьми (а почему, собственно, всего этого не могло быть и на самом деле, только случай несколько видоизменялся в зависимости от обстоятельств: какие корешки, такие и вершки), — история про мальчика-сироту, который вырос и в одну прекрасную ночь, а именно в ту, в которую когда-то убили его отца, отправился на поиски убийцы и, застав того врасплох, когда он менее всего об этом помышлял, оттащил на то самое место, где десять лет назад тот сгубил его отца, и предал той же смерти, а потом, сняв груз с души, довольный содеянным, пересек границу с Португалией или ушел в море на шлюпке; так разве эта история не отвечала в своем художественном совершенстве (а безусловно, все могло быть и на самом деле так) требованиям поэтической справедливости, как отвечает ей, например, история о Минайе, мстителе за инфантов Лара?¹ Историю о мальчике-сироте всегда рассказывали радостно,

¹ Имеется в виду Альвар Фаньес Минайя, родственник и друг героя испанского эпоса Руй Диаса де Бивар, прозванного маврами Сид Кампеадор («Песнь о Сиде»). Минайя вместе с Сидом мстит графам Каррьонским. Герой повести путает его с Мударрой, одним из персонажей цикла народных романсов об инфантах Лара.

перед такой радостью решительно ничего не значило правдоподобие деталей. Над скукой обыденной жизни, над ее грязным утком, сотканным из нищеты, непосильной работы, невзгод, внезапно ослепительно вспыхивало это страшное дело, и голос сказителя то зажигался негодованием, то звучал глухо, угрожающе; потом все гасло, рассеивалось, и слушатели и рассказчик, помолчав немного, снова заводили разговор, словно бы ничего и не произошло, о всякой суете: помолвках, родинах, хлопотах, болезнях, похоронах, наследствах, тяжбах — в общем, о том густо сотканном утке каждодневных забот, в который многие из вновь приехавших, пробыв с нами некоторое время, вновь вплетали и нити своего существования, то ли потому, что не сумели устроиться в Аргентине, то ли потому, что не могли смириться с жизнью вдали от родных мест. Вот так и я, хотя мой случай был совсем другого рода, внезапно в один прекрасный день решил вернуться в Галисию. Не помню уж, сколько времени мы тогда терпеливо ждали, пока кончит лить нескончаемый дождь, а он все лил и лил; весь день мы работали при электричестве и, закончив работу, никуда не могли пойти развлечься, только что поболтать со случайным знакомым в лавке на углу, и то досыта нашлепавшись по лужам и промокнув до нитки, или же сиди дома да гляди в окно на стену напротив, на почернелый карниз, под которым укрывались голуби, или на совсем уж отчаявшуюся пальму, подальше, за оградой. В тот вечер к тому же и Мариана была в отвратительном настроении, даже не разговаривала со мной... А дело было так: со скуки я попросил мате, и она с явным раздражением стала его заваривать. Когда она подошла с мате, я обнял ее. «Уйди, ненормальный!» — завопила она и вывернула на меня кипящий мате... «Пора научиться, наконец, сдерживаться, — кричала она, — ты сам виноват, это совсем не шутки...» Вот тогда-то, к ее удивлению — она все поглядывала на меня искоса — и к моему собственному, я не предался злобе, что было бы вполне уместно, а почувствовал вдруг, как рождается во мне великая печаль, и вот тогда-то, в это самое мгновение, я и решил вернуться в Испанию первым же пароходом.

Решение было столь же неожиданным, как и глупое происшествие, причина нашей ссоры; но, приняв решение, я к этому вопросу больше не возвращался; решение

принято: первым же пароходом! И вот все то, что я с жадной страстью слушал из года в год про Испанию, ударило мне в голову и представилось несколько в ином виде: испанская действительность теперь пугала меня сильнее, но в то же время странным образом она казалась мне более приемлемой для жизни, даже в свете моего близкого и неизбежного возвращения. С того дня я стал разузнавать о вполне определенных вещах; я расспрашивал разных людей, сравнивал их мнения и в конце концов нарисовал себе достаточно полную картину нынешней ситуации в Испании. Нет, если я вернусь, мне никакая опасность не грозит: тыловые герои помалкивали о своих страшных деяниях былых времен и жирели от сидячей жизни на высоких должностях, старательно пытаясь разобраться в разных бюрократических сложностях, и только немногие из них, пристрастившиеся к крови, никак не могли — правда не могли! — отказаться от острых кушаний и всячески изощрялись, чтобы если не удовлетворить свой аппетит, так хотя бы заглушить его. Но при некоторой осторожности вполне можно и не приближаться к ужасным шестерням, частично теперь скрытым, частично давно примелькавшимся: попасть в них было бы такой же случайностью, как и попасть в катастрофу.

Конечно, я был в бегах, и, если меня сцапают, об этом надо помалкивать. Но когда началась заваруха, меня в Сантьяго не было, да никого и не интересовало, куда я отправился и что делал; город этот хоть и маленький, но не из тех, где о каждом человеке все известно; в Америке я жил тихо-тихо, совсем неслышно; ввиду незначительности моей персоны моя смерть никем не была бы замечена, и, значит, не было замечено и мое отсутствие; и я понял, что могу рискнуть — риск к тому же был невелик — и вернуться в родные места. Думаю, что я вернулся бы и гораздо более дорогой ценой: жить на чужбине было уже невмоготу. Над безумным томлением галисийцев по родным местам часто подшучивают; не знаю, так ли это, но, по-моему, всякий порядочный человек должен испытывать к своей стране такие чувства, чтобы при воспоминании о родине у него сжималось сердце и наворачивались слезы на глаза. «Да разве в других краях трава на лугах не такая же мягкая, разве моря там не такие же глубокие и таинственные, небо не такое же высокое, а воздух разве

не так же чист, свеж и благоуханен?» — думают люди, не помнящие родства. О себе же могу сказать, что после того, как я столько лет вздыхал по своим краям и проклинал землю, по которой ступал, я вдруг, в одно мгновение решился вернуться.

Случилось это, как я уже говорил, как раз когда Мариана, резко меня оттолкнув, перевернула кипящий мате и обварила меня. Мы сидели злые, я и вообще-то был на пределе: ведь уже столько дней лил дождь, я устал от этих потоков, устал вертеть в руках письмо моей тетки — она сообщала в нем о смерти дяди и по-своему наталкивала меня на мысль о своевременности моего присутствия там. Как могла она одна, несчастная старуха с кучей всяких хворей, заниматься и дальше торговыми делами? А что, если ноги совсем откажут? — плаксиво вопрошала она. Во внутреннем кармане пальто лежало у меня это письмо, написанное каракулями: тетушка писала, что я уже и прежде управлялся с торговлей, что дела идут примерно так же, как до того проклятого дня, когда дядя послал меня в Сантандер закончить инкассационное дело и война, будь она неладна, нас разлучила... Почти двенадцать лет прошло, да, все двенадцать, но перемен особых нет, только вести дело нынче стало так сложно, что во главе торговли должен стоять мужчина. Бедный дядюшка скончался, и кто, как не я, который учился делу возле него, я, на которого они всегда смотрели как на сына, на наследника их нелегких трудов... Ей тоже остается не так уж долго жить; совсем слаба стала... Вот уже две недели, с тех пор как мне передали письмо, меня будоражили тетушкины рассуждения, и все же решительный толчок дали мне не они, а минутная вспышка раздражения. Так вот и случается: вполне серьезные причины не могут пробудить человека от спячки, а укусила оса — и он взвизгивает под потолок. Нет, я не взвился, когда на меня вывернули кипяток, я по-прежнему спокойно сидел на стуле. Но внутри у меня... Все отлично, мой отъезд — дело решенное: первым же пароходом! Сидя здесь и глядя, как падает на пальмы дождь, я видел все уже другими глазами, а бедняжка Мариана даже отдаленно не могла вообразить себе причину моей поразительной кротости; и все же она, без сомнения, уловила во мне в тот день что-то необычное; что-то необычное было во мне и в последовавшие затем

дни; она понимала, что я скрыл от нее какую-то необыкновенно важную тайну, и изо всех сил хитро пыталась, хоть и впустую, вывести меня из терпения, даже вызывала на ссору, надеясь, что я взорвусь. Но я созерцал ее все с большей любовью, и мне было даже приятно сочувствовать ей в глубине души: ведь она, несчастная, не знала, что я прощался, что через неделю я исчезну и она со своим мате и Буэнос-Айрес со своими небоскребами (Привет! Всего наилучшего!) мало-помалу погрузятся в океанскую пучину.

II

В начале октября, утром, я сошел с парохода в порту Виго. Я никогда не бывал прежде в Виго; город мне не понравился: на мой взгляд, он был грязный, унылый, и я почувствовал себя таким же бесприютным—а может быть, сейчас это чувство было даже острее,—как в Буэнос-Айресе, когда после окончания войны я сошел с парохода в его порту. Да, как ни был я предрасположен к патриотическим переживаниям, я не мог избавиться от ощущения, будто я в чужой стране, и это недоверие, это чувство одиночества ничуть не рассеивалось, а все росло и росло, до самого Сантьяго. И вот я стою на платформе, поезд уже ушел, и я, с чемоданом в руке, иду домой по мокрым, скользким плитам тротуара, и мне кажется, что я возвращаюсь не в родной город, а в один из своих снов; этот сон снился мне не раз, и я так же шел этими улицами; мне кажется, что я снова вижу этот кошмар, мучивший меня в Буэнос-Айресе: я в Сантьяго, неведомо как вернулся, меня кто-то узнает, или я подозреваю, что меня узнают, и этот человек хочет донести на меня и задержать, и я, хотя ситуация еще неясна, спасаюсь, ухожу запутанными переулками, за мной идут по пятам, но я не решаюсь бежать, боюсь привлечь внимание прохожих. Я иду, двери и окна смотрят на меня недоверчиво, но я иду дальше, на лице у меня спокойствие, самоуверенность, безразличие, а сердце бешено колотится.

Во сне или наяву вижу я эту женщину, которая тащит

за руку ребенка, эту собаку, которая смотрит на меня и потом куда-то исчезает? Во сне или наяву вдруг слышу я справа от себя хлопанье дверей и невнятную ругань? А этих двух священников, которые переходят передо мной дорогу в начале улицы? Снится мне или я на самом деле вдруг ее увидел, эту фигуру, идущую вверх по улице, по той же стороне, что и я, мне навстречу, и я внезапно узнаю Бенито Кастро, парикмахера? За все время, что я не был в городе, его имя ни разу не пришло мне в голову; а теперь — вот он, идет мне навстречу. Он еще меня не узнает, глядит как на приезжего, который тащит свой багаж с вокзала. Поздороваться? Да, конечно, лучше поздороваться. Узнал, узнал уже, между нами два шага, не больше, он сходит на мостовую, пропуская меня, «доброе утро», говорит он и идет дальше. Ну можно ли вообразить себе такое! Столько лет не виделись — двенадцать... (тринадцать, четырнадцать, сто лет еще мог я прожить и не вспомнить его лицо) — и вот через столько лет я приезжаю, сталкиваюсь с ним нос к носу и... без малейшего колебания «доброе утро», словно бы я вчера брился в его парикмахерской; и он так же просто говорит мне «доброе утро» и идет своей дорогой, как будто все это в порядке вещей и не было двенадцати лет, и войны, и... Интересно, что делал этот мозгляк во время нашей великой заварухи? Чуть поворачиваю голову и гляжу через плечо — так я и предполагал, точно: он обернулся и смотрит мне вслед. С трудом сдерживаю себя, стараюсь идти все так же спокойно, не спеша; но я не сплю, нет: подавляю внезапное желание броситься бежать и, только завернув за угол, немного ускоряю шаг.

Когда я, слава богу, добрался до дому, у меня, верите ли, было одно желание: лечь и заснуть. Я толкнул невысокую застекленную дверь — каким запущенным показался мне вход в магазинчик и витрина с плоеными вуалями для первого причастия, с молитвенниками, изображениями святых, Святой Иаков¹ на коне все еще поражает мавров! — я толкнул дверь, зазвонил колокольчик, и я с чемоданом в руке вошел в магазин.

«Ты!» — вскрикнула при виде меня тетушка. Она

¹ Святой Иаков — по-испански Сантьяго, считается покровителем Испании, спасшим ее от мавров; отсюда и название города, где он якобы похоронен.

подняла голову: все та же прическа, но волосы еще больше поседели; она рылась под прилавком — и руки ее бессильно повисли; тетушка глядела на меня с испугом и лишь восклицала: «Ты!» Только когда она вышла из-за прилавка и направилась к дверям, чтобы запереть их, я понял, что она хромает. Она закрыла двери на ключ и на задвижку, и мы прошли в жилые комнаты.

И вот я сидел здесь, на старом диване, даже откинувшись на подушки, а она — напротив, в своем кресле; и я, переполненный какой-то непонятной ленивой истомой, молчал, глядел на тетушкино лицо, изрезанное морщинами, на ее живые глаза под очками в серебряной оправе; глядел на черное дерево кресла, на рисунок обоев, на стеклянный колпак на комодe, под которым стоял святой, убранный цветами, — мне никогда не удавалось вспомнить, какой святой, — глядел на створку окна, с пятнами и царапинами на стекле, а моя тетушка в это время, сложив руки на коленях и не говоря ни слова, следила за моим взглядом.

— Раньше здесь была другая занавеска, — заметил я; мне хотелось восстановить в памяти эту прежнюю занавеску.

— Да, правда. Пришлось сменить ее незадолго до смерти твоего дядюшки... Но знаешь, сынок, принесу-ка я тебе чего-нибудь поесть. Что бы тебе предложить... Кофе у меня нету. Что бы тебе дать? А не хочешь рюмочку пропустить? Как ты?

Она принесла рюмку водки; я выпил одним глотком — пошла хорошо, я поблагодарил, улыбнувшись, она в ответ: «Слава богу, ты уже здесь. Очень устал, сынок?»

Нет, я не очень устал; в прямом смысле этого слова я не устал. Но я испытывал какой-то разлад в чувствах, какую-то печальную неудовлетворенность, даже разочарование.

— Ты изменился, — сказала она, — постарел и потолстел, но выглядишь хорошо.

— Там толстеешь хочешь не хочешь. Там все толстеют.

Мы опять помолчали.

— Как это у тебя, тетя, вышло с ногой? — решился я спросить. Я уже не раз порывался спросить, но удерживался. Наконец спросил. — Как вышло это с ногой? Ты никогда ничего мне про это не сообщала.

— А зачем было сообщать тебе про это? — Она поглядела на край подола своей юбки. — Это случилось вскоре, как ты уехал, когда искали тебя.

— Искали меня? Как это искали? Для чего искали? Кто меня искал? — Приподнявшись и упершись в диванную подушку, я впился глазами в ее бесстрастное лицо. — Кто это был, кто искал меня? — снова подступился я к ней через минуту, но уже голос у меня был поспокойнее; только тоскливый какой-то.

— Да не знаю я. Незнакомые все, много их ввалилось, целая орава, — ответила она. — А вот кто привел их? Ведь он их привел. Догадываешься кто? Только его одного я и знала. Твой дружок, которого я, по правде говоря, всегда не переваривала, и как я, сынок, была права!..

— Абеледо.

— Он самый. Об этом ты знал? Тебе говорили?

— Никто мне ничего не говорил. Сам сообразил.

А ведь Абеледо был последним из моих «дружков», на которого я бы должен был подумать, но не знаю почему, едва только тетушка сказала, что за мной приходили, как я подумал на него, и ни на кого другого. Да, Абеледо...

— И где он теперь? Что поделывает?..

— Никто не знает. Пришли они оравой. Когда я сказала, что тебя нет, что ты уехал в Ла-Корунью (я сказала, что ты уехал в Ла-Корунью, не хотела говорить, что ты в Сантандере), они весь дом перерыли, рвали, ломали все, что под руку попадет, а уходили — скоты! — столкнули меня с лестницы. И вот два месяца больницы, твой бедный дядя мыкался, мыкался, то больница, то лавка, торговля брошена... Ох, боже ты мой, как бы нам в этих горестях пригодились те деньги, за которыми ты поехал в Сантандер и о которых я и по сей день ничего не слыхала, не знаю, удалось ли тебе, сынок, получить деньги, хоть и подозреваю, что пришлось тебе, бедному, потратить их в скитаниях...

Я принялся рассказывать тетушке о своих минувших злоключениях. Рассказал ей, что на другой день я уже действительно смог получить, после жарких споров и согласившись на некоторую скидку, сумму, которую нам задолжали. И тут я еще и в поезд обратный не сел, как потекли волной разные сообщения и слухи, тревога нарастала, начались беспорядки, и, как я ни старался уехать, мне пришлось остаться там. Я не рассказал ей ни

о воодушевлении, охватившем меня, ни о восторге, с которым я с самого начала во всем участвовал: возбужденно бегал я из Гражданского управления в Народный дом, из Народного дома в аюнтамьенто, из аюнтамьенто в редакцию «Эль Монтаньес», оттуда снова в Народный дом... Я рассказал ей, что, будучи призывного возраста, я подлежал мобилизации и был отправлен на фронт; я не рассказал ей, что пошел добровольцем и что, сжигаемый радостной лихорадкой, предался войне душой и телом. Что бы она поняла в моем воинском самопожертвовании, в тщеславной ответственности, с которой я исполнял мои капитанские обязанности, в моей доверчивости, в моей вере, в моих горестях и печалях, если я сам теперь, после стольких лет, едва в силах понять переполнявшие меня тогда чувства, такие сильные, такие чистые? Это был некий восторг, постичь который сегодня мне не дано, он изумляет меня: я словно бы вижу какого-то совсем другого человека, охваченного восторгом, безрассудного в своих побуждениях, реакциях, поступках. Пожалуй, наполовину виноват в этом был и сам Сантандер, где воздух чист и прозрачен и, напоенный морским ветром, возбуждает душу игрой ярких, цельных красок, сиянием и ясностью безграничных далей. Там вижу я себя самого—вижу с шутливым сожалением и даже с некоторой неприязнью,—исполненного пламенным благородством, свободно рискующего жизнью... Я рассказал, как, вынуждаемый обстоятельствами, должен был воевать и что к тому времени, когда все было кончено для нас, для тех, кто служил на Севере, я уже дослужился до капитана и боялся оказаться в мышеловке: как офицеру, мне бы дешево не отделаться, но что в последнюю минуту мне удалось перейти границу с Францией... Потом я рассказал ей о моей жизни в Америке, о моей замечательной должности в конторе маслозавода акционерного общества «Андалузка», где меня уважали, где меня так ценили, что, прощаясь накануне моего отплытия, умоляли меня, сулили мне, да, сулили, золотые горы, лишь бы я не уезжал и остался служить и дальше в фирме...

И пока я все это ей рассказывал, в ушах у меня звучало «Абеледо», это имя звучало во мне, звучало непрерывно, мрачно, глубоко под слоем произносимых слов и фраз, из которых мой язык все ткал и ткал

простенький рассказик для тети. Абеледо Гонсалес... Мануэль Абеледо Гонсалес... Почему, господи, почему? Я спрашивал себя, почему пожелал преследовать меня Абеледо? Я рассказывал о сантандерских днях, исполненных надежд, о бурных, трагических днях, я видел себя капитаном и... Абеледо; я говорил о Буэнос-Айресе, о фирме, о подсолнечном и арахисовом масле с маркой фирмы «Андалузка» и... Абеледо, все время Абеледо, лицемерный, коварный. Я не мог понять—непостижимо!—почему Абеледо так захотелось навредить мне; напрасно изо всех сил пытался я вообразить, какими глазами смотрел бы он на меня, случись нам тогда повстречаться, что бы он сказал? Нет, мне не удалось ни представить себе выражение его лица, ни как бы он держался в подобных обстоятельствах, ни услышать его голос. И однако, это был он, это его имя сразу же сорвалось у меня с языка, едва я обо всем узнал, и ни мгновения я не колебался: он, это он, я был слепо убежден в этом. Почему? Необходимо поразмыслить над этим, нужно вновь и вновь все продумать, пока не вникну в самую суть, но это завтра, да, завтра. Сейчас я был слишком изнурен и желал лишь, чтобы меня оставили в покое, как больного, оставили в покое, как я оставил мой чемодан, там, у дверей, даже не открыв его,—завтра тоже будет день; а тетушка, глупая, все объясняла мне свои торговые дела—как я мог внимательно слушать ее сегодня?—купить, продать, знакомства, связи, наем, спекуляции, да вот зачем далеко ходить, только вчера утром самое позднее... Вдруг я перебил ее: «И Абеледо? Что он сейчас подельывает?» Она ответила, не придав особого значения моим словам,—помню, меня это удивило, но не раздосадовало,—что понятия не имеет, что, когда ее поставили в больнице на ноги, ей надо было незамедлительно заняться тем-то и тем-то—только это ее и интересовало!—можешь себе представить, сынок, все брошено... времена такие трудные, такие трудные. Но—и она внезапно прервала поток сетований—но оставлю-ка я тебя одного, ты, мальчик, сидя спишь, я пошла, пошла, а ты ложись...

III

Открыв на следующее утро глаза и едва ощутив, припомнив и поняв, что я здесь, в Сантьяго, и что, начиная с сегодняшнего дня и впредь, мне надо здесь жить—надо встать с кровати, на которой я сплю, выйти из комнаты и из дому и куда-то идти, я был поражен мыслью о том, что в любую минуту, стоит мне только выйти на улицу, я могу оказаться лицом к лицу с Абеledo—эта мысль парализовала меня, ужаснула. Я не трус, на войне я, ни секунды не колеблясь, подвергал опасности свою жизнь, и подвергал по-разному: весело, азартно—во главе группы милисиано, когда в самом начале событий линия фронта еще не установилась и, по сути дела, говорить о фронте и тыле было бессмысленно: враг мог внезапно появиться с любой стороны; спокойно—когда позднее, оценив воинскую дисциплину, команду моей пулеметной ротой («пулеметной» говорю: один пулемет был, да и тот, бедняга, в плачевном состоянии, вот и все наше оружие), наконец, идя во главе моей роты, всегда был готов пожертвовать собственной шкурой, лишь бы удержать позицию, защитить какую-нибудь безымянную высоту; и холодно, со стоическим безразличием, всякий раз, например, когда приходилось выдерживать бомбежку, уткнувшись носом в землю, закинув руки на затылок, и я вдохновлял шутками или забавной выходкой своих ребят. Нет, я не трус. И говоря по-правде, не страх я испытывал при мысли о возможной встрече с Абеledo. Во-первых, я был уверен, что ничего серьезного произойти не может, те времена прошли, и кроме того... Ну разве я его не знал? Он бы бросился мне на шею, едва меня увидев, поздоровался бы, лицемерно ликуя, и, не имея под рукой никого, кому бы он мог выдать меня с еще горящим на щеке его поцелуем, и, не питая иных надежд, кроме как досадить и причинить неприятности, но убить... нет, как бы ему ни было тошно, он бы продолжал комедию сердечной встречи, изъяснялся бы в дружбе, льстиво заверял бы в своей преданности, предлагал бы... Разве не знал я его! Горбатого могила исправит. Нам было лет по пятнадцать-шестнадцать, и что же он тогда сделал, там, в семинарии, когда надзиратель накрыл нас за писанием стихов, которые наши священники сочли

грязными и непристойными? Черт подери, ведь друзья должны делить между собой не только радости, но и опасность, и наказания! Как же он поступил? Он показал мне сонет, написанный им некоей деревенской красавице, которая накануне проходила мимо наших окон, покачивая бедрами, и мы глядели на нее из спальни. Это покачивание необычайно взбудоражило Абеледо, он даже взялся за перо и не встал из-за стола, пока не высидел сонета. Сонет—ладно, пусть сонет, если только этот стишок можно было назвать сонетом. «Давай сюда, неумеха, подправим тебе его»,—сказал я. И, засучив рукава, принимаюсь работать: вымарываю, правлю, чиркаю, здесь улучшаю рифму, там исправляю размер, потом принимаюсь переписывать набело под его диктовку. Вот этим мы и занимались, когда на нас свалился надзиратель! Мне было никак не отпереться, он застал меня врасплох, на месте преступления, я так и замер с пером в руке и разинув рот глядел, как в грубой ручище плывет по воздуху вещественное доказательство преступления; ничего не было странного в том, что Абеледо, напротив, сумел спрятать оригинал, написанный его рукой и только с моими поправками, и избег наказания, но не подбрасывать же дрова в огонь и не отягощать груз вины, возложенный на мои плечи, лишь бы остаться в стороне!.. После от его заверений в солидарности, от жизнерадостных рассуждений, притворных оправданий и объяснений мне становилось еще хуже; и хотя я ничего ему не сказал, но ни я, ни тем более он не забыли этого случая, он помнил о нем даже крепче, чем я. Мы по-прежнему дружили и считались неразлучными приятелями. Но, начав припоминать, как мы дружили, я легко мог сообразить, что ситуация и положения той неприятной истории повторялись и позже в различной форме, по совсем иным поводам, даже после того, как мы оба сбросили одежду семинариста и пошли каждый своим путем: такой уж у него был характер, уж я-то его знал! Теперь, когда я его встречу—а не сегодня, так завтра я должен его повстречать,—он бросится ко мне, друг мой Абеледо, и с преувеличенным восторгом сожмет в крепких объятиях, вслед за тем посыпятся вполне искренние укоры—почему я так долго молчал, но тотчас же, раньше чем я хоть слово скажу, он уже поймет, как мне тяжело было молчать, и проявит сочувствие и уважение к моим

доводам, намекнет на эти причины с братским чувством, которое выше всяких различий... А я? Как я поступлю? Что мне останется? Я приму эту игру: «да», «ну что ты!», «прекрасно!». Вот это в моем характере, себя я тоже знаю... И в заключение: «А разве что-нибудь такое было?»

Ясно, что мне нечего бояться, и эти размышления, которым я предавался, лежа в постели, едва проснувшись, были весьма успокаивающими. И все же когда я глядел в окно и видел, как тихо скользят по стеклу капли дождя, то при мысли, что уже сегодня, немного погодя, после того как поднимусь с постели и позавтракаю, я должен буду выйти на улицу и начать свое новое существование в этом Сантьяго, где неизбежно, рано или поздно, встречу Абеледо,—при одной этой мысли мне становилось так плохо, так невыносимо тяжело, что все воображаемые картины, предвещающие неизбежную действительность, пронеслись передо мной, ничуть меня не успокаивая, словно бы их видел совсем другой человек, от которого я был окончательно отделен, а сам я уже никогда не выйду из этой комнаты, и, растянувшись на постели, я не шевелился и только бесстрастно глядел в окно на дождь, а за дождевой завесой я прозревал этот мир страстных стремлений, игры честолюбия, мир страданий и радостей, для меня таких далеких, бессмысленных и призрачных, как те далекие города — Сидней, Кейптаун,—которые всегда показывают в кино в давно устаревших хроникальных фильмах.

Но реальность тем не менее энергично и очень скоро втрюглась ко мне, постукавшись в дверь рукою тетушки.

IV

— Слушай, тетя, я хотел бы спросить тебя кое о чем. А как все это время жила Росалия? Наверно, давно замужем...

Этот вопрос я задал не без опасений — не очень-то порядочно я вел себя с этой Росалией. Мы с Росалией — какой чужой она мне теперь казалась, как холодно я о ней рассуждал! — мы были помолвлены; вспыхнула война

и разлучила нас — она осталась в Сантьяго, я оказался в Сантандере, между нами — линия фронта. Вначале я ничуть не беспокоился: снова встретимся, ведь все думали, что это может продлиться не более как несколько дней, самое большее — несколько недель; война продлилась годы. И пока шли эти годы, пока длился повседневный тяжкий ратный труд, которым были заполнены каждый час, каждый день, я не позволял себе думать ни о чем другом; среди тогдашних забот скоро совсем стерлось беспокойство, иногда охватывавшее меня поначалу при мысли о нашей разлуке. И когда все кончилось и я оказался в Америке и мог подумать о себе самом, я понял, что в глубине души даже доволен, что из-за могущественных обстоятельств отношения наши разладились, а как я удостоверился тогда, они немного для меня значили. «Надо написать ей, надо наладить с нею связь», — все же подумал я, но, думая так, я больше, чем о ней, думал о своем дядюшке, ее крестном, который и сосватал нас. Я считал также, что восстановленная связь — через три долгих года, из Буэнос-Айреса и при посредстве писем — не заключала бы в себе восстановления нашей помолвки, но была бы лишь неким соблюдением приличий, неким извинением, чтобы, сообщив ей, хотя бы между строк, намеками, причины моего столь долгого молчания, не остаться перед ней свинья свиной. Но я остался свиной, так ничего ей и не написав. Из-за нее я даже дольше, чем этого требовали обстоятельства, чем это было нужно и уместно, медлил подать знак, что жив, дяде с теткой и сделал это — когда наконец сделал — в форме весьма неопределенной, невнятной и, хорошо помню, весьма хитроумной. В редких, без особой охоты написанных письмах, которыми мы обменивались, не было, по-моему, ни единого упоминания о Росалии. И теперь, когда бедного дядюшки не было на свете, я должен был все же преодолеть последние угрызения совести, чтобы узнать про нее у тетушки, которая сперва допросила меня, хорошо ли я выпался, и принесла мне мутной водицы под названием «кофе с молоком», а потом села на другом конце стола.

— Вышла замуж, — так она ответила. И добавила: — Не жена она тебе была бы. Я не вмешивалась в это дело, потому что она крестница твоего дяди — светлая ему память, а вовсе не потому, что у нее немного денег, они

все равно прахом пошли,— только не такая женщина тебе нужна. Да, вышла замуж, нарожала кучу детей, похожа на хрюшку...

Я попытался на мгновение представить себе Росалию постаревшей, «похожей на хрюшку» — а ведь она была так тщеславна, — и не поинтересовался, за кого она вышла замуж; уверен, что обо мне она узнала бы с таким же равнодушием. С безразличным видом задал я тетушке и второй заготовленный мною вопрос. Поднеся чашечку с кофе к самому носу, я спросил ее:

— А про этого Абеледо вы ничего не знаете? Чем он занимается? Что подельвает? — Увидев, как она поджала нижнюю губу в знак того, что ничего-то она не знает, и как она покачала головой, я решил расшевелить ее: — Вы мне вчера вечером рассказывали, что он приходил вместе с другими... Что он говорил? Спрашивал про меня, верно?

— Ясное дело, спрашивал про тебя.

Ничего не получалось, старая чертовка не хотела об этом распространяться. Одним глотком допил я остатки кофе и поставил чашечку на блюдце.

— Пойду схожу в парикмахерскую, — отодвигая стул, пробормотал я словно про себя. — Нужно подстричься.

V

Да, я шел в парикмахерскую Бенито Кастро. Я должен был высунуть голову в мир хоть через какую-то дыру, и эта была не так уж плоха: парикмахерская — своего рода клуб. Меня беспокоило только, что я не могу вспомнить, были ли мы с Кастро на «ты» или говорили друг другу «вы», я был почти уверен, что между нами никогда не существовало доверительных отношений, нужных, чтобы перейти на «ты», хотя, правда, в Испании и среди молодежи многого для этого не нужно... Во всяком случае наши отношения с ним не шли дальше деловых: подстричься, побриться... Конечно, если часто заходишь в парикмахерскую, то иногда... Хотя что значит часто заходить?.. Ладно, глупости. Какая разница? Какое значение это имеет? Посмотрим... И, выбросив все это из

головы, никаких чувств не испытывая, я дошел до угла, где висела прежняя вывеска, все тот же тазик для бритья, тусклый, позеленевший,—он всегда висел возле двери парикмахерской в напоминание о шлеме Мамбрин¹. Сначала я прошел мимо двери, но ничего невозможно было разглядеть сквозь грязное стекло, залепленное крест-накрест узкой бумажной полоской, послушно повторяющей зигзаги трещин. Вернулся назад—куда это тышел, черт тебя подери?—толкнул дверь, и—внутри!—«Добрый день!»—«Добрый, добрый...» Тишина. Бенито, больше никого. Он глядел в зеркало и следил, как я медленно направился к вешалке повесить берет; когда я пошел обратно, он уже указывал пальцем на ближайшее к дверям кресло и осведомлялся, стричь ли меня. «Да»,—ответил я ему, устраиваясь в кресле и глядя, как он возится в ящичке между двух зеркал; я с беспокойством стал соображать, что наш диалог, по всей вероятности, может свестись к обычному обмену соображениями на тему, как меня стричь, или к разговору о погоде. Стремясь предотвратить это, я поспешно воскликнул: «Сколько же мы не виделись, а?»—«Да,—подтвердил он,—так уж оно и есть, время проходит, люди уходят, а потом возвращаются, оно так...» На что он намекал? Лучше не ломать себе голову.

— А здесь какие новости?—начал я снова.

— Никаких. Какие могут быть новости? Никаких.

— Ну, вот я, едва приехал, сразу говорю себе: пройдуся-ка я до парикмахерской, послушаю, что расскажет друг Кастро.

— Вчера ведь приехали, верно?—подал он реплику, а вовсе не ответил на мои слова и тут же пожелал узнать, не предпочитаю ли я совсем короткую стрижку, и вот-вот был готов с головой уйти в работу.

— Кто же теперь сюда заходит?—помолчав немного, попытался я снова завести разговор.—Все, верно, одни и те же?

— Одни и те же, более или менее. Известно, одни уходят, другие приходят. Более или менее одни и те же.

— Но я вот, например, провел несколько лет в чужих

¹ В романе Сервантеса «Дон Кихот» герой принимает медный таз для бритья за рыцарский шлем волшебника Мамбрин и, отняв его у цирюльника, водружает на голову.

краях,— рискнул я снова,— и теперь, когда вернулся... Друг Кастро, должно быть, не раз спрашивал себя, где я обретаюсь.

— Разве вы не в Буэнос-Айресе жили?

— В Буэнос-Айресе.

Он это знал! Или, может, случайно спросил, может, догадался по какой-нибудь особенности в произношении, кто знает, может, я что не так сказал и сам не заметил... Ничего неожиданного тут нет. Все же надо было хоть что-то от него узнать. Для начала, поскольку он не слишком проявлял любопытство, я, сияя искренностью, сообщил ему, что в Буэнос-Айресе мне жилось хорошо; я сказал ему — подумаешь! — что у меня на руках хорошее торговое дело на полном ходу, если и не совсем мое, то оно как бы все равно словно бы и мое, и что чувствовал я себя в этой стране как у себя дома; я пел хвалы процветающей аргентинской земле, куда я должен вернуться, хотя сейчас еще, по причинам семейного характера, и думать об этом нечего, эти-то причины и заставили меня поторопиться с возвращением в Испанию, и что там, вдали, по временам более всего мне хотелось снова пожать руку моим старинным знакомым, моим друзьям... Я проворно стал забрасывать его именами, расспрашивая о тех, о других, в надежде, что, запутавшись в этом ворохе, он невзначай прольет свет и на судьбу Абеледо и мне не понадобится спрашивать о нем впрямую. После того как я безуспешно ходил вокруг да около — этот, например, живет в Мадриде, у него хорошее место, тот исчез, а тот получил от отца в наследство сапожную мастерскую; ну, а об этом и говорить не стоит,— мне показалось, что я нашел удачный ход, мне внезапно пришел в голову яркий сюжет, и я спросил у него о Бернардино Продавце Птиц.

— Бернардино? Продавец Птиц? Как раз вчера заходил. Такой как всегда. Как это «что делает»? Все то же самое, что и всегда: канареек разводит.

— Чокнутый он, бедняга, но человек порядочный. А что, он по-прежнему работает официантом в кафе «Космополит»?

— Все там, только кафе теперь не «Космополит», а «Националь». Но старые плюшевые диваны по-прежнему там, и кофейники с вмятинами, и все прочее.

— И компания наша тоже там собирается? — спросил

я, и сердце у меня заколотилось. Я представил себе уголок у окна, где мы собирались—Абеледо был из тех, кто приходил всегда,—вокруг мраморного столика, вытянутого, как надгробная плита,—друзья, знакомые, знакомые друзей, какие-то приезжие—человек восемь, десять, иной раз пятнадцать, спорили, выдавали остроты, затевали громкие перебранки. И я увидел самого себя, как я пришел в тот день с сержантскими нашивками, широкими золотыми нашивками от локтя до края рукава, недавно появившимися вместо красных ефрейторских, которые я носил не дольше двух недель, и вся наша братия встретила меня веселой, насмешливой овацией. Я вспомнил даже шутку, которую отпустил Абеледо. «Теперь,—сказал он мне,—я должен всякий день вставать перед тобой по стойке «смирно», прежде чем выпить кофе. Прибыл в ваше распоряжение, сержант!»—И, паясничая, стал по стойке «смирно», рука у виска, как положено по уставу; мне это показалось нелепым и даже не очень удобным, ведь мы находились в общественном месте, я и на самом деле был сержантом, а он рядовым в форме. Абеледо также отбывал военную службу; служили мы в одном полку, хотя и в разных ротях; но он не собирался идти на повышение, служить сержантом, так как не бросал своих репортерских обязанностей в газете «Ла Ора Компостелана»—гонорарчики набегали, а редактор, человек добрый, покрывал, если такое случалось, отсутствие сообщений из пункта первой помощи или из комиссариата; с другой стороны, в казарме Абеледо пользовался особым уважением, как журналист, и даже некоторыми выгодами, хотя ему завидовали и строили мелкие козни. Я же сдал экзамен и стал сержантом; и вот стоял здесь, готовый открытой грудью встретить беглый огонь, который наша компания с великим шумом по мне открыла.

— Компания? Полагаю, что... В конце концов, вы ведь знаете, одни уходят, другие приходят...—заклучил Кастро, парикмахер.

И тут ворвался в «салон», а вернее сказать, в салончик, откинув занавеску, отделяющую его от жилых комнат, тщедушный мальчик лет девяти, тащивший книги, и, сказав «пока», направился к входной двери. «Поторопись,—посоветовал ему Бенито Кастро, целясь ножницами в потолок,—и не забудь захватить на обрат-

ном пути то, что я тебе поручил взять. Ты меня слышишь?» Разве он слышал? Его и след простыл. Бенито глядел в окно, стекла еще звенели — только что хлопнула дверь, — и покачивал головой. Появление ребенка напомнило мне, что, действительно, перед самой войной Бенито женился, и мне даже пришли на память обычные малопрстойные шуточки, которые тогда отпускали в парикмахерской.

— Вот здорово иметь такого большущего сына! — тихонько польстил я Бенито. Он был доволен и улыбнулся.

— Вы не женились?

И пока он подраививал мне машинкой затылок, я, склонив лицо, видел в зеркале свою растрепанную башку, отдельные седые волосы, редкие и жесткие, сверкали на ней, словно были из проволоки, две морщины, идущие от толстых ноздрей вниз, и эти брови, которые решили стать еще гуще и дали новую поросль, более длинную и растущую, как ей вздумается; и внизу — двойной подбородок, расплывшийся между бородкой и горлом. Всякий раз, как я гляделся в парикмахерской в зеркало, я представлялся себе одетым в сутану, которую я не пожелал носить. «Если бы продолжал учиться в семинарии, — думал я, — был бы теперь священником, вот с этой-то физиономией — истинно священник, сбившийся с пути, нет (фантазии были разные, в зависимости от настроения), лучше священник-весельчак, который ходит на корриду, дымя хорошей сигарой»... Нет, я не женился. Я не женился на Росалии, обремененной теперь кучей ребят и превратившейся в хрюшку: понадобилась гражданская война — событие помельче не подходило, — чтобы освободить меня от супружеского ярма; не был я женат и на Мариане (бедняжка Мариана, что она там подельывает теперь?): случайность подвигла меня избавиться от нее после шести лет, прожитых вместе, да, точно, после шести лет, — я говорил себе, что поступил благоразумно, не женившись на ней. Сколько раз хотели загнать меня в ловушку?.. Лицо мое расплылось в улыбке: Абеledo тоже, продуманно и вероломно, замышлял женить меня на этой дуре, своей сестре... Ничтожное создание, некая Мария Хесус, до самой этой секунды я ни разу не вспомнил о ее никчемном существовании.

— Не женился, нет.

Парикмахер уже закончил работу, он поднес зеркало к моему затылку, чтобы я мог одобрить прекрасные результаты, достигнутые им, и намылил мне шею и щеки. Ничего интересного я не узнал.

VI

Хорошо подстриженный, в облаке одеколонного аромата вышел я из парикмахерской, размышляя, не зайти ли мне в кафе. Сейчас утро, и вряд ли мне грозит опасность наткнуться там на знакомых. А Бернардино Продавец Птиц поговорить любит, он рта не закроет, пока не расскажет мне про все, о чем только я его ни спрошу. Уж он-то знал, какая у нас была дружба с Абеледо, и как-нибудь да затронет эту тему... Но я не пошел прямо в кафе, а зашагал наобум, руководствуясь лишь желанием подойти к Портико-де-ла-Глория¹: для нас, галисийцев, Портико-де-ла-Глория—это последний оплот нашего благочестия; его каменное величие хранит культ нашего святого даже теперь, когда вера в Апостола² покинула нас и обратилась в предмет литературы. Туда и предпринял я свое недолгое паломничество: дошел до Портико-де-ла-Глория, но подниматься по ступеням не стал; дух мой склонился, однако, справедливости ради надо признаться, без должного рвения, холодно, по обряду, ведь душа была поглощена Абеледо, и ей не хватало простора, которого требуют прекрасные высокие чувства. Мне не избавиться было от мыслей об Абеледо, как ни старался я сосредоточиться, моя мысль, словно назойливая муха, снова и снова возвращалась к нему.

Чем больше я об этом случае думал, тем непонятней, загадочней становилось для меня поведение Абеледо, тем сильнее беспокоила меня его темная деятельность и этот его непонятный поступок, единственный в своем роде по

¹ Портал собора Святого Иакова Компостельского (по-испански: Сантьяго-де-Компостела).

² Имеется в виду апостол Иаков Старший (Сантьяго), покровитель Испании.

жестокости, окончившийся, на мое счастье, ничем и открывший мне глаза на Абеледо. Но как он мог так поступить, если он был моим другом отроческих лет и юности, одно время мы были неразлучны, но и потом всегда оставались верны нашей дружбе; как он мог, если мы никогда всерьез не ссорились, если даже накануне войны, когда вся атмосфера была такой раскаленной, мы вели политические споры о последних событиях на вполне пристойном уровне; как он мог, если мы, доверяя один другому, оказывали столько одолжений и разных мелких услуг—то он мне, то я ему, правда, чаще я ему, чем он мне; как же он мог—черт побери!—если даже строил планы, хотел породниться, женив меня на своей сестре?.. Всякий раз, как эта деталь всплывала в моей памяти, я не мог совладать с собой и лицо мое расплывалось в улыбке. Представлялось забавной нелепостью то, что бог знает сколько времени в глухих закоулках своей души он сулил мне белую руку Марии Хесус, о которой я ни минуты не помышлял... Уж очень какая-то неуклюжая была бедная Мария Хесус, хоть и добрая душа; главным ее недостатком, вероятно, в моих глазах, была ее дурацкая, глупая, смешная манера держаться: она потуплялась, когда я с нею разговаривал, отвечала односложно и смиренно выслушивала указания брата, который держался как хозяин дома и сеньор, всегда имел наготове какие-нибудь указания и давал их ей при мне перед уходом. Он и в самом деле был главой семьи, которая, впрочем, сводилась к ним двоим: едва умер отец—старый вдовец, властный и не без странностей, сам определивший судьбу детей: сын будет священником, а дочь станет вести хозяйство брата,—Абеледо скинул семинарскую одежду под предлогом, что его моральный долг—пожертвовать карьерой, что он не имеет права оставить сестру одну (мне-то известно, однако, что он терпеть не мог семинарию, я разделял эти чувства), и, пока Абеледо, выбиваясь из сил, старался то там, то тут заработать деньжонок, она делала все по дому и была всегда добропорядочной, молчаливой и очень серьезной... И ничуть не была она уродливой, скорее миловидной, даже, если хотите, очень миловидной—все зависит от вкуса; а что касается нравственных сокровищ, так уж что говорить! Бесценная жемчужина. Я жалел ее, глядя, какую она, бедняжка, жизнь ведет: была она затворницей, исполненной самоот-

речения, целый день в работе... Но чтобы из-за этого... Ладно! Так вот, зная, что она девушка скромная и добрая, к тому же и вовсе не уродливая и, кроме того, мне здесь стоило бы только руку протянуть, случилось — из одного убеждения, что брюкам это обязательно всякий раз, как перед ними окажется юбка, — как бы это сказать, вот, нашел: случилось мне еще и еще укрепляться в своей уверенности, что между Марией Хесус и вашим покорным слугой никогда ничего и быть не может. Почему же? Да потому, что пусть она была и миленькая, и вся такая, как я описал, но мне не нравилась; для большей точности скажу, что я высоко ценил, да, ценил сокровища, которые эта девушка ни во что не ставила, но в то же время она удивительным образом смущала меня. Сказать ей что-нибудь, спросить о том о сем — это я мог, но едва я заставлял себя взглянуть на нее «греховными глазами», как меня с души воротило.

Причина этого отвращения от меня не ускользнула, я отлично ее знал. Крылась она — какая глупость, но так все и было — в ее поразительном сходстве с братом: та же смуглая кожа, те же чернющие брови до самых висков, она, дурочка, их не выщипывала, как тогда было модно, она вообще никак не старалась улучшить свою внешность, не красила губы, не пудрилась — ничего! «Я умываюсь чистой водой»... И во всем остальном, что положено от бога, была она копией своего брата Мануэля: тот же убегающий и в то же время меланхоличный взгляд, тот же короткий тонкий нос, такие же округлые, покатые плечи... Одним словом, причина крылась в том, что каждой своей черточкой она напоминала брата; и как я мог бы дотронуться до нее, не подумав тут же об Абеледо Гонсалесе? У меня сразу же пропал бы весь пыл, мне бы казалось — с ума сойти! — что я сплю с ним... Вот я и не помышлял о ней как о женщине; обращался к ней всегда с уважением. Могло ли мне прийти в голову?.. Только позже, когда уже была заключена наша помолвка с Росалией и он об этом узнал и убедился, что дело тут серьезное, я понял по его поведению, какие он вынашивал намерения относительно меня и своей сестрички, понял, зачем Абеледо с такой напористостью старался затащить меня в дом по любому поводу, назначал там встречи и она все время была тут, Абеледо даже оставлял нас наедине; поэтому-то моя помолвка с другой сразила

его, господи помилуй, наповал, он стал со мной сух, сдержан, даже дерзок, так изумляя меня, совсем неподготовленного к этому, своим необычным поведением, что я поначалу ничего не мог понять...

Я воскрешал все это в памяти по пути в кафе «Космополит», даже не замечая, где я иду, и вдруг остановился посреди улицы как вкопанный, оглушенный неожиданной мыслью, которая, словно дубинкой или камнем, стукнула мне в голову: значит, подумал я, из-за этого он и хотел меня уничтожить! Сволочь! Горячая волна негодования залила меня, и я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. Сволочь! Хуже сволочи! Я захлебывался словами, покачивался, как пьяный, и говорил сам с собой. Какая сволочь! Подлость людей, воспользовавшихся гражданской войной, чтобы отомстить за свои грошовые обиды, за всякую ерунду, предстала теперь во весь рост предо мной в облике Абеledo. Но какая сволочь, хуже сволочи! Я перед ним ни в чем виноват не был, чистая правда. Если у него были какие-то иллюзии на мой счет, если сама девушка была (а может, и не была?) увлечена мной, тут тоже никакого чуда нет — жила взаперти, никого не видела... Их дело! А я эти иллюзии никак не поддерживал, никаких надежд не подавал. Так все сложилось, что я, говорю, и не замечал даже... А все потому, что я бестолковый, да, бестолковый дурак, в некоторых вещах — настоящий идиот, вижу только, когда уже носом ткнут. Как я мог проглядеть намерения Абеledo, отчетливо проступавшие в разных мелочах; теперь-то — увы, слишком поздно! — я все это увидел совершенно отчетливо; как же я не обратил внимания, что во всех его планах на будущее, о которых он любил доверительно сообщать мне, я постоянно играл главную роль; как не высчитал, что мое более высокое в сравнении с ним общественное положение — бесспорный наследник дядюшки с тетушкой... Как я проглядел все это, вместе взятое?.. Конечно, я витал в облаках, но, по счастью, не сделал никогда ни единого ложного шага, ни на миллиметр не сдвинулся в этом направлении, всегда вел себя осмотрительно, и не в чем мне было упрекнуть себя, пусть бы даже в пустяке каком. Может быть, лучше было пойти на открытую ссору, тогда либо наши отношения прояснились бы, либо мы остались бы врагами, уж понятно, до конца дней. Но, господи, какая сволочь!

Просто не верилось. Но уж теперь-то этому мерзавцу придется выслушать меня с глазу на глаз; как только я наткнусь на него, я с ним поговорю как мужчина с женщиной. Теперь мне уже почти что хотелось встретить его, в такой я был ярости; найти его и...

VII

С тем я и пришел в кафе «Националь», по-старому «Космополит». Вошел и направился прямо в тот угол, где мы по обыкновению собирались; там я и уселся один у окна. И что это Кастро, парикмахер, говорил, будто ничего тут не переменялось? Прежде всего, никого из официантов я не знал, по крайней мере тех, кто пока мелькал перед глазами. Стены, если не ошибаюсь, были кремовые, теперь они голубые; что-то не видно и деревянных панелей, которые были прежде, и я бы даже сказал, что сам зал как-то сжался и уменьшился, хоть это и было, понятно, лишь ложное впечатление — возможно, оттого, что сняли зеркала...

Я спросил подошедшего официанта про Бернардино Продавца Птиц; он не вышел сегодня на работу, прислал сказать, что заболел. Ладно, не имеет значения. Я помешал кофе, отпил глоток — вот черт, ничего похожего на тот, что пьют в Буэнос-Айресе! Раньше здесь, в «Космополите», плохой кофе не подавали; в Буэнос-Айресе, по правде сказать, кофе пьешь изумительный, думал я, и не только дома, когда кофе варит Мариана, а всюду, даже в лавках он вполне приемлемый; я отпил еще и... может, это вероломство Абеледо отбило вкус и мне все так тошно? Ну и сволочь этот Абеледо! Хочется посмотреть, с каким лицом он явится, посмотреть, какое лицо у него будет, когда я скажу: «Ах ты сволочь, босяк! Значит, хотел меня убить?» Ладно, он станет, конечно, утверждать, что никогда к этому не стремился, что, напротив, надеялся некоторым образом помочь мне, когда привел их меня арестовать, и в то же время выполнял свой долг (долг! замечательное прикрытие для стольких сволочей!), потому что — о, мне казалось, что я слышу его голос, глаза опущены, сам бледный, — потому что — он то нападает, то отступает и все время играет

словами,— потому что в те грозные дни, когда никто не мог быть уверен в своей безопасности, он, прекрасно меня изучив, зная мои взгляды и зная, что все, как и он, понимали, что я красный, он, мой друг, имел основания полагать, что наиболее благоразумным... и так далее. Мне казалось, что я и в самом деле слышал когда-то запутанное переплетение подобных фраз, как будто память моя сохранила их в неприкосновенности с тех времен, вплоть до тона его голоса! Как будто это было естественным продолжением многих наших разговоров о политике, наших споров — нет, настоящих споров не было, только уколы, укусы, удары! Он был не из тех, кто спорит в открытую и отстаивает с полной откровенностью свое мнение. Но понемногу, возможно под влиянием настроений в редакции (он ведь был репортером в «Ла Ора Компостелана», именно в этой газете, а не в какой-нибудь другой, чуждой политике), он как дурак менял свои взгляды, и они с каждым днем становились все более реакционными; меня злило, что Абеledo без всяких оснований — ведь всегда был без гроша в кармане — все больше и больше переходил на сторону шайки богачей. Можно было подумать, что он это делает только мне назло. Мои убеждения — в этом он не ошибался — были искренними, и если бы мятеж застал меня в Сантьяго, так что и говорить, он просто был бы обязан выяснить все относительно моего ареста, и, раз уж помешать этому он не мог... откуда мне знать? — он постарался бы перетащить меня на другую сторону, если уж ничего иного нельзя было сделать, и мне представлялось абсурдным, что он, начав совершенно случайно работать в газете клерикального направления, он, который знал, чего стоят клерикалы, и презирал их в той же мере, что и я, оказался обращенным в поборника... Вот идиот! Безмозглый! Самым примечательным было то, что он производил впечатление человека убежденного, убежденнейшего. И при его фанатизме и при отсутствии здравого смысла мог бы уверовать, что его долг, патриотический долг — какой новый Гусман Добрый¹ выискался! — принести в

¹ Имеется в виду Альфонсо Перес де Гусман, прозванный Добрым (1258—1309), кастильский военачальник; враги, осадившие Тарифу, которую он защищал, угрожали резать его сына, захваченного ими, если Гусман не откроет ворота; Густав Добрый сам бросил им нож, чтобы показать врагам, что он никогда не изменит своему королю.

жертву самого любимого друга детства... Таких вещей нагляделись довольно в эту войну... Разве не поехал какой-то тип весьма далеко, лишь бы добраться до деревни, где жил его зять, чтобы арестовать того и вместе с другими врагами правого дела отправить на смерть, оставив сестру и племянников в слезах и рыданиях? Многие думали, что в этом и состоит долг, их даже умиляло зрелище собственного самоотречения, отречения от обычных человеческих чувств и привязанностей во имя высших интересов, у них даже возникало при этом чувство возвышенного сострадания к своим ослепленным жертвам, которых они отправляли на небеса, но не раньше, чем в великодушном порыве принуждали к покаянию и вечному блаженству...

На минуту я погрузился в воспоминания о войне. Я был здесь, сидел в сумраке старого кафе «Космополит», которое теперь стало мне чужим, рассеянно глядя на людей, изо дня в день проходящих мимо его окон, но душа моя купалась в сияющей атмосфере прежнего Сантандера, радостной, возбужденной, шумной, со всеми разговорами, спорами, надеждами, энтузиазмом, последними новостями и ополченцами-милисианос. То, что тогда казалось вполне естественным, например, что все хотели уничтожить врага и смотрели на это как на законную оборону, даже более того, как на священный долг и, разумеется, холодно, подозрительно относились к тем, кто покрывал врага общества,— все это теперь вызывало у меня не то чтобы отвращение, но чувство крайнего изумления. Но ведь так и было: даже кровное родство не извиняло и не принималось в расчет перед лицом той, другой, неразумной, бессмысленной общности. Какой могучий рок, размышлял и чуть ли не бормотал я вслух, какой всесильный рок втайне уготовил нам эту беду— наше поражение, так что мы оказались бездомными, разъединенными, отлученными, наказанными? Я думал: а что, если бы нам пришлось, как им, взять на свою совесть столько ужасов, после того как поутих боевой пыл... И сразу же с тревогой спросил себя: а я... Разве я, если бы он оказался в Сантандере и вся ситуация была бы той же, только наоборот, разве я не...? С тревогой и мучительным беспокойством вопрошал я себя: а что бы сделал я? Что? Если, например, я, совершенно убежденный, что Абеledo, мой близкий друг... Нет!—ответил я себе, заглянув в

глубины своей души, нет! — мысленно крикнул я, нет, нет, я бы на него не донес! И я почувствовал большое удовлетворение, я был более чем счастлив, поняв, что нет же, конечно, я бы так не поступил... Но я — казуист! — упорствовал перед судом своей совести: но... подумаем хорошенько... а если, например, у меня были бы точные сведения, что он из «пятой колонны»? Или если, зная, как знал я, его взгляды, я вдруг увидел бы его, предположим, в каком-нибудь засекреченном месте, откуда он может шпионить сам, словом, представлять опасность? Какая сложная ситуация!.. Что бы там ни было, а он не мог никак подозревать, что я, сидя в свечной лавке, представляю опасность для так называемой национальной революции — с меня, бедного, довольно было бы просто затаиться; с другой стороны, у него всегда была возможность, если уж он так ревностно к этому относился, найти меня, поговорить наедине, предупредить, даже пригрозить... Кто знает... В столь крайнем случае я бы, конечно, поступил именно так. Но он... Счастье мое, что я был в отъезде, да и его, его дикое счастье, что не столкнулся он со мной, ведь, столкнись он со мной — тьфу! — сколько ни уговаривал бы он себя: «Он красный, и момент серьезный; на карте судьба родины, правого дела», и тому подобное, он не переставал бы слишком хорошо помнить, кто был этот красный: ведь это друг всей его жизни, который нанес ему непереносимую обиду, обманув его ожидания, когда не попросил руки его сестры, оставив ее доживать век в старых девах; и если засела в нем эта растрavляющая душу колючка, а он еще и сам себя растрavлял, сам себя терзал, пока гной не потек, исторгая и колючку, совесть жала, как новые сапоги, хотя и совесть обуздывается привычкой, можно сделать дырку, обрести дырявую совесть... Во всяком случае, я оказал ему хорошую услугу тем, что находился в недостижимых пределах, хотя сама его попытка выставила его передо мной голеньким, в весьма неприглядном виде. А если мы столкнемся теперь, захочет ли он пакостить мне или предпочтет проявить великодушие? Да пусть его!

VIII

Прошла неделя, вторая, а я не наткнулся ни на него, ни на того, кто мог рассказать о нем! Конечно, я вел свои

розыски очень осторожно, никому бы и в голову не пришло, что я его ищу. Я не искал его; но я—это уж точно—не мог обрести покоя и заняться чем-нибудь другим, пока надо мной висела угроза этой проклятой встречи; и так как слепой случай, которому я бросал вызов со все возрастающей отвагой, показываясь повсюду, даже в самых людных местах, не спешил прийти мне на помощь, я рискнул спровоцировать его, отправившись в волчье логово, не без того, конечно, чтобы принять разумные и тщательные меры предосторожности.

Чтобы прервать разговор в ту секунду, когда мне заблагорассудится, я как-то позвонил из кафе в «Ла Ора Компостелана» и попросил сеньора Абеледо. Такого не знаем, был ответ. Станным образом успокоившись, я отправился прямо из кафе в редакцию и стал упорно настаивать: «Да, сеньор, Абеледо, дон Мануэль Абеледо Гонсалес». Консьерж, выживший из ума старик, не спешил дать мне сведения. «Репортер, говорите? Постойте, уже сто лет он сюда не является. Да, да, знаю я его: Абелардо, симпатичный парень, репортер, верно? Такой толстый блондинчик...» — «Какой там толстый блондинчик! Да нет же, господи, он такой смуглый, волосы черные, брови...» — «Тогда я не знаю его... Да, да, ясное дело, вы правы, я спутал, я про другого говорю, про Абелардо Мартинеса, толстого блондинчика». — «О господи!» — «А этот... как вы сказали его зовут?.. А про этого, как там его, Гонсалеса я никогда ничего не слышал», — заключил он, пожав плечами. Тогда я сказал, что хотел бы повидать дона Антонио Куэто. Куэто был тем главным редактором, который одно время покрывал промахи молодого газетчика, находившегося на военной службе, и которому я и сам приносил от Абеледо раза два какую-то информацию. Какое имеет значение, помнит он меня или нет? «Дона Антонио Куэто? Но разве вы не знаете, что дон Антонио Куэто теперь гражданский губернатор? Да, да, в Аликанте, по-моему, а может, в Альмерии».

Куэто — гражданский губернатор? С ума сойти!.. Тут меня осенило, что он мог увезти с собой как своего секретаря кого-нибудь из редакторов «Ла Ора», и вполне возможно, что он выбрал Абеледо, который, казалось, так пришелся ему по душе. И, принялся я фантазировать, почему бы и самому Абеледо не занимать теперь высокий

пост—этот пост, не слишком заметный, могли предложить в знак благодарности за ревностное служение режиму, почему бы ему не пользоваться влиянием, не получать хорошее жалованье и даже—как знать?—не находиться непосредственно у власти?..

Я вздрогнул. По мере того как я уходил дальше и дальше от редакции, меня охватывало все большее волнение: теперь я был готов весь мир перевернуть, лишь бы найти его, а до тех пор я не смогу ничего делать, не найду себе места, не смогу спокойно жить... До этой минуты каждый мой маленький провал—когда, например, в кино я принялся в перерыве бродить между рядами взад-вперед, но не наткнулся ни на одного знакомого или когда я вошел в Галисийский Атеней¹ и не оставил ни единого уголка без внимания,—всякий раз, как я заходил куда-нибудь, где мог бы встретить его, но так и не находил (подобные вылазки я осуществлял по одной в день, чувствуя себя после них удовлетворенным, но на другой день отправлялся снова на поиски),—каждая из этих бесплодных попыток была для меня на мгновение глотком свежего воздуха, обманчивой отсрочкой, которая даже не приносила мне глупого утешения отдалить неизбежное столкновение, ведь хотя оно, с одной стороны—к чему отрицать это?—пугало меня, с другой—было мне желанно, и, пожалуй, я со все большим жаром хотел, чтобы эта трагическая встреча наконец осуществилась.

Его в редакции никто не знал! Меня это перевернуло и страшно взбудоражило. Это было первым намеком, или мне так казалось, на одну возможность, о которой я прежде едва отваживался мечтать: почему война, которая так переместила людей, что для меня Сантьяго превратился в чужой город, где я никого не знал, не могла бы удалить отсюда Абеledo, унести его в какое-нибудь совсем другое место, на другой конец Испании, в Аликанте, в Альмерию? Если эта гипотеза имела под собой почву, если, по счастью, это был именно такой случай, тогда ничто не мешало мне остаться и жить здесь, в этом незнакомом и безучастном Сантьяго, так же спокойно, как в Буэнос-Айресе, ничего ни о ком не зная, ничего никому о себе не докладывая, то есть жить так, словно

¹ Научно-литературное общество и место, где оно находится.

бы никогда на свете никакого Абеледо Гонсалеса и не существовало.

Итак, в тот день, взбудораженный надеждами, которые до того с трудом, но подавлял, я не удовольствовался телефонным звонком в редакцию, я подкрепил их еще и тем, что сначала добрался до консьержа, а затем, полный нетерпеливых надежд, уже совершенно нетерпеливых, готовый все поставить на карту, я направился к его дому. Много раз и прежде, когда мне случалось куда-нибудь идти, я делал круг, чтобы пройти мимо с самым независимым видом, пожирая глазами запертую дверь в подъезде и окна, но так ни разу никого там и не увидел. Теперь я не хотел ограничиться прогулкой мимо дома, я хотел дернуть колокольчик и подождать. Посмотрим, что будет. Ну а что может быть? Что Мария Хесус широко раскроет и дверь и глаза? А хотя бы и он сам открыл, самый-рассамый Абеледо: я бы воспользовался его замешательством и задал бы ему вопрос, задал бы в любимой моей манере, даже, быть может, крепко хлопнув по плечу, бормоча, как пьяный: «Мне тут сообщили, что ты искал меня и приходил ко мне домой с друзьями, вот я и зашел сам к тебе узнать, зачем ты приходил». Губы мои разъехались в улыбке: я возвратил бы ему визит по прошествии всего каких-нибудь десяти лет... С этими мыслями дошел я до угла улицы и, замедляя шаг, чтобы у случая было больше времени прийти мне на помощь, прошелся два раза взад-вперед по противоположной стороне. И все зря, моя осада была напрасной: бесстрастная тишина лишала меня надежды; сапожник, работающий в том же подъезде, где раньше был табачный киоск, смотрел, как я крейсировал взад-вперед по улице; моя твердая уверенность начинала колебаться, я вдруг почувствовал, что страшно устал, все мне стало безразлично, грусть охватила меня — я изнемог, и вдруг — что я вижу? — из-за угла выходит какая-то женщина и, дойдя до двери, останавливается, достает ключ, вставляет его в замок и собирается повернуть.

— Простите, сеньора! — Одним махом я оказался возле нее (и вся моя расслабленность мигом исчезла, я снова был вполне спокоен, несколько бледен, возможно, но решительно спокоен). — Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет дон Мануэль Абеледо?

Она повернулась, медленно оглядела меня, я пригля-

делся тоже: лет сорок, выглядит еще хорошо.

— Нет, сеньор, нет, такой здесь не живет,— спокойно ответила она и, не обращая больше на меня внимания, снова стала поворачивать ключ

Сказать, что я твердо ожидал именно этого ответа, было бы нельзя: ну с чего бы, на каком основании? И однако, я принял его как должное, а услышав положительный ответ, наверняка бы расстроился. Уже уверенно, весело, я настаивал:

— Но ведь мне дали именно этот адрес. Номер дома именно этот, все сходится, никаких сомнений.— Последовала пауза.— Может, вы случайно слышали... не знаете ли случайно?..

Она уже открыла дверь, и я жадным взглядом окинул прихожую, которую столько раз пересекал, входя в дом или уходя из него вместе с Абеледо.

— Абеледо, вы сказали? Дон Мануэль Абеледо? Должно быть, что-то напутали в адресе, здесь он, во всяком случае, не живет, и от соседей я тоже не слыхала...

— И тем не менее... Дело в том, сеньора, что я прибыл сюда из Буэнос-Айреса...— И я собрался рассказать ей, что некий мой друг поручил мне разыскать этого человека; но она, услышав, что я из Буэнос-Айреса, подняла голову, взглянула на меня еще раз и, внезапно заинтересовавшись, прервала:

— А-а, так вы из Буэнос-Айреса? Ради бога, заходите, что ж вы стоите у двери, заходите, присядьте на минутку.

Противиться я не стал и вошел в прихожую.

— Если бы вы помогли мне встретиться с этим человеком, я был бы вам очень признателен. Простите за беспокойство...

Мы прошли в низенькую залу и сели в кресла по бокам забавного столика, покрытого вязаной скатертью с кистями. Исподтишка я внимательно оглядывал комнату, которая прежде была меблирована хоть, может, и победнее, но не так вульгарно, и вдруг, узнав среди нынешней пестрой мебели комод— он всегда стоял в доме Абеледо, но у другой стены,— пузатый комод, в котором он обычно хранил свои вещи, почувствовал, как забилося сердце, словно бы я неожиданно расслышал голос самого Абеледо или, скорее, что-нибудь не столь потрясающее— тихие шажки трудолюбивой пчелки, как называл я его сестру Марию Хесус. Что же здесь делает эта реликвия, если

правда, что нынешние хозяева ничего не знают о старых жильцах? Два или три предположения, более или менее абсурдных, пришли мне в голову в ответ на мой вопрос; я постарался подавить смятение чувств и отвечать на вопросы, которые мне задавала эта сеньора. Уже было доведено до моего сведения, что у них тоже в прежние времена было намерение отправиться в Буэнос-Айрес,¹ там и сейчас живут родственники, племянник мужа с женой и двумя уже большими детьми...

— Если бы не война, мы тоже были бы там.— Она улыбнулась мне, и я, держа шляпу на коленях, ответил ей: улыбка у нее была приятная.— А вдруг,—предположила она,—вы знаете семью моего племянника, его зовут Антонио Альварес.

— Альварес?—засомневался я.— Возможно, в лицо... По фамилии не могу сейчас припомнить. Вы знаете, в таком огромном городе, как Буэнос-Айрес, это было бы удивительно... А где они живут?

— Улица Сантьяго-дель-Эстеро,—объявила она торжественно, будто открыла мне важную тайну, и напряженно, молча ждала ответа. Едва я услышал ее слова, как в моей памяти мгновенно всплыла улица Сантьяго-дель-Эстеро, тот ее отрезок, что ближе всего к площади Конституции и обсажен деревьями, зелеными-зелеными в лучах утреннего солнца, и радость затопила мне душу. Как раз там я познакомился с Марианой: бар у поворота на площадь, где мы встретились в первый раз, и тут же маленький отельчик, где мы обычно виделись, пока не поселились вместе...

— Нет, по-моему, я не знаю вашего племянника. Или по крайней мере не могу вспомнить.

— И... вы вернетесь туда?—поинтересовалась она. Я сказал, что и сам не знаю; может, вернусь, а может, и нет; хотя очень возможно, что и вернусь; когда проживешь в одном городе столько лет, оставишь там друзей...

— Да, и мы бы там жили, если бы не война. Но война началась, и мой муж уже не мог оставить свои обязанности (Что за обязанности у ее мужа?—подумал я. Муж тоже был здесь, в зале, висел на почетном месте, строгий, с очень острыми пиками усов, его портрет был сделан pendant¹ к ее портрету, тогда молодой, нарядной,

¹ Здесь: в пару (франц.).

красивой). И не то чтобы нам уже не хотелось туда, но...

Женщина говорила серьезно, лицо ее было безмятежно-спокойно, но в глазах таилась влекущая улыбка. Я смотрел, как двигаются ее губы, когда она говорит: рот уже постарел, морщины четко очерчивают уголки, но все еще свежий; я смотрел, как она при этом поворачивала полную шею, а потом, пока она все еще говорила, снова с почтительным вниманием смотрел ей в глаза.

Она расспрашивала меня о Буэнос-Айресе, ей хотелось знать, трудно ли там жить.

— Что я могу, сеньора, вам ответить! Там все живут неплохо, одни лучше, другие хуже, ясное дело, но... это изумительная страна! — заключил я. — Изумительная! — сказал я с нажимом. Мой неожиданный энтузиазм передался и ей, лицо ее выражало удовлетворение услышанным, потом она слегка нахмурилась и сказала, что ее племянник в каждом письме жалуется на трудности. И я внес некоторые поправки: — Разумеется, это не филиал рая, а кроме того, человека всегда тянет домой. Да вот я сам, если бы не это, так зачем бы мне было приезжать в Сантьяго, что я тут забыл?

Мы немного помолчали, и я снова вернулся к своей теме:

— Знаете, что я думаю? Должно быть, адрес этого Абеледо мне дали правильный, только он допотопный, этот парень переехал, и... Вы давно живете в этом доме?

— Ах, давно, уже вполне достаточно, с тех самых пор, как кончилась война и мужа перевели из Ла-Коруњи в Сантьяго...

Не знает ли она, кто его занимал до них? Нет, сеньор, не знаю, нам его предоставил комиссариат. Конечно, это не то, что мужу бы полагалось по его положению, но он не тот человек, чтобы требовать, хлопотать, отстаивать свои интересы, так что...

— Так-так, — прервал я, — значит, никогда ничего не слышали о старых жильцах... о том, что с ними случилось? Мой приятель говорил, здесь живут брат и сестра: некий Абеледо и его сестра, она помоложе... Мне вот пришло в голову, что, может, как вас сюда переселили, в Сантьяго, так и их могли, в другое место.

— Уж и не знаю что сказать... Вот, может, муж...

— Не стоит больше затруднять вас.— Я поблагодарил ее, сказал, что я всегда к ее услугам, однако не назвался, и пошел восвояси.

IX

С легким сердцем уходил я из этого дома, тяжесть свалилась с плеч: я вышел насвистывая и прошел мимо сапожника, громко стуча каблуками; пошел вниз по улице, к центру, решил выпить пива, поставил танго и бросил монетку в электропроигрыватель, просмотрел репертуар кинотеатров и, конечно— надо же отпраздновать мое душевное освобождение, ведь какая тяжесть свалилась!— надумал порадовать себя какой-нибудь маленькой вылазкой.

В провинциальном городе, где ты чужой, хоть и родился в нем, для мужчины мало вариантов развлечься. И я не колебался долго из-за выбора места, где бы мог ублажить плоть. По счастью или по несчастью, я не из тех, кто может неделями и даже месяцами отказывать себе в естественных радостях. Облокотившись о столик в баре, я подсчитывал остатки своих денег и думал о днях, растрченных попусту из-за этой безумной идеи непременно встретить Абеледо, о никчемных днях, в холодной пустыне которых я не раз ощущал какой-то смутный толчок— Мариана, я вспоминал ее, я желал ее. На пароходе, пока мы шли через океан (дорожный роман с одной бабенкой, возвращавшейся в свою деревню, радовал меня), Мариана возникала в моем воображении не иначе как жутко сердитой: ее лицо, ее капризный рот, изливавший на меня потоки оскорблений, для которых я был уже недосыгаем; и я смеялся над штукой, которую выкинул. Но теперь, когда прошло столько времени после прибытия парохода, эта штука казалась мне дьявольской проделкой, это он, дьявол, подсказал мне, что таким образом я сумею вырваться из когтистых лап, обмануть ее; и искаженное яростью лицо уже не вызывало у меня смеха: я по-прежнему видел Мариану разозлившейся и резкой, все так, но в этой резкости было нечто волнующее, женщина была красива, волновала меня, а нахмуренные брови, глаза, метавшие молнии, презритель-

но вздернутая верхняя губа—все обещало... В конце концов, к чему предаваться надрывающим душу воспоминаниям, если ничего уж поделать нельзя? Зло свершилось, и теперь...

Но сегодня я решил, как уже сказал, немного повеселить себя; и хотя мне, по правде сказать, всегда была противна «продажная любовь», но все же с наступлением вечера—а что делать?—я направился, непреклонный, как римлянин, в публичный дом, испытывая уже *ante coitum*¹ классическую *tristitia*².

О, какой сюрприз ожидал меня там! После стольких пустых, напрасно прожитых дней выдался вон какой! Вхожу—этот дом *non sancta*³ был мне знаком со времен моей беспомощной юности,—вхожу, смотрю во все глаза и кого же я вижу среди этой паствы? Марию Хесус собственной персоной, сеньориту донью Марию Хесус де Абеледо-и-Гонсалес, *virgo prudentissima*⁴, готовую... Господи боже мой! Я протер глаза, но нет, это не сон, не галлюцинация: она здесь во плоти, это именно она, ее выдавал тоскливый взгляд, ее старание остаться незамеченной позади своих товаров.

Я выбрал, конечно, Марию Хесус, вытащил из укрытия, и, когда мы остались с глазу на глаз и поглядели друг другу в лицо, я, верно, был бледнее, смущеннее и более расстроен, чем она сама. Заговорила первая, мрачно сказала:

— И не поверить даже, что вы не пригласили любую другую! Все же вы должны были пощадить меня, хотя теперь, ввиду...—Она дрожала, не столько, по-моему, от гнева, сколько от унижения. А может, и от гнева, только гнев был для нее чувством непривычным и делал ее жалкой. Она зло смотрела на свои накрашенные ногти, и ее глаза тонули в тени чернящих ресниц, а кроме того, брови, выщипанные и выпрямленные, которые уже не были ее бровями, придавали ей отвратный клоунский вид.

— Прежде лучше было, со своими бровями,—невпопад ответил я. Она бросила на меня испуганный

¹ До соития (лат.).

² Печаль (лат.).

³ Не святой (лат.).

⁴ Благоразумнейшую деву (лат.).

взгляд затравленного животного (мне и вправду было жаль ее) и промолчала.

Меж тем я начал плести небылицы, с апломбом сказал ей:

— Я ведь пришел повидаться. Долго искал тебя, а потом узнал, что ты здесь, и, как видишь, пришел повидаться.

Понятно, что плотские желания, настойчиво толкавшие меня к этому дому, стихли; я был разочарован, раздосадован и охвачен каким-то странным беспокойством. Сам мой голос, необычайно уверенно произносивший эту ложь, ошеломил меня. Но как быстро преодолел я свое замешательство! Ведь эта встреча—черт подери!—была чудовищной неожиданностью.

Она первая (объясняет: входит с улицы один...) меня узнала в вошедшем клиенте. И отразившийся в ее глазах ужас заставил меня уставиться на нее и не без труда—а разве не было это совершенно невероятным?—узнать ее, Марию Хесус, разглядеть под клоунскими нарисованными бровями, прямыми дурацкими бровями ее глаза, ее щеки, немного припухшие, бледные, под слоем румян; узнать ее фигуру, тоже немного пополневшую и отяжелевшую, и грудь, как у горлицы. А каким она увидела меня? Я не очень изменился, поэтому она меня сразу и узнала. Я сказал, что пришел, чтобы ее увидеть, и она подняла голову, казавшуюся слишком маленькой под копной нелепо собранных на макушке волос, и пристально посмотрела на меня, серьезно и с облегчением. Ложь, сочиненная во спасение, дала разительный эффект.

Ободряя ее, я убежденно продолжал:

— Представляешь себе, через столько лет... захотелось повидать тебя, узнать, как ты жила.

Вопрос был задан неловко, на него только и можно было ответить так, как ответила она:

— Ты же сам видишь...

Но как ни странно, мы очень скоро, буквально через несколько минут, а может, и почти сразу же, почувствовали радость, оттого что были вместе, и даже—удивительное дело!—я еще никогда не говорил с ней так ласково и сердечно, как тогда, в этой грязной трущобе, а она—и подумать только, ведь ее положение было безвыходное!—держалась со мной куда уверенней, чем когда-то дома. Она сидела на спинке кровати, а я—лицом к

ней на изрядно испачканной голубой табуретке; мы беседовали.

Стараясь ненароком не задеть ее, я говорил сначала какие-то общие слова, но она стала рассказывать о себе, жаловаться на несчастную жизнь: ссоры, обиды, воровство по мелочам, еда, зависть и все это свинство. Слова у нее были не свои, не Марии Хесус, они были взяты напрокат из репертуара, принятого в подобных домах; она его усвоила, и мне теперь вряд ли удастся переключить ее на другой лексикон, словно бы она уже и разучилась говорить иначе, только готовые фразы, а ведь меня интересовали именно обстоятельства ее собственной жизни, которые привели девушку сюда, и более всего стремился я допытаться, где сейчас ее брат. Я нашел ее погрязшей в тине публичного дома, и это разожгло мое любопытство, но в то же время окончательно затушило прошлые волнения, и я даже отложил на время разговор о самом для меня существенном; я вел себя как человек, который, зная, что интересующая его вещь уже отложена, и считая ее своей, не торопится забрать; так и я все еще не задавал заготовленного вопроса об Абеledo: «А Маноло, твой брат, что с ним?», дожидаясь подходящей минуты. Но имя Маноло прозвучало без моего вопроса: среди беспорядочных и бессвязных жалоб она вдруг как-то невнятно сказала: «То, что с Маноло было» — или «Несчастье, случившееся с ним», точно не помню.

— То, что с Маноло было? А что с ним было? О чем ты? — бросился я сразу же.

— О несчастье, — объяснила она спокойно, почти безразлично, и продолжала: — И вот из-за этого, оказавшись одна...

— Нет, расскажи мне! Что было-то? Я ведь ничего не знаю.

Она удивилась моей неосведомленности, посмотрела пристально, будто не веря еще, и поведала мне новость, которая потрясла меня; я слушал с изумлением, а услышав, оцепенел и на несколько минут онемел: Абеledo умер, да, он был убит, и не докопались, чья рука его убила в дни военной неразберихи.

Его смерть, неприкрашенный многословный рассказ о которой позже поможет все расставить по своим местам, оглушила меня, и я был почти не в силах сосредоточиться на собственной истории Марии Хесус, которая тут же

рассказала обиняками, со всякими отступлениями, о своем бесчестье, случившемся по вине одного артиллерийского майора, который предложил ей свое покровительство, должность машинистки и особый паек, а потом оставил ее в несчастье — и вот я дошла «до этого». Она долго мне все это рассказывала, невероятно подробно и не совсем, видимо, так, как все происходило на самом деле, хоть и непонятно зачем, да еще и неумело привирая, и все время она говорила на жаргоне проституток, а я думал только о смерти Абеledo. Все минувшие дни и недели я жил одержимый мыслью о близкой встрече с ним, о встрече, которую считал неизбежной и неминуемой, и сам не знал, хочу ли я ее или страшусь, я не спешил с этой встречей *de motu proprio*¹, но промедление становилось для меня с каждой безуспешной попыткой все более и более непереносимым; а встреча эта, как теперь выяснилось, была невозможна, абсолютно невозможна, и была она невозможной на протяжении уже стольких лет, еще когда шла гражданская война, когда я даже и не уехал в Америку. Еще я командовал своей ротой, воюя в горах под Сантандером, а он уже был мертв здесь, в Сантьяго. Как же мне ни разу не пришло в голову ничего подобного, ведь это было так возможно, нет, лучше сказать — вероятно в военное время? Во всякое время человек обречен смерти, но в войну... Разве не был я сам много раз на краю?.. Я в конечном счете ускользнул, отмочил штуку; и вот я жил в Буэнос-Айресе, встречался с разными людьми, работал в конторе маслозавода, познакомился с Марианой, и мы поселились вместе, и я подумывал о женитьбе на ней и потом отказался от этой мысли; я беседовал со своими земляками или спорил с гринго в лавке Коутиньо, день за днем, год за годом, мы читали газеты и обсуждали последние сообщения с фронтов мировой войны, и вот уже кончилась война, а я все надеялся, что и у нас, в Испании, произойдут изменения, а меж тем время изменило меня, из юноши превратило в мужчину, — а он, Абеledo, все это время кормил червей.

— И так никогда ничего про его смерть? Не выяснили, кто убил Маноло? — внезапно спросил я. — Кто мог его убить?

¹ По собственному побуждению (лат.)

— Никогда и не пытались выяснять. Всем наплевать было. Но если хочешь знать правду...

Тут-то она мне и призналась, что ничуть этому не удивилась, что она это предвидела, ведь бывают вещи, которые обязательно должны случиться, вот и ее предчувствия оправдались. Она стала рассказывать, сперва все так же беспорядочно, мелодраматично и в избитых выражениях, как обычно рассказывают в публичных домах; но потом, понемногу, словно разламывая какую-то кору, проросли ее собственные слова, слова Марии Хесус, и чем дальше, тем больше, даже вроде бы и застенчивое пришепетывание появилось. Она рассказала, что, едва началась война, собственно и войны-то еще не было, а только мятеж подняли, Маноло исчез из дому на несколько дней (она от страха чуть жива была), и потом он стал только изредка наведываться домой, и то на короткое время, и дома он торопливо произносил речи, торопливо, напыщенно и туманно, о задачах, об ответственности, о миссии, которую следует исполнить; он был одет теперь совсем иначе—все новое, блестящие сапоги, кожаная амуниция, значки—и уезжал из дому в автомобиле, который обычно ждал его у подъезда и сигналил. В конце концов она без особого труда отчетливо поняла, что он занят «очищением», «чисткой», и с той минуты, с того самого часа это стало для робкой Марии Хесус непрестанной мукой. С другой стороны, нужда в доме и всякие нехватки прошлых лет теперь кончились; он-то был не промах. Когда он явился после первого своего исчезновения и она робко попросила у него денег, потому что продукты в доме кончились и нужно было снова все покупать, он вытащил из бумажника толстую пачку денег и, даже не считая,—он очень спешил—бросил на обеденный стол. С тех пор бумажник его всегда был битком набит и Абеледо, всегда скупой, говорил ей, чтобы тратила, сколько ей вздумается. Но на что деньги, когда тошнота комом подступает к горлу и ничему не дает порадоваться? Если на нее по временам напал неукротимый плач... Всякий раз, как Маноло возвращался на рассвете домой и возбужденно, с пьяным упорством принимался рассказывать вещи, о которых она и слышать не хотела и слушала их вполуха, у нее комок вставал в горле. Какая надобность была в этом хвастовстве, зачем ему было так выставляться перед ней, если

это был тот самый тяжкий долг, который он выполнял ради Дела, как объяснял он ей в своих гнусных речах? Какая надобность была впутывать ее в свои подвиги или издеваться над ее домашними делами? «Ради бога, не рассказывай ты мне об этом!» Но он все равно рассказывал, упрямо рассказывал, смакуя жуткие подробности: потешался, кривлялся, изображал, как эти типы в свой смертный час обливаются потом, что-то бормочут, делают разные глупости. Не в силах всего этого выносить, она заливалась слезами, а у него всегда была готова дежурная шутка: «А, ты, значит, тоже красная! Берегись, ты у меня свое тоже получишь, будь спокойна»; он наклонял голову набок, к вытянутой руке, щурился, как бы прицеливаясь из воображаемого ружья, и—бах!—грязная скотина—швырял в нее сливовой или абрикосовой косточкой. И после этого сразу—она уже знала—припадок нервного смеха, потом он валится на постель и—спать! Как-то раз Мария Хесус увидела, что он мечется во сне. «С ним сегодня что-нибудь случится»,—подумала она. И на самом деле случилось...

Дойдя в своем рассказе до этого места, она словно бы освободилась от давно давившей ей грудь тоски: ее малюсенький, ярко покрашенный ротик сморщился, исчезая меж толстых щек, и голова, с собранными в корону волосами, склонилась на грудь. Я поднялся с табуретки и, потрясенный всем, сел подле нее на кровать, и, глядя ее по голове: «Ну, будет, милая, будет, перестань!» Наверняка уже давным-давно, а может быть и никогда, не изливала несчастная свои горести, и я, совсем успокоившись с тех пор, как тайна Абеledo вышла на свет, ощутил вдруг в себе склонность к сочувствию.

Она крепко обняла меня и оросила слезами мой жилет, а торчащий пучок волос раскачивался, как метелка из перьев, у меня под носом. Господи помилуй! Все же я признаюсь. Из грязи мы все, из грязи. Еще совсем недавно зов плоти, по которому я пришел в этот дом, стих во мне и, казалось, совсем смолк—так я был ошарашен невероятной находкой, Марией Хесус, но теперь ее полная грудь, колыхавшаяся в хриплом плаче возле меня, внезапно пробудила бурное желание, удовлетворение которого было оплачено заранее, и Мария Хесус отозвалась на мой зов и раз, и другой с силой непродажной и непритворной. Ее порывы объяснили мне, как

много значил я на самом деле для нее, для бедняжки, и я огорчился. И еще сильнее огорчился, увидев, что она снова плачет, хоть теперь она и не рыдала: крупные слезы медленно смывали с ее лица румяна, стекая на подушку, и когда мы оба, устав, тихонько говорили о прошлом, она открыла мне — к чему теперь скрывать? — как она горевала и как негодовал Маноло, когда они узнали, что я помолвлен с этой Росалией и они обмануты в своих надеждах — ведь я теперь не женюсь на Марии Хесус. Абеледо во всем винил ее и вопил как сумасшедший: «Ты, дура, во всем виновата. Уродина, хуже чем уродина, дура!» Он издевался над ней, передразнивал ее, ее смущение, ее манеры, ее движения (и наверняка похоже передразнивал: они были так похожи друг на друга, брат и сестра...); он говорил ей, морща рот и уронив вдоль тела бессильно руки: «Какая она скромненькая, эта барышня, эта девчурочка, эта глупенькая монашенка!» Потом давал советы: «Надо быть интереснее, поживее!..» Чего только он ей не проповедовал, как не бранил ее, он и ворчал, и оскорблял, и критиковал, и издевался над ней! С этого-то времени она — «а ты ничего не замечал?» — с холодным сердцем и без всякой цели стала мазаться. «Браво! Ты теперь ну точно клоун. Настоящая шлюха!..» — саркастически аплодировал он. А мне какая разница, на кого я похожа...

Х

Теперь уже мне остается только закончить рассказ, остается сказать, что на следующее утро, проснувшись невероятно поздно, я открыл глаза и вновь испытал то же ощущение, которое бывает, когда очнешься от кошмара, все вспомнил: вспомнил свое головокружительное приключение прошлой ночи и вместе с ним все, что было со мной с той минуты, как я сошел на берег Испании; все эти картины, явившись мне, быстро образовали отдельные полотна с ярким четким рисунком, но все было ирреально, как в тех очень отчетливых снах, которые обладают силой пережитого, и, однако, им не хватает (и только это убеждает нас в их ирреальности)

полной связи с нашим повседневным существованием. Мой спуск в адские круги дома терпимости как бы завершил то призрачное существование, которое я вел почти что месяц. (почти месяц бродил я, преследуя фантом и убегая от него!), я отделил от себя это свое существование и вновь оказался в той же самой точке, откуда вошел в этот страшный лабиринт. Невероятно, но только время до моего возвращения: Буэнос-Айрес, Авенида-де-Майо, Южный док, отделы предприятия и столовое масло марки «Андалузка», лавка Коутиньо, мой дом, Мариана — только это обладало объемностью, в то время как Сантьяго-де-Компостела вместе с моим дурацким паломничеством к Портико-де-ла-Глория и моими блужданиями в течение двух долгих недель, весь этот город, вот здесь за окном и гораздо дальше, далеко от этого квартала, от этого дома, от свечной торговли, был таким же наваждением, как вчерашняя грязная встреча в борделе с этой обреченной, с Марией Хесус. А что я сделал с тех пор, как приехал в Сантьяго? Ничего я не сделал, и это ничто и было ничем, чистой бессмыслицей.

В довершение пришла моя тетя будить меня (я давно проснулся и просто тихо лежал в постели, умиротворенный духом и телом), она вошла, как я смог заключить из ее поведения, готовая к тому, чтобы осыпать меня упреками за мое поведение, никак она от меня этого не ожидала. Она пришла с целой кучей упреков, намеков и своих обычных жалоб, что было в ее характере, и она их заранее обдумывала. Пожелав мне сперва доброго утра и сделав очень ценное сообщение о том, что уже почти одиннадцать, она села напротив моей кровати, и тут рекой полились рассуждения о том, что я, быть может, привык в Америке к другому образу жизни и что, кажется, я и не стараюсь приспособиться к нынешнему положению вещей в Испании, при этом она все же внушала мне, что всего лишь немного доброй воли — и я быстро восстановлю мой интерес к торговым делам фирмы, тем более что ведь они и мои дела тоже, а вовсе не кого-то там еще, и уж она-то меньше всего думала, что я так ее обману, и мой покойный дядя тоже верил до конца в меня, и только мне хотел он оставить все, что кровью и потом заработал за всю свою жизнь, понятно, всегда думая, что я... Ладно, я пообещал ей, что с завтрашнего дня с головой уйду в работу, ни о чем

другом и думать не буду и что если я до сих пор этого не сделал, так только потому, что мне необходимо было рассеять одно сомнение, которое именно вчера вечером — потому-то я и задержался — наконец рассеялось. Я также сказал ей, что, прежде чем погрузиться в обыденную жизнь, я хотел бы сегодня сходить на могилу дяди.

Я хотел сходить на могилу дяди, но куда больше хотелось мне сходить на могилу Абеледо. Мне захотелось этого только что, когда я говорил с тетушкой, но захотелось так сильно, что вся моя лень мигом испарилась, я соскочил с кровати и, не откладывая дела в долгий ящик, оделся и пошел на кладбище.

Найти свежую могилу дяди, следуя указаниям тетушки, особого труда не представляло. На поиски могилы Абеледо я затратил куда больше труда, но после всех блужданий прочитал наконец в нише его имя: «Мануэль Абеледо Гонсалес». Краткая надпись гласила:

*Здесь покоится наш боевой товарищ
Мануэль Абеледо Гонсалес, погибший за Родину.
Рука предателя сразила его 15 июля 1937 года.*

Здесь он лежал под камнем и грязью.

Я повернулся, вышел с кладбища и спустился, не торопясь, в город. По дороге я принял решение — и я не премину исполнить его — вернуться в Буэнос-Айрес.

ХРОМОЙ

С последнего поворота дороги еще можно было разглядеть море. Склоны холмов, рассеченные серыми и бурными провалами оврагов, далеко внизу теряли крутизну, разливаясь зеленью и голубизной пустошей с желтоватыми островками. Кверху холмы были лысыми, земля — словно изрезана ступенями набегавших террас, без травы и цветов; лишь одни виноградники, посаженные в шахматном порядке, как кресты на воинском кладбище. Заросшие ежевикой и колючками каменные ограды квадратами разграничивали владения, геометрически следуя уступам поверхности.

Ниже по склону, по направлению на Мотриль, тракт змеился, и дорожная пыль, неистовствуя, затягивала заросли жимолости, дикого салата, чертополоха и других сорняков, придавая им какой-то лунный вид; еще дальше той же участи тщетно сопротивлялся тростник: ярко-зеленое становилось землистым, светлое — грязноватым, белесым; но, теряя в сочности красок, ландшафт выигрывал во времени: пейзаж этот казался извечным. Пыль покрывала мельчайшие веточки; пожелавшему взглянуть на нее вблизи представлялась она легчайшим снегом, солнечным снегом или, скорее, сероватой мукой, смолотой подковами и шинами и рассеянной ветром. Проезжавшие машины поднимали хвосты пыли, по размерам которых мог искушенный в технике пастух — были и такие — определить число лошадиных сил колымаги и ее скорость.

Отсюда, с высоты, виден был всегда какой-нибудь обоз, тянувшийся по дороге на Малагу или, наоборот, в сторону Альмерии. Двое, трое, четверо животных, в основном мулов, тащили повозки; на каждой натянут был серый, цвета дороги, брезентовый верх да дремал на передке возница, если только не сгоняла его оттуда какая

нужда или охота покурить в компании. Скрипели оси, иногда трясло на попавших под колеса камнях. Вознице не свойственна тяга к песне—то удел полей; здесь же было царство цикад, то есть само безмолвие. Пот не выступал: грязный слой пыли забивал поры, кожа из оливковой становилась серой, волосы из темных—седыми. Воздух, раскаленный, свинцовый, можно было потрогать рукой. Те, что движутся на Мотриль, чуют приближение моря; едущие оттуда не замечают, как пропадает горизонт: им достаточно неба.

У этого поворота—по левую руку, если обернуться лицом к Малаге,—отходит от тракта гужевая дорога в добрых двести метров длиной, крутая, каких поискать; кончается она у двери убогого домишки, лачуги или нищенского угла, в прямом значении слова. Жили в нем Мотрилера, ее муж—Хромой-из-Вера—да их дочь, Рафаэла Перес Монтальбан, единственный плод десяти легких родов. Столь легких и скорых, что четырежды разрешалась от бремени мать под светло-зелеными кронами олив; как всегда перепутав сроки, вдали от жилья, не знала она подмоги. Мужчина работал далеко от дома, и в невыносимый полуденный солнцепек отправлялась жена со своим животом нести ему обед, ковыляя, ломая ноги на склонах. Оступаясь на бороздах, на камнях, добиралась она к нему, взмокшая от боли и усилий не разродиться, дотянуть до дома; он отпускал в сердцах ругательство и перерезал пуповину альбасетской навахой, сполоснув клинок вином, которое приносила жена к обеду. Кровь еще лилась, но боль отступала; ребенка заворачивали в нижнюю юбку. Обрато добирались смотря по месту, где они находились; если не случалось поблизости соседа, с которым можно было на пару тащить жену на допотопных носилках, мужчина сажал ее себе на плечи. Однажды, когда он хромал больше обычного, женщина пошла сама. «Все они одним миром мазаны,—замечал он соседу,—вечно все напутают, никогда не подгадают». Как-то она заболела и двадцать дней пролежала в горячке. Но все прошло, и девочка чудом уцелела. Это был их последний ребенок. Тогда, в жару лихорадки, мать различала окружающее смутно, через завесу чего-то досель не знакомого, что застилало глаза и, не найдя щек на костлявом лице, скатывалось прямо на грудь.

Всегда печальная, одевалась она в черное; с годами живот ее разбух и появилась привычка скрещивать руки у пояса, опуская их на вздувшееся чрево, как на подставку. Оба они были замкнуты, необщительны и не интересовались ничем, кроме земли, на которой работали. Работали — как водится — на хозяина. Их считали странными людьми — не экстравагантными, но сторонними: оба были не местными и обосновались вдали от селения, ни с кем не общаясь. Жили себе, и никому до них не было дела, может, и им самим.

Хромой был невысок, тощ и еще скупей на слова, чем жена. Казалось, он затаил обиду на свой голос, ибо Хромой-из-Вера был в прошлом неплохим кантаором¹; никогда не блиставший большим голосом, умел он все же вытянуть ронко, хондо и славно исполнял фанданго своих родных мест: естественно и с чувством звучал в его устах этот горестный плач альмерийских шахтеров. Потому что когда-то, в самом начале, был Хромой шахтером в той сьерре с нутром красноватой породы, что тянется от Уэркаля до Басы; и пыль, которой надышался он в те годы, мало-помалу подорвала ему голос позже, когда зарабатывал он им на хлеб в Малаге. Хромой-из-Вера знал свою пору славы; в то время не было в его жизни ночи без попойки и рассвета, что не встретил бы он на ногах. Но так продолжалось недолго, голос стал угасать. Сперва рассеялись поклонники, он покатился вниз, кредитки сменились монетами, а гулянки в трактирах и погребках — долгими ожиданиями на задворках борделей под ленивый разговор со слепыми гитаристами. Сквозь смех недалекого веселья отчетливо доносилась лишь одна машинальная фраза: «Дай-ка мне десять сентимо для газового счетчика», вслед за чем раздавался сухой копилочный звон сыплющейся в автомат мелочи. Женщины были смуглы, понуры, чумазы и горделивы: «А ты как думал, я — порядочная женщина». Непременная «крошка», обычая ради слышавшая развратной, почти на спускалась «сверху», занятая своей клиентурой из приказчиков и судейских. Рассвет уже не существовал для того, чтобы

¹ Исполнитель старинных народных песен и канте хондо — глубинного пения, уходящего корнями в первобытную эпоху. Ронко — гортанное пение; хондо — глубинное, «нутряное» пение; фанданго — народная песня, сопровождающая одноименный танец.

озарять мир. С первыми лучами они выползали пить кофе в скверик, где тянуло ветерком и пахло жасмином. От усталости валились с ног; затем слепые уходили вереницей, с палкой в правой руке и гитарой слева под мышкой. Неизвестно, до чего опустился бы Хромой, если бы однажды не позвали его для забавы на попойку в Мотриль и не бросили там потехи ради.

Обходя незнакомое селение, столкнулся Хромой с Рафаэлой, и, поскольку парень он был видный, ему не стоило труда обратить на себя ее внимание. И он остался в селе. «Чем занимаешься?» — спрашивала его девушка. «Барышничая», — отзывался Хромой, и она довольствовалась таким ответом. Он зарабатывал на жизнь чем придется; за крышей и постелью дело не стояло.

Однажды вечером, когда он предложил свои услуги каким-то проезжим, его признал некий толстосум из земляков, дон Мануэль Инохоса.

— Куда ты подевал свой голос?

— Был голос, да весь вышел, дон Мануэль.

— И что думаешь делать?

Кантаор пожал плечами; в один из перерывов в попойке, когда остальные удалились «наверх» и стало потише, послушав Хромого, отдавшего должное обилию мансанильи, которого требовало тщеславие кутил, и говорившего о своей девушке, дон Мануэль, пивший весь вечер отличное вино, неожиданно предложил:

— Работу хочешь?

Выпитое амонтильядо открывало перед ним врата благотворительности: не далее как утром того же дня наотрез отказал он в аренде одного домишки с прилежащими виноградниками и посадками сахарного тростника нескольким крестьянам, которым был обязан за кой-какие услуги на выборах; но теперь, когда нутро ему согривало алкоголь, а в голове бродил неясный энтузиазм, ему казалась забавной мысль сделать этого незадачливого свидетеля его кутежей работником на своей земле — каприз, который вполне окупится.

— При условии, что у тебя найдется всегда несколько бутылок из Гиты и гитара, на случай если мы вдруг заглянем... Ну а эта девочка — она откуда, из Дома?

Лицо Хромого приняло строгое выражение.

— Да нет же, парень, нет, ты же знаешь, что я не балуюсь...

И впрямь, человек этот сопровождал всегда приятелей, щедро оплачивал их скандалы, но как раз тугая мошна и позволяла ему держаться в стороне от известных контактов, каковые, по-видимому, считал он мало отвечающими своим возможностям. Положение и замашки верховода, распорядителя чужих развлечений и судьбы чужих удовольствий позволяли ему расхаживать всегда в сопровождении свиты прихвостней, готовых на самую невероятную подлость. Окружающих он никогда не считал за людей.

— Она — порядочная девушка, — немного смущенно произнес Хромой. Тот затрясся от смеха. Он все еще икал и урчал, когда гуртом спустились сверху его прихлебатели.

Так что, справив свадьбу, отправились Хромой и Мотрилера на новое место. Работа оказалась тяжелой, тем паче для него, забывшего за несколько лет, что такое рукоять инструмента, и понятия не имевшего о крестьянском труде. Плата — полторы песеты в день. Никогда не произнес он ни слова жалобы, но с годами онемел, на лице поселилась угрюмость, да и она, как подобает верной жене, с течением времени стала на него походить. Девяти парням и одной девчушке дали они жизнь на этой каменистой земле. Младший умер пяти лет, сбитый на дороге бесследно исчезнувшим автомобилем. Похороны были самым удручающим занятием, какое он знал в эти годы.

По правую руку находилась Нерха; от морской синевы небо казалось блеклым. То была медовая река обетованной земли. Берег был крут, но без кромки пены: море млело от безмятежности. До самого дна просматривались подножия скал и утесов, окрашивавшие воду всеми цветами радуги; стремили свой бег лодки с косыми треугольными парусами. Ничтожные суденышки, ничтожные рабы, ничтожная жизнь, нищета под всегда одноцветным небом. Удручающая монотонность, нехватка воды, лишь дикая герань нарушала однообразие и, несмотря ни на что, пышно давала цвет. Глиняные горшки на таганках, знай раздувай жар, невзирая на боль в надсаженной спине. Капуста, гаспачо¹ да слишком много

¹ Холодный овощной суп.

хлеба. И так день, и год, и другой. Стебли тростника дрожат и свистят на ветру. Вверх по склону, справа, — оливковые рощи да заросли дрока под пылью; еще выше — сьерра, лиловая меж двух голубых просторов; внизу все бурое, бесцветно-серое, коричневатозеленое, как налет патины. Напротив угадывается вдали Малага, гул уже позабытой жизни. Своя жизнь наваливается как полуденный зной, отупляет. Работа, пот; садишься на камни, от которых нет тени, ждешь под ближайшей оливой или где-нибудь у откоса, когда принесут еду, такую же, как вчера. Ни жена уже не вспомнит имени Хромого-из-Вера, ни он ее имени. Между собой они почти не разговаривают, глаза у них стали маленькими, потому что не на что им смотреть. Жизнь их теперь — беспросветная ночь. Скорбящая богоматерь осеняет все своей кроткой любовью.

Иной раз бросает Хромой взгляды на девушку. Когда она выросла? Как могли пройти эти восемнадцать лет? Мерилом времени служат для него лоза, оливы, тростник, человеческие мерки ему не даются, удивляют. Вон грудки у нее колышутся, поди уже упругие. Отец режет навахой свой хлеб с отрубями, смотрит невидящими глазами на селение в низине. Как прошли эти восемнадцать лет? Он не отвечает себе. Оглядывается на только что проложенную борозду: позволит ему хозяин посадить томаты? Он уже спрашивал, и тот не разрешил, но Хромой собирается настаивать и, даже если снова получит отказ, все равно посадит: тот никогда сюда и носа не кажет. Белые зубы перемалывают нехитрую снедь. «Если не посажу томаты, нечем будет платить, а вот сеньор считает недостойным, чтобы они росли на его земле». «Это годится для тех, у кого земли кот наплакал, кто хочет с одной фанеги¹ собрать всего понемногу. Я не из этих». С криком пролетают грачи. «Придется ехать в Серро-Гордо».

Однажды из-за треснувшей колесной втулки появился у них некий Хуан Перес, ломовой извозчик из Велес-Малаги. Парень он был малость шалопутный, к тому же косноязычен, но в самом его изъяне таилась своеобразная привлекательность. Он взял за привычку останавливаться

¹ Земельная мера, равная 64,5 ара.

на несколько часов в их лачуге, бывая проездом раз в десять—пятнадцать дней. Полюбилась ему девчонка, да и она к нему привязалась; все у них сладилось в два счета. Родители не противились (отец хмыкнул, мать пожалала плечами—вот и столковались) и поженили их. Девчонке давно уже хотелось узнать, каково оно—«это». Было тогда рождество тридцать пятого. Дочь перебралась с мужем в Велес-Малагу, а они остались коротать свой век при дороге, дожидаясь смерти. Их снесут на погост в Нерху; путь туда долгий, давно он по нему не хаживал, но в последний-то раз! Провозглашение республики встретили молча; об астурийских событиях толков уже было больше—с зятем и с Альфредо Треской, ломовым извозчиком, который доставлял им то немногое, в чем случалась нужда. Треской того прозвали потому, что иной раз, ежели подворачивалась такая возможность, привозил он на продажу рыбу своим покупателям. Чего только не было в его крытой повозке: кувшины, свечи, колбасы, зубочистки, сало для шкварок, гребни, писчая и отделочная бумага, мыло, разноцветные ленты, шафран, открытки, полотенца, заколки, парфюмерия, броши и зеркала, туалетные наборы и еще всякая всячина, понаказанная ему на предыдущей неделе. Республика, революция—это все Хромого не трогало. Не охотник он был до таких дел. Живи как живется. Уж коль так заведено, так, значит, тому и быть, и нечего тут копать. Он-то за жизнь хорошо себе это усвоил. Всяк знай свое место да не суй нос, куда не просят. Хозяева—на то и хозяева, пусть по-нашему они и недоумки; двадцать пять лет спустя Хромой держался тех же взглядов на мир, что в годы, прошедшие средь малагских борделей, и не мог представить себе его устроенным по-другому. В глубине души таилась еще досада на первых товарищей—на шахтеров, загубивших в конце концов его голос той красной пылью, «что проникала повсюду». Что до матери, она ничего и не слышала, давно отгородившаяся от всего своими родами и черной одеждой. Как-то раз, в августе тридцать шестого, заявили из села двое, которых они едва знали, с охотничьими ружьями за плечами. «Здорово».— «Привет».— «Комитет выделил тебе эту землю, от той изгороди до оврага; от оврага и дальше будет работать Антонио Мадера».— «Считай, тебе повезло, кое-кто был против того, чтоб принимать вас в общину».

«Надо будет тебе зайти в Комитет». И ушли. Хромой пожал плечами и продолжал жить как раньше, словно ничего не произошло. Как-то утром он наткнулся на Колченого: «Ты что здесь делаешь?» — «Теперь это моя земля». Хромой презрительно посмотрел на него: «Никак дон Мануэль тебе ее продал?» «Ладно», — ответил тот и повернулся спиной. Колченогим его звали из-за вихляющей походки.

Забрали Хромого следующим утром, уткнув в спину два охотничьих ружья. Стволы блестили на солнце. Стали спускаться к селению; до него было добрых два километра. Тот, что шел справа, заметил: «Знатное у Француза поле». Остальные молча согласились. Для разговоров было слишком жарко. Хромой не особенно встревожился, шел себе, чувствуя, как приятно телу эта прогулка. «Ну а убьют, что ж... жить-то осталось совсем ничего. Довольно я на своем веку вставал, одевался, ел, работал и спал. Знать, пришел и мой срок. Да, поле у Француза всегда было в порядке, но я его видел уже столько раз, что не страшно, ежели это — в последний. Да и не убьют они меня». В альпаргат ему попал камень, он согнул ногу, вытащил его. Остальные ждали пятью метрами ниже по склону.

— А у Тюфяка поле — смотреть стыдно, — сказал Болтун, тот, что шел справа.

Наконец добрались до села. На маленькой площади, где за кирпичным бордюром росли шесть акаций, стоял графский дом. Огромное оштукатуренное здание с большим порталом и двумя решетками занимало целую сторону площади. Солнце выделяло его призмой тени. В вестибюле с выложенным темными гольшами полом заседал Комитет. Это было самое прохладное место. На полу стоял кувшин, смахивавший на сидящего кота. Войдя, на мгновение замерли, привыкая к резкой смене температуры; струи пота, высыхая, охладили кожу, как ледяная решетка.

— Привет, Хромой, — заговорил один из сидевших вокруг стола. — Присаживайся.

Тот послушно сел. Комитет составляли пять человек, которых Хромой едва знал; трое из них были в майках, остальные — в рубашках.

— Говорят, не принимаешь землю, которая тебе отошла?

Подследственный пожал плечами.

— И почему же?

Молчание; потом самый толстый сказал ехидно:

— Это он жандармерии боится.

И другой:

— Да он всегда был штрейкбрехером.

И Хромой:

— Неправда.

Тот, что сидел посередке, прервал его:

— Ты—человек рабочий, хорошо трудился на этой земле, поэтому правильно, если она будет принадлежать тебе. Понимаешь?

Хромой только хмыкнул. Тогда встрял толстяк:

— Я очень рад, Хромой, что могу сказать тебе в лицо то, что говорил на днях в профсоюзе: ты—опасная тварь и что с тобой надо сделать, так это лишить навсегда возможности вредить.

— Я ни с кем не ссорился.

И председатель:

— Потому-то, что ты ни с кем не ссорился, потому, что сносишь все молча, из-за трусости твоей и идет все так паршиво на этом свете. Если б все были такими, как ты, хозяева так и сидели бы всегда у нас на шее.— И со значительностью добавил:— Собственность—это кража!

— Это я знаю,—отозвался Хромой.— Не так я глуп.

— Твой бывший хозяин, *дон*,—выделил председатель голосом,— Мануэль Инохоса, сейчас с мятежниками; мы делим его земли, чтобы обрабатывать их на общую пользу.

Хромой уже ничего не понимал, он был как пьяный, лоб словно сдавило тяжелым обручем.

— И поскольку мы хотим, чтобы все трудящиеся пользовались благами реформы, мы и решили выделить тебе участок земли, хоть ты никогда нас и знать не желал. Правда, и против нас ты не шел, это надо признать.

Наступила пауза. Председатель встал:

— Принимаешь землю или нет?

Хромой нагнулся за уроненной зубочисткой, поднял ее, сказал:

— Принимаю.

И председатель:

— Так за дело.

Когда Хромой вышел, все заспорили.

— Если что, всегда подоспеем,— подытожил толстяк.

Заложив руки за спину—в привычной ему позе, редкой среди крестьян и не такой уж странной при его репутации чудака,—Хромой двинулся вверх по склону. Шел и смотрел на дорогу: на пыль и камни. «Земля теперь моя, мне ее дают». На мгновение остановился. «Дают, потому что я ее обрабатывал; и отчитываться больше не надо. Конечно, если б я не вкалывал на ней двадцать пять лет, земля бы пропала; моего там—труд. Не земля—то, что она дает». Снова остановился. «Вот если б я на ней не работал, меня бы погнали отсюда, а на мое место поставили б другого. А тогда, понятно, и земля следовала бы ему». Тронулся опять, на этот раз чуть быстрее. «Захочу—оставлю под паром». Рассмеялся. «Не купил, не в наследство досталась». Подумал о жене и сам тому удивился. «Посажу томаты. Дон Мануэль всегда был против. Говорил, это повредит винограднику. Вот упрямец! Да, томаты». Наткнулся на камень, убрал его с дороги. Свежело; порывами налетал пропитанный морем ветер, поднимал пыль. «Жарковато для этой поры. Какой сегодня день? Не знаю, но это важный день. Отныне я—собственник». Словечко кольнуло, оно мешало ему. Хотел уйти от него и все же чувствовал, как оно сидело в башке, точно камешек в альпаргате. «Работы теперь прибавится». Это было очевидно, да оно ему и по силам. Завтра же утром, нет—сегодня же, как только дойдет... Прибавил шагу. Сказали ведь ему... или нет?.. Об этом вроде не говорили... А разве Мигель не сказал, что он теперь будет работать на всех? Он не помнил; из того разговора в Комитете память сохранила только одно: он принял землю. Он понимал, что, работая на себя, работает на всех: кто и когда мог сказать ему это? Сообразить не удавалось, но он чувствовал, что мысль хороша и успокаивает его. Остановился взглянуть на пейзаж: никогда он этого не делал, ему и в голову никогда не пришло бы глядеть на землю, на которой не предстояло работать. Теперь он открывал ее для себя: она показалась ему прекрасной в своих неустанных родах. Там, вдали, какие-то люди, возделывая ее, наносили ей раны. Захотелось бежать, чтоб скорее добраться до дому. Осадил себя—«хватит глупостей»—и неожиданно подумал нечто, никогда не приходившее ему в голову:

«Кабы теперь скинуть годов двадцать...» Что такое приносил с собой ветер? Отчаянно захотелось курить, но он сдержался, чтобы не терять времени; сам не заметил, как свернул на дорожку, ведущую к дому.

Когда Хромой вошел, жена ничего не сказала, только посмотрела, он отвел глаза. Лишь сейчас — открытие следовало за открытием — он понял, что отвык разговаривать с нею, что ему стоит труда вот так, с ходу, выложить ей новость. Встал посреди комнаты и не мог сдвинуться с места.

— Чего они хотели?

— Ничего.

У него чуть не вырвалось: «Нам дают землю». Жена, нагнувшаяся было за чем-то, замерла в ожидании других слов, но Хромой замолчал, и она понемногу выпрямилась. «А-а!..» — протянула; разговор на том прекратился.

Он отошел к порогу, надолго замер, глядя наружу. В уголках глаз появились слезы и по неопытности своей так и остались там, высыхая под стылым дыханием уже умирающей осени. Волоча по полу стул, вышла жена, села на крыльце. Хромой вспоминал тех людей — социалистов и анархистов, — на которых никогда и внимания не обращал и которые сегодня давали ему землю. Сейчас он думал о них с большой нежностью; не скрывал от себя, что его благодарность — не без корысти, и все же понимал, насколько искренне это чувство. Стало стыдно за бывшее пренебрежение, за кой-какие давнишние шуточки. «Кабы я знал!.. Да только откуда такое узнаешь?! Кто мне мог чего растолковать? — Некому было...» Женщина нарушила оба молчания — мужнино и свое:

— А ну как те придут...

Хромой не ответил. Не придут, а и придут — никому уже не отобрать у него землю. Земля теперь — его, он чувствовал, что впитывает ее ступнями, точно растение — соки. «Такая же моя, как мои руки, как грудь, больше моя, чем дочь».

— Пускай приходят, — отозвался он наконец и уселся наземь.

Сложив на коленях руки, он вспомнил о желании курить, которое охватило его по дороге домой, а потом пропало за вереницей мыслей. Неторопливо достал свою кожаную табакерку из Ульбрике, уже помятую, облысев-

шую, купленную у приезжего торговца лет десять-пятнадцать тому назад, любовно насыпав щепотью табак, скрутил сигарету, послунил ее, поведя головой слева направо, склеил не спеша, сунул в угол рта, чиркнул зажигалкой, прикурил с первой искры. Привалился спиной к стене, глубоко затянулся — бумага прогорела, занялся табак, — вдохнул дым: первая мужская затяжка, первая сигарета, которую курил он, чувствуя, что живет. Осиплым голосом чуть слышно повел из груди песню. Земля отвечала ему тысячей шорохов: то была вечерняя тишина.

Проходят дни. Привалившись спиной к стволу дикой оливы на уступе холма, Хромой курит одну за другой тонкие самокрутки, корявые, как его пальцы, ни о чем не думает; солнце падает на него сквозь крону смоквы, забравшейся на край ближайшего уступа.

«Тот виноградник, что я посадил три года назад и что так хорошо принялся... он больше мой, чем другие. Это уж как пить дать, потому что дон Мануэль о нем и не знал — не принял меня, когда я ездил к нему два года тому назад». Срывает с лозы виноградный усик, подносит ко рту, смакует его терпкий вкус. Потом опускает руку к земле, трогает ее: твердая, такую сразу не раздробить, сухая, немного как я, приходит ему в голову; неожиданно захотелось увидеть ее плодородной, набухшей соками хлебов, изнемогающей от собственной тучности. Он ласкает землю, крошит в ладони руки, оглаживает, словно лоснящийся круп животного. Чувствует, как загорживает, защищает спину ствол оливы. Хочется вскочить, уйти бродить по тропам среди скал, но с него довольно уже и одного желания. Рядом, под прикрытием камней, пробивается кустик вереска; он дотягивается до него ногой, играет, перегибая веточку. Земля пропитывает его всего — через траву, через дерево, камни, — и он покорно отдается ее вторжению и только отмечает про себя: вот уже дошла до пояса, теперь — до сердца, дойдет до головы — свихнусь.

С наступлением вечера мир становится бархатистым. Хромой шагает домой с мотыгой на плече и сталкивается с Колченогим: «Привет» — «Привет». Отойдя больше десяти метров, Хромой оборачивается:

— Слышь, где мне достать ружье?

— Попроси в Комитете.

Пришел туда.

— Тебе чего?

— Ружье.

— Зачем?

— На всякий случай.

— Нам оружия на войну-то не хватает.

— Ну, нет — так нет.

И зашагал обратно.

Как-то утром заявляется дочь — с восьмимесячным пузом.

— А муж твой где?

— Где-то в Хаэне. Водителем. В таком-то батальоне...

— А ты-то — ничего?

— Ничего.

— Ну и ладно.

Мать тревожится:

— Говорят — идут.

Дочь:

— Да, мавры и итальянцы.

Отец:

— Откуда?

— Со стороны Антекеры.

Отец:

— Тогда еще не скоро. Досюда не доберутся.

Мать:

— Вот уж не знаю, почему...

Отец смотрит на нее, замолкает, чуть не сказав: «Потому что земля теперь — моя...»

Мать с дочерью дни напролет проводят, сидя у дороги на склоне, выпрашивая новости у каждой живой души. В обе стороны то и дело проходят машины, но вскоре становится заметным, что их больше из Малаги в Альмерию, чем обратно. Дни идут. «Не холодно тебе?» — подает голос мать время от времени. «Не беспокойтесь, мама». Они сами не знают, чего ждут. Вот появляется на дороге осел; на нем едет женщина с ребенком на руках; позади, опираясь на палку, идет батрак в войлочной, некогда черной, а теперь зеленоватой, линялой от старости шляпе. Дав им приблизиться, спрашивают:

— Откуда вы?

— Из Эстепоны.

— Что, идут?

— Говорят — да, и все сжигают.

Прошли. Хромой у себя внизу не вылезает из виноградника; дорога между тем приобрела новое свойство: течение. Мало-помалу поток нарастал, сначала были группки людей, затем — настоящее шествие. А человека всегда тянет к людям: можно равнодушно пропустить проходящий отряд, но не целую армию; следующим утром Хромой поднялся к дороге и долго стоял, наблюдая за текущей толпой. Люди шли островками, архипелагами, скучившись подле тачки, тележки, мула; все это неожиданно напомнило ему реку. Вперемешку шли мужчины, женщины, дети, столь разные возрастом и одеждой, что приобретали в конце концов один-единственный общий облик. Коричневое, серое, красное и зеленое терялось за усталостью, ужасом и следами бессонных ночей, впечатанными в морщины на лицах, потому что в те часы даже детские рожицы казались старческим ликом. В смутном гуле мешались крики, шум, споры, проклятья ползущего по дороге исполинского существа. Хромой стоял в замешательстве, не зная, что делать, не в силах принять решения, поминая в сердцах всех чертей, заваривших в мире такую кашу. Старики вели детей; женщины едва тащились с тюками у пояса, растрепанные, с непросохшими бороздами на темных лицах, подгоняемые страхом. Редкие попытки детей поиграть с наваленным на обочине гравием на том и кончались, раздавленные прошлой и грядущей усталостью. Временами глухой шум внезапно смолкал, и воцарялась потрясающая тишина. Даже телеги не смели скрипеть; лошаденки, казалось, клонили голову больше обычного, словно хомуты становились свинцовыми в эти часы. Слой грязи на медных нашлапках на шорах служил мерой потерянного в бегстве времени. Мужчины на этом последнем подъеме толкали повозки, давая роздых оставленным тачкам; женщины, одолев склон, поправляли поклажу, оглядывались на пройденный путь. Неожиданно покатился плач младенцев, криком будивших друг друга. Какая-то женщина пыталась идти с тюком под правой рукой и мальчонкой — под левой, у пояса; сотней метров подалее пришлось ей его поставить: усевшись на тюк, уронила руки на черную юбку, пропустила мимо другую сотню метров темной цепи, скованной страхом и грузом пожитков, затем встала и снова пошла, волоча за собой зашедшегося в крике ребенка. «Не могу, я не могу больше!» Появились

машины; натужно завывая, на второй скорости, взъехали по склону два грузовика, выключили на мгновение моторы и покатали дальше по прямой; тишина, наступившая при переключении скоростей, показалась прощанием с морем. Мелькали бинты раненых, черно-красные цвета ФАИ. От всеобщего ужаса веяло смертью, и потому прибывал людской поток. Хромой спустился домой, сказал женщинам:

— Вам надо уходить.

— А ты?

— Я остаюсь.

Они не спорили и, увязав кой-какой скарб, влились в толпу. Их подгоняло что-то такое, что не оставляло времени для споров, гнал инстинкт, говоривший, что надвигается катастрофа, нечто противоестественное, некая махина, которая их раздавит, землетрясение, от которого надо уйти во что бы то ни стало, даже ценою жизни, потерянной в самом бегстве. «Мой отец жил на Ронде...» «Расстреляли ни за что ни про что». «Камня на камне не оставили». «Вырывались и грабили». Говорили мало, и то — рассказы, комментарии не было, разве только какая женщина прошамкает беззубым ртом гневное «господь не потерпит». Машины гудками прокладывали путь, люди расступались со злобой, не спешили, отвечали криками на сигналы. Но машин прибывало; скучившись, они забивали дорогу, мешая движению толпы. Одна попыталась проехать, и дело кончилось перестрелкой. Вокруг закипел людской водоворот. Какой-то человек, стоя на подножке, с винтовкой за плечами и пистолетом девятого калибра в руке, кричал: «Товарищи!..» Автомобиль, без тормозов, покатился назад и двадцатью метрами ниже по склону мягко ткнулся в бугор. Кричавший выругался и зашагал своим ходом. В машине, навалившись на руль, остался мертвый водитель.

После перевала, потеряв море из виду, беженцы чувствовали себя уверенней и умеряли свой бег. Кое-где, группами, ложились отдохнуть на обочину. Хромой, стоя, наблюдал нескончаемое шествие поверженных людей. Прошли несколько человек из села, заметили застывшего Хромого:

— Идешь?

— Нет.

— Они уже на подходе.

— Если вы дали мне землю, так ведь ради чего-то. Я остаюсь.

Это их задело, но один сказал: «Оставьте его», и они пошли дальше.

Но вот людской поток поредел, и Хромой решился вернуться домой. Жара спала, погода была чудесная. Земля низвергалась террасами, с каждым уступом все гуще меняя оттенки. У своей хибары он наткнулся на трех милисианос.

— Здорово, привет.

Где-то рядом загудел мотор самолета, летевшего, должно быть, совсем низко, но пока не видного. При шуме мотора подняли головы человек двадцать бойцов, укрывшихся в кустарнике на откосе. Внезапно показался самолет; он летел к морю, правый мотор горел. Недолго планировал, потом упал в воду. На место падения тут же спикировали двумя эскадрильями шестнадцать истребителей, расстреливая сбитого из пулеметов. Затем развернулись и ушли на Малагу. Вдалеке послышались выстрелы.

— Было б нас чуть побольше... здесь бы они не прошли.

— Так ведь нам же не хотят...

— Не мели чепухи. Бласкес заверил меня, что позавчера вышли войска из Хаэна и что из Лорки прибыли в Кадис три тыщи людей. А из Альмерии вышли еще раньше.

— Я не думаю...

— Заткнись.

Говоривший так казался старшим над остальными. Он повернулся к Хромому:

— У тебя вода есть?

Он сменил тон.

— Это для пулемета.

Хромой ответил, что есть, и добавил, еще не понимая, что говорит:

— Если у вас найдется винтовка... я неплохо стреляю.

— Почему знаешь?

— Служил еще при короле.

— Ты в какой партии?

— Ни в какой.

— А в каком профсоюзе?

— В НКГ¹.

— Давно?

— Несколько месяцев.

Он сказал это не стыдясь. Среди милисианос был кто-то из села, который тут же встрял в разговор:

— Это опасный тип, прихвостень бывшего хозяина наших земель. Я бы не давал ему винтовку; скорей, пристрелил бы из нее. А то еще вдарит нам в спину. Ты ему не верь.

Тот, другой, спросил:

— А теперь земля чья?

— Его.

— Которая именно?

— Да эта самая.

— Пусть ему дадут винтовку. А ты,—повернулся к Хромому,—становись здесь, подле меня.

Он распределил людей по нависавшим над дорогой уступам, сам установил пулемет сотней метров выше по склону. Потом послал кого-то с донесением в другой отряд, по его словам прикрывавший их справа.

— Вы, там, на грядах, прижмитесь к земле, как можете. Сколько отсюда до подножия?

— Километра этак полтора.

— Тогда, сами знаете, прицел на пятнадцать.

И, поскольку Хромой запутался, сам установил ему прицел. Стали ждать. Людей на дороге уже не было. Застыл невесть когда опрокинувшийся грузовик, крутилось, как вертушка, колесо брошенной, перевернувшейся тачки. Справа начали падать снаряды. Пахло тимьяном. Хромой вздрагивал, чувствовал, как трясется, не подчиняясь ему, тощее тело. При всем том он не испытывал страха. Мерно ухала пушка. Хромой принялся считать, чтобы определить промежуток между выстрелами. Сбил-ся. Постарался сильнее вжаться в землю. Он впервые видел ее так близко и обнаружил удивительную жизнь даже в самых мельчайших ее трещинках. Травы вставали сельвой, раскрытые листья дикого салата обернулись ужасными чудищами. Олива, стоявшая слева и показавшаяся ему сейчас исполинской, защищала его. Это он

¹ Национальная конфедерация труда, профсоюзное объединение, находившееся под влиянием анархистов.

ощутил очень явственно. Трижды выстрелил во что-то, двигавшееся вдалеке, и потянулся к ромашке: два новых мира открывались ему. Подумал о покое, согласии и ласково тронул землю. Передернул затвор, взял обойму, зарядил винтовку уверенней и быстрее, чем прежде. Лежавший слева товарищ, смеясь, посмотрел на него:

— Что, в порядке?

— В порядке.

Над ними просвистели пули, скосив с оливы несколько веточек. Заработал пулемет слева. Где-то совсем далеко застрочил еще один.

— Дальше того поворота,—сказал товарищ,—им не пройти.

На дороге за перевалом тем временем продолжался исход. Рафаэла с матерью шагали, смешавшись с черной массой.

По всей равнине вверх тянулись лишь телеграфные столбы. Внезапно снизу пришел крик: «Летят». Люди рассыпались с невиданной быстротой, на дороге остались брошенные повозки, утварь, плачущий ребенок. Налетела эскадрилья вражеских истребителей. Расстреливали со стометровой высоты. Отчетливо были видны летчики. Пролетели, ушли. Было мало раненых и много проклятий и стонов; убитых животных стаскивали в канаву. Объятые ужасом, они продолжали путь. Неожиданно скончалась какая-то женщина. Мужчины—кто мог—бежали, не вникая мольбам. Машины приводили в ярость. Рафаэла поднялась с трудом. Мать тревожно посмотрела на нее:

— Болит?

Дочь, закусив зубами платок, не отвечала. «Возвращаются!» Рафаэла так страдала, что не слышала старика, который вопил ей десятью метрами дальше:

— Ложитесь, ложитесь!

Вцепившись в телеграфный столб, раскорячившись, чувствовала, как разрывается нутро.

— Ляг, девочка, ляг,—стонала припавшая к земле мать. А Рафаэла—стоя, закусив платок,—рожала. Ей казалось, ее рубят тесаком. Оглушительный, хлещущий вой самолетных моторов, пулеметы и ручные бомбы—с тридцати метров. Для них это была игра на меткость.

Рафаэла не слышала ничего, кроме боли. В спину ей вошло пять пуль, но она не заметила. Почувствовала, как выходит из нее другое тело и как снова все становится мягким, податливым. Произнесла: «Иисус» — и рухнула, скончавшись еще на ногах.

Самолеты ушли. Валялись тела: одни стонали, другие были недвижимы, тихи; вдали неслась через поле обезумевшая девчушка. Километром ниже на дороге вновь собирался черный поток; вверх по нему пробирались санитарные машины, на кузовах сбоку видна была надпись: «Шведский народ — испанскому народу». Люди нашли мертвую мать, услышали писк новорожденного. Перерезали пуповину.

— Живой?

— Живой.

Подполз человек, волоча простреленную ногу.

— Я ее знал, это Рафаэла, Рафаэла Перес Монтальбан. Я — местный писарь. Она хотела дочь.

Кто-то:

— Дочь и есть.

Писарь:

— Хотела назвать Эсперансой.

И кто-то еще:

— За чем же дело?

Хромой вжимался в землю, чувствовал, как покоятся на ней поясница, живот и бедра, упирался левым локтем в красноватую почву. Две бурые каменные глыбы, скрывающая его с головой, служили ему бойницей. Крепко уперев винтовку, он старательно целился; выстрел впечатывался в плечо и — через тело — отдавался в землю. И Хромой замечал, как она благодарна ему за это. Он чувствовал себя прикрытым, защищенным, неуязвимым. Каждый выстрел уносил к врагу его слово: «Получай. Это тебе наука». Смеркалось. Безостановочно трещали пулеметы. Товарищ сказал ему:

— Ты оставайся здесь.

Выстрелы рассеивались. Хромой искал и не находил одно нужное слово: он защищал свое, свой пот, лозу, которую сам посадил, и защищал открыто, как мужчина. Но этого слова Хромой не знал, не знал его никогда, да и нипочем не подумал бы, что оно применимо к нему: он был счастлив.

1938

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИК.

I

Лерида и Гранульерс, 1938

Вот он, фронт. Между траншеями медленно струится Сегре, деля надвое мир, рассекая живое тело Испании, оставляя им город, а нам — сады и театры. Там, наверху, висится собор — византийский, мавританский, готический; площадь Паэрии, переулки, где я бродил когда-то. Метрах в сорока видны последние дома главной улицы — на каменном кружеве фасадов бойницами темнеют окна; некоторые жалюзи сорваны, другие по-прежнему висят на месте; матрасы и мешки с песком заслоняют от смерти. Все дома — трех-четырёхэтажные, их отражения аккуратно укладываются в полоске реки; за домами взмыл к небу замок, а рядом — собор, как перст, указующий в зенит. На его башне дремлют пулеметы.

Река с тихим изумленным журчанием бежит под двумя разрушенными мостами, где развороченные рельсы похожи на солдат, застывших по стойке «мирно» в ожидании приказа, а может — если напрячь воображение, — на заломленные в отчаянии руки.

Расстояние между позициями так мало, что выстрелы только сухо щелкают: свист не успевает зародиться, пуля ударяется о землю, о камень, о дерево или, вот как сейчас, со звоном влетает в лузу окна. Траншеи — глубокие, прекрасно оборудованные; вон на той огневой точке стоит кровать, пристроенная под вывеской корсетной мастерской; а вон громоздятся часы в напыщенном резном футляре, чьи размеры, очевидно, соответствуют пристрастию его обладателей к роскоши: часы занимают чуть ли не все свободное место. Солдаты, кажется, поглощены своими делами, расхаживают спокойно и неспешно.

Высокие платаны на Кампос-Элисеос четкими силуэтами вырисовываются на безукоризненно голубом небе. Погода стоит такая хорошая, что ее просто не замечаешь. Тротуары и мостовые усеяны зелеными ветвями, скошенными вражеской картечью. По обломкам, прямо у нас под ногами, семенит выводок цыплят в сопровождении кудак-

чушей мамыши. Солнце заливает мир сияющей глазурью. Несколько лет назад я жил вон там, напротив,—стреляют как раз из окна моей комнаты. В палисаднике спит кот, а вокруг разноцветными душистыми флажками трепещут на ветру розы. Никогда еще не были розы так хороши, как сегодня. Никогда еще не были так прекрасны пионы.

Вдруг воздух в клочья разрывает пулеметная очередь. Кот так и не просыпается, в углу наспех сооруженного курятника пищат цыплята, удивленные груши роняют юную листву, сорванную пронзительным ветром, неизвестно откуда налетевшим в середине мая. Подъезжает карета «скорой помощи», равнодушные санитары привычно укладывают на нее раненого. В небе раздается гул моторов, бьют противоздушные гаубицы, выбрасывая из черных стволов до странности белый дым. Показывая на самолеты, лейтенант-андалузец, из Уэльвы, улыбается:

— Вот живурчики! Настоящие живурчики!

— Как ты сказал?

— Живурчики.

— Это почему?

— А я откуда знаю!

Он смеется. «Живурчики»: все вокруг залито солнцем. Течение жизни, новоиспеченный лейтенант-андалузец, южанин, изобретатель забавных словечек, от полноты счастья щедро пересыпанных раскатистым «р», чтобы речь рокотала, как моторы республиканских самолетов. «Живурчики» — так можно назвать птаху или весенний денек — только что придуманное, новорожденное слово. Зеркало надежды. С майским ветерком пробуждаются живурчики.

На шоссе шальная пуля, ошалело взвизгнув, ткнулась в землю. Анархист из Национальной конфедерации, родом из Манрезы, показывает мне звезду и капитанские нашивки:

— Кто бы мог подумать!

И сам смеется над своим чином.

— Просто не оставалось другого выхода.

Совсем рядом израненная Лерида. Опускается вечер. Собор притягивает к себе лиловые тени и темнеет на фоне неба, пылающего, как маков цвет. По шоссе строчит пулемет, но весна побеждает, очереди тонут в звуках и шорохах; затихает цыплячий писк, покой окутывает все вокруг. Кот потягивается со сна. Скоро наступит ночь.

Люди не спят, держат ружья наготове. Война есть мир. Это — линия фронта.

II

Розы, тесно сплетая стебли, тянутся от акации к акации. Есть названия и покрасивее, чем Гранульерс, нарядный городок, где чистые фасады аккуратно выстроенных рядами двухэтажных домов говорят о трудолюбии их обитателей. Городок — хитросплетение улочек, ухоженные сады. О войне здесь знают из листовок и речей, со слов новобранцев и добровольцев: фронт далеко, его гул сюда не долетает.

Правда, приехало много беженцев. Даже слишком много. Они расселились по всему городу, и жителей в нем теперь не десять, а целых тринадцать или даже четырнадцать тысяч. С работой стало труднее, пульс жизни участился.

И вдруг в какие-то двадцать секунд дома превращаются в груды мусора, окна — в стеклянную крошку, чистые тротуары — в невообразимое месиво, улицы — в ряды фундаментов, стены — в ничто, небо из голубого становится сизым, спокойная речь взрывается криками и захлебывается, тела обращаются в кровавые лохмотья, деревья — в щепу, послушный кирпич дыбится утесами, телеграфные провода висят колтуном, дико скалит клавиатуру опрокинутое вверх педалями пианино, на здании рынка нет больше полога, в венах нет крови, каменные плиты становятся темно-лиловыми, газетный киоск бесследно исчезает. У домов больше нет перекрытий — только стены да гребни крыш. С улицы видны остатки провалившихся полов.

Вдоль мостовых громоздятся трупы — целые и покалеченные тела. Останавливаются кареты «скорой помощи», прибывшие из Барселоны, какие-то люди собирают останки в большие плетеные корзины, серые от засохшей крови. Проходят, причитая, три женщины. Все куда-то бегут, кричат. Мы в пятидесяти километрах от фронта. Это — тыл. Девочка — сколько ей лет: шесть, семь? — прижалась к стене, не может ни заплакать, ни закрыть глаза и смотрит, смотрит... На столбе повис кусок человеческого тела.

III

Верне, 1940

— А ты здесь как оказался?

— Из тюрьмы, за хлебную карточку.

Андалузец, маленький, белобрысый. Светлые глаза неопределенного цвета. Робкая улыбка, худенький, всем довольный паренек. Двадцатипятилетний ребенок, на лоб падает длинная прядь, по бокам глубокие залысины. Такой же притихший, как наша война.

— Ты откуда?

— Из одного поселка, между Утрерой и Мороном.

Белесый взгляд, спокойная простота.

— Когда вернемся— чья бы власть ни была,— хватит расстреливать. Для этого существуют трибуналы. Я-то знаю, кто расстрелял моего брата; все нужно делать по-человечески. Я не из тех, кто думает, что только вернемся— и опять в драку.

— Почему ты так говоришь?

Он смотрит на меня, прищурив глаза.

— А кто его знает... Просто когда-то надо кончать.

— С чем кончать?

— Сам как будто не понимаешь.

И отходит, шаркая ногами, нахлобучивая на ходу шапку, застегивает куртку. Вскоре я встречаю его возле колючей проволоки и сажусь рядом. У нас еще четверть часа, потом мы пойдем чистить отхожие места. Вон туда направляются шестеро краснолицых часовых, чтобы облегчиться.

За колючей проволокой поле, там шоссе, а за ним вгрызаются в небо вершины Пиренеев. Чертовски холодно. Мы идем, сильно топая, стараясь согреть онемевшие ступни.

— Тебе сколько дали?

— Три месяца. Сижу раз в трактире, в Монпелье или как его там, вдруг подходит какой-то тип, кажется каталонец:

«Беженец?»

«Да».

«Хочешь купить хлебную карточку?»

Представляешь, такой голод...

«Сколько?»

«Тридцать пять франков».

«Отдай за двадцать восемь».

Это все, что у меня было. Малый ушел, но минут через десять вернулся.

«Идем».

Деньги на бочку. Завернул карточку — в платок, — как будто золото в карман сунул. Только подумай: дополнительная хлебная карточка! Даже под ложечкой сосать перестало. И тут, откуда ни возьмись, входят человек шесть полицейских. Ясно, будут устраивать gables¹. Наверняка навел тот парень; что ж, каждый зарабатывает на жизнь как может. У меня бумаги были в порядке, но их даже не пришлось показывать.

«Идем с нами».

Только вышли на улицу — они запускают руку ко мне в карман и достают карточку. Повели в префектуру.

«Так-так, значит, карточками торгуем...»

И давай меня бить, потом еще и еще, без передышки. Хотели дознаться, где карточку раздобыл. Я сказал всю правду. Тогда им взбрело в голову, чтобы я искал того типа. Утром отвели на третий этаж. Били, сколько душе угодно, а потом вытащили на улицу, и со мной пошел инспектор — вдруг встретим парня с карточками. Ты подумай! Чтобы я стал наводить! Мы иногда заходили в тот трактир. И надо же, всегда меня кто-нибудь угощал. Обязательно знакомых встретишь.

«Что будешь пить?»

«Ничего».

«Ну ладно уж, пропусти стаканчик».

Приходилось пить. Я просто со стыда сгорал, как будто в чем виноват. Через несколько дней ко мне в камеру посадили старика. Ему выдали рабочую карточку, а те утверждали, будто он ее купил. Меня опять повели наверх. Наверное, не за того приняли.

«Слушай, парень, — говорит инспектор, — меня не проведешь, у нас есть сведения. Tu étais, gantil, avant². А теперь выпроси у старика, откуда он взял карточку. Завтра утром придешь и скажешь».

¹ Массовый арест (франц.).

² До сих пор ты был любезен (франц.).

Я ничего не ответил... Как тут выпросишь! Да ну их совсем! Потом, старик и вправду получил карточку честным путем. На следующее утро опять на допрос.

«Ну как, узнал что-нибудь?»

«Я? Нет, ничего не узнал».

Тогда они высказали мне все, что думали, и всыпали, сколько хотели. Дали три месяца, а отсидел — попал сюда.

— Ты работал?

— Да, механиком. Но хозяин вступиться не соизволил. Когда-нибудь это должно кончиться, а не кончиться — ну их к черту. После того, что творилось тогда в горах Пандолс, уже все равно. Ох и денек был, когда мы переходили Эбро!

Он широко расставил ноги, почесал голову и счастливо улыбнулся.

— Ты из какой бригады?

— Из сорок шестой. Мы стояли в Амелье. Однажды нас всех собрало командование и загнало в воду, чтобы посмотреть, кто умеет плавать, а кто нет. Я был связистом. Мы первые переходили, катушки тащили на себе. Эбро около Бенифальета метров сто пятьдесят в ширину. Переправлялись в час ночи. Сразу навели связь. Приволокли лодки для переправы, штук двадцать пять. Но они месяц провалялись кверху брюхом в камышах, дали течь и почти все пошли ко дну. Осталось всего четыре или пять. Тогда командир велел протянуть толстую веревку на другой берег, чтобы по ней перебираться. Веревка не выдержала и лопнула. Из людей кто выплыл, а кто утонул. И тут нас заметил часовой. Открыли огонь. Ну и переполох поднялся: красные идут! Такая пальба началась! Но мы уже вылезли на склон, а в оставшихся лодках переправились батальоны. Было семь утра. Ну и денек! За Бенифальет пришлось здорово драться. Их связист указал нам, где командный пункт. А там спал подполковник. Мы постучали.

«Кто?»

«Республика!»

«Что за дурацкие шутки!»

Его жена как завизжит! Мы вошли, и подполковник сдался. Наши продвигались вперед без остановок. Был приказ пройти до четырнадцатого километра. Там мы

проторчали полчаса. Разве людей удержишь? Дошли до семнадцатого. Взяли Вертисе-Рей. Но командование велело вернуться на четырнадцатый. Ох и злились все! От связных стало известно, что слева от нас вражеские части. Там мы захватили четыре пушки, разбили батальон — и к станции! А на станции стоял поезд, вагонов в пятнадцать-двадцать...

У паренька блестяли глаза, как будто он еще там, на Эбро. Не было больше ни колючей проволоки, ни лагеря. Казалось, что за шоссе — та самая станция.

— ...поезд вагонов в пятнадцать-двадцать, вот-вот собирался отправиться. Те, кто им командовал, отцепили паровоз и удрали на нем. А в поезде всего полно: две пушки калибра десять с половиной, одна — пятнадцать с половиной, снаряды для шести с половиной — такой у нас не было, — зато все остальное пришлось очень кстати. Ты бы видел, как мы смеялись! А еще провиант и обмундирование. Мы сразу его надели. Командир рассердился:

«Это что еще такое? Ну-ка живо!»

Приказал все снять, потому что иначе свои могли нас перепутать с вражеской частью. А мы взяли и все брюки обрезали выше колена. Перепутать можно и без формы: мы однажды долго перестреливались с пятнадцатой Интернациональной. Через три дня решили, что надо брать Вертисе-Рей, но уже было поздно. Четверо суток дрались без передышки. Потом они попробовали наступать, но тоже не смогли. Нас перевели в Пандолс — вот где начались бои... Высота шестьсот шестьдесят шесть переходила то к нам, то к ним. Один раз даже забавно получилось: представляешь, вдруг на дороге появляется повозка, а в ней крестьянин. И едет себе спокойно прямо на нас. Мы как крикнем:

«Республика!»

«Как это «Республика»?»

В жизни не видывал более удивленной физиономии. Отвели его в штаб.

«Каким образом ты перешел линию фронта?»

«Чего-чего перешел?»

(Парень наслаждался рассказом, потому что он напоминал андалузцу родное селение, то, что между Утрерой и Моронем: кукуруза, пшеница, хлопчатник, маслины, поля, засеянные викой. Большое селение. Восемь или

десять тысяч жителей. Пастбища и кони. Крестьяне.)

Раздается свисток надсмотрщика.

— Пора.

Километр ходу до реки, тащим восемьдесят килограммов экскрементов. Приходится меняться местами— идешь то справа, то слева, пока обе руки не начинают гореть огнем. Кажется, что мы оттянули их до земли, плечи ломит.

Часовые с винтовками наперевес скучают и злятся!¹

— Allors, toi! Allez, ouste¹.

Красиво кругом. За Пиренеями— Испания.

— В шести километрах есть горы, называются Сьерра-Морон. Там у Бьенвенида поместье. Сплошная сушь. Родится только пшеница. У моих родителей тоже немного земли. Всего нас шестеро, то есть было шестеро,— четыре сестры и два брата. Все за Республику. Старшего расстреляли, узнали, что он секретарь Комитета коммунистической молодежи. Фашисты пришли только на двенадцатый день восстания. Сначала у нас организовали комитет во главе с алькальдом— он был социалист: двое из НКТ, один из ВСТ и один коммунист. Задержали около дюжины фашистов. Но им ничего не сделали. Некоторые говорили, что это глупо, но остальные не согласились, и фашистам ничего не сделали. Совсем ничего. Только стражу приставили. Фашисты сказали: «Мы первые засвидетельствуем, что здесь никого не расстреляли. Если придут наши, мы первые заявим, что в поселке не было расстрелов и мы тоже их не хотим». Через двенадцать дней вошли правые, те сказали, как обещали, и ничего не случилось. Мы ушли в горы. Через несколько дней созвали людей на площадь и говорят:

— Садитесь на лошадей и поезжайте туда. Скажите ребятам, пусть возвращаются, им ничего не будет.

Тогда как раз собирали урожай; многие спустились в поселок. Кто поважнее, те ушли туда, где будто бы стояли республиканцы. Потом приехало начальство из Севильи, а с ним несколько фалангистов и стали действовать вместе с нашими. Захотелось им— и начали расстреливать. Те, что из поселка, возражали, но командующий

¹ Эй ты! Пошевеливайся (франц.).

велел подчиняться. Взяли моего брата, в наручниках прогнали по улицам, а наутро убили. Отец ходил к алькальду, но тот сказал, что ничего поделывать не может. И так человек четыреста. Каждое утро расстреливали по десять-двенадцать, прямо на окраине. Потом складывали в кучу посреди улицы, и за ними приезжала подвода. А на следующий день убивали тех, кто накануне подбирал мертвых. И так без конца. По цепочке. Люди пытались бунтовать. Я и три моих двоюродных брата решили уйти. Шли три дня. Во рту ни крошки. Мы толком и не знали, где фронт. На третий день увидели пастухов, заговорили. Один подошел, а мы втроем остались сзади. Потом он и нас позвал. Попросили у пастухов хлеба.

«Хлеба нет, но есть сыр, если хотите...»

Еще бы не хотеть!

«Фронт здесь рядом».

«Где?»

«За тем холмом».

«Ладно, а как туда добраться?»

«Вот глядите: подниметесь вон там, увидите дерево, на нем красный флаг. Там красные... С другой стороны, на шоссе, увидите другой флаг, там...»

Мы решили дожидаться темноты. Поднялись по склону, спрятались в траве и оттуда стали смотреть. Вскоре подъехали грузовики с людьми, остановились около домика дорожного сторожа. Завязалась перестрелка. Мы воспользовались шумом и перешли на другую сторону.

«Кто идет? Руки вверх!»

Мы объяснили им, кто такие. Отвели нас в дом, где был штаб. (Он сказал «дом» по-каталонски, потому что больше года пробыл в Каталонии.)

«Есть хотите?»

Еще бы!

(Теперь надо опрокинуть посудину в широкий зловонный ров. Ноги скользят в липкой грязи. Спускаемся к реке.)

— Всех разделили на группы по десять человек, нашей командовал лейтенант Трухильо. У меня и еще у нескольких ребят не было винтовок. Лейтенант сказал, что самое лучшее отправиться в Малагу. Там таких набралось человек двадцать. Пошли к губернатору. Он спросил, может, мы хотим поехать морем. Мы ответили,

что да. Приехали в порт — «Испания № 3», — я никогда раньше не видел моря. Было семь, а корабль отплывал в восемь. Мы немного погуляли и погрузились. Прибыли в Картахену. Меня укачало. Нас, троих добровольцев, не хотели отпускать на берег. Но мы все-таки доплыли в фелюге. Нас спросили, не хотим ли мы в морскую пехоту, мы сказали, что да. Нас отвезли в Валенсию. Потом в Теруэль. Потом в Вильяробледо, потом в Брунете, рядом с Кампесино. Сорок шестая дивизия. Потом мы пробыли полгода в Алкала-де-Энарес, на учениях. Потом Серро-Гордо: четыре дня атаковали, и все впустую. В Теруэле помогли Пятой Интернациональной. Они взяли Альгамбру и Эль-Пово. Потом отступление: Чильчес, опять Алкала-де-Энарес, потом сразу в Лериду. Они не прошли. Тортоса, Балагер, Перельо, Амелья-де-Мар и Эбро. И под конец: Винэйшер, Боржес-Бланкес и граница, Аржеле, трудовые роты, Нарбонн, Монпелье, тюрьма, потом сюда.

— У тебя была невеста?

— У меня? Нет, не было.

Река мирно струится в крутых берегах, среди высоких деревьев. Мы спускаемся, чтобы помыть тяжелый чан. Часовые подходят посмотреть, хорошо ли вымыта посудина.

— Чисти как следует, а то заставлю языком лизать.

Я беру пучок травы и покорно чищу. Энрике Серрано Пинья мне помогает, по колено стоя в спокойной воде.

— Когда вернемся, никого не будем расстреливать. Хотя я знаю, кто выдал моего брата: один тип из Севильи.

— А если ты его встретишь?

Он пристально смотрит на меня и пожимает плечами.

— Вряд ли.

Но я не отступаю. Он улыбается детской улыбкой:

— Пошлю его в Монпелье, или как там — Монпейе, чтобы посмотрел, что почем.

— Allez, ouste...

Мы взбираемся на берег, ноги скользят. Снова строится конвой. За Пиренеями — Испания.

1944

БЕЗЫМЯННЫЙ ЯНВАРЬ .

И в поражении победный жребий¹

Сервантес

26 января 1939 года

Люди только и делают, что ходят, на то у них и ноги; но только теперь я поняла, что их гонит ветер. У них на голове два маленьких уха, этого хватает, чтобы при малейшем шуме спастись бегством; стоять спокойно они просто не могут, дальше собственного носа не видят, они одержимы мыслью о скорости, колес им уже мало, подавай им крылья. Они не знают, что, едва родившись, пускают корни, хотят они этого или нет, и тут уж не помогут ни хитрость, ни увертки, ни изобретательность, ни обман: не плоть важна, главное — жизненные соки.

Я родилась стоя. Всегда была высокой, выше своих сверстниц; родилась я, судя по всему, в тысяча восемьсот восемьдесят каком-то году, и, как полагается, ствол мой понемногу толстел, а кругозор расширялся. Чем дальше я видела, тем больше становился город Фигерас. Водоносы в поте лица своего воздвигали себе дома, располагая кварталы согласно плану земельных участков, но воображали, что строят свои халупы где хотят. Много лет тому назад я увидела купол собора святого Мартина, а когда над Оврагом поднялись четырехэтажные дома, загораживая горизонт, я уже отсюда, от городских ворот, различала вдали селение Перелладу.

В мои молодые годы, когда я вытянулась уже настолько, что могла видеть чердаки, у моего подножья прошли первые автомобили. Меня ничем не удивишь, я всегда была немножко синим чулком: я и сама это понимаю, но мне все равно. Упрятали в трубу сточную канаву, поставили телеграфные столбы, вечные символы нашего величия, конюхи заделались рабочими на бензоколонках.

Каждый год нас подрезали — пусть себе, люди могут, конечно, ни во что не ставить нашу жизнь, но до нас им все равно далеко: они боятся непогоды, умирают от простуды, голые они беззащитны, как цветы. И они одеваются! Несчастные. Подрезают наши ветви, чтобы

¹ «Дон Кихот», кн. I, гл. XL — Перевод Н. Любимова.

прокормиться,—ведь своих-то корней у них нет. Важней всего для них ветер, но они этого не понимают. Из ости добывают зерно, из кустарников на склонах гор—древесину, то, чем мы становимся после смерти. Пачкуны и вонючки, они оставляют за собой одну грязь, для пушей важности говорят, что, мол, удобряют землю, а занимаются этим украдкой, я сама видела; обманывают друг друга, хвастают, а стоит брызнуть дождю, суетятся точно куры, зонтики придумали; а то еще заделаются вегетарианцами—ну какой прок питаться тем, чего нет в тебе самом?—ешьте мясо и оставьте нас в покое или уж, если вам так охота, высаживайте побеги на склонах оврагов хотя бы для того, чтобы, как солнце закатится, солдаты уединялись там с девчонками, или чтобы ветви их мокли в оросительных канавах, но зачем же увечить нас ударами мачете из года в год, уверяя, что это нам полезно?.. С ветвями уходит часть меня самой; но, как ни разрушен замок, склоны холма, на котором он стоит, остаются такими же, весной они зеленеют, как и положено; замок—вещь серьезная. Шоссе размокает от дождя, земля проваливается, покрывается лужами; а в жару поля у дороги все в пыли; и вот шоссе одели в асфальт, теперь оно блестит и сияет, размеченное километровыми столбами.

Вокруг меня—пропадающая вдали равнина, в той стороне—Льянса, а там, говорят,—море, напротив меня—утренние врата солнца и закрытое от меня холмами селение Росас, на севере—Пиренеи, я чту их: когда наступает пора, они посылают нам снег.

Все хвалят мою память, по рассказам я знаю о Наполеоне, от своих родственниц—о карлистах, только теперь мои сестры давно уже превратились в золу и пепел, этой орде было холодно. Растут люди медленно, во всяком случае, не быстрее, чем дубки.

(Наверное, люди несчастны оттого, что слишком много двигаются, но ведь ветер носится еще больше.)

Вчера вечером у моего подножья умер ребенок; позеленел весь, и мать унесла его по дороге, что ведет во Францию, как будто там он воскреснет; но я-то в чудеса не верю. И я не понимаю, как это умирают дети: ведь умереть—значит засохнуть. И людям это известно. Еще можно умереть от гнили, когда нутро твое сгрызут черви. А людей сгрызает что-то снаружи, когда вся голова в

крови и в бинтах, они умирают от гноя, чесотки, вшей и тоски. А вчера я услышала, что еще и от голода. Что такое голод? Земля всех может накормить. «Да, что ни говори,— сказал один человек,— но позавчера, не помню, вторник был или среда, неважно, я совсем уже собрался уехать из Барселоны, как в дверь позвонили. Было два часа ночи, воздушная тревога; ясная ночь, прожектора и все прочее. Да, зовут принимать роды. Пошел, из страха перед постами противовоздушной обороны не смел даже зажечь фонарик с новой батареейкой, которую привез мне Висенте из Перпиньяна. Ребенок родился мертвым— мать голодала. Мне ассистировала соседка и, когда все кончилось, попросила: зайдите взглянуть на моего. Иду, чертыхаясь про себя, прозвучал отбой тревоги, включили электричество. Ах да, я не сказал, что эти самые роды принимались в бомбоубежище, каждая из соседок притащила по свече, представляешь себе? В тамбуре толпились мужчины, каждый вежливо осведомлялся о роженице. Прямо как в кино. Но никто не сказал: ничего, могло быть и хуже. Нет, все говорили: жаль, конечно, ну что же, в другой раз. Мать была в отчаянии. Так вот, поднимаюсь я в квартиру своей помощницы и вижу годовалого ребенка. Он умирает. Сделали ему теплую ванну, впрыснули камфарного масла. Я вам говорила, упрекнула меня мать, он ничего не ест. Только и всего. Не кричит, не плачет и ни на что не жалуется. Что за народ, господи, что за народ!»

Люди представления не имеют о том, что такое давать приют птицам на своих пальцах, люди и животные— вроде камней, их не колышет ветерок, а от бурь и ураганов они прячутся, потому что у них нет корней, чтобы устоять против шквала, у них только ствол, и растет он только вверх; если люди и растут внутрь, по ним это незаметно, а я верю тому, что могу увидеть; что вижу, о том и рассказываю. Люди напоминают вихри, они, как говорят, завихренные. Времен года для них не существует, им все равно, что весна, что осень; жизнь кипит не в них, а вокруг них, они лишь простое отражение мира и, чтобы оправдать свою неполноценность, выдумали себе мечту, что-то вроде рассадника, ковыряют землю, выворачивая камни, а сами неспособны, например, отличить бук от липы, платан от каштана и уж тем более вишню от апельсинового дерева. Горька доля

животных: если хотят что-то породить, прямо умирают от натуги; их кровь—это сок, подверженный брожению, их самки только и делают, что рожают, плоды дают в муках, зато насчет того, чтобы расцвести попышней,— тут им нет равных. Да что сравнивать курицу с миндальным деревом!

27 января 1939 года

— Ты когда-нибудь думал, что мы можем проиграть войну?

— А я ни о чем не думаю. Не могу ни о чем думать. Послал бы все к чертям, да и посылать-то нечего.

Шоссе запружено людьми, у которых, как будто, только уши, а языка нет,— целый мир, возникший из ничего, его принес ветер с юга, людской поток вливается в Фигерас через Хункерские ворота, как через бутылочное горлышко. Залитые солнцем площади забиты машинами. В городе уже полно легковых и грузовых автомобилей, они как черная кровь из сотни ран, которые нанесла этому миру ночь. Мир этот полумертвый, люди на двух ногах идут как одноногие, но идут, ничего другого им не остается; идти бессмысленно, и это они знают, но идут, чтобы доказать самим себе, что они живы. Бегут от собственной тени, не понимая, что эту проблему может решить только ночь, идут; как стемнеет, зажигают костры, от огня которых тени снова оживают. Это постаревший мир, он состарился за двое суток. Вот идет дряхлый старик, в трауре, как и все испанские старики. Что ж, зима— время траура. Какая-то женщина сказала: гляди-ка, такой старый, а смерти боится. Люди идут. Со стороны моря небо начинает светлеть. Шоссе забито до отказа: грузовики, пограничники, солдаты, легковые машины, республиканские гвардейцы, старики, женщины, телеги, рваные газеты, старики, автоцистерны, три брошенные пушки справа от меня, дети, солдаты, мулы, старики, раненые, автомобили, раненые, женщины, дети, раненые, старики. Какая-то женщина присела на откос возле меня, плачет, не обращая внимания на задравшуюся юбку, на ней коричневые чулки, ноги повыше чулок— розовые, как миндалевый цвет, плачет, плачет и плачет. Никто не останавливается, у каждого на плечах своя дорожная ноша.

— Виновато правительство.

— Виноваты коммунисты.

— Виновата НКТ.

Ребенок с зонтиком стоит один.

— Где же твоя мать?

— Во Франции.

— А отец?

— Убит.

Он стоит один в центре людского водоворота.

Люди приходят, уходят, шагают, ковыляют, толпа шевелится, ширится, раздается, перемальвает людей, пожирает, те стареют, умирают. При такой ходьбе всему наступит конец: Женщины нагружены еще больше, чем мужчины, никто никому не помогает. Солдаты с винтовками за плечами решительно шагают, сами не зная куда.

— Ты откуда, приятель?

— Из-под Бильбао. Год как переехали в Барселону, обзавелись домом, хозяйством, жили недалеко от редакции «Эль сигло». Все пришлось покупать заново: одеяла, посуду, все. И все оставили. Теперь опять иди неизвестно куда. Позор. А все из-за каталонцев.— Он останавливается, переводит дух, перекладывает ношу с правого плеча на левое.— Стыд и позор. И никто не поможет, ну никто.

Чей-то голос:

— А ты хотел бы ехать в карете?

— Трус вы все. Если б я мог, если б я мог...

Тысячи телег, лошади и мулы тянут их без труда, груз невелик, хотя скарб и громоздкий. Толстые матрацы, просторные клетки—кроликам и курам тоже надо двигаться. Деревянные кровати служат дополнительной выгородкой, в которой стоят круглые корзины с горшками и кастрюлями. Это не обтянутые парусиной фургоны для дальней дороги, а простые крестьянские телеги на скрипучих колесах с толстыми железными шинами, наследство отцов. Узлы выпирают вверх, свисают за борта телег—издали поклажа напоминает колышущуюся виноградную гроздь; телегу тянет запряжка цугом или одна лошадь, опустив голову,—нечесаная грязная грива, бока и подвздошные впадины в рубцах, подколенки в крови, бабки—сплошная земля. Затор на шоссе—это не отдых, всем не терпится ехать дальше, сзади подталкивают в

ягодицы — вперед, хоть к черту в пекло, но вперед. Тогда лошади и мулы поднимают морды, звякают бубенцы на ошейнике, в широко раскрытых глазах отражается небо. На возах нет места ни для кого, разве что для какой-нибудь немощной старухи, превратившейся в развалину, в ненужный хлам; ни поводья, ни удила не заставят животных свернуть вправо или влево, они повинуются лишь общему потоку; каждая телега — отдельный мирок, увлекающий за собой своих спутников по дороге к французской границе; кладь на возах самая разнообразная, ни одна телега на другую не похожа, но все они одинаковы.

С аэродрома Сан-Мартин поднимается самолет.

Какой-то солдат:

— Наш.

Однорукий:

— Пресвятую деву мы прозвали Невидимкой.

Женщина в черном платке несет на голове огромный узел и тащит за руки двоих детей, у каждого — заплечный мешок.

— Зачем продолжать драться? Неужели они не видят, что дело дрянь? Ну зачем? Чтоб побольше народу положить?

И идет дальше.

Кто-то говорит ей:

— А кто тебя тащит? Оставалась бы.

Женщина повернуть голову не может, поджимает сухие губы и продолжает путь.

Многие идут, закутавшись в одеяло, у каждого своя дерюжина, кроме тех, кто идет на костылях, и тех, у кого на плечах огромные, обмотанные проволокой тюки, которые надо поддерживать руками.

— Куда шагаешь, Эйфелева башня?

Хромых больше, чем одноруких, а одноруких больше, чем раненных в голову. Я видела одноногих детей с костылями — неприятное зрелище. На старом кресле с колесами катят паралитика, у него седые волосы и худое лицо под огромной черной шапкой, на коленях — розовая клеенка на случай дождя.

Автомобили останавливаются, проезжают десяток метров, снова останавливаются, стоят по всему шоссе, сливаясь вдали с окружающей толпой.

Республиканский гвардеец с винтовкой:

— Они этого и хотят, но ничего у них не выйдет.

Лошадиное лицо, борода недельной давности, шапка набекрень, гнилые зубы. К нему обращается девушка:

— Но как же это случилось? Что произошло?

— Как это—что? Ты думаешь, они шутят с нами? Или как? У них и пушки, и танки, и минометов до черта. А как плюются эти проклятые плевательницы!

Еще один гвардеец вступает в разговор:

— Хуже всего с минометами: на один наш у них сто. Если, не дай бог, пальнешь, тебя накроют, лучше вовсе не стрелять.

Девушка:

— А забиться в нору.

Гвардеец хватается за винтовку:

— А ну, повтори.

Девушка:

— А забиться в нору.

Гвардеец:

— Ах ты!..

Пожимает плечами и идет своей дорогой. Другой говорит:

— Нас окружили. Мы чудом спаслись.—И спешит вслед за товарищем.

Против течения идет автоцистерна, все смотрят на нее удивленно. Окликают.

— Они высадились в Росасе.

— Cuentus. En vinc¹.

Сигналя, автоцистерна прокладывает себе дорогу до контрольно-пропускного пункта.

У всех мужчин лица серьезные, в морщины забились пыль. Вы представить себе не можете, что такое человеческое лицо. Его ни с чем нельзя сравнить, оно невелико, но чего в нем только нет: тут и огонь, и вода, и глина, из которой они слеплены,— вот почему его ни с чем другим не спутаешь.

Черная машина с республиканским флажком сигналист, пытаясь обогнать другие. В тон нетерпеливому клаксону всплескиваются крики:

— Сынок!

— Луис!

— Пепе!

¹ Сказки. Я только что оттуда (катал.).

- Сюда!
- Бегом!

Ты их не слышишь, не обращаешь на них внимания, потому что они — первооснова и мать всех криков человеческих, но тут они вспархивают, как испуганные птицы. К упрямо пробивающемуся вперед автомобилю подходит пограничник, почтительно отступает и, обращаясь к тем, кто загораживает дорогу, что-то объясняет, но слов его я не слышу. Вмешивается фронтовик.

- Не пропустим самого Иисуса Христа.
- Но...

— Ни господа бога. Если мы тут останемся, пусть остаются все.

У того, кто выкрикивает эти слова, зелено-желтое лицо и лоснящиеся жиром бачки. Люди сбегаются, словно в очередь за похлебкой. Солдат выходит из себя, щелкает затвором винтовки:

— Я сказал, не пройдет никто, раз я не могу пройти. Или пропускайте меня, или, если меня тут схватят, пусть схватят всех.— На лбу у парня выступил пот.— Не пройдет и господь бог, тому, кто попробует, я влеплю пулю.

Пройти, пройти, пройти. Чей-то голос:

— Мы выполняем приказ.

— Какой там к чертовой матери приказ. Вы пограничники или кто? Ей-богу застрелю всякого, кто полезет.— Но тут он видит, что никто его не поддерживает, что его принимают за сумасшедшего, и кричит:— Этой ночью правительство бежало.

Вмешивается круглощекий юноша:

— Это неправда, они собрались сейчас в замке.

— Откуда ты знаешь?

Из машины выходит Вайо:

— В чем дело?

Республиканский гвардеец:

— Раз меня не пускают, не пропущу никого.

— Куда ты идешь?

— К своей роте.

— А где она?

— Не знаю.

Несколько человек хватают парня и отводят в сторону.

— Это же министр.

— Ну и что? Мне все равно!

— Он едет в Агульяну, в свое министерство, потом вернется обратно.

— Не пропущу никого.

Однако садится на откос, упершись ногами в глинистый берег канавы, глаза шалые от бессонницы, рука сжимает оружие. Министр садится в машину и проезжает.

Никогда не видала сразу так много людей, таких старых, таких почерневших. Женщина, закутанная в одеяло, без конца повторяет:

— У меня все документы в порядке, у меня все документы в порядке.

Человек в военной форме, с пистолетом в руке останавливает машину:

— Официальная миссия.

Другая машина:

— Французское посольство.

Третья:

— Кубинское посольство.

Наконец человек в военной форме встает на подножку машины, едущей также с «официальной миссией». К вечеру шоссе чернеет, как будто люди несут с собой ночь, идут, спасая жизнь, тысячи и тысячи, идут нестройной толпой, некоторые помогают друг другу, но немало и таких, кто грубо отказывает в помощи товарищу по несчастью. Много раненых.

— Пришел майор и сказал: «Мы не можем обеспечить эвакуацию госпиталя, кто в состоянии передвигаться, уходите».

— Я иду из Валькарки, а ты?

— А я сам не знаю откуда.

Некоторые выбиваются из сил, кое-кто из них так об этом и заявляет, а один падает на землю:

— Все равно умирать, так лучше умру здесь.

Беспорядочные возгласы, крики:

— Когда?

— Как?

— Луис, далеко еще?

— Луис.

— Рафаэль.

— Хосе.

— Иди сюда.

— Бегом.

— Луис.

— Луис.

И плач детей, сигналы автомобилей, шум моторов, набирающих скорость при переключении передач или при троганье с места. Начинает моросить. Двое идут, накрывшись одним одеялом.

— Во всем виноват Асанья.

— И этот окорок.

Старик толкает ручную тележку, устал, останавливается; пробует толкать мальчишка, протолкнул метров пять, больше не может, его заменяет мать; через триста метров снова берется за перекладину дедушка. Солдат несет на плечах яловую овцу.

Какая-то женщина:

— Может, они не такие уж страшные?

И идет дальше. Меркнут цвета. Ночь опускается внезапно, будто кто погасил свечу. Я начинаю чувствовать свои ветки. Автомобили гудят и гудят, мигают фарами, то погасят, то зажгут, чтобы видеть край кювета и не съехать в него; обозначают свой путь, наезжают друг на друга. Еще раненые. Куда они идут? Бегут. Почему? Бегут. В этот час мне их жалко. Да-да, мне жаль людей, этих глупцов. Дерево всегда останется деревом, и человек, как бы ни старался, не дорастет и до нижних веток. Ночь полна костров, они, точно светлячки, тянутся по всей дороге к французской границе. Холодно. Ветер доносит раскаты взрывов, но что делается ночью—для меня тайна.

28 января 1939 года

Женщины все одеты в черное, будто в трауре, но узлы, которые они несут, завернуты в пестрые тряпки; одеяла—серые, с тремя белыми полосами. Лишь немногие обуты в туфли, у большинства—альпартаты или сандалии. С рассветом понемногу оживают цвета, но самое заметное пока что—это бинты и гипс.

— Они шли вдоль берега.

— Нас поливали из пулеметов без конца. У меня на глазах убило человек восемьдесят.

— И раненые были?

— У нас их пруд пруди.

Опять вчерашний день. Согнувшись в дугу, бредет старик, помогая себе двумя палками, болтается склонен-

ная чуть ли не до земли грязная голова в широкополой шляпе, посеревшей и позеленевшей от старости и дождя; под шляпой — повязанный по-андалузски черный платок. Старик бормочет:

— Ничего не скажу ни тебе, ни себе. Пришла эта чертова напасть, сука проклятая, и все унесла. И кончен бал. Что я могу сказать, если сам ничего не знаю? Все унесла.

У моего подножья мочится какой-то парень; застегивая штаны, насмешливо спрашивает у мужчины лет пятидесяти:

— Куда идешь, дедушка?

Тот на мгновение останавливается, поднимает голову, смотрит на насмешника:

— К черту в задницу, сынок.

И идет дальше.

Мужчины обычно ходят опустив голову, на нас и не смотря, вспоминают только тогда, когда припечет солнце или польет дождь, вот как сейчас, ищут убежища. К моему стволу прижались двое раненых, молодые парни с бледными лицами, обросшими бородой.

— Я из Андухара. А ты?

— Из Сарагосы.

Сегодня в первый раз вижу, как люди продолжают идти под дождем. Прежде они бежали или останавливались переждать непогоду, как эти двое.

— Нет, не был я ни в какой партии, ни даже в профсоюзе. Шестнадцать лет. Кто скажет, глядя на меня, что мне больше восемнадцати? Братья мои — те действительно. Двое старших. За ними сразу пришли, но они успели удрать во Францию через Наварру. Они должны были вернуться в Барселону; скорей всего, бродят где-нибудь здесь. Я о них ничего не слыхал. Меня расстреливать не собирались, хотели только поставить на мне клеймо. Видишь, вот здесь, на лбу, крестик? Теперь его не так уж видно. Тот, кто мне его поставил, должно быть, плохо знал свое дело. Какой-то дядька, который стоял там же, подбоченясь, сказал ему: «Ну, давай еще раз, давай». И тот снова сунул железяку в плиту, на горячие угли. Это было в большой комнате какого-то старого дома, недалеко от собора. Слышно было, как журчит река.

— Эбро?

— Ну да. Когда этот тип подошел ко мне, я пнул его, извиняюсь, между ног. Он озверел, но бить меня не стал. А я ни за что на свете не хотел, чтоб меня заклеямили. «Ах вот как! — сказал он мне. — Значит, ты бунтуешь, да? Выкидываешь такие штучки? Ну, я тебе покажу. И стал ругать меня всякими словами, поминал мою мать. Сам знаешь. И приказал посадить меня на грузовик. Я тогда еще не понимал, что это значит. Да в ту минуту мне было все едино. Потом только понял. Просидел там еще часа два и все время думал только о матери. После того как меня посадили в кузов грузовика, я забыл о ней и еще много дней не вспоминал. В списке меня не было, и они, как и было задумано, меня не связали. Нас было одиннадцать. Привезли на кладбище, и тут я мигом сообразил, что к чему. Ночь была темная. Никто не сказал ни слова. Когда мы приехали, ворота были уже открыты. Ты знаешь сарагосское кладбище? Тогда ладно. Привезли нас к задним воротам. Грузовик остановился, и у того, что сидел рядом с шофером, спросили: «Сколько ты привез?» — «Десять и одного в придачу». В придачу был я. Хотя я и понимал, что меня собираются расстрелять, но все-таки душой не мог в это поверить. Мне досадно было, что я не знаю никого из тех, кто был вместе со мной. Уже совсем стемнело, и за спиной у стрелков поставили грузовик с включенными фарами, тот самый, что нас привез. Так что мы видели и свои тени, и тени фашистов. Потому что нас поставили к ним спиной. Наверное, им стыдно было смотреть нам в лицо, а платков, чтоб завязать нам глаза, у них не было, хотя я-то думаю, они вообще никому глаза не завязывали. Да это и ни к чему. Перед нами была каменная стена, вся в серых и черных пятнах, исковыренная мелкими дырками и щербинами. А земля была мягкая-мягкая. Залп грянул без предупреждения. Ни одна пуля меня не задела, но я упал вместе со всеми; на земле была кровь. И меня, наверное, посчитали мертвым, а так как была ночь, хоронить нас не стали, отложили это дело до утра. Когда они уехали, я убежал. Повезло, а? Представляю их рожи, когда на другой день они пришли меня хоронить. Я добрался до Уэски. Раньше над этим как-то особенно не задумывался, но теперь-то я понимаю, что фашизм — это преступление. Если бы я мог... Здесь столько винтовок... Когда вижу, что кругом делается, — хоть умирай от злости. По мне,

лучше умереть, чем стать фашистом. Они пришли хоронить меня и не нашли.

Парнишка смеется.

— Тогда они расстреляли мою мать и четверых братьев. Вот что такое фашизм, только это, и больше ничего.

На севере появляется кусочек чистого неба.

— Когда я пришел к нашим, сначала мне не хотели верить. Это было под Ортисом. Через четыре дня меня ранили. Лежал в Барселоне, а потом еще и в Мадриде. Не везло мне, три раза ранили.

— Ты член НКТ?

— Раньше был. Теперь я коммунист. Это лучше. С нами больше считаются.

— Откуда сейчас идешь?

— Из Арениса. Нам сказали, чтобы мы уходили сами. Мы должны победить. Любой ценой. Нам обязательно нужно победить. Обязательно. Все время думаю о том, какие у них были рожи, когда они пришли хоронить меня и не нашли. Не раз, наверно, пересчитывали тела. Чего бы они не дали, чтоб схватить меня, ну и пусть себе рыщут сколько угодно. Дождь почти перестал. Пошли?

У рассказчика воспаленные от жара глаза, рука в каком-то немыслимом приспособлении из проволоки и бинтов; его товарищ хромает, пальцы левой ноги торчат наружу.

Остальные идут молча. И глаза их ни о чем не говорят. Идут. Женщины выставляют зад, сгибаясь под грузом воспоминаний, узлов, детей, прожитых лет.

— Его забили до смерти палками в жандармской казарме. Да, в тридцать четвертом.

На шоссе пробка, толпа стоит, поток превращается в заводь, болото, разлив у плотины; люди переходят кюветы, идут вдоль шоссе, режут автомобильные гудки, прорезая воздух, но ветер их глушит. Дождь перестал, но все кругом серое.

— Не пройти?

— Что случилось?

— Не пройти?

— В чем дело?

Шум голосов глухой, без крика. Люди выходят из толпы понемногу, тихо, как выходят из ствола молодые побеги. Автомобили упрямо дожидаются, замерев, словно

островки в людском море. Люди молчат. Подъезжают шесть, восемь санитарных машин, дожидаются очереди, как все.

— Он спрятался в деревне. Соседи сказали, что, мол, ему ничего не будет. Но не успел он выйти на улицу, как его схватили. Вот тогда-то я и удрал. Через Сан-Себастьян. Целый год уж прошел.

— Куда они все идут?

— Ну что ты хочешь. У всякого сопротивления есть свой предел.

— И есть граница.

— Ты еще шутишь. Умирает каждый сам по себе. А держаться — дело общее. Один не устоял — и все рушится. Эти люди не знают, чего они хотят, зато прекрасно знают, чего не хотят. Вот и бегут. И не потому, что боятся, а потому, что не хотят быть фашистами. Понимаешь? Для меня это ясно как божий день: они не хотят быть фашистами.

— Ну а что они думают найти во Франции?

— Этого они не знают. Не хотят быть фашистами — и все тут.

К собеседникам подходит женщина с ребенком на руках; видя, что они одеты лучше других, принимает их, по вдохновению свыше, за людей ученых. Протягивает к ним ребенка:

— У него жар, сеньор, жар.

Один из них трогает лоб ребенка.

— Жара у него нет. Пойдемте со мной.

Но женщина спешит дальше и снова исчезает в общем потоке.

— Почему ты ее не догнал?

— Он мертв.

— Но, если они не хотят быть фашистами, почему они бегут, а не сражаются?

— Попасть в плен им страшней, чем умереть.

— Если тебя убьют, в плен не попадешь.

— Необязательно убьют. Людям трудно понять, почему мы так быстро потеряли Каталонию, тем более когда стало известно, что после взятия Гаррагоны Франко продвигался, можно сказать, без единого выстрела. И вот, не говоря уже об их чудовищном превосходстве в военной технике, им достаточно было водрузить свой флаг на каком-нибудь холме, как наши, находясь в

двух-трех километрах, тут же отступали, так как боялись окружения. Это очень точное слово — окружение, они нас обложили со всех сторон, да и не мудрено, у них итальянские танки. Из страха, не из трусости. Многие не возьмут в толк, почему некоторые наши части, потерпев сокрушительное поражение, на следующий день дрались героически, а дело объясняется очень просто: теперь у них были прикрыты фланги и они вели бой во взаимодействии с другими частями. Я думаю, так всегда было: те, кто действительно попал в окружение, смерть предпочитали плену. Причины нашего поражения слишком сложны, чтобы можно было свести их к одному какому-то моральному фактору, но все же роковым для нас оказалось отсутствие единства в любом смысле этого слова.

— А связные?

— Они первыми видели неприятельские флаги.

— И все получалось бессвязно.

— Брось ты свои глупые шутки. Я знаю, что немного преувеличиваю, но, когда мы были вынуждены прибегнуть к формированию наскоро сколачиваемых частей, оказалось уже поздно. Со страхом попасть в плен к фашистам можно было бороться только плечом к плечу. Когда человек видит, что все потеряно, он ищет выхода только для себя самого. Удивительно, что вину возлагают не на того, кто на самом деле виноват и чье имя всем хорошо известно, а друг на друга: коммунист — на того, кто не коммунист, анархист — на того, кто не анархист, и так далее.

— Всегда легче обвинять того, кто к тебе поближе.

Падающие с наших ветвей капли стучат по мягкой земле, по гравию или по асфальту. Поднимается свежий ветер, разгоняет облака, в разрывах проглядывает голубое небо. Люди все бредут, еле волоча ноги; причитания и автомобильные гудки соперничают друг с другом. Люди привыкли идти медленно, продвинулись немного — и ладно, никто ни о чем не спрашивает, бредут молча, старые и черные, никогда прежде они такими не были.

Воют сирены. На мгновение все останавливаются в нерешительности, потом рассыпаются с поразительным проворством в разные стороны — в поля или к городу — в поисках хоть какого-нибудь убежища. Гомон затихает. Не слышать ли звука моторов? Старухи ложатся в кюветы, а там, немного впереди, люди пытаются забиться в любую

щель. Кто отваживается замочить ноги и еще кое-что, забравшись в оросительную канаву, кто прижимается к стене, кто прячется под деревом, кто лезет в ров, кто выбегает в открытое поле (там, мол, всего безопаснее), кто ложится в борозду; многие полагаются на счастливую звезду и стоят, задрав голову и глядя в небо, там, где их застал сигнал тревоги. Зенитная пушка усыпает небо белыми барашками, тщетно соперничая с облаками. Я вижу самолеты раньше всех. Пять сверкающих трехмоторных машин подлетают со стороны моря. Несколько мальчишек, поднявшись на плоскую крышу, обсуждают марки самолетов. Почти все автомобили опустели; посреди дороги валяется брошенная кем-то миска, у моего подножья лежит на земле чья-то шапка, в метре от нее — чей-то корсет. Самолеты, освещаемые солнцем сбоку, сияют ослепительным блеском. Сирены смолкли. Только упрямая пушчонка продолжает тявкать. Ни гудков автомобилей, ни лая собак, ни петушиного крика — только нарастающий рокот моторов. Некоторые бегут искать убежище понадежней. Должно быть, людей подавляет мысль о том, что по небу так плавно и незаметно к ним приближается смерть. Говорят, самолеты летают очень быстро, я думаю, это преувеличение; они все еще не долетели до нас. Плачет младенец. Теперь они прямо надо мной. Пролетают дальше.

— Вот она!

Слабый, но быстро нарастающий свист. Звук растет, как пирамида, которую начали строить с верхушки. Молния и гром. Красное пламя и грохот. Неожиданное извержение земли, настоящий вулкан, который сотрясает и рушит стены, клонит к земле, срезает и рвет с корнем виноградные лозы, корежит железо, ломает и ровняет с землей фундаменты; терзает, кровянит, потрошит, сбивает с ног и швыряет оземь живые существа, за какую-то долю секунды превращая их в бесформенную грудку мяса и лужу крови. Сжигает, ломает, сплющивает автомашины, вдребезги разбивая стекла, по частям разносит двухколесные повозки, разваливает стены, отрывает колеса, заставляя их вертеться волчком, в порошок стирает камни; вырывает из оглоблей мула, вспарывает живот собаке, уничтожает виноградники, размочаливает раненых и убитых; убивает девушку и увечит пограничника, искавших убежища возле меня, подкашивает двух-трех стариков и

какую-то женщину; метрах в десяти от меня обезглавливает республиканского гвардейца и вырывает его печень, кусок которой повисает на моих ветвях; швыряет в оросительную канаву трех детей; вырывает траву и обрывает листья на пятьдесят с лишним метров вокруг; развалив стену какого-то дома, обнажает алкорские изразцовые фриззы; загрязняет воздух, поднимая пыль на сто метров над землей; срывает с мужчин одежду, вот как с этого, что лежит передо мной, обнаженный, в одних шелковых носках в обтяжку, мужские причиндалы вдавлены в тело, кишки и прочие внутренности наружу — и все еще жив, ребра вдавлены в легкие, лица нет (где же оно?), мозги на своем месте, они видны, на черном, как порох, теле — ни единого волоска.

Мой самый толстый сук треснул и покоробился, много сучьев обломилось и попадало на землю. На одном из тех, что остались, висят цветные ленты и черный платок. В пыли, окутавшей поле, возникают звуки, похожие на вой. Поют петухи. Пропитанную острым запахом пыль прорезают крики. Задыхаясь, я вижу, как люди начинают шевелиться. Кровь. У меня все болит. Кровь. На земле пыль, кровь, куски железа, ветки, битое стекло. Теперь меня можно подстригать как угодно, от меня осталась третья часть. Кровь, кровь. Пыль висит в воздухе, будто сам воздух обратился в пыль. Люди начинают звать друг друга. Стоны, рыдания, икота и кровь, кровь. Теперь уже видны платки. Едкий, острый, терпкий запах. Люди движутся в желтой пыли, пыль у них на плечах, на голове, все седые, старые. Двое тащат что-то вроде кровавого мешка — там, где была голова, свисают кровавые ошметки, ног тоже нет, — кладут эту ношу у моего подножья. Вся земля пропитана кровью. Подъезжают санитарные машины, из них вынимают плетеные ивовые корзины, желтые снаружи, серые внутри от высохшей крови, в них складывают отдельные куски мяса, какие находят, больше всего ног. Целые трупы сваливают в кузов грузовика; машин не хватает, и раненых кладут поверх трупов.

Санитарные машины уезжают, позванивая в колокол. Уже прибыла рота саперов, чтобы очистить шоссе от обломков и веток, идут крестьяне собирать дрова, люди выбираются из укрытий, плач усиливается. Думаю, что я смогу выжить без подпорок.

Две девушки идут в город по грязи и крови.

— Я о войне вообще не думаю, не хочу. За меня есть кому подумать. Остальное как-нибудь переживу.— И, повернувшись к подруге:— У меня терпения хватит.

Понемногу из тысячи ручейков образуется окутанный дымом поток, толпа теней, словно плывущих по воздуху.

Вот едут двое любопытствующих: французский журналист, которого я знаю, потому что он каждую неделю уезжает в пустой машине, а возвращается в набитой буханками хлеба и кулками, и какой-то испанец, всегда пьяный вдребадан. Последний смотрит на дорогу, на воронку справа от меня и разглагольствует перед французом:

— *La paix et l'ordre dans la justice!*¹ Чего тебе еще, сытый полишинель? Чего еще? С тобой говорит мертвец, один из тех, которых вы создали своими собственными руками. Мертвец. Человек, погубленный вашим миром за счет уступок, непротivления, невмешательства, миром для гермафродитов. «Если можно сохранить мир любой ценой, это надо сделать». Как же ему не сохраниться! Доказательство тому— я, мертвый и разложившийся, и еще чехи, и те, чья очередь придет позже, только этого нам и не хватало. Я теперь верю, что мир будет сохранен, идиоты, слепцы, от страху нажавшие в штаны, дурни, зажатые в тисках собственной никчемности, вы лижете им задницы и по-собачьи роете землю лапами, пытаетесь скрыть свой позор. «И в июле 1936 года я отдал приказ вмешаться». Ну конечно, дорогой Гитлер², а мы помалкиваем, как бы чего не вышло, и папаша Блюм³— бум, бум— проливает слезы, мы же умираем. Тридцать месяцев для нас— кровь и камни, тридцать месяцев мы ждали со дня на день, когда же вы поймете, что ваш пиренейский зад стоит двух дюжин пуль и четверти пушки. И вы все, пока еще целенькие и невредимые, надеетесь, что

¹ Мир и порядок в рамках справедливости! (*франц.*)

² Здесь непонятное для меня расхождение в датах. Процитированную фразу Адольф Гитлер произнес 6 июня 1939 года по случаю возвращения из Испании части немецких военнослужащих. Не следует особенно доверять деревьям: они не способны убить и мошку, но интуиция у них богата. Данный случай— подтверждение тому.— *Примечание автора.*

³ Леон Блюм— социалист, глава французского правительства в 30-е годы.

благородные испанцы, наивные ягнятки, будут сражаться на вашей стороне, когда придет очередь до вас. Возможно, не один я, дурак несчастный, думаю, что нам ничего другого не остается, как биться на вашей стороне, но таких мало, мало, мало¹. А все остальные испанцы—их миллионы—да еще чехи набьют вам морду, чтоб вы подавились своими теперешними речами, и поделом будет. Так-то, дон Иволь, так-то, дон Бонетэ, так-то, дон Блюм—бум, бум: за дерьмо дерьмом, за дерьмо дерьмом...

Испанец поперхнулся своими последними дерзкими словами, от них его затошнило. Подошел ко мне, мотая головой, оперся левой рукой о мой ствол и изверг содержимое желудка на землю.

— Бедное перно²! — сказал он французу.

Тот отозвался дружелюбно:

— Ты же знаешь, что народ не...

Испанец, утирая нос тыльной стороной ладони, согласился:

— Да, я это знаю. Нет ли у тебя носового платка? Когда больше года не видишь мыла...

Тот протягивает ему платок, и оба уходят.

— Но ведь правда на нашей стороне.

— *Ça t'fait une belle jambe*³.

Это сказал старый француз хромоту, который шел с ним рядом. Мои потрескавшиеся ветви обдувает холодным ветром, таким, о котором говорят, что он «режет лицо». Добыча сокола—голуби, ястреба—куропатки, коршуна—воробьи; добыча самолета—женщины, дети и солдаты. Их здесь хоть отбавляй. Меня давно не подстригали. Но если самолеты думают, что со мной можно разделаться бомбами, они ошибаются: самое важное—соки, были бы соки, сучья и листья отрастут. Людям надо бы знать, что оторванная нога отрастет сама по себе. Пройдут дни—и листья зазеленеют.

Человек с толстыми щеками говорит своему попутчику, у которого забинтована голова:

— В последней их газете, которую я читал, попалась

¹ Еще одно заблуждение. Многие испанцы сражались бок о бок с французами.— *Примечание автора.*

² Сорт вина.

³ Тебе от этого много проку (*франц.*).

мне статья, где было написано так: «Поэтому Бог, генералиссимус этого крестового похода...»

Ширится поток людей, закутанных в одеяла, звонит колокол санитарной машины. Толстяк продолжает:

— Да, как тридцать первого декабря в Барселоне. В девять часов вечера, не помню, то ли радиостанция Бургоса, то ли Национальное радиовещание послало в эфир такую угрозу: «Нам известно, что наши красные получили от красных из Буэнос-Айреса пять санитарных машин. Им их не хватит». Через два часа в честь праздника начали бомбить центр города. И это тогда, когда мы уже не держали фронт.

Снова воют сирены. Какого цвета страх? Серого или черного? Пожалуй, он проводит полосы, дробит людей на мелкие слезинки, а иногда и режет пополам; он рассекает их, нанося бескровные раны; он их уравнивает, объединяет, связывает, перемешивает, разгоняет, заставляет позабыть о времени, желать смерти, забвения, верить в чудо, цепляться за последнюю надежду. И люди гонятся неизвестно за чем, потому что страх бьет их по мозгам. Страх гуляет на свободе и обрушивается ливнем; хоть и неизвестно, откуда он берется, он охватывает тебя, как ветер: если весной, когда листва свежая, еще можно бороться с ним, то осенью и зимой перед ним не устоять.

Рвет тишину размеренный шаг идущих строем солдат. Откуда он доносится? Что он значит? Откуда ему взяться? Распластавшиеся на земле поднимают головы, попрятавшиеся высовываются из щелей; те, что считают себя храбрецами, подходят к шоссе, особенно дети. По шоссе со стороны Франции шагает строй. Какие безумные смутные надежды пробуждают эти люди! Вот они идут, по шесть в шеренге, светловолосые и подрумяненные солнцем, как верхняя корочка хлеба, загорелые, как черноволосые андалузцы. Тысяча триста человек идут обратно по собственному побуждению—не слишком-то сильное отрицание всеобщего позора. Тысяча триста бойцов интернациональных бригад возвращаются, потому что их кровь—это испанская кровь. Раз-два, раз-два. Идут, печатая шаг и махая в такт правой рукой. Улыбаются, сила у нас с ними общая, но беда ляжет на плечи только испанцев. Беглецы выстраиваются вдоль шоссе, забыв о воздушной тревоге, изможденные лица

светлеют, вздымаются руки, сжатые в кулак. Идущие в строю отвечают тем же.

— No pasarán.

— No pasarán.

Жалкая старушонка, держась за мой ствол, кричит им:

— Не пройдут низом, так пройдут поверху.

— No pasarán.

Никто уже в это не верит, хриплый крик дерет глотку. На глазах выступают слезы.

— No pasarán.

Колонна входит в Фигерас, там ее тоже встречают крики. Люди остаются ждать отбоя воздушной тревоги, на глазах соленые слезы, а лица просветленные.

Снова наливается поток. Вечереет, люди идут к границе.

— Я иду в Центр.

Никто не спрашивает, когда вернемся, все убеждены, что это произойдет месяца через два-три, от силы через полгода.

— Уж теперь-то Франции ничего не остается, как вмешаться.

— Теперь, когда немцы у самой их границы...

Ревет девчушка лет пяти, а другая, постарше, которой, пожалуй, лет девять-десять, говорит ей:

— Замолчи, а то тебя услышат самолеты.

И малышка умолкает.

1944

ПЕСНЯ

Посвящается Хоакину Диес-Канедо

Зной звенит, земля оглохла. Тени нигде нет. Только под камнями—свежесть, вода и смерть.

Пот тоже глух. Там, внизу, пересохший ручей—каменистое пыльное ложе: ничья земля.

Отделяется лист с оливы и падает: событие. Кружится медленно, лениво, неповоротливо, струящийся зной держит его и долго не опускает на раскаленную землю. Лист оливы—маленький зеленый листочек, посеревший от пыли и солнца.

И тогда долетает песня, далекая песня далекой сьерры с ровными полями и длинными предзакатными тенями; эту песню носят в себе, и теперь она вдруг возникает в душном воздухе огненного полдня. Старая песня старого мира.

Дряхлая оливковая роща на красновато-белом склоне, с выбеленными камнями на межах, и лист оливы медленно кружится в яркой лазури неба.

Песня, старая песня.

Мир существует. Да: гремит выстрел, замертво навзничь падает человек, там, за третьей оливой, справа. Убитый—мой товарищ, из моей роты, которому я, возможно, составлю компанию. Лежит под солнцем—нешадным, истинным, которое там, наверху, мародерствует.

Песня, старая песня, доносится оттуда, где лежит убитый.

Испания, вся Испания, вся.

(Зеленые мухи на черной ране, скопом, скученно, теснят друг друга, пока кровь не засохла. Крохотный оазис, незаметный родничок, струпный и трупный. Там, своими хоботками мухи не дают крови засохнуть. О божество зеленых мух, да струится он, этот родничок, пусть течет и не иссякает! Зеленые, с радужными переливами мухи, горячими гроздьями, ворохами, семена смерти, уже совершенно слившиеся с убитым. Шевелящаяся гроздь, единственно живое, что у него осталось. И нещадное солнце, прямо над головой.) До ночи нельзя будет его унести.

Сейчас стреляют слева, но нехотя—самые страшные пули. Умереть в атаке, отразив ее, не дав им пройти,—легче легкого. Тогда сил как будто прибавляется. Но вот просто так, за здорово живешь, от шальной пули, когда вокруг так хорошо! Шальные пули. Стреляют от нечего делать, чтобы не заснуть.

Полдень, роща на склоне, уступы. Цикады оглушают, жара одуряет.

Запах солнца, ружье в руках. И далекая песня. Кто бы мог петь? Где-то рядом—наверное, тот косой, из Кордовы.

Замерло все. Пусть все замрут! Полдень. Все замерло. О вкривь искривленные серые стволы, вы продолжаете расти в лад с землей.

Снова песня, и муравей. Старая простая песенка:

Ты во сне мне явилась
совсем как живая,
постояла и скрылась,
в туман уплывая.
Я проснуться не рад,
и себе говорю я,
что не вернемся назад,
и смолкаю, горюя.

Сегидилья моей родной стороны: я—убит. Черный муравей ползет по стволу, живому и мертвому. Живому и мертвому, как я. Ты всегда живой и всегда мертвый: снаружи и внутри, сверху донизу, от корней до волос.

Песня, старая песня.

Война, мы на войне. Убивать и умирать. Муравей заполз в большую щель. Полдненное пекло. Ни дуновения. Цикады и безмолвие.

Склон: склониться и забыться. И заснуть. Но если я засну, то могу умереть незаметно, а умирать надо с открытыми глазами.

Кто ты?

(Иногда возвращаешься домой один, после дождя. Небо еще синее, в тучах. Лужи блестят среди грязи. Заборы зеленые и черные. Трава еще влажная. Башмаки заляпаны грязью, в колеях полосы воды: серебро. Туман, дремлющий на пригорках. Зябко. Прохладный ветерок. Там, наверху. Не верится, что это тоже Испания.)

Оливковая роща, золото.

Я мертвый, но еще живой. Я жив еще, мертвый. Пуля попала мне в переносицу. Тихо течет пот, противно. Раскаленный оглушающей полдень. Тело вдавлено, безмолвно.

Кто помнит о памяти? Я. Но что же помнит память?

Затвор жжет пальцы. Если они пойдут в атаку, что я буду делать? Прижмусь к земле, между стволом и этим камнем. Олива, ты дрожишь? Неужели ветер? Нет: струится зной. Все спокойно, все бело, все красно.

Муравей снова выполз из трещины в стволе, толкая перед собой что-то белое, зернышко. Какой сон! Сон? Я вижу сон? А тот—из Кордовы?—опять поет:

Ты во сне мне явилась
совсем как живая,
постояла и скрылась,
в туман уплывая.
Я проснуться не рад,
и себе говорю я,
что не вернемся назад,
и смолкаю, горя.

Там, на ничейной земле, где пересохший ручей,—ни наш, ни их,—вдруг появляется, хвост трубой, какой-то пес.

1969

ПОТЕРЯННЫЙ БАТАЛЬОН

Тяжелые капли дождя забарабанили по стеклу, и свет лампочки стал ослабевать. Один из гостей, сидящий у камина, попросил:

— Расскажи какую-нибудь рождественскую историю?

— Хорошо. Моя история произошла во время войны. *Моей* войны. Вокруг так много желающих достичь своих целей любыми средствами — страсти вспыхивают мгновенно и по таким ничтожным поводам, что вряд ли среди людей нашего поколения найдется хоть один, не оказавшийся так или иначе участником военных событий. Война вторглась в жизнь каждого из нас, изменила ее.

Моя война была совсем маленькой. Особенно по сравнению с признанными образцами военного искусства. Сейчас нет смысла преувеличивать важность каких-либо событий — уже ничего нельзя изменить. Но и в моей войне было все как полагается: горе, страдания, и кровь, заливающая леса и дороги. Часто, закрывая глаза, я вижу эту кровь, ее огромные пятна по всей стране, маленькие красные лужицы, подтеки на стволах деревьев и свежесбеленных стенах домов, отпечатки сведенных последней судорогой окровавленных рук. Я вижу — и эта боль уже навсегда поселилась во мне, — как распускаются кровавые цветы на лицах и на груди моих друзей, как тонкими струйками крови, пропитывающей одежду, медленно выходит из них жизнь.

Но невзгоды моей войны помогала преодолевать дружба: как мы любим военных друзей, как любим делиться с ближними своим собственным страхом!

Жуан Алмос и я считались неразлучными друзьями. Возможно, только потому, что служили в одной бригаде и, выполняя одни и те же задания, старались все время проводить вместе. Каждое утро мы отправлялись на линию огня, чтобы нанести на специальную карту передвижение мелких частей. Фронт постоянно перемещался и

иногда стоило большого труда определить, где находятся отделение или рота, расположение которых еще накануне было хорошо известно. Мы карабкались по склонам холмов и оврагов, шли по узким горным тропинкам, с трудом пробираясь через заросли колючего кустарника, и дрожали от одной только мысли, что можем случайно оказаться на территории врага. Алмос во время наших переходов всегда что-нибудь рассказывал. Больше всего на свете он любил говорить о рождестве. Этот праздник был для моего друга особенно важным и значительным, все события своего прошлого и будущего он так или иначе связывал с рождественской ночью. А может, мне только так казалось, ведь история, о которой пойдет речь, произошла именно в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря последнего года войны.

Накануне на наши позиции обрушился огонь вражеской артиллерии. Упорная, настойчивая атака не смолкала ни днем, ни ночью — враг хвастливо демонстрировал обилие боеприпасов.

На рассвете двадцать четвертого орудия неожиданно смолкли. Началась обычная для войны работа — выяснение потерь, скрупулезный подсчет убитых. По донесениям, на участке, пострадавшем больше всего, находился двенадцатый батальон, и полковник приказал Алмосу и мне выяснить, что от него осталось. Странно и дико отмечать на карте человеческую смерть, но пресловутый «солдатский долг» облагораживает любое занятие.

Когда мы вышли, солнце еще не поднялось. Густой туман стлался на уровне человеческого роста, как второе низкое небо, отчего мир казался маленьким, с незнакомыми расплывчатыми очертаниями. Было очень холодно. Заиндевшая земля трескалась под ногами. Приглушенный, замедленный, будто и не имеющий никакого отношения к тому, что происходило, до нас долетал звук автоматных очередей. Коротких, далеких, словно пальцы невидимой руки постукивали по полосе тумана.

«Завтра рождество, — говорил Алмос, — мои родные соберутся за столом и будут беседовать обо всем на свете. А может быть, просто немного помолчат, но вся жизнь пройдет перед ними, озаренная светом прошлых и будущих рождественских ночей. Мама поставит тарелки для меня и Эрнеста, который служит в тринадцатой дивизии и никогда не пишет, и все будет как раньше,

будто мы и не уезжали из дома».

Мне было больно слушать Алмоса. Его слова будили в душе чувства, которые я силой пытался заглушить, запрятать как можно глубже, потому что, когда они просыпались, сердце сжималось и теплый комок подступал к горлу.

В эту минуту мы наткнулись на труп одного из наших солдат, с распоротым животом, странно повисший на кусте. Видеть мертвеца в твоей военной форме — почти то же, что видеть убитым себя, читать извещение о собственной смерти. Подобное зрелище будит эгоизм: страх и жалость к погибшему в итоге вызывают лишь чувство сострадания к самому себе. Я раздраженно спросил: «Ну а этот? Как он отметит сегодняшний праздник? Может, и ему уготовано эдакое рождественское будущее?»

Алмос серьезно взглянул на меня: «У этого солдата сегодня тоже праздник. Сегодня и всегда. Каждый год в рождество кто-нибудь припомнит его глаза, улыбку, звук голоса. Воспоминания будут светлыми, без этой грязи, которая сейчас покрывает его лицо, смешивает с землей...»

Мы продолжали идти молча. Мне захотелось вновь вернуться к разговору: предчувствие рождества уже жило в моей душе. Убитый вдруг представился воскресшим, улыбающимся, с букетом цветов в руках. Не знаю, почему именно с цветами. Может, лучше были бы пирожные или поднятая для тоста маленькая рюмка. Но я не мог заговорить об этом, раз уж решил изображать недовольство, и только пробормотал сквозь зубы что-то невнятное. Мы шли берегом реки, почти невидимой из-за тумана, направляясь к большому холму, окутанному серой мглой. «Странно,— сказал Алмос,— это сто четырнадцатая высота, и здесь должен находиться тот самый батальон...»

Только тогда мы заметили, что вокруг царит таинственное безмолвие, несвойственное войне, даже такой маленькой. Торжественная, непроницаемая тишина, в которой таяли наши слова. Неожиданно смолкли все привычные звуки: ружейные выстрелы и тяжелые залпы орудий, автоматные очереди, гул самолетов...

«Да неужели они способны прекратить войну, забыв даже предупредить об этом?» — спросил Алмос. Ирония была настолько вымученной, что он и не подумал

сопроводить свои слова улыбкой.

Честно говоря, я считал, что *они* способны на все. Но это *все* постоянно сопровождалось стонами, криками, взрывами. Безмятежный покой, разливавшийся по долине, казалось, не принадлежал этому миру, который люди так ожесточенно оспаривали друг у друга. Все вокруг было странно-незнакомым, и только пронизывающий тело нестерпимый холод — единственное привычное ощущение — возвращал нас к реальности.

Пройдя немного вперед, мы увидели еще один труп. Голова лежала в луже, и замерзшая вода сомкнулась над ней, намертво припаяв к земле. Пальцы правой руки были сжаты, кроме указательного, протянутого в сторону одной из дорог перекрестка. Вероятно, смерть пришла оттуда. Крутая каменистая дорога взбиралась по склону холма, сильно петляла и терялась в густом тумане. Неужели судьба может посылать подобные знаки? Мы не успели подумать об этом и тем не менее, ни на минуту не поколебавшись, последовали ее немому указанию.

«Рождественский ужин — маленькое волшебство, — снова заговорил Алмос. — И знаешь, вовсе не в том дело, что можно хорошо поесть. Сидящие за накрытым столом щедро делятся своей любовью, бережно передавая ее друг другу, как кусочек рождественского пирога...»

«Так где же двенадцатый батальон?» — резко перебил я, разрушая образ, созданный фантазией моего друга.

Действительно, мы шли уже так долго, что невозможно было не встретить каких-нибудь живых существ, будь то друзья или враги. Вокруг в беспорядке валялись фляги, винтовки, покрытые тонким слоем снега, фуражки, вмёрзшие в лед, и непонятные предметы, наполовину засыпанные землей. Мы поднимались по склону холма в надежде найти возвышенное место, чтобы осмотреть оттуда долину. Какая-то смутная тревога все время гнала вперед. И вот, когда наконец мы достигли вершины, клочья тумана неожиданно рассеялись и в образовавшемся между облаков просвете открылась долина, где медленно шевелилась серая человеческая масса.

Алмос жестом предложил двинуться вперед, но я остановил его: «Подожди. Еще неизвестно, кто они. Постараемся подойти незаметно».

Мы стали медленно спускаться, пригибаясь к земле, прячась за редкие кусты. Люди, одетые в военную форму,

толпились на небольшом участке земли, огороженном колючей проволокой. Они почти не шевелились. Холод леденил дыхание тысяч ртов, и над головами молчаливых солдат плыло белое облако пара.

Зрелище было настолько удивительным, что я вышел из укрытия, забыв всякую осторожность. Алмос также выпрямился во весь рост, даже не отчитав меня, что не преминул бы сделать в других обстоятельствах.

Легкий шорох и скрип заиндевевшей земли под нашими ногами вызвал сильное волнение в лагере. Офицер, стоящий снаружи проволочной изгороди, повернулся и заметил меня и Алмоса. Это был капитан в форме наших войск, что вселяло доверие, и поэтому, когда он жестом приказал подойти, мы покорно повиновались.

Однако вблизи лагерь производил впечатление еще более странное и таинственное: рядом, не обращая друг на друга никакого внимания, стояли наши солдаты и враги. Форма у тех и других была грязной и рваной.

«Что это значит?» — подозрительно спросил Алмос.

«Это отборочный лагерь», — спокойно ответил офицер.

Военная терминология так разнообразна, что способна, пожалуй, найти оправдание любой форме армейского унижения. Но этот термин был совершенно новым, мы не могли отождествить его ни с чем известным. Не приходило в голову, какой «отбор» можно производить в маленькой, богом забытой долине, и, если бы не годами выработанная привычка тупо повиноваться приказу, ни я, ни Алмос никогда не вошли бы в этот лагерь.

Сержант записал наши имена и анкетные данные. Люди вокруг стояли небольшими группами, тихо переговариваясь. На лицах не было ни тревоги, ни возбуждения, однако создавалось впечатление, что все чего-то терпеливо ожидают. Алмос задал два-три вопроса, но солдаты только пожалы плечами, не сказав ни слова.

«Черт возьми, ничего не понимаю», — пробормотал мой друг. — «Если верить здравому смыслу, все это только мираж, галлюцинация. Но я ведь вижу и тебя. Ты-то живой, настоящий?»

В этот момент к нам подошел какой-то солдат. Судя по молодости, его призвали совсем недавно. «Нам всем сначала так казалось, — заметил юноша, как бы отвечая на вопрос Алмоса, — как будто видишь какой-то странный сон. Но я стараюсь не думать об этом, ведь здесь, за

ключей проволокой, чувствуешь себя в безопасности».

Руки его были засунуты в карманы, он весь сжался от холода. Выражение лица постоянно менялось — от насмешливого до грустного. Солдат сказал, что в лагере находится два дня, но и это достаточно большой срок, принимая во внимание сложность его дела.

«Но что это за лагерь? Ты не знаешь?»

«Точно не знаю. Разное говорят. Некоторые считают, что Красный Крест, решив взять на себя миссию по прекращению войны без кровопролития, собирает солдат в подобных лагерях, чтобы постепенно свернуть военные действия и вернуть людей к их гражданским заботам».

Лицо Алмоса осветилось агрессивной улыбкой.

«Какая чушь!» — выпалил он.

«Да, я тоже так думаю. А еще говорят, что мы в руках специальной организации, призванной вернуть в соответствующие части солдат, отставших после боя».

Но и это объяснение не показалось логичным: ведь в лагере были и наши противники.

«Я склоняюсь к третьей версии, хотя у нее и мало сторонников,— продолжал наш новый знакомый.— В этом лагере собирают уже выбывших из строя...»

«Как?— перебил Алмос.— Значит, и мы тоже вне игры, сами того не зная?»

«До некоторой степени. Сейчас я объясню почему. Раз вы сразу не отбросили невероятные предположения, отнеситесь к моим словам серьезно. Мы выйдем отсюда в составе трех колонн: погибшие, пропавшие без вести и дезертиры. После боя все так запутано, что необходимо навести порядок...»

И, вдруг помрачнев, он сказал, что не удивится, если попадет в самую страшную колонну. Солдат сдвинул полевую сумку, висевшую на плече, и показал на правом боку куртки темно-красное пятно. При глубоком вздохе оно намокало, и на сукне ярко проступала кровь. Потом одежда впитывала ее, и пятно вновь приобретало матовый оттенок.

Зрелище потрясло нас. Но вместо того, чтобы посоветовать солдату лечь в госпиталь или хотя бы поинтересоваться, что с ним произошло, и я, и Алмос почему-то вдруг подумали о себе. Человеку свойственна мнительность — часто, будучи здоровым, начинаешь ощущать симптомы болезни, которой страдают окружающие. Я почув-

ствовал слабую ноющую боль в спине и не решался дотронуться до нее. Алмос протянул руку к затылку, а затем внимательно посмотрел на ладонь. Результат, видимо, удовлетворил моего друга, потому что он с прежним пылом вернулся к разговору: «Но послушайте, ведь совершенно очевидно, что мертвецы должны были бы лежать на земле, дезертиры — хоть немного волноваться, а без вести пропавших мы вообще не могли бы увидеть. Все-таки нужно называть вещи своими именами...»

Солдат прервал его: «Я много думал об этом. Мы склонны судить о том, что происходит вокруг, со своих собственных позиций, ведь нам так удобнее. Сверять события с тем, что доступно пониманию, а не с тем, что неизвестно. А если бы люди поступали иначе, мир открылся бы совсем иным! Ну почему не поверить в то, что существует эта долина и подобные ей, где могут общаться друг с другом мертвецы и живые? И кто сказал, что завтра, как ты и предполагаешь, одни из нас не окажутся простертыми на земле, другие не убегут отсюда, а третьих вообще нельзя будет найти? А может, все давно решено, приговор готов и не хватает последней подписи?»

Алмос сделал слабую попытку заклеить глупые предрассудки и мещанский фатализм, но в глубине души, как и я, он был потрясен и всего лишь бодрился, чтобы не начать жалеть себя.

Стемнело. Обитатели лагеря разожгли костры, огни которых удлинители наши тоскливые тени. Дрова тихо потрескивали, запах дыма вызывал далекие воспоминания, туманящие сознание. От влажной земли поднимался пар, закрывавший ноги, так что движущиеся люди, казалось, плыли по воздуху.

С непонятной мне самому жестокостью я сказал Алмосу, что впереди у нас чудесная рождественская ночь. Он тяжело уронил голову на грудь, и эти слова показались мне кошунством. Тем временем молодой солдат принялся объяснять, что репродуктор лагеря методично и регулярно зачитывает списки людей. Те, кто услышит свою фамилию, бесшумно строятся в колонны и уходят. Больше их уже никто не видит.

По воле случая среди солдат, попавших в первую партию, оказался Алмос. Голос репродуктора разнесся по долине, эхо гулко повторило последний слог имени моего друга и замерло в темной низине. Я стал было советовать

срочно связаться со штабом и объяснить, что нам совершенно необходимо немедленно найти свою бригаду, но вдруг осознал всю бесполезность спора с судьбой и ограничился тем, что помог Алмосу собрать вещи.

Он не захотел обнять меня на прощанье, отстранился и посмотрел долгим, внимательным взглядом. «От тебя зависит, будут ли помнить о твоём друге. Думай обо мне каждое рождество и постарайся, чтобы это делали мои родные».

«Но ты же ещё жив, Алмос! Я вижу тебя, дотрагиваюсь до тебя рукой, ты жив! Все не так уж страшно, может быть, ты уходишь в колонне дезертиров...»

Исчезая в тумане, сливаясь с тенями других солдат, он ответил: «Нет, никогда. Больше всего я боюсь этой отвратительной, жалкой смерти».

Дождь перестал, и гости отодвинулись от огня, потому что жар был слишком сильный.

— Ну а в какой колонне оказался ты? Раз ты сейчас среди нас, стало быть, удалось сохранить жизнь?

— Не знаю. Никогда не был в этом уверен. И неизвестно, живы ли вы сами. Почему через столько лет мы все остаемся во власти прошлого? Посмотри, на тебе старые солдатские сапоги, а твой приятель до сих пор носит зеленую форменную куртку. Почему вы не можете расстаться с военной пилоткой, с полевой флягой? А наши бледные лица?

— Просто пламя в камине отражается от белых стен.

— Может быть. Но всем нам не дает покоя кровь, проступающая на теле, хотя мы и не осмеливаемся говорить о ней. Иногда душевная, а не физическая боль заставляет почувствовать открытую рану.

— Значит, мы живы.

— Это значит, что рана — маленькая дверца, через которую медленно уходит жизнь. Умирать можно по-разному...

Тут кто-то недовольно предложил сменить тему. Но говорить было больше не о чем. Стараясь делать это как можно незаметнее, гости испуганно ощупывали спину, грудь, голову. Всех мучительно терзала та предательская боль, о которой они хотели бы забыть навсегда.

КОГДА НАС УБЬЮТ

Это были самые высокие на свете деревья. Из нашего убежища, устроенного на крыше девятого этажа, виднелись их серые зимние кроны. Дом стоял напротив парка Ретира. Несмотря на холодный вечер, плита не горела. Она находилась совсем рядом с единственной комнаткой, загроможденной старой рухлядью. На стене — мой портрет двадцатилетней давности. С горделиво горящими глазами, которые сейчас кажутся просто смешными.

— И что могло с ними случиться? — спросил я Маруху, как будто разговаривал сам с собой.

— Вот увидишь, вернутся целыми и невредимыми.

Она казалась такой худенькой, еще меньше и сторбленней, чем я, если это вообще было возможно. Самое ужасное, что мы разговаривали, пряча глаза, боясь сказать друг другу правду. Конечно же, мучила мысль о Педро и Фернандо, похороненных три недели назад и, наверное, уже изъеденных червями. Тех самых Педро и Фернандо, которые, как мне казалось, до сих пор ищут, куда бы спрятаться и где бы добыть немного монет с изображением Франко. Мы не смогли дать им ни то ни другое. Поэтому их и поймали здесь, в недостроенном доме. А вдруг они и сейчас бродят где-нибудь поблизости, как души в чистилище? Иногда я представлял себе, что Педро и Фернандо могут в любую минуту появиться у нас на крыше, прося о помощи.

Раздался шум лифта. Если он гудит недолго — ничего. Но так страшно, когда он с глухим звуком поднимается все выше и выше, на самый верхний этаж. Кто бы там ни был — а вдруг тайные агенты полиции? — они могли заглянуть на крышу своими жадными, страшными глазами.

«Если эта сволочь сунется сюда, мы прошьем их пулями раньше, чем сдадимся», — подумал я.

— Слышишь?

— Да, уже на восьмом.

Я с трудом пытался дотянуться до баула, где мы хранили два пистолета, патроны и заржавевший маузер, как вдруг увидел бледное лицо, приклеившееся к стеклянной двери террасы.

— Это Педро,— сказала Маруха.

— Педро?

— Да. Другой Педро.

— Педро номер два,— пробормотал я.

И сразу вспомнил этого смуглого здоровяка, школьного учителя. Мы знали, что он ушел с четверьмя или пятью товарищами в партизанский отряд в горах Вильюэркас и Альтамира, недалеко от Тахо. Его форменная куртка была разорвана в клочья, сапоги стоптаны и покрыты грязью. Глаза округлились, светились каким-то страхом или безумием. Они ярко блестели под густыми бровями. Темная борода была отросшей и спутанной.

— Кто-нибудь видел, как ты поднялся?

— Нет. Кажется, нет.

Мы уселись на краю кровати, потому что в комнате было только два стула. Педро рассказал, как полицейские убили его брата, когда тот пытался спастись, переплывая реку.

— Думаешь, кому-нибудь из наших удалось уйти?— спросил я, затаив дыхание.

— Кто его знает.

Педро встал. Взгляд его становился все более отчужденным и грустным, глаза заволакивались легкой пеленой.

В комнате было очень холодно. Ни одного полена, чтобы разжечь плиту. Даже бумаги не осталось. Тогда я дал Педро одеяло и мое чистое белье.

— Возьми. Тебе нужно переночевать у нас... Завтра поговорим.

— Я могу прямо здесь,— сказал он, снял мокрую рваную одежду и уселся на стул, завернувшись в одеяло.

Мы с Марухой сразу же легли, но еще долго не могли согреться, даже укрывшись с головой. В полной ночной тишине наше убежище, залитое ярким лунным светом, казалось, парило высоко над городом, легко и свободно. Но мы знали, что это обман. Рядом был Педро. Не расстрелянный, а другой— школьный учитель. Совсем

близко слышалось его дыхание. Он ерзал на неудобном стуле, изредка покашливая.

— Наверное, ему холодно.

— Да,— отозвалась Маруха.

— Пусть ляжет с нами, потеснимся немного,— прошептал я.

— Конечно.

Тогда я приподнялся и выглянул в эту спокойную лунную ясность.

— Педро!

— Что?

— Иди сюда. Ложись с нами.

— Нет,— робко запротестовал он.

— Ну же, иди.

Я услышал его нетвердые шаги, а потом почувствовал большое, неуклюжее тело под одеялом. Педро будто упал в колодец с теплой мягкой водой и мгновенно уснул, почти не дыша, как будто хотел уснуть навсегда. Он не прислушивался внимательно к гудению лифта, который поднимался все выше, поднимался целую вечность, с угрожающей мрачностью. Он словно и не желал думать о том, что все мы, лежа в этой тесноте, должны ждать. Ждать, когда придут полицейские и уьют нас.

1957

ДОРОГА

Ветер разбудил утро и маленькие листочки олив на краю деревни. Огромное море деревьев заволновалось.

Женщина в дверях последнего дома на мгновение обернулась, вглядываясь в темноту комнаты, и посмотрела на старшую, семилетнюю, дочь. Девочка выглядела совсем крохой—худое личико казалось еще бледней в зелено-голубой тени виноградных листьев.

— К вечеру я вернусь. Слышишь? Не бойся, я вернусь покормить маленького.

— На обед обоим дам картошки.

Девочка сказала это очень серьезно и вынесла из дома грудного ребенка. Второй брат играл в комнате, ползая на четвереньках.

Мать быстро пошла по дороге. И сразу же начала думать о муже. Он находился в Хаэнской тюрьме с того самого дня, когда кончилась война. До тюрьмы нужно идти четырнадцать километров. По обеим сторонам дороги — бесконечные извилистые ряды олив. Кора деревьев серая и землистая, а миллионы листочков искрятся, отливая голубым, тихо шелестят на спокойном, ласковом ветру.

Женщина несла в руках сверток, на котором было написано имя мужа. Она шла и шла. Иногда закрывала глаза. Яркий свет дня слепил сознание, сгущался где-то внутри, как кровь.

Машина, набитая солдатами, промчалась навстречу, и женщина быстро отошла в сторону. Идя по самому краю дороги, она прислушивалась к звуку своих одиноких шагов, к шелесту листвы. В груди вдруг открылась тоскливая пустота, которую хотелось чем-то заполнить, и она крепко прижала к себе сверток с передачей. Яркие лучи скользили по лицу, поднимаясь к небу. Вставало солнце. Женщина окинула взглядом долину, изрытую глубокими темными оврагами, причудливо изогнутые ряды олив. С нежностью подумала о муже. Потом о своем одиночестве. Она ускорила шаги, спеша навстречу самому близкому человеку. Вокруг — ни души. Ни на дороге, ни в оврагах.

Из-под платка, щекоча лоб и глаза, выбивались пряди светлых волос, обрамлявших круглое скуластое лицо. Сколько хватал глаз, простиралась долина, дышавшая летним зноем. Женщина снова подумала о муже. И почувствовала, как сладкая, живая волна приливает к сердцу, наполняет все ее существо и расплескивается внутри, там, где сознание уже не властно, где царит непонятный и в то же время простой мир чувств, желаний. В каждой клеточке тела она ощущала приятное тепло, нежную ласку. «Бедный». Все вокруг говорило о нем, напоминало о его руках, губах, запахе. Женщина должна была видеть, ощущать его. Солнце медленно поднималось, наполняя долину звоном цикад и пением птиц. Она прочла отметку на километровом столбе и поспешила дальше, все больше волнуясь в ожидании встречи. Иногда ускоряла шаги, почти бежала. Потом шла медленнее, закрыв глаза. Легкий ветер дул навстречу. Вдруг стало казаться, что ее порыв, неустанное

стремление вперед, раскалывает ясную тишину летнего утра, нарушает спокойствие медленно пробуждающейся природы.

Женщина шла, не останавливаясь. Деревья здесь казались более запыленными. Солнце стояло еще низко. Она чувствовала, как что-то враждебное гнетет ее; сердце часто билось, дышать было тяжело. Мир пробуждался, суровый и угрожающий. Бесконечные и тоскливые ряды олив рассыпались по долине, по склонам дальних холмов и терялись где-то далеко в неизвестных лесах. Женщина испугалась, что может сбиться с пути. Внимательно осмотрела дорогу. Она остановилась только на мгновение, но успела заметить большое дерево на повороте. С северной стороны на ветках покачивались сухие листья, оставшиеся еще с зимы. Тяжелая была зима. «Пришлось продать самое красивое лоскутное одеяло и другое тоже», — пробормотала она. Теперь уже чувствовалось, как жара давит на плечи и солнце печет голову.

Женщина побежала и не останавливалась до самой тюрьмы.

Здание было серым, огромным, с большими цементными башнями. Недостигаемый странный мир, где она не имела даже имени. Только имя ее далекого спутника.

Она ходила вдоль тюремной стены, в толпе женщин и мрачных стариков. Прошло много времени — наверное, четыре или пять часов. Женщина смотрела на синеватые вечерние тени, на часовых, высывающихся из темных сторожевых будок. Рядом с ней — все те же молчаливо движущиеся по кругу люди, ожидающие свидания с заключенными. Изредка слышался плач женщины: одной из тех, кто пришел получить узелок с бельем, потому что ее мужа уже расстреляли.

Женщину вдруг охватило странное беспокойство, она почувствовала сильный жар, все тело будто мгновенно вспыхнуло. Очередь выпала только на последнее вечернее свидание. Как никогда, хотелось говорить с ним. Но в то же время она думала только о том, чтобы задержать неумолимый путь солнца и вернуться домой раньше, чем стемнеет, мечтала одновременно находиться и здесь и дома. Женщина боялась за детей, но должна была видеть мужа. Она продолжала мерять шагами двор, не зная, как успокоиться. Подошла к воротам, и оттуда потянуло

тюремной сыростью. Потом стала рассматривать зарешеченные окна, выходящие в дворы-колодцы, наводящие ужас закоулки, где даже дневной свет казался окаменевшим.

Наконец часовой зачитал список. Она услышала имя мужа.

Женщины столпились в воротах, многие протискивались, расталкивая окружающих, чтобы занять места у решеток. Все кричали. Она напряженно искала взглядом мужа. Прошло всего несколько минут, но ожидание казалось бесконечным. Женщина была маленького роста. Она встала на цыпочки, чтобы поговорить с ним.

— Послушай... Знаешь...

— Что?

Их тела била непонятная дрожь. Они не видели ничего вокруг. Только взгляды, крики, движения губ, почти без слов.

— Как дети?

— Ты слышишь меня?

Женщина снова встала на цыпочки и застыла, поймав его жадный взгляд. Она вдруг поняла, что была для него важнее всего на свете, единственным, что связывало его с миром.

— С детьми все в порядке. Спрашивают о тебе.

— Что?

— Они вспоминают о тебе.

И снова беззвучные крики, взгляды.

Свидание длилось всего пятнадцать минут. Прозвонили в последний раз. Она взглянула на мужа. Их разделяли решетки, полоса коридора и две тонкие металлические сетки.

— У тебя есть деньги вернуться на машине?

— Ну конечно.

Они продолжали делать друг другу знаки, не обращая внимания на ряды заключенных и толпу обезумевших женщин, на крики «прощай», терявшиеся в пустоте. Она увидела, как муж идет по коридору, отчаянно поворачивая голову в ее сторону. А потом — только его силуэт, полустертый металлическим занавесом, далекий, почти нереальный. Наконец он исчез в дверях вместе с другими заключенными и охраной.

Женщина быстро пошла по улице. В руках уже ничего не было, и она не знала, куда их деть. Сейчас она была совершенно одна, вдали от детей и от мужа. Ощущение свободы смешивалось с беспокойством и тоской. Последние лучи солнца осветили крыши домов и полуразрушенный замок, высившийся над городом. Хаэн был похож на мертвеца, сброшенного с горы. Узкие улицы наполнял голос колоколов собора. Женщина добралась до шоссе и тут словно пришла в себя. Денег, чтобы доехать на машине, не было, и ночь застанет ее в пути. Стало страшно. Грудь болела, потому что она с самого утра не кормила ребенка. Женщина быстро пошла навстречу заходящему солнцу, окрасившему багрянцем оливы и редкие облака.

Закат длился всего несколько минут. Из земли, из оврагов выползала чернота ночи. Горячий ветер дул в спину и торопил. Вернуться в город и ждать утра невозможно. Нужно идти вперед, в страшную тьму. На далеком горизонте таяли силуэты гор. Шоссе — длинная серая лента, постепенно теряющаяся вдали, как тихая река. Деревья меняли привычные очертания и приобретали новые, устрашающие. Густая темнота заполняла долину. Чувство страха росло, но женщина вспомнила о детях, услышала их зов, как чувствовала давящую тяжесть полных грудей.

Все уже было во власти ночи. Холмы, самые высокие горы и мельчайшие насекомые застыли в ожидании солнца. Внезапно сзади послышались шаги и мелькнула какая-то тень, следующая за ней по пятам. Женщине представился невиданный зверь, страшное видение из ночного кошмара. И в то же мгновение она различила вдали, там, где дорога поднималась вверх, фигуру мужчины.

Страх наполнял ее, разливался холодом по спине, заставляя биться в ознобе, несмотря на жару. Она бросилась вперед, в беспросветную темноту ночи. Бежала, потом шла, испуганно оборачиваясь. От страха казалось, что причудливые тела деревьев и сухой запах коры тоже жаждут ее гибели, хотят задержать ее и отдать этому неизвестному. Небо было низким, сплюснутым маленькими звездами. Женщина бежала между шевелящихся ветвей оливы, придавленная этим искривленным и безучастным сводом.

И вновь неуклюжая фигура и шаги мужчины.

Она увидела, как он прячется за дерево.

Остановилась. Без сомнения, ее преследовали.

— Что вам нужно? Почему вы идете за мной? — прокричала она дрожжащим голосом, стараясь подавить страх.

Ответа не было. Женщина бросилась бежать. Прийти как можно скорее, чтобы покормить сына. Медлить нельзя. Надо сохранить в груди это тепло, идущее из глубины сердца. В памяти всплыла фигура мужа за двумя решетками. Рыдания медленно подступали к горлу. Все будет хорошо, только нужно идти к дому, идти по этой дороге. Она вдруг почувствовала облегчение: ее гнало вперед совершенно особое чувство, воспоминание о белокурой головке и губах ребенка около ее груди, о сладком причмокивании голодного рта сына. «Наверное, дочь их покормила». Хотелось как можно скорее оказаться дома, покрыть это расстояние между мужем и детьми. «Дочка еще маленькая, совсем маленькая». Горячий ветер дул в спину, подгонял.

Женщина старалась думать только о том, чтобы идти, продолжать свой путь, ощущать под ногами гладкую поверхность шоссе, прикосновение песка. А вокруг затаился враждебный мир, готовый броситься на нее с верхушек деревьев, как страх.

Тут шаги настигли ее, и она увидела грубое лицо и блестящие глаза. Огромная ладонь впилась в ее руку.

— Стой. Ложись в канаву.

— Нет! — Она пыталась вырваться, ускользнуть, потом прыгнула с обочины и вдруг поняла, что он не преследует ее, уверенный, что скрыться не удастся. Впереди был пересохший ручей, а с другой стороны земляной откос. Беззащитная, она рванулась туда. В темноте заметила, как мужчина снимает рубаху и ремень с кобурой, кладет их на землю.

— Стой.

Не в состоянии сдвинуться с места, женщина смотрела, как он переходит сухое русло ручья. Рядом — одинокая олива. Скорее спрятаться за нее. Быстро кинулась туда, сжалась. И увидела углубление в земле, рядом с кустом ежевики. Потом медленно поползла по этому земляному шраму. Острые шипы ежевики царапали лицо и руки. Она вылезла уже с другой стороны кустарника.

— Где ты? — слышался его крик.

Женщина переползла через ручей. Это было то место, где остались его рубашка и кобура. Дрожащими руками вынула пистолет. В этот момент мужчина повернулся.

— Все равно не уйдешь.

— Нет!

— Не уйдешь, — повторял он, смеясь как безумный.

Женщина увидела, что он идет к ней. И сжала пистолет. Выстрелила, подняв дуло. Она видела, как это делают ополченцы на войне. Он бросился на нее, и одновременно с выстрелом раздался хруст костей черепа. Мужчина упал совсем рядом. Но она нажала на курок еще раз.

Душная мгла с запахом земли и листьев словно застыла в немом крике. Женщина бежала вперед и думала только о том, как обнимет детей.

Показались огни деревни, похожие на желтые капли, разбросанные по долине. Она побежала быстрее. Вот наконец и дом. Дверь приоткрыта. Первое, что она увидела, — глаза дочери. Девочка сидела на краю кровати, где спали младшие братья, охраняя их сон. Она словно состарилась в своем ожидании, раньше времени взвалив на хрупкие плечики заботы взрослой женщины.

Мать подошла к девочке и погладила ее по голове.

— Раньше я не могла прийти, — пробормотала она. — Теперь нужно покормить маленького.

— Я достала немного молока. Они хотели пить, я пошла и попросила, — сказала девочка. — А ты себе все лицо поцарапала...

— Да, я упала в кустах ежевики, — ответила женщина, внимательно глядя, как дочь снимает юбку, полосатую кофточку и ложится, поеживаясь, уже в полусне, рядом с маленькими братьями.

ЛУЧШИЙ ИЗ НАС

I

«Неуловимый дозор» — как их окрестили на всем фронте — возвращался из боя без своего командира. Над горными грядками едва занимался рассвет. Сильный ветер гнал по красному, будто расцарапанному небу тяжелые облака. Из светлого кольца тумана вынырнула маленькая деревушка, где отряд находился на постое. Бартоломе, уроженец Вальядолида, один из самых выносливых, попросил остановиться — силы были уже на исходе.

— Отдохнем немного — ноги отваливаются.

— Хочешь нас всех заморозить?

Вместо ответа он снял с пояса фляжку со спиртом и протянул товарищам. Сухие, потрескавшиеся губы жадно припали к ее краям. Мутно-серый свет нового дня озарил грубые, угрюмые, заросшие щетиной лица, с припухлыми темными веками.

Райгадас, так же как и убитый командир, родившийся в Сансе, сказал вслух то, о чем думали все:

— С каждым днем нам все больше будет не хватать его. Надо же, именно Жауме досталась эта проклятая шальная пуля!

И, обратившись к своему немудреному запасу ругательств, крикнул: «Чтоб вам... Тысяча чертей!..»

Его товарищи негромко переговаривались:

— Победу вместе уже не отпразднуем.

— Погиб лучший из нас.

— Таких людей мало.

— Никогда не задавался.

— И положиться на него можно было.

— Предлагали повышение, но Жауме отказался.

— Предпочел остаться с друзьями.

— Ну уж мы отомстим...

— Пусть только случай представится.

Воцарилось тяжелое молчание, каждый думал о своем.

- А что теперь?
- У него есть мать.
- Кто ей скажет?
- Проще в атаку пойти, чем к ней.
- Бросим жребий.

Бартоломе поднялся. Машинально ощупал ручные гранаты за поясом.

— Не волнуйтесь, я ей скажу. Мы на одной фабрике работали. Как-то раз в воскресенье Жауме меня познакомил с матерью. Мы прогуливались вместе по площади Испании. Танцевали сардану, и он ввел меня и свою мать в круг. Представляете картинку? Лопнуть можно от смеха. Ну ладно, хватит. Пошли.

Они стали спускаться с холма. Под ногами на тропинке скрипели мелкие камешки. Навстречу неслись привычные утренние звуки деревни — крики голодных петухов, одинокое ржание лошади. Лица людей были мрачны, губы плотно сжаты. Показался их дом, темные стены, облупившаяся дверь.

— Перед тем, как его убили, Жауме сам двоих уложил.

— Мне не дает покоя, что мы им тело оставили.

— Нас бы изрешетили пулями, только и всего.

Сеньора Гортензия, кожа да кости, против обыкновения вышла им навстречу.

— Ну и дела!

— В такую рань поднялась.

— Чует неладное.

Старуха молча и внимательно разглядывала их своими блошинными глазками. Цедя что-то сквозь зубы, сосчитала шедших навстречу и увидела, что в центре, сами того не замечая, они оставляют пустое пространство, идут, разделившись на две группы, как будто конвоируют тело убитого Жауме.

Сунув грубые руки в карманы передника, Гортензия сказала, волнуясь, но твердым голосом:

— Я поджарю сало и приготовлю крепкий кофе.

Флорентино, астуриец, работавший на шахте в Суррии — шатающаяся походка медведя, густые брови, единственный, кто упорно продолжал одеваться в штатское, — бросил на стол в коридоре блоки динамита. Потом расстегнул куртку и еще глубже надвинул берет. Это

была прелюдия его обычного крика:

— Хозяйка, не забудьте мою порцию перцев!

Куэвас, по прозвищу *Комильяс*¹, которое он получил из-за неудавшейся морской карьеры, заметил:

— Тебя ничем не прошибешь, прорва.

— Я умею скрывать свои чувства. Ну, а ты, грамотей? Все других учишь, а самого жизнь так ничему и не научила. Опять сунешь нос в свои книжки? Хоть голова и забита разными «теориями» и всякой ерундой, на тот свет все равно отправляться придется. Не время сейчас корпеть над учеьем.

Куэвас собирался ответить, но молчание товарищей остановило его. «После договорим, когда все успокоются». Он подошел к двери кухни.

Вода в котле уже закипала, сало громко шипело на сковородке, и погруженная в свои мысли Гортензия не заметила его. Куэвас оперся о косяк двери. После гибели Жауме (в ушах до сих пор звучал его предсмертный, почти детский стон) он с жадным любопытством наблюдал за реакцией на это событие. Удалось услышать конец молитвы, которую бормотала старуха, стоя на коленях и опустив голову на грудь:

— Господи, не допусти, чтобы и моего племянника убили. Не виноват он, никто ведь от грехов не уберезется, а ты, господи, не ошибаешься, когда измеряешь грехи и добродетели. Каждую ночь он мне снится, и, боюсь, сбудутся мои предчувствия. Сегодня так ясно его увидела, а рядом—второй, покойник, как привидение. Чуть не закричала, еле сдержалась. Мой Хуан Мигель такой же, только берет красный² да ладанка на груди. Около уха—шрам, после заварушки остался. Красавец, и руки работающие. А засмеется—точно вода в ручье звенит.

Она с трудом поднялась с колен, и Куэвас отступил в темноту. До него долетели последние приглушенные слова Гортензии:

— Ушел с наваррцами. Я-то хотела его спрятать. В горах, в полной безопасности, может, удалось бы во Францию бежать. Но все мои мольбы даром прошли.

Галлюцинации? Или она действительно это сказала? У Гортензии была своя тайна, может быть, последний

¹ Порт в испанской провинции Сантандер.

² Один из атрибутов формы фалангистов.

огонек жизни, теплившийся в ней. Старуха никогда не проявляла враждебности, хорошо выполняла свои обязанности. Однако не отказалась от высокой платы за постой, продукты и обслуживание. Никто не помнил выражения ненависти на ее лице. Допросить ее прямо здесь или сделать вид, что ничего не заметил, несмотря на то, что старуха может донести?

(«Ученый... Умеешь обращаться только с теоремами и уравнениями. Историю, даже ту, в которой сам участвуешь, истолковал с помощью нехитрой арифметики. Расстановка и борьба сил, расчет сопротивления, прочные и нестойкие материалы, количественные и качественные диаграммы. Зачем рисковать жизнью, разве нельзя погибнуть из-за самой нелепой случайности? И кто о тебе вспомнит? Никакого следа не останется. Переживет ли тебя хоть что-нибудь, хотя бы звук голоса? Ну что ж, умирать так умирать. Прав был Флорентино... Эта молитва Гортензии, такая неожиданная, взволновала тебя. Поройся в своей памяти, что ты найдешь там, кроме холодных расчетов? А ведь все так просто. Ты не мог предположить ничего подобного. Эта старуха — вне твоих уравнений, чего не скажешь о пуле, той, что настигла знаменитого командира. Теперь и для тебя все неожиданно меняется. Смотри, как нервничаешь, походка будто чужая, не можешь справиться с волнением, с биением пульса в висках... Погибнет «ее» Хуан Мигель? Ну, выиграем войну и тогда...»)

Войдя в комнату, Куэвас понял по выражениям лиц и осторожным жестам, что прервал беседу.

— Что-нибудь важное? Если мешаю, могу уйти... Готов поклясться, что обо мне говорили.

Он догадался, что не ошибся, по досаде, написанной на лице Райгадаса, который, как всегда, взгромоздился на подоконник, по бегающим лисьим глазам астурийца, по тому, как слишком тщательно чистил ногти Бартоломе. Педро, текстильщик из Сабаделя, сидел на своем обычном месте. Положив локти на клеенку, он сжимал в руке игральную кость, не решаясь бросить ее, и косо поглядывал на Куэваса. *Близнецы* — каталонцы из Арагона, портовые рабочие — спокойно насвистывали в разных тональностях какую-то мелодию.

И легкое покачивание пустой качалки (кто-то случайно подтокнул ее?), в которой обычно отдыхал Жауме.

Куэвас настойчиво расспрашивал:

— Так о чем или о ком говорили?

Каждый—на своем обычном месте. Даже покойник. Все было как всегда и в то же время не так. Бартоломе оставил наконец чистку ногтей и сказал, прервав неловкое молчание:

— О тебе говорили, *Комильяс*, ясное дело.

А потом уточнил:

— Хотя нас осталось мало, кто-то должен заменить Жауме. Борьба продолжается, и группа не сможет действовать без командира. Без настоящего вожака, который сумеет отдавать приказы, разрешать наши проблемы и не струсит перед опасностью.

— И с умом спланирует удары.

— Мы подумали, что ты...

— Можно предложить главному штабу дивизии.

Куэвас с трудом сдержал дрожь, на душе—и ликование, и тяжесть.

— А ты, динамитчик, тоже согласен? Тебе не важно, что я—«интеллигент»?

Флорентино взорвался:

— Не привязывайся к словам! Задаешься ты слишком, это точно. Но я в тебе признаю меткий глаз и хватку.

— Я требую тайного голосования и, чтобы не оказывать давления, удаляюсь. Подсчет голосов на вашей с vesti.

— *Комильяс*, сейчас не до шуток.

Райгадас заметил с грустью:

— Ветер поднимается. Наверно, деревья на площади переломает.

Педро бросил игральную кость, прищелкнув пальцами.

— Проиграл. Да, сегодня, наверное, будет лить как из ведра.

Приход Гортензии с подносом, на котором стояли чашки и тарелки с салом, прервал совещание. Куэвас не решался взглянуть на нее, боясь, что старуха поймет, что ее подслушали. Он почему-то чувствовал себя виноватым, как будто был ее сообщником.

(«Хуан Мигель его зовут. Силач, любимец женщин, не пропускает ни одной юбки. Выкатив глаза слушает мессу, яростно дерется с соперниками. Когда прицеливается, просит своего бога, чтобы помог не промахнуться—

нужно же пробить череп какому-нибудь еретику. Мне, например. Что еще за душой у такого Хуана Мигеля? Фанатик: работать, драть глотку, махать кулаками, плодить детей и храпеть».)

Поев консервированных фруктов, они не торопясь закурили.

— Надо бы спать, и так уж засиделись.

— Бартоломе отчитается перед начальством и уладит дело с назначением нового командира.

— Да, *Комильяс*, высоко забрался.

— Скоро примешь команду.

Вжавшись в угол, Наварро захохотал:

— Язык у вас к глотке присох, что ли? Ведь мы хотели о нем поговорить и из-за чертова стыда...

— Слишком тяжело сейчас об этом.

— Никто не решается при всех... всегда выходит что-нибудь не то...

— Траурную речь командира придется выслушать.

— Это его обязанность, так положено.

— Он знал Жауме только по слухам, а видел всего несколько раз, и то случайно.

Бартоломе вытянул руки, похожие на поленья.

— Думаю, что и мы вряд ли хорошо его знали. Даже и не подозревали о том, что было глубоко внутри и всегда скрыто от глаз. Или почти всегда.

— Да,—поддержал Куэвас,—это самое главное. То, что делает нас теми, кто мы есть.

— А мы ведь были большими друзьями. Тогда, восемнадцатого июля, когда началась эта заварушка, Жауме...

— Ну, что остановился? Рассказывай.

— Захочу — расскажу.

— Да и я помню, Жауме был в тот день не в своей тарелке. Потом только пришел в себя и уж дрался на совесть.

— Тогда он научился, вернее, я его обучил, основному в нашем деле. Сложный у него был характер. В тот же день Жауме проявил слабость, за которую я его сейчас еще больше уважаю.

Близнецы заволновались:

— Давай рассказывай!

— Что за манера, сначала раздражить, а потом прикусить язык.

Но Бартоломе не желал уступать.

— Сменим пластинку. Речь шла о женщине. Большого от меня и под трибуналом не добьешься. Так что давайте о другом.

И переключившись на Куэваса:

— Я за тебя, Куэвас. Видел в деле — держишься молодцом. Постарайся не слишком выставляться. С тобой мы можем далеко пойти. Конечно, образование. Инженер, ни больше ни меньше. И родня без изъяна. Участвовал в нескольких нашумевших стычках до начала мятежа. Думаю, с нами ты ненадолго — месяц, другой, потом повысят. Ничего удивительного, и мы это примем как должное.

Продолжительное молчание. Туча мух жужжит над сахарными залежами в чашках. Громкий кашель старухи на кухне, словно звон разбитого кувшина.

Флорентино, про себя:

«Жауме не нуждался в похвалах и славе. Все тщательно продумывал, прежде чем послать нас в бой, где мы рисковали шкурой. Сдержанный, мягкий, но не трус. Если видел, что товарищ в опасности, сразу же приходил на помощь».

Наварро:

«А во время привалов, когда бесишься от неизвестности, от ожидания, умирал наши склоки, подходил к тому, кто больше всех разошелся: «Давай пройдемся вместе» — или: «А знаешь эту историю...»

Близнецы вспоминали его наставления:

«Проверьте оружие, боеприпасы. Будете в резерве. В случае чего — прикроете. Услышите мой сигнал — и вперед».

Жауме знал, как убедить Флорентино:

«Пойми, нужно проучить их. В тылу даже в поселках около линии огня ни о чем не заботятся. Может, там и знают нам цену, но все же считают лишь странными, мелкими насекомыми. Тем более, если ты, увидев, как они ленивы, ответишь тем же. Разделайся с ними».

Райгадас:

«Жауме, тудяга. Возился с нами, как с птенцами, подбадривал, успокаивал, когда нужно. И его раздавили. В герои не попадет, но не все ли равно? Мы-то его не забудем».

Куэвас обдумывал свое назначение: нужно завоевать доверие решительными действиями. Добиться того, что-

бы прибавили боеприпасов, а потом производить операции большего размаха. Наследие Жауме — личное обаяние, связь с людьми, простые человеческие отношения — все это не для него. «Мы так не похожи, по-разному живем, действуем, разные вкусы, устремления, разные ценности». Он понимал, как чужд этим людям, понимал, что не сможет ничего изменить, и страдал от этого. Постоянный анализ и самокопание. «Вечный раб своей гордыни, а еще провозглашаешь братство».

Чтобы прервать затянувшееся молчание, Куэвас распорядился:

— А теперь отдыхать! Все по местам. Нужно будет пополнить группу кем-нибудь из деревни. В силу обстоятельств мы прибегаем к помощи случайных проводников, непроверенных людей. Лучше всего было бы найти кого-нибудь из местных крестьян, знающего каждую тропинку, человека, который сам пришел к борьбе за свободу, за революцию. Только нужно искать, а не ждать, что он свалится с неба. Не стоит обманываться — мы люди городские, и здесь нам трудно. Не хватает проводника, его глаз охотника, собачьего нюха, шестого чувства. Даже его хитрости!

— Трубить во все трубы! Разыскивается лазутчик! Дать особые приметы?

Все, кроме Куэваса, засмеялись.

— Уверен, что мы его быстро найдем.

— Ну-ну. Дай бог.

Взрывы хохота.

II

Задвинув занавески — мягкий осенний вечер еще не погасил сияние ясного неба, — женщина начала раздеваться в темном углу, откуда он не мог разглядеть ее.

(«Сейчас она уляжется рядом, на этой чужой кровати. Судя по всему, сегодня будут одни разговоры»). Нужно быть начеку, не усложнять и без того натянутые отношения, избегать уклончивых ответов, так раздражавших ее. На стене напротив огромная картина — Барселона начала века: бульвар в окрестностях города, благоустроенные

господа в стиле Прата де ла Рыбы¹, владельцы текстильной фабрики, занятые разрешением социальных проблем, теперь уже устаревших. Картина показалась ему еще более нелепой, чем обычно. «Уже несколько месяцев вместе. Тайные свидания... Разве я имею на это право?» Как он мог попасться в ловушку? Нурия лежала совсем близко — повернув голову, он почувствовал, как ее светлые крашенные волосы щекочут висок. На лестнице зловеще загрохотало ведро. Зашумели опускающиеся жалюзи, укрывавшие от последних лучей вечернего солнца. Вдали — сирена парохода. «Почти идиллия».)

— Я даю тебе время подумать. Можешь еще помолчать, меня это не обижает.

— Устал как собака. Весь день на ногах.

— Ах, да. Новая выдумка — продавец газовых плит на дому...

— Почему бы и нет?

— Только не надо со мной об этом. Рассказывай кому-нибудь другому. Мы не дети и прекрасно все понимаем. А наши разговоры — только попытка спрятаться друг от друга. Я знаю примерно, в какую игру ты играешь. Или догадываюсь.

Куэвас попытался свести все к шутке:

— Ты будто сочиняешь сюжет какой-то комедии. Ну что ж, можно развлечься. Жду продолжения.

— Ты участвуешь в политической борьбе. Наверное, жил много лет за границей. Это прорывается даже в простом восклицании. И еще — твое имя не настоящее. Но я тебя не упрекаю. Иначе и быть не могло.

— В твоем положении самое благоразумное — сбежать. Или донести в полицию, сообщив мои приметы, через друзей, которые защищают твои интересы.

— Зачем? Чтобы заработать угрызения совести? И лишить себя удовольствия скрываться здесь с тобой? Можешь спать спокойно.

— Допустим. А если нас застанут вместе, разве у тебя не будет неприятностей?

— Я и это обдумала. Притвориться удивленной, утверждать, что ты обманул меня, а я была влюблена — вот и поверила.

¹ Прат де ла Рыба, Энрике (1870—1917) — каталонский политический деятель и писатель.

11 (Беседа, хотя и была для них совершенно необычной—впервые они говорили в открытую,—постепенно приобретала неприятный оттенок супружеских излиятий. Куэвас погрузился в свои мысли. Ее близкое тело, еще красивое, не было для него пределом мечтаний, но его сильно тянуло к этой женщине. Подобный опыт не забывается, он оставит осадок в твоей душе. *Комильяс, Комильяс*—прозвище, скрывающее настоящее имя... Вспомни о товарищах, которые слушают тебя, как оракула. Ты ведешь их за собой и не имеешь права обнаружить свои сомнения, усталость, подтачивающую твои силы, страх перед ответственностью. Уверен ли ты в успехе, в том, за что ратуешь, а если нет, ради какой высшей цели человеческие жертвы? Чем оправдаться? Разве что избитыми фразами: диалектика истории неумолима, мы всего лишь дрова, которые должны сгореть в общем костре, чтобы уже в обозримом будущем продукты труда стали общественным достоянием и т. д. и т. п. Среди этих «продуктов» и та конфискованная фабрика, что возвратили Нурии. Она дает небольшой доход, обеспечивает ей безбедную жизнь, а тебе некоторые удовольствия в ее обществе. «Я противостояю господствующему строю, хотя и незаметно для окружающих—«неуловимый дозор». Тяжело говорить об этом. А мечтал стать инженером, работать. Сейчас в голове уже заплесневели правила, теории, знания. Если все изменится, опять буду учиться. Пока же единственный путь—руководить, хотя это и рискованно, но если удастся захватить власть... Условия: убеждать, организовывать, вести за собой. Составляй листовки, призывай к забастовкам, перетягивай на свою сторону колеблющихся и благожелательно настроенных, если придется—стойко выдерживай любые пытки, никого и ничего не выдавая. Никакого постоянного жилья, отказ от необходимых маленьких радостей жизни. Один за другим гибли те, кто шли за тобой, сражались под твоим началом. Как мало ты их знал! Поверхностное знакомство. А когда с ними случалось несчастье, думал только о том, смогут ли еще приносить пользу. Нурия вдова. Муж вовремя умер. Пошлый брак, по инерции. И детей нет. Тогда, в тридцать шестом, она, должно быть, была хороша, очарование юности, как молодой плод, хрустящий шелк. Комитет вряд ли одобрил бы твои слабости. Они не затрагивают моей честно-

сти и верности делу! И вообще, усы меняют внешность. Сам Бартоломе сел рядом на скамейку на Пасео-де-Грасия и не узнал меня».)

Стоя против света, она поправляет комбинацию, надевает широкую юбку, застегивает яркую — сочетание зеленого и гранатового — блузку.

— Скоро начнешь поглядывать на часы, — Нурия остановила его молчаливый протест, — вот уже нахмурил лоб, поднимаешь левую бровь — верный знак.

И вдруг резко сменила тему:

— А знаешь, иногда я жалею, что не смогла быть здесь во время войны. Через две недели после начала нам с Хуаном удалось бежать во Францию. Там мы и пробыли, пока не установился наш режим. Я не хотела возвращаться в национальную зону, только в Барселону. Хуан настаивал, но безуспешно. Во Франции мы жили на мои драгоценности. А здесь в это время, наверно, было интересно — как опьянение во время случайной и отчаянной страсти, беспредельное воодушевление, смертельная ненависть. И ощущение постоянно подстерегающей опасности. Теперь не то — покой и тишина, застой в крови, точно знаешь, что случится завтра, ничего нового. Я, кажется, говорю много глупостей.

Куэвас с удивлением смотрел на нее. Нурия продолжала:

— А с тобой я как будто вновь переживаю те события. Восемнадцатое июля. Стоит ли все остальное одного этого дня? Может, именно это чувство привязывает меня к тебе, хотя мы и разные люди.

Что с ней? Откровенность на прощанье?

— Между прочим, именно в тот день я как женщина имела большой успех. Мы с Хуаном возвращались с праздника в Ситжесе. Остановились на углу площади Каталонии и улицы Пелайо и уже собирались выходить... Неожиданно появились двое рабочих в рубашках с засученными рукавами. В руках — обоймы с патронами и пистолеты. Должно быть, не слишком опытные. Они решили завладеть машиной. «Это для нашей организации, в защиту Республики. Оставьте адрес, машину вернем». Хуан весь сжался на сиденье, но я не растерялась, откуда только брались силы? Как фурия, я с силой открыла дверь и, когда вылезала, должно быть, показала голые ноги (она говорила с ностальгическим тщеславием).

«Посмотрим, как вы поступите с женщиной, которая вас не боится!» Один из них, помрачнев, сделал ко мне шаг, но другой, тот, что помоложе, остановил его: «Нет, только не с ней. Найдем другую машину». — «Какая муха тебя укусила, Жауме? Нашел время стесняться. Или, может, эта дамочка тебя задела?» — «Прошу тебя, поищем другую машину. Ты же знаешь, я слов на ветер не бросаю». — «Ладно, но если опять...» Хуан завел мотор, и мы укатили. Я успела еще услышать: «Только никому не говори, Бартоломе». — «Будь спокоен».

Огромная картина, расплывшиеся краски большого импрессионизма — старая Барселона, бульвар, дамочки в длинных облегающих юбках, бородатые господа в сюртуках, далеко в глубине — шапки рабочих. Посреди этой мазни — Нурия, прикалывающая брошку к осеннему пальто. В его памяти вдруг ярко всплыли дни боев, горячих схваток, бомбежек, плакатов и кричащих надписей на стенах. Как странно звучал сейчас эпизод, рассказанный Нурией, — глупая, смехотворная история. Но имена... имена вызывали воспоминания, которые связывали их всех.

— Ты не запомнила его? Ну хоть что-нибудь?

— Только лицо... Нет, уже забыла.

Куэвас задыхался от гнева, безрассудного, нелепого.

— Бедняга, наверное, до сих пор вспоминает, если не убит.

Поняв, что Нурия готова пустить прощальную слезу, он сказал:

— Возможно, мне придется уехать на несколько недель. Я сам тебя разыщу.

Нурия покорно ответила:

— Больше я тебе не нужна. Похоже, ты меня ненавидишь.

Куэвас открыл дверь, провожая ее.

Томас Винъялс, один из немногих, кто еще отваживался поддерживать связь, одолжил ему свой выходной костюм. Несмотря на то, что размер был тот же, Бартоломе чувствовал себя неуютно, точно его заперли в футляр. Сначала казалось, что толпа прохожих — он находился на углу площади Каталонии и улицы Пелайо — разгадала его «маскарад». Но нет, они торопились по своим делам с бьющим в глаза безразличием, движимые

непонятными побуждениями.

Расстояние совсем маленькое. Но Бартоломе осмелился пройти здесь впервые. Это одно из самых многолюдных мест в городе. Как странно, что никто не окликает, не издает возгласов удивления, не показывает пальцем и не бросается к тебе, чтобы арестовать. Но от этого он еще больше чувствовал себя здесь чужим, иностранцем. Никто не узнал, не подмигнул незаметно, как сообщнику. Такой же как все, один из многих.

Ничего родного и близкого в этом городе, с которым связано все его прошлое. Только остатки воспоминаний: полет голубей с дымчатыми крыльями, знакомые с детства неровности мостовой, шум пробуждающихся улиц.

Предстоящее свидание с Куэвасом в кафе на улице Салмерон сильно волновало Бартоломе. Изменился ли он? Они могли бы поговорить о прошлом, о давних днях. А потом опять скрыться. Спрятаться, убежать из этого лабиринта толпы, от общения с чужаками. А наши ребята повзрослели, изменились. Все, кроме его самого.

Вдруг захотелось громко позвать их:

Жауме

Наварро

Райгадас

Флорентино

Близнецы

Педро

Рамон, крестьянин.

Автомобиль жемчужно-серого цвета затормозил на перекрестке прямо у ног Бартоломе. За рулем сидела женщина, и ее неожиданно выплывшее из мрака лицо потрясло его воображение. Казалось, он слышит звук открывающейся дверцы, а потом — как вспышка молнии — эти ноги, молодые вены, белоснежные кружева... Он почувствовал пот на висках Жауме. И вспомнил собственные слова, заглушаемые возней старухи Гортензии в хлеву:

— Всего одно мгновение. Жауме такой застенчивый.

Ба, да ты грезишь наяву. Трудно привыкать. Куэвас, наверное, уже ждет. Бартоломе твердым шагом пересек площадь (неужели удастся победить страх?) и с угрюмым видом смешался с группой людей, которые толпились на трамвайной остановке.

1971

ГИЛЬЕРМО ИЗ КАСПЕ

Грузовик с брезентовым верхом, до отказа набитый одеялами, мчался по свежему гравия, подгоняемый выстрелами. Сзади рвались бомбы, оставляя в земле прямоугольные воронки.

Местность кругом была тихая и безлюдная: мягкие изгибы холмов, окаймленные зарослями кустарника и полосами песка, деревца, заломившие ветви в судорожном забытьи. Два оглушительных звука, сливаясь, перекрывали друг друга: грохот взрывов за холмами да рев мотора.

Словно что-то подтолкнуло Гильермо— он резко прибавил ходу.

— Эта чуть меня не накрыла. Да-а, пахнет жареным.

Теперь гул истребителя слышался совсем рядом, хлестнула пулеметная очередь. «Если остановиться и попробовать бежать— меня пришьют,— подумал он, и от этой мысли свело челюсти.— А на такой скорости не долго и в лепешку расшибиться. Впрочем, уж лучше расшибиться».

Прямо перед машиной на дороге взметнулись фонтанчики пыли. Руль как бешеный рвался из рук. Штабеля одеял в кузове поглощали пули.

«Может, уйду живым, тогда солдатам будет чем накрыться. Нас не запугаешь».

Еще немного— и он перешагнет неведомую черту между жизнью и смертью; а как хочется уронить голову на грудь и забыться сном! «Навсегда».

Очередь прямой наводкой— Гильермо подумал, что вот сейчас, в бешеной гонке, не совладеет с машиной, а свист пуль все громче и громче.

Сколько это длилось— неизвестно.

Неожиданно стрельба стихла, и он медленно затормозил. Над головой— бескрайнее небо, чистое и спокойное.

Гильермо остановил грузовик и вышел; ноги— как кривые ветки. Такой высокий, что длинная тень легла почти через всю дорогу. А какие широкие и могучие плечи! Он недоверчиво ощупал себя— от жесткой рыжеватой шевелюры— до колен, в которых не унималась дрожь. Воздух зимнего полдня казался ему горячим и душным.

Гильермо привык делить опасность с другими— когда служил в конвое поезда, где каждый ехал сам по себе и в

то же время все были вместе, а тут пришлось выдержать такое испытание наедине с безмолвной долиной, и в голове появились ранее неведомые мысли о своей храбрости и одновременно о своей уязвимости.

— Я жив. Я выполняю задание. Благодаря мне несколько десятков бородачей смогут укрыться от стужи.

Нет, Гильермо не струсил, но теперь, когда все осталось позади, смертельно захотелось скорее вернуться. Он представил себе море городских огней, раскинувшееся у подножья холма, почти наяву ощутил запахи барселонских улиц, запахи толпы. Как же еще далеко до этого — сорок восемь часов пути. И вдруг перед глазами встала худая верткая фигурка Элизы — придуманное имя, пришитое, словно заплатка. Гильермо рассмеялся над этой нелепой причудой. Просто невероятно: чудом спастись от смерти и рваться в объятия польской девки, которая в тот, первый, раз обошлась с ним с истинно профессиональным презрением.

В досаде, чуть ли не в ярости, Гильермо хлопнул себя по загорелому лбу. Здесь, в полном одиночестве, без свидетелей, он мучительно переживал свое унижение.

Сара ждала его у дверей, где черный лестничный пролет темнел, как сгусток сумерек. Когда Гильермо поставил грузовик возле опаленной стены церкви, женщина направилась к нему, осторожно ступая походкой медленной и несколько неуклюжей. Она заметила, что Гильермо рассеян, что на лестницу он шагнул с видимой, в последнее время нескрываемой неохотой. Взлохмаченная ветром шевелюра отливала медью в лучах заходящего солнца. Могучее плечо, квадратная челюсть — совсем как знаменитый боксер со старой открытки.

Она разулась и в одно мгновение очутилась у Гильермо за спиной. Встала на цыпочки и ладонью закрыла ему глаза.

— Угадай, кто это?

— Что за шутки, Сара!

— Не смей произносить моего имени даже здесь, оно — наша тайна.

— Ну что с тобой такое?

— Давай прогуляемся по площади, как настоящие жених и невеста. Сегодня воскресенье, я специально нарядилась. Хочешь?

Элиза снова сунула ноги в лакированные туфли на слишком высоких каблуках, тесные в подъеме.

— Немного жмут, но потерплю.

Он окинул женщину пристальным взглядом от головы на жилистой шее до костлявых щиколоток. Новый костюм с иголочки, ни разу не надеванный. На шее накручено ожерелье из фальшивых зелененьких камешков. Юбка из бордового бархата—такие носят сельские служанки, когда приезжают в столицу покрасоваться. Между опавших грудей, которым лифчик тшился придать соблазнительную округлость,—нелепый букетик искусственных цветов, белых и голубых.

— Откуда ты взяла столько денег?

— Три месяца копила, что ты мне давал, думала, обрадуешься.

— А сегодня на ужин хватит?

— Как раз.

— Ну а если произойдет что-нибудь неожиданное, какие-нибудь сложности?

— Подумаешь, накоплю еще.

— Тебе лишь бы красоваться, а что война идет—так на это наплевать!

Она закусила губу и бросила что-то в ответ на своем шелестящем языке. Очень уж резко прозвучала неуместная строгая отповедь Гильермо. Как будто война, никого не обошедшая стороной, не позволяла порадоваться, пусть украдкой, не оставляла места простым человеческим порывам, стремлению Сары почувствовать себя такой же, как все. Она любила прогуливаться с ним под руку, по-воскресному принарядившись, и в самой ее походке сквозило желание быть обычной женщиной, всеми признанной женой этого мужчины. Или по крайней мере единственной постоянной подругой. Гильермо, казалось, совсем не понимал Сару, а может, ему было неловко показаться перед соседями с иностранкой, чье появление встречали сдержанным молчанием или холодным вежливым приветствием?

По-своему Гильермо, конечно, жалел ее, хотя боялся зря обнадеживать: ведь кончится война, которая их свела, и новая, пока еще неясно различимая жизнь вновь разлучит его с Сарой. Что ж, естественная развязка, независимо от того, кто победит.

— Ты что замолчала?

Молчание Элизы—или Сары, как она однажды призналась,—было шероховатым, точно пробка, едким, как ржавчина.

— Ты вроде хотела прогуляться?— На лице Гильермо снова появилось выражение недовольства, подмеченное Элизой уже давно.

— Ладно, не строй из себя мученика.

Это вырвалось у нее невольно; женщина чувствовала, что между ними стеной встает глухая враждебность, возможно, непреодолимая. Сара уперлась взглядом в тротуар, все еще дышавший дневным жаром, в тротуар, по которому ветер, пропитанный зловонием и скукой, гонял опавшие листья.

— Никого я из себя не строю! Захотела пойти, так идем!

— Да нет, лучше приберу комнату. Вечно что-нибудь остается недоделанным. Шить вот до сих пор не научилась. Потренируюсь на твоей рубашке.

Ее слова звучали по-детски беспомощно.

Гильермо нетерпеливо топтался на месте и, когда женщина повернулась, чтобы подняться по лестнице, не выдержал:

— Пойду разомнусь немного. Вернусь часа через два.

И, не попрощавшись, зашагал к метро. Он хотел, чтобы шум и суета улиц поскорее стерли воспоминание о ее лице и голосе. Город успокоит смутную досаду, грызущую его. Во что бы то ни стало нужно избавиться от неприятного осадка, который оставил последний разговор— результат постоянных стычек и скрытого раздражения. Одно-единственное слово, один-единственный жест способен засеть в памяти и бередить душу, держать тело в мучительном напряжении. Разве можно любить то, от чего иногда появляется смутное желание убить, разрушить?

— Вон идет этот, из Каспе, злой как черт.

— Ты чего явился, ты же в увольнении.

— Нет, правда, почему?

— Из-за юбки, наверное.

— Вернее, из-за того, что под юбкой...

У входа в гараж на скамейке собрались его товарищи по службе. При виде Гильермо они подвинулись, чтобы дать ему место.

— А мы тут разжились фунтом табаку и анисовой.

Тоску разгонять.

— В воскресенье хорошо бы проехать по широкому шоссе.

— Да, в городе тяжело сидеть сложа руки.

— Повезло тебе, Гильермо, ты не дежуришь.

— И все-таки приперся зачем-то в этот загон, даже странно.

— Я бы на его месте сейчас повалялся на чем-нибудь мягоньком.

— Да где их сейчас найдешь, мягоньких-то?

— Они теперь тайком работают, подорожали.

— Вы о чем?

— Дурачком прикидывается...

— Это все, что вас занимает?

— Да уж простите великодушно нас, грешных.

— Смотрите-ка, Гильермо покраснел. Даже в мыслях он верен своей несравненной невесте, которую от нас прячет.

— Что, стопроцентная девственница?

Гильермо встал:

— Ну ладно, посидел, и хватит.

— Вот еще, ты чего это?

Разве не бывает так, что какая-нибудь мелочь, сущая безделица, определяет нашу судьбу? Праздная болтовня приятелей только обострила чувство досады и злобы на Элизу—или Сару, как угодно,—и на свою собственную нерешительность. Гильермо был простым парнем и не имел обыкновения долго размышлять. Он не понимал, почему именно сейчас, когда он один на один встретился со смертью, этот неотвязный образ явился ему с такой необычной яркостью, готовя его к неизбежной встрече и к новым уступкам.

...Передняя публичного дома—на улице Конде-де-Асальто—мало чем отличалась от приемного покоя больницы. Жесткие кушетки вдоль стен, узкая кишка коридора, по обе стороны которого тянулась вереница замызганных комнатушек, одинаковых, как соты, освещенных унылыми лампочками, заливавшими стены мертвенным больничным светом. Там «незанятые девушки» поджидали клиентов, под неусыпным наблюдением седоволосой женщины в толстых очках. Она следила за всем происходящим с возвышения, служившего кассой. Она раздавала

красные талоны, записывала инициалы и отмечала время свиданий.

Мелочи, на первый взгляд совершенно незначительные, говорили об откровенно коммерческом, деловом духе этого заведения, где торговали женским телом. Дом славился дешевизной; хозяйка появлялась там редко и слыла существом почти мифическим. Не допускалось никаких телячьих нежностей—они только мешают работе.

Мужчины толклись в коридоре сотнями, просто отбоя не было. Обстановка, царившая в заведении, заставляла выбирать пару быстро, без лишних колебаний, а огромные часы в вестибюле, с золочеными гириями и неутомимыми стрелками, настраивали на деловой лад. Мужчины выходили из комнат одни, поскольку неписаный, но строгий закон запрещал провожать клиентов.

Гильермо никогда раньше здесь не бывал, поскольку предпочитал заведения более комфортабельные и не так откровенно похожие на фабрику. О существовании и особенностях этого дома он знал от одного приятеля.

Дело было июньским вечером, в субботу, если не изменяет память. Он отправился в профсоюз; там его настойчиво отозвал в сторону делегат их мастерской. Необычное стечение народа заставило обоих выйти на балкон. В гуле голосов чувствовалось с трудом сдерживаемое возбуждение, а иногда даже какая-то религиозная иступленность.

— Послушай, мы тут собираем деньги. Ты сколько можешь дать?

— Но я же в среду выплатил все задолженности.

— Тут речь идет о необычном деле. Ты что, не в курсе?

— Кого-нибудь хоронят?

— Пока нет, но скоро будут хоронить тех, кто мечтает свернуть нам шею. Позарез нужно оружие.

И делегат сообщил, что представилась возможность достать крупную партию.

— Ты мне доверяешь? Греческое судно отплывает завтра. А с этими молодчиками деньги—лучший переводчик. Твои товарищи сдали больше чем по десять дуру.

Гильермо не поспешил, вытряс все, что было в кошельке, оставив себе каких-то двадцать пять песет.

— Это на пиво и сигареты. Я человек холостой,

кормить мне некого, как-нибудь перебыюсь. Свистните, когда надо будет.

— Сам обо всем узнаешь. Но на всякий случай не теряй с нами связи. Мы здесь всегда, даже в праздники.

Потом он отправился бродить по Рамблас. («Настоящие паникеры. До кровопролития не дойдет. Много шуму...») Навстречу то и дело попадались влюбленные парочки. Тонкая ткань облегла округлости женских тел, под глубокими вырезами платьев угадывались пышные груди. Барселона—город-самка, игривая, соблазнительная женщина.

Вдруг взгляд его уперся в выгоревшую раскрашенную вывеску. Ну да, то самое заведение. Он вполне мог позволить себе потратиться, дотянуть до понедельника и выручить товарищей деньгами.

«Шесть песет—и дело в шляпе». Гаденькое словцо, Гильермо даже поморщился, мысленно произнося его, хотя в мужской компании оно показалось бы в порядке вещей: «Что ж, будем выбирать из стада». Женщины из глубинки страны, «отбросы общества». (Он пытался заглушить неприятное ощущение этими чужими, презрительными словами.) Француженки и итальянки, еще более потрепанные, чем испанки. («Даже шведки есть, совсем не такие холодные, как кажется»,—словно нашептывал чей-то липкий голос.)

И Гильермо замешался в толпу шумных рабочих, помятых чиновников, портовых грузчиков и матросов, которые догуливали пьянку.

Людской поток вливался в русло коридора, где примерно с десятков «девочек» разглядывали входящих с наигранным восхищением, глазами, затуманенными густым табачным дымом.

Одни развалились на стульях, другие стояли чуть поодаль, но на достаточном расстоянии, чтобы успеть перехватить клиента и в то же время не подходить слишком близко, тем самым не допустив тактической ошибки. Гильермо было хорошо знакомо такое поведение, и все же оно ему льстило.

Тощая проститутка сидела в стороне, не принимая участия в немом спектакле. Скучающее лицо повернуто в профиль, светлые волосы как у дешевой куклы, из-под юбки торчат костлявые колени.

Гильермо щелкнул пальцами, подзывая девушку. «Се-

ледка» даже не пыталась скрыть удивления («Что это ему взбрело, неужели получше не нашел? Наверное, я напоминаю ему невесту, оставленную в родной деревне») и подошла ленивой походкой, с кислой улыбочкой на лице. («Пожалуй, еще передумает, ну и пусть. Я все худею и худею, просто непонятно, что во мне до сих пор находят. А ведь надо же, без работы не сижу, клиентов порядочно».)

Мужчина начал выказывать нетерпение. («Судя по рукам — рабочий, вон какая грязь под ногти въелась».)

— Ну что, ошастливишь, красавчик?

— А ты не здешняя.

— А тебе не все равно? («Проклятое «р»!»)

— Да нет, просто так спросил.

— Я из Варшавы. Знаешь, где это?

— Проходил когда-то в школе, да забыл. Где-то на севере. В России, что ли?

— Да к тому же еще чистокровная еврейка. Как вы нас там между собой называете? В общем, последняя дрянь. В этом «отеле» торчу уже пять лет. Вопросы есть?

— Да нет, больше нету. («Эта тетка у кассы за нами наблюдает, даже покашливает, чтобы обратить на себя внимание».)

— Ну так что, пойдем? Возьми талончик.

Дальше все шло как обычно. Иностранка отработала положенное и принялась зевать.

Кровать, умывальник, пара стульев. Вязкий летний воздух. По коридору кто-то прошел, топая, в сторону патио, потом еще и еще.

— Сил больше нет. Можно попросить тебя об одном одолжении?

— Наконец-то заговорила!

Полуголое тело, как у хилого подростка, беспощадные морщины. Высказала просьбу — и в монотонной, бесцветной речи послышались жалобные нотки. («Вот победим — покончим со всем этим. Вы станете полноценными людьми, чьими-то женами, матерями; но ей это ни к чему говорить, еще засмеет».)

— Что-что?

Она хрипло и невесело рассмеялась.

— Купи еще час и посиди со мной. Мне нужно поспать. Что-то последнее время голова кружится. Если узнают — выгонят.

— А что мне за это полагается?

— Ничего. Просто посиди со мной, пока я буду спать. Можешь покурить. («Или вспомнить что-нибудь приятное».) А потом ты меня разбуди, чтобы не начали трезвонить. Здесь в каждой комнате свой звонок.

Гильермо колебался. («Это мои последние деньги».)

— Если не хочешь—не надо. Идет?

Он потрепал девушку по спине. В ответ—легкое пожатие руки.

...Смотреть, как спит незнакомый тебе человек— даже не человек, а несчастное, нелепое и жалкое существо. Но это вначале. Потом тишина и полутьма, насыщенные прерывистым дыханием, стали обволакивать Гильермо. «А ведь она не дает тебе думать. Свернулась клубочком, почти спиной к тебе, и ты пытаешься представить себе ее детство, грустное приключение, толкнувшее беднягу на это грязное ремесло. Интеллигенты, мелкие буржуа, которые уверяют, будто стоят за наше дело, смеются, когда мы говорим, что проституток нужно вернуть к полноценной жизни. Почему смеются? Мол, пошло, старо... Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Нужно искоренить социальные причины зла. В индивидуальном порядке смешно что-либо исправлять. Получится как в дрянных бульварных книжонках. Останься ты в Каспе, Гильермо, ты бы женился. Ведь землю пахать собирался, но услышал о Барселоне—и загорелся. Ты мечтал о ней—и город тебя опутал. Ты закусил удила. Твои товарищи говорят о неизбежной революции. Мы— создатели всех богатств, а нас угнетают, выжимают последние соки, как из винограда в давяльне. Ребята из профсоюза достанут оружие. Но пойдут ли за нами солдаты и те, кто сейчас науськивает их против нас? Тогда или все, или ничего. Хотя бы на некоторое время мы станем сами себе хозяева. Вот уже много месяцев я не видел поля; а так хотелось бы вобрать его глазами, как бывало в детстве. В праздник дома и простой хлеб веселит и подбадривает. А корочка у хлеба упругая, как струна гитары. Басовая струна... Так, значит, Элиза? Ну и штука!»

Теплое дыхание, не дыхание, а жалобные стоны в мягкой полутьме. Сквозь занавешенное окошко пробиваются жидкие сероватые лучи, освещают свернувшееся во сне существо—пряди желтых волос, бугристую

кожу. Кажется, это худенькое беззащитное тело заполняет собою всю комнату. И Гильермо инстинктивно ощущает себя его властелином.

(Предчувствие, встреча, касание, ожидание, мелочи, на которых замешана человеческая судьба,— все в этих худеньких, хрупких плечах, согнутых жизнью. Непонятно откуда взялось ощущение, что женщина неотделима от него, Гильермо.)

Но так продолжалось недолго. Она проснулась, хлопнула ладонью по подушке.

— Одевайся, хватит.

Предстоит пересечь из конца в конец воскресный город, делающий вид, будто никакой войны не существует. Те же привычки, оживление, бестолковая суета. Гильермо — механик, шофер конвоя поезда, червь в огромном ананасе города, червь, который кричит, ловит наслаждения и в один прекрасный день умрет,— вдруг испытывает острую тоску по своему углу, где вечно недовольная женщина встретит его с безрадостной покорностью.

Гильермо долго стоял в нерешительности посреди безлюдной равнины, его так и подмывало повернуть назад. «Еще вообразит, что теперь я у нее под каблуком. Давно надо было со всем этим порвать. Все равно мы никогда не поженимся. Кончится война, жизнь войдет в свою колею, и — каждый сверчок... Ни о какой влюбленности не может быть и речи. Просто встретил ее случайно и пожалел. Не разбудил сразу. Тогда ночью, перед заварушкой, уступил — и пожалуйста: сидел и караулил сон какой-то девки! Надо же, был у смерти в когтях, чудом спасся — тут она возьми и вспомнись, черт бы ее побрал, в самое неподходящее время. Ты совсем раскис. Нет ничего — только сумасшедшее желание жить, услышать человеческий голос. Барселона сейчас совсем другая. Попал в переplet, ушел живым и вот возвращаюсь. Можно будет взять кружку пива и анчоусов. Или нет — лучше бутерброд с ветчиной, хоть и дорого. До чего же вкусно, с ума сойти! И красного винца, чтобы пенилось в горле и бодрило, а потом уложило наповал. Жаль, петь не умею, вру сильно. Глотать ветер, пить его жадными глотками. Кругом ни души, можно мурлыкать песенки, какие пели дома. Слова, правда, хромают, ну да не беда,

сам что-нибудь придумаю. И словно чтобы поддразнить тебя — вон в окне два тела слились в объятии и исчезли в комнате. Что это — злорадия или грусть, летучая мышь или канарейка? Вперед, куда глаза глядят. Только не в казарму, где отдыха не будет».

— Куда ты подевалась?

Эта часть дома, его комнаты, пропитана запахами. Резкий аромат духов, от которых Сара так и не отказалась, из гостиной плывет запах перезревших фруктов, лежащих на столе, остро пахнут шарики нафталина в шкафу: все говорит о привычном присутствии Сары. До сих пор слышен запах подгоревшего в полдень масла.

Он продвигается на ощупь. «Закрывает балкон». За разбитым стеклом маячит желтовато-белый круг фонаря, да еще полная луна освещает темные комнаты. Скрипят половицы, и шелестит ветерок, пахнувший травой и морем.

— Не выйдешь через пять минут — ноги моей здесь не будет! Так и знай!

Ни шороха, ни вдоха в ответ. Ощущение пустоты вдруг охватывает Гильермо и приводит в ярость. «Надо взять себя в руки». Из суеверного страха он не зажигает света. Напрасно ждет, что вот сейчас шаги Сары — дробные шаги тощей козы — успокоят его. В соседней квартире бормочет радио. Сообщение о положении на фронте. «Захватили такую-то высоту». («Тебе, по счастью, выпало увольнение. Скоро придет оружие, которое, как обещают, выгрузят на днях, — и снова крутить баранку, снова громоздить отчаянную бесполезную оборону. Ты — один из самых надежных, и в трудную минуту... Держать мост... Они висят у нас на пятках».)

— Куда ты спряталась, Сара, Элиза? Дрянь, чертова дрянь!

А вдруг она услышит? Он скомкал последнюю фразу. Голову распирает от винных паров. Несколько месяцев назад шатался как бездомный пес и наткнулся на нее. Мне тогда и в голову не пришло... Она брела, волоча ноги, пьяная, оборванная, держась за стену. Элиза — в белой накидке сестры милосердия, я — в военной форме. Чужие друг другу люди; я не двигался с места, и в ней проснулось прежнее бесстыдство.

— Ну да, она самая. Что, забавно? Но сегодня мне неохота!

От неожиданности я заговорил слишком церемонно.
— Вас кто-нибудь побеспокоил? Если хотите, я провожу, и никто не сунется.

— Хорош кавáлер!

«Р» выдавало ее — и снова заработали жернова воспоминаний.

— Кажется, мы где-то встречались...

По лицу, выдававшему безотчетный порыв души, она поняла мое искреннее изумление, наверняка поняла.

— Угости-ка меня чем-нибудь горячим.

Вскоре мы удобно устроились за столиком среди ресторанной толкотни, и Элиза рассказала мне о своих мытарствах.

Тип с ровным шрамом под подбородком щеголял погонями майора. Сразу видно, что кадровый военный: очень уж высокомерно держится. Отходя от стойки, он задел Сару рукавом. И вытянулся по стойке «смирно» перед нами.

— Прошу прощения, сеньора!

Словно плотный занавес, опустилась на город ночь, и Гильермо принялся искать на комодке свой фонарь. Он понял, что не выдержит одиночества, которое стучало в висках и которое только усилится, если зажечь свет. Нужно будет убедить себя, что совместное существование кончено и дальше придется жить без Сары.

Пыльный треугольник слабого света, трепещущий, как его сердце, выхватывает из небытия углы комнат. Спальню Гильермо обыскивает в последнюю очередь. Там он огибает кровать, останавливается около туалетного столика, где царит страшный беспорядок, открывает шкаф и видит пустые полки.

Бусины разорванного ожерелья брызнули на плитки пола. Гильермо расшвыривает их ногой и чуть не падает. Одеяло на широкой двуспальной кровати смято — Сара плакала, сжавшись в комок от одиночества. Ее длинное платье с искусственными цветами, словно пустая оболочка, повторяет очертания скорченного тела. Юбка с несминаемыми складками, пояс вокруг талии. Ткань, некогда облежавшая грудь, вся изорвана: она проткнула платье ножницами как раз там, где должно быть сердце.

«Это вместо письма. Она хочет сказать, что уходит навсегда».

Волной накатило оцепенение. Другая воля, сильнее его собственной, воля человека, оставившего нерасшифрованное послание. «А вдруг Сара решила покончить с собой? Или это обыкновенная уловка, чтобы сильнее привязать меня? И тогда, вернувшись, она будет управлять мною, как обьеженной лошадью».

— Сара, дрянь проклятая! Наверняка ты меня обокрала!

Гильермо бросился—ведь тогда появится повод презирать Сару и одиночество будет не так мучительно—объяснить квартиру. Но все его вещи на месте, в шкапулке лежит пачка денег; со злым разочарованием он считает и пересчитывает бумажки.

— Это гордыня, а не честность. Еще один способ унижить меня.

Пустотой зияет только рамка фотографии на полке, заставленной ракушками, открытками с видами Варшавы, сценками из сельской жизни и изображениями народных танцев, которые Сара неуклюже пыталась демонстрировать Гильермо. Разорванная в клочки фотография валяется на полке. «Хочешь растоптать меня. Раздавить своей ненавистью, своей любовью, тяжелой, как свинец...»

«Снимок сделал один приятель из профсоюза, числа двадцатого—двадцать первого июля; я, уже в форме, уселся на перила на площади Каталонии, в руках винтовка, а над головой летают голуби».

Гильермо лег на потертый ковер и ждал, что вот-вот щелкнет ключ в замке или скрипнут половицы на лестничной площадке. «Она испытывает мое терпение и заплатит за это».

Вдруг в мозгу, словно молния, вспыхнула догадка: он понял, какие несбывшиеся желания, не замеченные им, томили душу Сары.

«Я воспользовалась твоим отъездом, чтобы сходить к гинекологу. В очереди за хлебом говорили, будто он делает чудеса. Но доктор сказал, что мне нужно длительное лечение, что это стоит бешеных денег и в наших условиях... Конечно, ты молчишь... Я понимаю, тебе ни к чему... Да и мне не хотелось бы связывать тебя ребенком!»

Почему он скрывал от товарищей, где живет, скрывал свои отношения с Сарой? Гораздо больше, чем насмешек и колкостей, он боялся объяснения, на которое чувство-

вал себя неспособным: слишком беспомощным, чтобы разобраться в путанице человеческих отношений и привязанностей. И потом, рассказать все означало лишить себя собственной маленькой тайны, которая — даже смешно — спасала и поддерживала его в жестоком хаосе войны. Очевидно, именно такое поведение больше всего ранило Сару.

Для него эта женщина была призраком и реальностью, стержнем всех планов и основным препятствием на пути к уже недалекому будущему. Его мечта уничтожить классовые различия и построить царство равенства разбивалась о жестокую действительность: республиканцев оттесняют все ближе и ближе к Пиренеям. «Враги захватят и мою квартиру». Прежде всего разыскать Сару, если еще есть время. Но Гильермо чувствовал, что никаких ее следов не найти. Впереди — пустые смутные дни. «Никто не станет тебя слушать. Можешь теперь плакать, как брошенный ребенок».

Когда начались бои у верфей, девушки и кассирша бежали из публичного дома. Пока Гильермо, сжимая винтовку, прыгая через раненых, бежал к спасительной двери, Сара, возможно, всего в нескольких метрах от него зажимала уши. Она осталась одна в длинном коридоре, среди одинаковых клетушек, подобно губке, впитавших в себя столько человеческих стонов. Впервые ей подумалось, что машина, чьей пружинкой некогда была и она, разваливается, рушится прежний мир, как рушились города в библейских катастрофах. Эхо залпов сотрясало стены, дребезжали зеркала, разбились неумолимые часы (двадцать минут талон), подпрыгивали стопки полотенец, которыми стирали особую, липкую грязь этого дома. Содрогались вешалки, трещали каркасы продажных кроватей. Саре казалось, что ее гулкая тюрьма, теперь такая недолговечная и непрочная, несется по течению незримой вздувшейся реки. Несчастливая женщина ждала, что последний сокрушительный удар не оставит от дома камня на камне. «Я — ничто, я не человек, я вещь».

И вдруг напряжение, длившееся неизвестно сколько, спало. Поднялся ликующий вихрь криков и незнакомых песен. Что будет, когда все стихнет, войдет в русло? Неожиданно Сару охватила сонная слабость, и она прикорнула прямо там, на софе у входа. И тут же

провалилась в нескончаемый кошмар, где картины из детства сменялись бешеным хороводом лиц.

Проснувшись, Сара увидела, что на нее смотрит какой-то седоволосый мужчина и губы его кривит до странности знакомая ядовитая усмешка. Опустив ствол пистолета в пол, он перезаряжал обойму.

— Испугалась? Тебя что, посадили караулить этот притон?

Тут Сара заметила, что его почтительно слушает группа людей, стоящих чуть поодаль.

— Слушай, Курелья, а местечко неплохое.

— Эмилио, я подумал, что...

Тот, к кому они обращались, назвав сразу его фамилию и имя, прищурил зеленые глаза с агатовыми крапинками зрачков, и вдруг в них вспыхнул короткий блеск, говоривший о большой власти, которой пользовался этот человек. Саре показалось, что еще нестарый седоволосый мужчина — ее отец, простой и справедливый, что и она тоже с радостью подчинится ему.

— Да, я уже думал. Это будет замечательным символом революции. Ну-ка, давайте оглядимся, может, устроимся здесь, если только места хватит. Превратим притон в пролетарскую казарму, в жилище борцов. Вот что значит перестраивать жизнь.

Он зашагал по коридору, и конвой двинулся за ним. Как отличались эти люди от тех, некогда толпами бродивших по дому, воспоминание о которых вызывало у Сары тошноту и желание втянуть голову в плечи.

Распахнутые на груди рубахи, рабочие комбинезоны, оружие, словно прикипевшее к телу.

«Сара, о тебе забыли, ты больше не существуешь. Он отдает приказы, все здесь сейчас изменится, как по воле божества. Он даже не видит тебя, твоего измятого, невзрачного тела, ставшего словно чужим».

Голос Эмилио Курельи, человека небывалой, но сдержанной силы, властно перекрывал нестройный хор других голосов.

— Ну-ка, не зевать! Здесь будет секретариат отдела пропаганды; чтоб через минуту все было готово. Здесь — пункт регистрации добровольцев; Арагонский фронт не за горами. Вон в той комнате, самой просторной, — наверняка там сидела сама паучиха, которая сосала из них кровь, — разместится библиотека. Здесь — зал заседа-

ний комитета. На балконе вывесим знамя; эту дрянную вывеску сорвать и прикрепить несколько лозунгов. Да, чего-то еще не хватает...

Вокруг — насупившиеся лица. Наконец Курелья обратился к рослому юноше, выделявшемуся среди прочих форменной курткой каталонистского союза, потертой и рваной, и таким же кашне.

— Пусть наш «теоретик» Салоу, будь он неладен, скажет. Он меня порадовал сегодня — дрался как полагается и ничего из себя не строил.

Послышался добродушный насмешливый шепоток — так переговариваются между собой люди, тесно сплоченные смертельной опасностью, — и под пристальными взглядами товарищей Салоу, заикаясь, начал:

— Раз уж мне предоставлено слово, то хочу внести предложение...

— Короче.

— В госпиталях не хватает коек, это и понятно. А ведь у нас несколько раненых, и их при хорошем уходе можно поставить на ноги. С нами им будет веселее. Врачи найдутся среди наших сторонников.

— Согласен. Приберите вон те комнаты, слева от входа, и перенесите туда раненых, только осторожно.

Распределив задания и даже составив расписание, Курелья снова задумался, но через минуту его взгляд обрел былую уверенность и твердость. Он протянул руки и двинулся к Саре, которая испуганно отшатнулась.

— Не бойся, я тебя не съем! Госпиталю, даже самому маленькому, нужны сиделки... Лиха беда начало... А потом сами к нам пойдут. — И добавил, остановившись прямо перед Сарой, тоном то ли насмешливым, то ли торжественным: — Ты — как корабль: залатаешь бока, подлечишь раны — и снова в плавание. Я нарекаю тебя «товарищ Элиза». Звучит замечательно! И ты будешь достойна такого звания. Но учти: не захочешь работать как следует или не дай бог узнаю, что опять взялась за старое, — мараться об тебя не стану, сразу выгоню вон.

Послышался ропот, и между бровей Эмилио легла гневная складка.

— Все, что я делаю, что мы делаем, товарищи, очень серьезно. Строить лучшее общество нужно с чистыми помыслами. И хватит митинговать, беритесь за дело. Нужно побелить стены, продезинфицировать эту клоаку.

Сара вскочила и сама удивилась своей легкости.

— Мое платье не годится, не могли бы вы выдать мне халат, все равно какого размера? Пока я помогу вам мыть и убирать.

— Законное требование.— Курелья рассмеялся.— Если кто-нибудь станет приставать, скажи мне.

Эмилио Курелью прошили автоматной очередью из машины, промчавшейся на бешеной скорости (тогда многие так ездили, и никто не обращал на это внимания), в порту около таможни. Оборвали на полуслове речь, ненавистную его противникам. Он выступал перед грузчиками, говорил о давней розни между двумя профсоюзами портовых рабочих.

На Курелью страшно было смотреть, и только голову он держал прямо, как при жизни. Товарищи покрыли тело брезентом, чтобы спрятать от глаз развороченные внутренности и пятна крови.

Из подручных материалов наспех соорудили носилки. А тем временем печальная новость облетела город, передаваясь из уст в уста, вызывая гнев и отчаяние; не медля ни минуты, Курелью отнесли в штаб профсоюза, который разместился в бывшем публичном доме.

Привыкшая к суете, суматохе и шумным сборищам, «товарищ Элиза» не сразу поняла, что случилось. Она ухаживала за другим раненым: пуля была извлечена, но началось заражение крови, и паренька пожирала лихорадка. Два дня и две ночи Элиза не сомкнула глаз, неусыпно следя за температурой и дыханием, и чужая боль стала ее собственной.

Правда, она заметила, что в коридоре громче топот ног, что голоса звучат глуше обычного. Летний ветерок доносил в комнату тяжелый запах табака и пота вместе с нестройным хором гортанных возгласов и брани, звучащей резко, как удары хлыста. Бормотание за дверью сливалось в почти молитвенный хор, который перенес Сару в детство, напомнив ей молитвы в синагоге.

И тут дверь приоткрылась, и показалось остроносое лицо Салоу. Он вошел на цыпочках.

— Я осторожно, товарищ. Мы положили его в конце коридора. В сущности, до чего же однообразны революции и гражданские войны!

— О чем вы?

— Как, неужели ты еще не знаешь? Там Курелья...

Больше он ничего не сказал. У Сары перехватило дыхание — она все поняла.

Лицо ее вдруг ожесточилось, и она властным тоном приказала заменить себя у постели, на которой лежал пергаментно-желтый юноша.

Не чувствуя под собой ног, Сара вышла в коридор, и толпа, устремившаяся туда, где лежало тело, увлекла ее к гробу, покрытому красным знаменем. Гордая голова Эмилио покоилась на высоких подушках. Те, кто был его соратниками в борьбе, его друзьями, теперь застыли в карауле. Никто не осмеливался шагнуть за живую стену их сомкнутых плеч.

Словно в тумане видела Сара еще обутые ноги Эмилио Курельи и думала, что теперь, когда прервали его твердую поступь, ей будет чего-то недоставать в жизни. Толпа сгрудилась вокруг, люди подходили, чтобы постоять несколько минут в задумчивости, и уходили, отесняемые потоком вновь прибывших.

Однако Элиза в глубоком оцепенении, не в силах до конца поверить в случившееся, по-прежнему стояла в водовороте людей, которые спешили выйти на улицу, чтобы вдохнуть свежий воздух. В ушах у нее звенело, глаза застилала пелена. Она беспомощно топталась на одном месте, со всех сторон нажимала толпа, крутила и толкала ее, в горле першило от пыли, поднятой десятками ног.

Наконец кто-то взял ее за руку и отвел в комнату.

Придя в себя, Элиза поняла, что лежит рядом с порученным ей раненым. Какое блаженство вновь увидеть жидковатый свет, льющийся в окно комнаты, и печальную добрую улыбку Салоу!

И вдруг из ее увядших губ вырвался поток грубой брани — единственные слова чужого языка, которые она усвоила действительно прочно; такими проклятиями осыпает нагая женщина мужчину — словно яростно плюет бесстыдными уличными ругательствами.

Салоу слушал молча, с состраданием глядя на Элизу. И именно терпеливое молчание юноши ее утихомирило.

— За что его убили? Кто эти?..

Салоу пробормотал что-то невразумительное. Его слова и мысли, должно быть, покажутся странными несчастной женщине.

Для Салоу Сара—Элиза—оставалась изгоем, существом, исключенным из нормальной жизни, все равно что незнакомая монашенка («...моя слабость, пережиток прошлого; я уговорил ее переодеться, помог бежать...»). Противоречивые чувства вызывал этот кусок дряблой трепещущей плоти.

Но Сара не отступала:

— Я ничего не понимаю. Ведь он же победил всех врагов. Или враги еще остались, а вы не уберегли его? Как нелепо! Теперь, когда Эмилио уже не поднимешь, провожать его с геройскими почестями—зачем? Говори!

Салоу опустился на низкий стул; сгорбился, почти касаясь подбородком коленей. Казалось, он вот-вот попросит прощения; но он только пробурчал:

— В свое время сама все поймешь. Сейчас это для тебя слишком сложно.—И добавил фразу, ставшую его вечной поговоркой и выражавшую грустные мысли, которые не давали ему покоя:—До чего же однообразны революции и гражданские войны!

Сара со смутной жалостью поправила одеяло на кровати раненого.

— А вот его я, кажется, понимала.

Подбородок Салоу зарос темной щетиной—«несколько дней не брился»,—и, хотя его ждут неотложные дела, он говорит, говорит без остановки и боится только за судьбу этой несчастной—«жертвы капиталистического уклада»,—ведь только ему есть до нее дело.

«Ты скажешь последнее слово, товарищ Салоу. И не возражай, дисциплина превыше всего. Как следует взвесь то, что будешь говорить. От тебя зависит, ожесточатся ли оставшиеся в живых, встанут ли на верный путь. Ты должен показать, что мы не пали духом, иначе в предательском объятии нас задушат. Подчеркни, что враг у нас общий, скажи, что эти беспорядки—самая настоящая провокация. У них недобрые намерения. Постарайся не смешивать искателей приключений с большинством, честно борющимся за свои идеалы, которые мы хоть и не разделяем, но уважаем. Скажи, что, как только они примкнут к народному блоку...»

Салоу не мог забыть Курелью и то, как Курелья отзывался о нем самом.

«Ты знаешь гораздо больше меня всяких теорий и премудростей. Ты прекрасно можешь оценить обстановку

и наши возможности. Но у меня перед тобой есть одно преимущество: еще ни разу сомнения не закрадывались ни в мою голову, ни в мое сердце. Ты отважно сражался с нами плечом к плечу, даже чересчур отважно; но вот бой кончился—и ты смотришь на все со стороны, как зритель. Я никогда не доверил бы тебе руководства. Не следи я постоянно за тобой—ты оступился бы, отошел в сторону».

И все же, несмотря ни на что, Эмилио неизменно защищал Салоу. Однажды, выслушав, как другие нападали на юношу, он сказал:

— Да, Салоу говорит, что думает. Этого права ни у кого нельзя отнять. Пусть его точка зрения не отвечает ни нашим с вами взглядам, ни образованию, но чутье меня не обманывает, и я ручаюсь за его преданность. Будьте уверены, если завтра он будет с нами не согласен, то таиться не станет—или выскажет все откровенно, или уйдет совсем.

«Странный народ эти революционеры,—размышлял Салоу.—Необъяснимое сочетание тесной солидарности и недоверия. В известной степени они так же оторваны от жизни, как Сара или какая-нибудь там монахиня».

«Прежде чем идти на похороны, смажьте затворы, туже затяните ремни, как подобает настоящим рабочим. Будьте глухи к речам отступников, слушайте только Салоу».

Сара стискивает зубы, плотнее кутает острые плечи в платок.

— Я найду тебе замену, здесь у тебя не выдержат нервы. Я добьюсь, чтобы тебя устроили в госпиталь. Если будет нужно, всегда обращай ко мне. Нам будет тяжело без Курельи, правда?

Вот что рассказала Сара Гильермо в первый вечер; потом, когда они стали жить вместе, все время возвращалась к своим воспоминаниям.

Сара переходила из одного госпиталя в другой и боялась встретить мужчину, знавшего ее еще проституткой. Она не хотела быть узнанной. Наконец, когда напряжение стало невыносимым, Сара столкнулась с Гильермо.

Курелья и Салоу продолжали жить в памяти Сары, и для Гильермо это было невыносимо.

— Сегодня, пожалуйста, не трогай меня.

— Твой Курелья давно на том свете, а Салоу в Пиренеях.

— Да, скоро уже два года.

— Ты только что на них не молишься. Это надо же, берегли тебя, как какую-нибудь девственницу! Жди, так и поверил!

— Ты любишь меня и поэтому ненавидишь их.

— Чепуха!

— Не обижайся, но они не такие, как ты.

— Хочешь сказать, лучше меня.

— Нет, ведь ты же привел меня в свой дом, и я могу спокойно здороваться с соседями. Они думают, что...

Гильермо нечего возразить, и он только ворчит. И вдруг прорывается необъяснимая холодность, которая все ставит на свои места и доводит до бешенства. Что было, то прошло. Сцена на лестнице, яркое пятно разорванного платья. Непонятная власть Сары. Угнетающее ощущение, будто узы, связывавшие эту странную пару—ее и его,—разрезаны невидимыми ножницами. И все существо Гильермо протестует.

Он держал предмостовое укрепление в Балагере. Самый короткий путь для кораблей. Развороченные, как внутренности, в шрамах траншей и воронок, плодородные, с такой любовью возделанные земли выглядят мертвой пустыней. «Мы продержимся».

Иногда приходит мысль: «Должна же когда-нибудь кончиться эта гражданская война! Мы продержимся».

Слово «высота» — предмет натянутых острот, три волшебных слова, за которыми — смертельная опасность или великое событие.

Темнеет, зажигаются и один за другим гаснут огни в домах, прижавшихся к распаханному склону.

Впереди колонны идет машина Гильермо. Он сам попросился на это задание, и его поставили первым, потому что он опытен, прекрасно владеет собой. Пока грузовики едут по «нашей» территории, ненадолго воцаряется мертвая тишина.

«Я, Гильермо, веду вперед эти тяжелые машины. Дорога изгибается, как подкова, и там, где она уходит вправо, мы выскочим на главное шоссе. И тогда самый опасный участок позади».

На мгновение страстно захотелось остаться наедине с самим собой, чтобы без свидетелей окунуться в тоску (зов плоти и одиночество, ярость и раскаяние) по Саре. С каким-то лихим безрассудством Гильермо прижимает грузовик к обочине, высовывается из кабины и знаками велит товарищам ехать вперед. Потом кричит:

— Езжайте к шоссе, там можно побыстрее! Я вас прикрою!

Грузовики уходят вперед. Гильермо их пересчитывает.

Как пастух—стадо. Можешь снова и снова перебирать воспоминания, будто четки: улица Конде-де-Асальто. «Я хочу спать, посиди со мной».— «Возможно, мы с Курельей неплохо бы поладили».— «Я подарю тебе обалденное платье, Сара!» Все шоферы на своих местах, паренек из Сант-Андреу, как всегда, хохочет. «А вот Салоу—тот посложнее. Эти мне грамотеи со своими фантазиями...» Кончится война, вернемся—тогда Сара... И что самое худшее, дурак, ты не можешь выкинуть ее из головы.

Легкий ветерок доносит свежий аромат травы. А вдруг это все дурной сон—война и женщина, горы трупов позади и несчастное существо, с которым ты случайно встретился и которое ушло от тебя в другую жизнь, где ты совершенно лишний?

— Черт, надо догонять остальных, а то слишком отстал.

Ревет мотор, грузовик огибает рытвины, скоро начнется ровное шоссе.

— Зажгу-ка фары, ничего страшного.

Между горными вершинами—треугольник рдеющего свинцового неба, а в нем, словно большая рыбина, плавает самолет.

За окном машины несутся как сумасшедшие горные лощины.

— Я выдал себя! Он нас заметил!

...Перед глазами видением встали плавные склоны, крошечные люди медленно ползут по сочной зелени лугов...

Громыхнул взрыв, полоснула по затылку пулеметная очередь; грузовик потерял управление, смял изгородь у дороги и зарылся носом в заросли тростника.

ГИБЕЛЬНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

1

На темной потрескавшейся стене, рядом с громкоговорителем, из которого несутся победные звуки гимна, как влажное пятно, как беззащитно застывший комок гипса, белеет календарь. Эсперанса не может больше слышать этого гимна и видеть, как исходит слезами календарь. Она откладывает в сторону иголку, встает, накидывает шаль и, не слушая советов и поучений сеньоры Карметы, которыми та напутствует ее, выходит из мастерской. Эсперанса спускается по неосвещенной лестнице, пересекает просторный подъезд и оказывается на ярком свете улицы.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛЕВЫХ,

красно-желтые полосы¹ — а гимн еще звучит в ушах — как будто проступают на разорванных плакатах, насмехаясь

НО ПАСАРАН

не только над ними, но и над ней, над прохожими, которые выглядят испуганными и запыленными. И над Жорди. Особенно над Жорди, лицо которого чудится ей под всеми фуражками, как будто Эсперанса узнает его в каждом проходящем мимо военном.

Ноябрьский ветер приносит вместо гимнов запахи скудной еды и падали, и слезы Эсперансы высыхают — как раз перед внушительным официозным зданием.

Внутри она входит собранная, но на душе тоскливо, как и в другие дни. Как и в другие дни, тут очередь — всегда одни и те же побежденные люди: женщины с покрасневшими глазами, наголо стриженные дети, во взгляде которых застыла обреченность. А за барьером

¹ Цвета франкистского флага.

© Jaume Fuster

люди в форме разговаривают, курят и смеются, победоносные, как гимн или холодное ноябрьское солнце.

Эсперанса обращается к полному бледному парню, который, когда его не слышат товарищи, говорит по-каталонски¹. Он совсем не похож на Жорди, но ей внушает доверие: не смеется, как остальные, и глаза у него печальные, как поражение народа.

Какой-то мужчина поднимается с деревянной скамьи, чтобы она могла сесть. Эсперанса тяжело падает на скамью, словно в колодец, наполненный звуками гимнов и холодным ноябрьским солнцем, колодец, из которого ей уже никогда не выбраться.

2

Печка закоптила все вокруг. В клубах дыма, поднимающегося к потолку, ей чудится лицо Жорди. Из-за слез она не очень хорошо его различает, но знает, что это Жорди и что он с ней разговаривает. Однако Эсперанса не отвечает. Зачем? Ведь когда дым рассеется, лицо исчезнет и одиночество станет еще более губительным, более тягостным. Эсперанса ставит кастрюлю на печку и идет в комнату — вытертый ковер, незастланная постель, запах тревожного сна, а с красивой полки смотрит на нее фотография. И, как всегда, в горле встает ком, превращающийся в свинцовый шар — расплавить его не под силу даже мятым листочкам писем, которые изредка приносит священник². Эсперанса помнит их наизусть — слова, отдельные фразы, рисунки, почерк.

Комната темная и сырая. Стены встают, как клубы дыма или театральные декорации, — и запахи сна, унижения, холодное ноябрьское солнце, победные гимны отходят, уступая место открытым полям Кастилии.

Эсперанса бежит рядом с товарищами, крепко прижимая к себе винтовку, она слышит разрывы пуль и запах

¹ В течение ряда лет после победы франкизма на всей территории Испании официально признавался только один язык — испанский; употребление других языков (каталонского, галисийского, баскского) в общественных местах было запрещено.

² Письма из лагерей, где были интернированы попавшие во Францию испанские республиканцы, пересылались через Красный Крест и доставлялись, как правило, священниками.

отхожих мест. А после Эбро — покинутые дома и щемящее чувство поражения.

Неожиданно экран становится белым, изображение пропадает, как будто фильм прервали ради гимна и вскинутой кверху в ритуальном приветствии руки. Эсперанса поднимает глаза — представление начинается снова. Раздвигается занавес, исчезают серые стены и отвратительные запахи из внутренне́го двора, от которых содрогашься, как от оскорбительной ласки. И перед глазами возникают дожди Франции, блохи и вши. Или сенегальцы, тут же превращающиеся в мавров¹, их остро отточенные, чудовищные, не знающие поражения штывы безжалостно вспарывают животы и приканчивают.

3

Черные люди с их песнями проходят перед ней. Но Эсперанса их не замечает, они не существуют для нее. Они не кажутся ей нормальными, как нам, она отказывается их ненавидеть, как мы, они для нее просто не существуют. Черные люди, черные песни, что они поют, точно подстегивая себя и опьяняясь своей черной победой, превращаются в трубный военный гимн.

Воспоминания для нее — дело непривычное, но теперь она цепляется за них. Раньше купание в море летом, прогулки на волнолом зимними вечерами и нежность Жорди мешали ей подумать о нем как следует. Сейчас колокольный звон, от которого раскалывается голова, и женщины в черном, заполнившие все уголки города, вызывают у нее постоянное желание вспоминать. Это становится больше чем потребностью — способом покончить с гибельным одиночеством, последним прибежищем. Но ни ночь, ни день не приносят успокоения.

И снова женщины, плачущие и униженные. Меняется только форма, но каталонский акцент остается. Но теперь здесь стоит запах больших восковых свечей, а в воздухе, колышущемся от взмахов крыльев ангелов, разлиты безмолвные молитвы.

¹ Сенегальцы охраняли лагерь, где содержались интернированные во Франции республиканцы; мавры входили в отборные соединения франкистов. Те и другие отличались особой жестокостью.

Иголка мелькает в непрерывном танце. Сеньора Кармета украдкой жалостливо смотрит на нее. По радио не передавали гимнов; но говорили о войне, и металлический голос диктора звучал военной музыкой. Другие страдают. Они еще могут страдать. А потом наступит время разлуки и гибельного одиночества. Эсперанса думает о таких же, как она, женщинах, о вое бомбардировщиков и свисте бомб. Официальное извещение о смерти теперь уже не придет, придет письмо из Франции.

Эсперанса чувствует себя старой и умудренной. Она уже не завидует незнакомым и далеким женщинам, которым неведома разлука. Она думает о письме, что придет из Франции, или об известии, которое однажды ей неожиданно сообщат на улице и которое лишит ее покоя, заставит отступить уныние.

Естественным движением сеньора Кармета выключает радио. Холодное ноябрьское солнце застыло на потолке, как флаг, рвущийся на ветру. Эсперанса благодарна ей за этот жест, для которого требуется мужество, за невольное желание поддержать незнакомых женщин, что разглядывают фотографии и ждут писем со словами любви, писем, рассказывающих о будничных делах. Иголка мелькает, нить вышивает узор. И слезы, застывшие в уголках глаз, капают на руки.

Голос у сеньоры Карметы хрипловатый и вкрадчивый, Эсперанса слушает, что та говорит. Может, она и права. Так многие поступают. Какая разница между молитвой и этим? Сеньора Кармета говорит, медленно роняя слова, как будто обращаясь к платью, что вертит в руках, держа его на коленях. И пока хрипловатый голос напутствует Эсперансу, руки не перестают комкать ткань, а иглолка продолжает свой танец.

Люди в очереди не разговаривают. Слова нужны, только чтобы выяснить, кто последний, поздороваться, извиниться за то, что толкнули или наступили на ногу. Очередей в городе полным-полно. Люди уже привыкли и терпят. Они относятся к ним спокойно, как к руинам

разрушенного дома, которые обнажают остановившееся мгновение чьей-то жизни. Обои на стенах, часы в кухне — все потеряло смысл. Эсперансе грустно.

Наконец они внутри. Здесь звучат распоряжения, слова мешаются с запахом лежалой свинины, проросшего картофеля, каплями супа. Она произносит несколько слов. Всего три, они срываются с ее губ и, путаясь между собой, кажутся чем-то невозможным. Мужчина подходит к ней. Все, на что она осмеливается, — это, протягивая деньги и карточки, шепотом спросить. Мужчина смотрит на нее, и на губах его стынет молчание страха. Когда Эсперанса уже чувствует разочарование, она слышит слова, произнесенные тихо, как непристойный секрет.

Равнины, провонявшие вековой мочой. Стены, запачканные желтым унижением. Худосочная, болезненная девушка. Сеньора Анита в черном.

Завтра в семь часов, потихоньку, чтобы никто не видел.

6

Страх, как рыба кость, застревает у нее в горле. Страх и тоска и еще предчувствие, что сейчас ей откроется истина, которая ранит больше разлуки. Потому что поле Франции может превратиться в сырую землю и штыки вспорют тело Жорди навсегда. Но сделать это нужно. Нужно взять фотографию, спрятать ее в сумочку и закрыть за собой дверь.

На лестнице темно, разрушенный дом хранит молчание недавнего поражения.

Худосочная и болезненная девушка. Сеньора Анита в черном. Ровно в семь часов, потихоньку, чтобы никто не видел.

7

В комнате пахнет заточением и могилой. Слева от нее сидит женщина, у которой грязные, с черной каймой ногти. Когда их пальцы соприкасаются, Эсперанса чувствует отвращение. Зато у мужчины, сидящего справа, ухоженные руки с аккуратно подрезанными ногтями.

Вены пересекают эти старческие руки. Свет, льющийся с потолка, ложится на белую шевелюру, которая венчает его голову.

Голос сеньоры Аниты мешает Эсперансе рассматривать старого мужчину с ухоженными руками. Женщина говорит, тщательно выбирая слова.

Обстановка становится напряженной, соприкасающиеся пальцы сжимаются.

8

Она рассказывает ему обо всем: про движущийся стол и свой страх. У беременной женщины, которая искала своего мужа, закапали слезы, когда худосочная и болезненная девушка заговорила о тропических странах. А вот чего она не может объяснить, это почему сеньор Энрик идет провожать ее и рассказывает о прежней жизни, о сегодняшнем одиночестве и о разлуке. Иголка рисует слова. Она ткет узор, оставляя в стороне бегство и потерянную жену. Иголка с ниткой не останавливаются и не устают.

Завтра в семь, потихоньку, чтобы никто не видел.

9

Идет дождь. Город как будто проваливается в грязь, которая, кажется, хочет затянуть в себя проходящих людей. Служебные машины оставляют в воде борозды, разбрызгивая победу из-под колес.

Эсперанса чувствует себя опустошенной. После двух часов неподвижности у нее устали ноги. Ноги и глаза — потому что она много плакала. Полный бледный парень смотрит на нее и ничего не говорит. Слова не нужны. Она вернется в комнату, где пахнет заточением и могилой, расскажет о своем одиночестве столу, который двигается, худосочная и болезненная девушка будет говорить о далеких землях и тропической жаре или о сырой земле, взрыхленной штыками, которые пригвозждают тело навсегда.

Она не будет говорить о далеких землях. Сеньор Энрик поглаживает батистовый платочек, пахнувший одеколоном. Сеньора Анита нюхает платок, пристально смотрит на портрет женщины и просит всех сосредоточенно посмотреть на него.

Худосочная и болезненная девушка говорит о тьме, о мире, об огромном расстоянии. Тогда сеньор Энрик немножко поплакал. Из его блеклых глаз закапали мелкие, как дневной дождик, слезы. Он не рыдает и не сотрясается. Но по бесцветным щекам мужчины скользят слезы.

Сеньора Анита утешает его. Она приносит рюмочку ликера, гладит по спине. Сеньор Энрик закашлял — он поперхнулся и попросил прощения. Все наклонили головы, как будто бы чувствовали себя виновными в бомбежках или, может быть, в этих слезах.

Потом, на лестнице, сеньор Энрик вызвался проводить Эсперансу. Вместе они перешли улицу, не глядя на разрушенный дом. Остановившись перед подъездом, Эсперанса начинает рассказывать. Она чувствует, как ком в горле рассасывается, пока она говорит. Замужество, письма, молчание, отчаяние. Официальные учреждения, полный бледный парень, запросы, остающиеся без ответа молитвы. Сеньор Энрик уже не плачет. Он идет рядом и берет ее за руку, как будто он потерялся и боится не найти дорогу обратно.

11

Сеньора Кармета открывает дверь. Она возвращается растерянная, как будто гимн поднялся по лестнице, собирая дань с жильцов. Эсперанса выходит в прихожую. Глаза у нее искрятся, сердце готово выпрыгнуть из груди. Слова извинения, прошептанные с опущенными глазами. Это не был ни гимн, ни кусок плоти, растерзанной штыком. Сеньор Энрик растерялся. Эсперанса отбрасывая в сторону свое одиночество, прижимает его к груди, и оба спускаются по лестнице.

Дождя не было, но небо было серым, как предчувствие, как руины, как мысли побежденного города. Люди, у которых поражение перекинуто через руку, как плащ. Холодно.

Эсперанса не осмеливается даже говорить. В трамвае, пока сеньор Энрик покупает билеты, она думает об ушедших временах, мучаясь воспоминаниями о летних трамваях, отвозивших ее к Жорди.

Сеньор Энрик садится рядом. Он смотрит на свои ухоженные руки со вздувшимися венами, с коротко подстриженными ногтями. И его сдержанные слезы кажутся такими же естественными, как никелированные поручни, блестящие сиденья и надписи, запрещающие разговаривать. Это слезы покорности судьбе, слезы, вызванные знанием того, что до сих пор было неизвестно. Эти слезы рассказывают об общей могиле, об останках, которые раньше внушали любовь и уважение, об останках человека, рядом с которым состарился он, его любовь и страсть.

Маленькая, забитая мебелью квартирка. В столовой два серванта ломятся от посуды. Эсперанса понимает, что фарфоровые чашки и бокалы не вяжутся с теснотой квартирки и темной лестницей. Но она не обращает на это внимания. Сейчас все кажется нормальным. Даже страх. Она не слушает ни слов сеньора Энрика, ни болтовни хозяйки, ни односложных замечаний полного человека, у которого шея обернута шарфом, а поверх рубашки надета пижамная куртка. Для нее существуют только глаза загорелого парня, худого-прехудого, который озирается, как будто он еще не привык к ограниченному пространству, которое, может быть, и безопасно, но где не хватает пространства и товарищей, не хватает запаха отхожих мест и разрывов пуль. Кажется, что он задыхается среди засаленных стен и нагромождения мебели. Эсперанса отпивает глоток из поставленной перед нею рюмки. И тогда они приступают к главному. Парень был ранен в ногу, четыре месяца

провел в госпитале, и его отправили домой. С потолка столовой еще нависает страх перед концентрационными лагерями и городскими тюрьмами. И он яростно курит, время от времени потирая раненую ногу. И только когда заходит разговор о войне, оживает, глаза у него начинают блестеть, как будто солнце всех трех лет осветило его лицо, а ветер кастильских равнин пробился через поры, пропитанные потом дорог.

Эсперанса вспоминает письма Жорди. Те же слова, те же образы, та же гордость и тот же страх. Она узнает то сражение, то офицера, то пейзаж, то смешную историю. Стоит только закрыть глаза — и она видит почерк Жорди.

Но конкретные вопросы не рассеивают ее сомнений. Госпиталь, переход границы со всем полком...

Жорди, что дальше?

14

Сеньор Энрик чувствует себя виноватым. Ведь это он нашел парня, подумав, что, быть может, тот что-то знает, что у него могут быть сведения, которые Эсперанса вот уже четыре месяца разыскивает по всем учреждениям города.

Мрамор серый, как побежденное море. У мрамора тот цвет, который они заслужили, слишком холодный и равнодушный. Цветы появятся тут потом: должно пройти время, чтобы раны затянулись. А сейчас здесь только слезы, серые, как море и как мрамор.

Вопрос задавала Эсперанса. Сеньор Энрик не мог. Голос его разбился на тысячи кусочков, когда они вошли в душное учреждение. Это Эсперанса спрашивала, уже зная ответ, и это она привела сеньора Энрика на общую могилу. Общую могилу, где закапывают кости, хрящи, ненависть, любовь, ожидание и страх, уравнивший всех.

15

Сеньора Анита смотрит на портрет Жорди. Черты ее напрягаются, а глаза превращаются в два горящих отверстия. Затем, пока фотография переходит из рук в

руки, она что-то бормочет. Эсперанса чувствует себя неловко, когда достает фуражку, грязную, пропотевшую, но еще хранящую запах его волос и ветер равнины.

Эсперанса ждет меня

написано на подкладке. И почерк Жорди кажется наивным, беспомощным, чужим. Эта фуражка всего лишь старая тряпка, отголосок иных времен, и Эсперансе стыдно. Но сеньор Энрик, который пришел только ради нее, берет фуражку, как будто это реликвия. И в его руках старая тряпка приобретает смысл, стыд уходит, уступая место гордости.

Молчаливая равнина над соприкасающимися пальцами, над круглым столом, над стенами, пропахшими заточением.

Голос сеньоры Аниты поднимается, как религиозное похоронное песнопение. Эсперансу бьет дрожь. И после вызывания духов, после молчания, длящегося вечность, худосочная и болезненная девушка начинает бормотать. Сначала тихо, монотонным голосом, нараспев. Затем речь становится более внятной. Слова ее воссоздают уже знакомые Эсперансе картины: военный поезд, летний зной на кастильской равнине, силуэты бомб...

И вдруг снова молчание. Ни сырой земли, ни острых штыков, которые распарывают внутренности, ни людей в белом. Молчание разрывает только крик Эсперансы, поднимающийся до самых темных уголков и замирающий в одиночестве.

16

Дети едят серый хлеб и выданный по карточкам шоколад. Маслянистая вода бьется о скалистый волнолом. И скудное вечернее солнце сглаживает острые углы скал, укорачивает размеренный полет чаек. Поток желтого света заставляет щуриться покрасневшие от разлуки глаза. Она опускает голову. Ухоженные руки с коротко подстриженными ногтями, покрытые венами, сворачивают папиросу. Это те же жесты, что и у Жорди. Большой и указательный пальцы правой руки придерживают рисовую бумагу, пока указательный палец левой руки разравнивает щепоточку табаку. После этого двумя указательными и двумя большими пальцами быстро свертывает бумагу,

оставляя полоску, которую смачивает языком. Разравнивает трубочку, разминает один из углов и засовывает ее между губ. Чиркает спичкой и с наслаждением делает первую затяжку.

Затем он пристально смотрит на нее, и зрачки его старческих глаз сжимаются под холодным ноябрьским солнцем. Говорит он спокойно, размеренно, как будто не осмеливается говорить о том, что на самом деле известно... Она видит, как он погрузился — он в конце концов примирился со смертью. И теперь это всего лишь такой же старик, как другие, курит сигарету и греется на холодном ноябрьском солнце, пока дети играют на камнях.

Он говорит о жене так, как будто она умерла много лет назад. Он с легкостью вспоминает — они часто приходили сюда смотреть, как играют дети, которых у них не могло быть. А Эсперанса слушает его и думает, что она тоже приходила сюда с Жорди и что это можно рассказать кому-нибудь как приятное воспоминание, как историю, которая произошла с другой женщиной.

Сеньор Энрик прикрыл веки, голос его стал тоньше и глуше. Эсперанса видит их обоих, сидящих на парапете, глядящих на детей и неспешно разговаривающих. Потом, когда начинает смеркаться, они не торопясь возвращаются домой. И сеньор Энрик читает газету, пока его жена готовит ужин. Жорди комментирует наиболее интересные сообщения, и Эсперанса отвечает ему из кухни, спрашивает, что он предпочитает — тушеную рыбу или жареную, обваленную в яйце. Он сворачивает сигарету после ужина, пока она убирает со стола. Они немного слушают радио, а потом идут спать.

Они будут заниматься любовью, как делали столько раз, и она удивится его бережности. Они состарились рядом, и, конечно, желание уменьшилось, но любовь еще осталась.

Сеньор Энрик объясняет ей, что Роза, как и она, умела шить и сама себя одевала. Эсперанса открывает шкаф, набитый одеждой, потерявшей всякий смысл, и говорит, что да, возможно, здесь сыщется что-нибудь ей впору. При этом она кривит душой, но ей жалко дрожащего голоса, в котором слышится мольба, и поэтому она соглашается.

Квартирка маленькая и изящная. Эсперанса садится, пересилив себя. Сеньор Энрик зажигает лампу под потолком, угощает ее лежалым печеньем, сладким вином и делает вид, что сеньоры Розы тут нет, что она вообще никогда не существовала. Но по углам и в воздухе разлито присутствие этой женщины. Это она ставит на стол печенье и пробует сладкое вино. Это она показывает резьбу на старинной мебели. Это она смотрит на Эсперансу и, улыбаясь, говорит ей, что Жорди вернется, что он не исчез навсегда, как она, что Жорди существует в резьбе старинной мебели, в пыли, которой пропитаны чехлы на креслах.

Сеньор Энрик развязывает узел с бельем. Появляются яркие летние платья, они пробуждают воспоминания о Бадалоне¹, сумерках на Тибидабо², салатах, пасхальных вечерах с розами и гвоздиками, похожими на застывшие капли крови, вечернем ветерке, развевающим тисненные юбки, и сентябрьском дождике, ласково падающем на светло-зеленую кофточку, о знакомых мелодиях праздника святой Риты, о ресторане, украшенном сосновыми ветками, где подают фаршированного цыпленка, приготовленного на жаровне.

Но все перебивает запах нафталина, дыхание смерти. И опадают лепестки с пасхальных роз, исчезает солоноватый летний воздух и цветы на Пласа-Нова. И глаза Эсперансы, в которых отражаются засверкавшие было глаза сеньора Энрика, вспыхивают сомнением, тускнеют, и из них выкатываются сладкие слезы, слезы не о тех, кого нет, а о тех, кто остался.

Она держит тонкую шерстяную небесно-голубую шаль, пальцы перебирают кисти, ища воспоминания о холоде, затерявшемся где-то в глубине шкафа среди нафталиновых шариков. Сейчас она ее накидывает, примеривая. Ей кажется, что она накинула на плечи жизнь другой женщины, ее любовь, другую историю, которую она смутно угадывает, но не знает.

Сеньор Энрик смотрит на нее и улыбается. И в его улыбке отражаются зимние вечера около жаровни, уста-

¹ Город в Каталонии на берегу моря.

² Гора в Барселоне, с которой открывается красивый вид на город.

лость после хорошо сделанной работы и немножко восхищения. Он говорит, что Эсперанса похожа на нее, что в молодости... Но Эсперанса не слушает его и не смотрит. Ей кажется, что шаль превращается в неизвестно откуда появляющуюся руку Жорди, которая обнимает ее и ведет осторожно между мраморными столиками и публикой в казино.

Сеньор Энрик раздевается первым и помогает ей распустить прическу. Волосы кольцами струятся по шерстяной шали, путаясь с выдернутыми нитками, переговариваются, живут своей жизнью, тоскуя по летнему ветерку и влажным поцелуям воскресной ночью.

Старый мужчина смотрит на нее смущенно. Он кладет руку ей на грудь. И теперь не спрячешься за горькие воспоминания или сладкую грусть: все слишком реально. Эсперанса это понимает. Она не хочет быть ни с кем, не хочет чужих платьев, бессильной тоски. Резким движением она сбрасывает шаль, словно сбрасывает с плеч тень другой женщины, и бежит по коридору.

Двери скрывают незнакомую жизнь. Комната, деревянная кровать с кретоновым покрывалом, шкаф, открытый, словно пустая могила, циновка, истонченная вздохами и поцелуями.

Она садится за туалетный столик, снова собирает волосы в прическу. На стеклянной поверхности столика — расчески, флаконы. С распущенными волосами она чувствует себя обнаженной. Жорди нравилось смотреть, как струятся ее волосы по голым плечам. Каждое утро она садилась за туалетный столик и перламутровой щеткой расчесывала локоны. Жорди, лежа в постели, смотрел на нее, потом подкрадывался, пристраивался сзади, и она в зеркале видела его улыбку, и время останавливалось, когда он наклонялся поцеловать ее затылок.

Руки Эсперансы вертят перламутровую ручку щетки. Страх рассыпался на тысячи кусочков за закрытыми окнами, и побежденный ноябрь превратился в воображаемый сладкий май. Она уже не плачет. Она больше никогда не заплачет. Время слез разлетелось, как прическа. На улицах нет победы, голос Жорди возвращается, наполняет стены, становится сильным и звонким. Нет больше поражения, возрождается гордость, и кирпичи один за другим возвращаются на свои места, восстанавливая дома; их заполняют дети, которые не играют в войну, и черный

цвет исчезает из женских платьев.

Жорди стоит в дверях. Он смотрит на нее, и в его глазах нет ни равнин Кастилии, ни черных штыков, распарывающих животы. В его глазах, отраженных в зеркале, Эсперанса видит надежду, видит будущее и доброе море, играющее камнями.

И Эсперанса/Роза расчесывает волосы и смотрит через зеркало туалетного столика на Жорди/Энрика, который ей улыбается уже без дрожи и без слез с порога спальни.

1975

НА УЛИЦЕ ФЕРРАС

Нет, знаете ли, нет. Мне это нетрудно, ведь я уже столько раз рассказывала свою историю! Всем, кого это интересовало. Мне уже кажется, будто я беспрерывно повторяю ее про себя, даже во сне. Как будто не по своей воле. Разговариваю сама с собой, и все об одном и том же. Так что, даже если вы уйдете восвояси, я все равно буду говорить. Нет, прошу вас, не подгоняйте меня. Вы хотите только, чтобы я начала, это понятно, стоит начать — потом уж деваться некуда, придется и заканчивать, и вы, получив свое, преспокойно пойдете по своим делам, а мне придется рассказывать все сначала кому-нибудь другому, не сегодня, так завтра или в другой какой день... Ах, друг мой, добрая вы душа, спрашиваете о моем сыне. Да его тут все знают, многие даже лучше, чем я. Ребятишки, что под вечер играют на улице в бой быков, гангстеров или еще во что-нибудь, и те, как увидят меня, так спрашивают: «Ну что, сеньора Долорес, ваш сын сегодня, наверное, уже дома?» И хохочут, их это забавляет. А я поднимаюсь по крутой длинной и темной лестнице, где мне знакома каждая дверь, я могу по запаху из кухни сказать, на каком я этаже, по звукам радио догадываюсь, кто там живет, на шестом всегда плачут девчонки, на седьмом справа донья Каталина — вдова, пенсионерка — вечно брюзжит на своих жильцов, и так на любом этаже, я всех их знаю; поднимаюсь все выше и выше, иногда постою в коридоре: а вдруг он дома, задремал, дожидаясь меня, это мое плетеное кресло такое удобное, его подарили мне в клубе, когда меняли мебель на террасе, ну да, в том самом клубе, куда я хожу убираться, они так добры ко мне. Я уже говорила с ними, не подыщут ли они какую-нибудь работу для моего сына. А еще я ему вышила цветами подушечки для ног, такие удобные, мягкие... Сколько ему лет? Ну, сами посчитайте.

Родился он в тридцать втором, сейчас в самом расцвете лет. Но, сами понимаете, рос, бедняжка, без отца. Ах, и вспоминать об этом не хочется, одно слово — безотцовщина. Трудные были времена, что поделаешь. Отец его был из тех, кто любую уговорит. Плут из плутов, скажу я вам. Но такой ласковый, такой душевный, такой... В общем, другого такого не сыщешь... Учился в Мадриде, в наш городишко приезжал на лето. Не знаю, на кого он там учился, я об этом никогда не допытывалась. Помню только, что я ждала июня, Рождества и Святой недели, когда он обычно приезжал, и ни одна душа не знала об этом, только он да я, он никогда мне не писал, если бы его родители узнали, был бы страшный скандал... Потом так оно и случилось, кто-то им донес, что мы встречались в одном домике, в Пинатаре, на старой дороге, — вы знаете, где это? Никогда не бывали в Эль-Салобрале? Красивое место. С порога домика видать всю сьерру, на Рождество она белая, летом синяя, и он (я всегда говорю «он» — вы понимаете?) — я всегда остерегалась называть его имя, чтоб не дознались его родители, избави бог, — он не хотел, ни за что на свете не хотел огласки, и ясно, что мне из-за этого труднее было встретиться с ним. Да ладно, все это давным-давно прошло, и вам эту историю кто-нибудь уже рассказал, да-да, не возражайте. Я по лицу вашему вижу, что вам это все известно. Ну да, конечно, что нам еще оставалось, кроме как пожениться и уехать куда-нибудь, потому что в нашем городке, в Эль-Салобрале, меня стали чураться, даже сложили про меня куплеты, и то, и другое, и пятое, и десятое, а отец мой, сторож муниципалитета, нравом был крут. А уж его родители и слышать обо мне не хотели. Я, дескать, погубила их сына. Опоила каким-то зельем. Глупости! Просто они были важные господа, чего еще от них было ждать, верно? Очень уж строгие, неуступчивые, они ему такого простить не могли. Твердили все одно и то же: «С дочерью сторожа — и тебе не стыдно? Где это видано, чтоб наше имя трепали все кому не лень, на площади, в таверне. Несчастный. Дурак дураком». Так и долбили его по темени, думали добиться своего. А нам это было нипочем. В домике пахло травами и листьями, поджаренными горячим августовским солнцем, вы представляете? Помню, в день святого Иакова в деревне был праздник, кругом — ни души, все

жители ушли на гулянье, там была процессия, а потом — фейерверк, танцы, бег в мешках, игра с плащом и другие забавы, а у нас в домике жарко, дверь открыта, доносится шум праздника, нет-нет да пролетит ласточка. И мы вместе, рядом. Как об этом расскажешь его матери, она всегда такая нарядная, у нее острые плечи, а во рту полно золотых зубов. Не буду рассказывать вам о нашей свадьбе. Его мать — заметьте, я никогда не называю ее свекровью, родителей его всегда почитала, — так вот эта сеньора, когда немногие, кто был в церкви, подходили и поздравляли меня, как полагается в таком случае, спросила только, не понижая голоса, не стыдно ли мне в церкви с таким пузом. Глупо это было с ее стороны — посудите сами, чего мне стыдиться, да не очень еще было и заметно, а просто злилась она, вот в чем дело: как это так, ее сын женился на дочери простого сторожа, у которого ни кола ни двора. Дело обыкновенное. Мой отец? Отец и вовсе не пришел. На венчанье то есть. Сказал, что не хочет учинять скандал, сделав то, что следовало бы. Веселенькая свадьба, верно? Даже священник — и тот, как видно, побаивался его матери: не стал давать нам наставлений, как это делается при венчании, что, мол, дети мои, брак вещь серьезная, жена во всем должна слушаться мужа, не вмешиваться в его дела, а появятся дети, так надо их крестить, как положено. Ничего такого. Ясно, он тоже ее боялся. Поженились мы седьмого марта, в день святого Фомы, священник только о нем и говорил, этот святой, кажется, написал много книг. Жених-то был студентом, я, вроде, уже говорила вам об этом, вот так священник и вышел из положения. А о нас — ни слова. И еще помню, что, когда мы вышли из церкви, все куда-то подевались. Я видела не раз, какое столпотворение начиналось на площади после выхода молодых из церкви, все спешили к ним, невесте говорили комплименты, над женихом подшучивали, а тут... Только в церкви какие-то женщины поглядывали на нас из-за колонн и шушукались, а мужчины — так те хохотали не таясь. А как вышли на площадь, возле нас не осталось ни души, но я-то знала, что на нас смотрят из-за занавесок и полуприкрытых ставен и окон. В центре площади мы даже остановились на берегу бассейна, будто чего-то испугались, и не знали, что делать дальше, а ведь мы уже были мужем и женой. Разве могли мы подумать, что все

это кончится так печально. Ах да, у водоема стоял Сегундо с улицы Ларга, поил своих мулов, он улыбнулся нам и сказал: «Доброй вам жизни, молодые, не робейте!» Я так была ему благодарна. Потом его убили, как и многих других. А тогда шел дождь, лил не переставая, и мы стояли вдвоем посреди площади. Помнится, стрелки часов на башне не двигались. Остановились на пяти. Да, сеньор, скверно было у меня на душе. Но все прошло, как только он положил руку мне на плечо и сказал: пойдём. Собрали мы кое-какие пожитки и, дожидаясь автобуса, зашли в таверну, где вечно толпился народ—а как же иначе, если никто не работал, то одни бастуют, то другие,—и там дожидались рейсового автобуса из Рекене, у него вся крыша была уставлена мешками кукурузы и клетками с курами, которые отчаянно кудахтали, бедняжки, видно, их укачало. Больше ничего не помню—должно быть, из-за того, что шел дождь...

Нет-нет, не перебивайте меня. Что вы мне можете сказать! Послушайте, что было дальше, уж я-то это знаю лучше, чем кто другой. Да, так вот, приехали мы в Мадрид. Помните, какие были поезда в то время? Смех, да и только, прости господи! Контролер вскакивал на ступеньку и просовывал голову в купе, когда никто его не ожидал, шевелил усами, считая пассажиров, подозрительно заглядывал под сиденья, нет ли там ребенка, которого везут без билета... И люди, не сговариваясь, были все заодно, чтобы обмануть его, если понадобится, прятали цыплят, собак... Это, конечно, был товаро-пассажирский поезд, ходили и другие, получше, сами понимаете, но те в Эль-Салобрале никогда не останавливались, я в них не ездила, где уж мне, дочери муниципального сторожа. Знаете, как прозывали мою мать? Рябенькой. Лицо у нее было все в веснушках, в наших краях это со многими бывает. Но она была очень добрая, чистоплотная, умерла от рака груди, как я потом узнала, в самом начале войны. Я уже говорила, что мы ехали в поезде, и пассажиры, которые сидели напротив, смотрели на нас и улыбались, а мы, по правде говоря, не смели глаз поднять даже друг на друга. И когда приехали в Мадрид, Лусиано сказал мне, что мы как будто стыдимся друг друга,—ах, боже мой, я, кажется, опаздываю, он, поди, уже ждет, а у меня ужин не готов, хотя я знаю, что он поймет и не осудит, он у меня очень умный да рассудительный, пожаловаться

не могу, но я как-то не совсем поняла что́ он хотел, чтоб я приготовила, что за голова у меня,— но дело-то было не в том, что мы стыдились, вовсе не в том, просто мы очень любили друг друга и не хотели, боялись, именно боялись, остаться наедине, потому что помнили слишком о многом: о нашем домике, о душных вечерах, о запахе прелого сена, о земле, покрытой овечьим пометом, о постоянном напряжении из-за криков ребятишек, ловивших лягушек в протекавшем рядом ручье Салобралильо, как бы они нас не застали врасплох, второпях застегивались и поправляли одежду всякий раз, как услышим какой-нибудь шум, вспоминали моего отца: он, завидев нас, плевался так яростно, что из его плохо набитой сигареты вылетал табак, размахивал руками, а длинный фитиль в нашей лампе, несколько раз связанный в узел, чадил на весь дом, и от запаха горелого масла меня в последний вечер стошнило, ну, вы догадываетесь, что тут было: а, теперь тебя тошнит, а что ты раньше думала? И тут я впервые услышала от него слова, которые он прежде говорил только о других, а у Лусиано даже слезы на глазах выступили — студентишко, сеньорито, хват, воображает о себе бог знает что,— а нас отец и слушать не хотел; еще вспоминали его мать, священника, который прочел такую проповедь, будто нас там и не было, а мы смиренно и молча все это терпели... Нет, нам не было стыдно, но слишком о многом мы помнили, по-моему, никому не нужно вспоминать слишком о многом, посоветуйте это своим детям, если они у вас есть, лучше не вспоминать и смотреть только вперед, а там что бог пошлет, принимать все как оно есть и тут же забывать, воспоминания — вещь тяжелая, от них проку никакого, разве что лишний раз вздохнешь да комок к горлу подкатит, вот сюда,— *столько воспоминаний, сын мой, я не могу поделиться ими с тобой, рассказать, в чем их суть и для чего они могут пригодиться, у тебя и без них забот хватает при нынешней дороговизне, не стану берeditь тебе душу, да они все и умерли давно, их убили как собак, понимаешь, и бросили в придорожную канаву, поросшую чертополохом, в грязную воду, и, может быть, какое-нибудь из них оказалось у того самого домика в Пинатаре, на берегу ручья, где растут нопали,¹ где росла смоковница, о господи, какой запах, рай*

¹ Кактус, дающий плоды, похожие на смову.

земной, пути господни, сын мой, бывают извилисты или кажутся нам такими, ты меня понимаешь,—конечно, смешно было смотреть на нас, когда мы шли с вокзала, взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, скорей испуганные, чем счастливые, отказываясь от услуг всяких посредников, которые расхваливали гостиницы, предлагали помочь взять такси или сесть на автобус, чтобы переехать на другой вокзал, и мы остановились как вкопанные перед контролером, который спросил у нас билеты, не зная, что ему сказать, то ли просто «добрый день», то ли спросить его о детях— вот видишь, у всех дети, и они разные, надо уметь выбирать друзей, остерегайся водиться с кем попало, обо всем надо думать, в нашем мире можно научиться и дурному,— для нас было большое облегчение, когда мы присели возле привратничкой коллежа, мы приехали поздно вечером и ничего еще не ели, боялись потратиться, пока не огляделись,— вот так ты в первый раз приехал в Мадрид, видишь, какие дела, сын мой, ну конечно, ты об этом не помнишь, какое там, что я говорю, а пожалуй, и хорошо, что не помнишь— к чему такие воспоминания?— ведь в этом коллеже учился когда-то твой отец,— братья иезуиты подыскали работу нам обоим: он давал уроки, я чинила, стирала и гладила белье для воспитанников,— и перестань твердить, что я порчу глаза, что пора спать, ты же видишь, я делаю эту работу с удовольствием, а вот ты действительно ложись, тебе завтра полдня надо говорить и говорить,— и так каждый вечер, пока мы не сняли квартирку в квартале Вентас, это внизу, за Пласа-де-Торос— вот это громада!— мимо нас проходили похоронные процессии, нас уже знали на таможенном посту, в бакалейных и фруктовых лавках и у выхода с арены для боя быков, где собирались шумные компании стариков, они всё спорили, это возле метро «Вентас», знаете, да? По воскресеньям гуляли, доходили иногда до трамвайного парка у площади Мануэля Бесерры и медленно шли обратно, когда день клонился к вечеру; мы уже не вспоминали ни о нашем городке, ни о домике (нет, вру, о домике вспоминали, хотя никогда об этом не говорили, но мы понимали друг друга и без слов, обменяемся взглядом— и потупимся, а щекам станет жарко), не вспоминали мы ни о священнике, ни о ком бы то ни было, и на душе у нас было спокойно-спокойно,— но тут появился ты, и покоя как не

бывало, ты был богатырь, четыре кило, кто бы мог подумать, ведь я была такая заморенная, оттого что мало спала, все пришивала пуговицы да штопала носки, а вот видишь, все прошло гладко, и жизнь моя стала совсем другой, мне трудно объяснить тебе, словами об этом не расскажешь, это можно только пережить, пережить самому, поэтому я тебе и не рассказываю: что проку знать о том, как все было у других, пусть даже у собственной матери; чтобы узнать, надо пережить самому, сын мой, да и то еще...—в общем, золотое было время для нас, господи, как немного надо для счастья, я и не воображала, представить себе не могла...

Как долго продолжалось наше счастье? Да не все ли равно? Скажите, как долго длится хороший сон, когда просыпаешься—и не хочется открывать глаза, а потом еще долго чувствуешь сладость на губах или как будто держишь в руках что-то хорошее? Не знаете? Значит, не обращали на это внимания или—извините меня—ума у вас не хватает при всей вашей учености. Сон—это... это... Ну, в общем, это то, что тогда со мной было. Я говорила вам, что Лусианин родился в тридцать втором? Стало быть, в тридцать шестом ему едва исполнилось четыре годика. Мы жили все так же. Шли месяцы, в доме время от времени появлялось что-нибудь новое: тумбочка, радиоприемник, швейная машина, кухонная посуда. Все как у людей. Но никто не знает своей судьбы, наперед никогда не угадаешь, что тебя ждет, выходишь на улицу и—бац! Все для тебя кончено, и хорошее, и плохое, неожиданно-негаданно, так и случилось с ним, с Лусиано... Как-то в ноябре поехал он на частный урок после обеда в субботу, не помню, какое было число, столько лет прошло, помню только, что в субботу, и вернуться должен был еще засветло, он занимался с отстающим учеником, а я полдня простояла в очереди за углем, женщины чего только не болтали, говорили о фронте: «Скоро все это кончится», «Наши взяли Толедо», «К нам на помощь придут русские», «Скоро у каждой семьи будет квартира с ванной», «Какой-то их генерал разбился на самолете»... В общем, больше мы его не видели, должно быть, бомбежка застала его в таком месте, где не было убежища, в незнакомом районе,— и это больше всего берedit мне душу, сынок: такая глупая смерть, когда защитит себя ничем не можешь, остается

только втянуть голову в плечи, как услышишь свист бомбы, и надеяться, что она упадет в стороне, а ты стоишь, прижавшись к стене, или лежишь, распластавшись на земле, ни о чем не думаешь, смотришь широко открытыми глазами, сердце колотится—и все; понимаешь, сын, что значит пойти куда-то и не вернуться, мы люди маленькие, но ты можешь гордиться своим отцом, он был добрым и трудолюбивым, таких людей мало, я уж тебе говорила, что он стал бы важным господином, если б не женился на мне, взгляни только на эти полуистлевшие книжечки, его документы, я сохранила их для тебя, а вот и ты на фотографии; как знать, сколько раз мы проходили по тому месту, где на него упала бомба.—Мне сказали только: на улице Феррас. Не буду рассказывать вам, сколько раз прошла я эту улицу из конца в конец, сейчас там все по-другому, у кого спросишь, да и зачем пугать людей, рассказывая о том, что у их подъезда кого-то разорвало в клочья, дома там шикарные, с пальмами, толстыми коврами, мраморными лестницами и швейцаром в ливрее с позолоченными пуговицами. Нынче каждому только до себя, кому какое дело до семидесятилетней старухи, у которой убили мужа там, на углу, где когда-то свистели бомбы и рушились дома, такое случается с людьми неосторожными, простаками—с несчастными людьми, которые, как твой отец, живут без оглядки, не разумом, а сердцем, тянутся к добру и трудятся не покладая рук, жить иначе они не могут.—Правда, если подумать хорошенько, тут никому ничего не докажешь, вы, может, мне не поверите, но бывают минуты, когда я все ясно вижу и замечаю, что люди крутят палец у виска, не успею я отвернуться, но я вижу, как они это делают, вижу их отражение в стекле какой-нибудь витрины, а бывает и того хуже: я нутром чувую, что они это делают, догадываюсь, мне кажется, будто чей-то грязный палец ввинчивается в мой собственный висок... И вот в такие минуты я думаю, что эта смерть на улице, такая бессмысленная, после которой только и остается собрать куски тела, чтобы установить личность, как было сказано в полицейском протоколе... Не такая уж это плохая смерть, раз—и все кончено! О похоронах не могло быть и речи: нечего было хоронить. В этом-то и заключалось мое горе. Когда поживешь какое-то время с близким тебе человеком, начинаешь бояться дня, когда вдруг да останешься одна, нет, лучше

уж самой умереть раньше. А в то время такой день можно было вообразить себе. Когда я думала об этом, у меня ломило переносицу, так я боялась этого дня, и мы с ним даже об этом говорили, я представляла себе похороны, слышала соболезнования, думала и о том, что, может быть, его гордые родители... И вот — ничего. Отдельные части тела, ступайте, ступайте, добрая женщина, другие дожидаются по такому же делу. Не было ни цветов, ни венка с траурной лентой и надписью, ни бдения у тела, ни траура. Такая уж мне выпала доля, одному богу ведомо — за что. Нет смысла, теперь уже нет смысла ломать над этим голову. Но как быть с сыном? Если он когда-нибудь вернется, кто ему расскажет об отце и о том, что было дальше, после того как его эвакуировали, особенно тогда, когда я перестала получать весточки о нем из Франции, Бельгии, с Украины?.. Нет уж, лучше вспоминать, что было раньше, — вы согласны со мной? — и ждать; я знаю, что в один прекрасный день он вернется и будет дожидаться меня, сидя в плетеном кресле, которое подарили мне в клубе, почитывая рекламные листки о продаже домов или стиральных машин — их подсовывают под дверь, — а может, займется кроссвордом, чего доброго посасывая (дурачок!) кончик карандаша, пока отыскивает нужное слово, или же примется подсчитывать, прикидывать, чем нам нужно обзавестись в первую очередь, — *но нет, сын мой, я не позволю тебе транжирить деньги, надо обо всем подумать как следует, все предусмотреть и тратить осторожно, ты не знаешь, как туго нам приходилось, а сейчас пенсии не хватает и на половину самого необходимого, а тут еще безработица, дороговизна, нам незачем пускать людям пыль в глаза, теперь все на свете выставляют себя не тем, что они есть на самом деле, мне ли этого не знать; а мы с тобой, скорей всего, поселимся там же, где ты жил ребенком, за Пласа-де-Торос, в том квартале улиц не узнать, они стали такими чистенькими, дотуда дотянули линию метро, нам с тобой там будет очень хорошо, а главное — жилье там дешевле; ведь ты не знаешь, каково мне здесь пришлось, тебя увезли, и ты, слава богу, от всего этого избавился, а я тут осталась одна, без всякой помощи, работала где придется, в госпитале, в солдатской столовой, одним словом, горе мыкала, мерзла по ночам, ворочаясь на кровати, слишком широкой для меня одной, утешалась только весточками о том, что ты здоров, растешь, что тебе сделали такие-то и такие-то*

прививки, и я так радовалась, никогда не бывала в тех краях и никогда мне там не бывать, нечего и пробовать копить деньги, не с чего, но я радовалась, воображая себе сад, где ты гуляешь, столовую, в которой обедаешь, спальню, где тебя укладывают спать, наверняка без молитвы, а мне так приятно было бы послушать, как ты лепечешь «Отче наш»...—Да-да, сеньор, вы правы, хорошо сделали, что остановили меня, со мной это часто бывает, уношусь на небеса и мелю черт знает что. Как? Ах да, конечно, спасибо, что напомнили, так вот, я осталась одна, а сын, сами понимаете, у меня за душой не было ни гроша, коллеж превратили не помню во что, не то в казарму, не то в тюрьму, жить стало не на что, и я отдала сына, чтоб его эвакуировали вместе с другими детьми. По крайней мере свет повидал. Официально я о нем давно уже никаких вестей не получаю, но вы же знаете: эти международные организации, почта, все так изменилось, а потом еще в газетах пишут, что с нами они никаких дел иметь не хотят, совсем никаких. Но рано или поздно я дождусь от него письма и его самого дождусь. Кто же его будет ждать, если не я? Я должна его дождаться и показать ему бумаги, которые пришли для него: формуляры о наследстве после деда и бабки, как они пришли с той стороны, ума не приложу, а еще повестку о призыве в армию... Послушайте, неужели его заберут? Упрячут в казарму? Только этого и не хватало. Я-то думаю, его должны оставить со мной, для чего же я его столько лет ждала, карамба, нет уж, дудки. Не верю, что его у меня отнимут. Конечно, трудно было поверить и в то, что его отец уйдет на урок и умрет на углу улицы Феррас, и еще меньше в то, что нашему сыну придется скитаться по свету одному. В ужасном мире мы живем, и его не исправишь, нечего и пробовать.— Не вздумай заделаться избавителем, сын мой, люди злы и живут кривдой, а ты весь в отца, он был как святой, его всякий мог провестить, одна я обходилась с ним так, как он того заслуживал, но, сам видишь, это нас не спасло, с тех пор прошло больше лет, чем мне было, когда мы с тобой остались одни, и сколько еще мне тебя ждать? Поживем—увидим. Все во власти божьей.—О, простите, спасибо, что вернули меня на землю, опять я все об одном и том же, сколько раз уж повторяла, только человек не пластинка, нет, повторяешь, повторяешь, но наступает момент, и чувствуешь, как что-то поднимается

изнутри, будто большой ком, доходит до горла, заполняет собой глаза и уши, и тогда уж ничего не поделаешь, надо только ждать и ждать, чтобы ком этот разошелся, опустился туда, где его постоянное обиталище. Да, я предпочитаю ждать, ведь я никому этим не причиняю зла, так ведь? А вдруг сегодня, сейчас, когда я говорю с вами, он уже ждет меня дома? Я всегда тороплюсь домой, тороплюсь: а вдруг... Но с другой стороны, лучше совсем не приходиться домой, чтоб не видеть пустое кресло, нетронутые подушки, неоторванный листок календаря, кухонную утварь в том же виде, как я оставила ее утром, когда пошла убираться в клуб, знаете, был такой туман, автобусы ходят плохо, а ноги мои двигаются все медленнее и медленнее. Да, сеньор, я сейчас пойду, вот как иногда получается, все у тебя слабеет: и ноги, и руки, и память, и сама надежда,— что это за жизнь, сын мой, пойду домой, хорошо бы ты пришел сегодня, без предупреждения, и тут такой случай, как раз сегодня у меня дома не прибрано как следует,— ухожу, ухожу, вы уж меня извините, я, кажется, все вам рассказала, по крайней мере все, что помню, если еще что понадобится, спросите в другой раз, а сейчас мне надо идти и... Я уже придумала, какой дорогой мне идти домой: Седасеро, Каррера, Куатро Кальес, Крест, Новый квартал, Прогресо, потом спущусь по улице Месон, срежу угол,— побреду не спеша, сын мой, чтобы ты успел прийти, ты ведь можешь с кем-нибудь повстречаться, зайти в бар пропустить стаканчик, как это делал твой отец, а может, ты задержался у лотка с криветками на Дуке-дель-Альба, решил купить их к ужину, или зашел в кино, где показывают без перерыва, просто так, по пути, подумал и решил немного поразвлечься, а то из дома на работу, с работы домой— что это за жизнь; я буду останавливаться у каждой витрины: ботинки, галстуки, носовые платки, зажигалки, ты куришь? Я такая глупая, в табаках не разбираюсь, отец твой не курил— во всяком случае, с тех пор, как мы поженились,— не мог позволить себе такой роскоши; буду разглядывать рубашки— какой размер ты теперь носишь?— И я гляжу в стекло, такое чистое, и вижу в нем трамвай, каких давно уже нет, слышу песни, которые тогда все время передавали по радио...— Моруча, Моруча, цветок мой весенний,— что эти идиоты на меня уставились, как хоч, так и пою,— глаза закрыл я, глядеть

нет мочи, и двери настежь я распахнул¹,—и я знаю, что, как обогну угол, где кондитерская, увижу окно нашей кухни—да-да, сын мой, соседний дом снесли, поэтому оно отсюда видно,—а года два назад его загораживал большой дом, там была гостиница и еще скобяная лавка, теперь их нет, пустое место, скоро снесут и наш дом, теперь сносят все на свете,—как-нибудь в воскресенье обязательно прогуляйся здесь, за Пласа-де-Торос, этот район мне нравится, мы сюда переберемся, здесь так хорошо, сам увидишь, зимой много солнца, по развалинам карабкаются ребятишки, отыскивая сокровища, над крышами часто пролетают самолеты и...—Не знаю, сеньор, зачем я все это вам рассказываю, но, честно говоря, мне не хочется домой, вы только представьте себе, какой испуг меня охватывает, как подумаю, что он здесь, он увидит меня и... А как он меня назовет? Как вы думаете? По имени? Мамой? Может, он и испанский забыл, а если и не забыл—они, говорят, всему там учатся,—о чем он со мной будет говорить? Пойдем ли мы друг друга? Сумею ли я привести в порядок его одежду, она ведь заграничная, свободная, добротная, на улице сразу в глаза бросается. Как знать, может, он там на кого-нибудь выучился, на инженера или архитектора, тогда плохо мне придется, я всего-навсего уборщица, несчастная уборщица, и он не сможет говорить со мной о своих делах, как это любят делать мужчины, когда вернутся усталые с работы, им надо, чтобы их похвалили. Господи, столько сомнений. Сумею ли я стряпать на его вкус? Хотя, пожалуй, сумею, думаю, сумею что-нибудь сготовить...—и вот я строю планы на следующий день и на другие дни, ведь его надо будет прописать, пойти туда и сюда, постоять в очереди у одного окошка, у другого, завести медкарту, переписать квартиру на его имя, надо будет поставить еще одну розетку, чтобы он брился там, где больше света... Зато потом я буду чувствовать себя спокойно, уверенно, я буду не одна. Может, удастся вместе поехать в отпуск, куда-нибудь на море, ведь я его так еще и не видала, или, еще лучше, посидим дома в тишине и покое, под вечер он будет читать мне газету, о преступлениях, о всяких партиях, о поездках папы римского, как знать, может,

¹ Рассказчица путает слова популярного в 30-е годы танго «Фальшивая монета».

обзаведемся лотерейными билетами и будем шутя, смеху ради, спорить, как дурачки, на что мы потратим наши миллионы... И тому подобное. Ну что в этом плохого? И я поднимаюсь по лестнице, не заглянув в почтовый ящик, хочу, чтобы сегодня все было неожиданным, и все-таки я понемногу замедляю шаг, ступеньки дают о себе знать, площадки прохожу на цыпочках, чтобы не услышали соседи, эта Клотильде с четвертого такая забавная, вечно кричит и хохочет, настоящий бесенок, как видите, есть еще у людей дети; стараясь не скрипеть половицами, подхожу к своей двери, старые петли визжат, никак не соберусь их смазать, и тут пугаюсь: а вдруг он заснул, дожидаясь меня, не пойду в столовую, чтобы не разбудить его, не стану включать жаровню, лучше постою-ка я у окошка в коридоре, пока он не поймет, что я пришла, отсюда я вижу много крыш, кухонных окон, за которыми хлопочут матери, готовя еду своим детям, а те зашли в бар или в кино с непрерывным сеансом или же заболтались с невестой в полутемном подъезде — с этим делом, как ты сам понимаешь, все осталось по-прежнему,—и от нечего делать читаю светящуюся рекламу, надо же как-то убить время, надписи то погаснут, то снова вспыхнут. Электрическая прислуга. Путешествия. Шампанское. Летайте самолетами компании «Иберия», то погаснут, то вспыхнут, вижу часы на башне Телефонной компании, отсюда я могу говорить с ним, не опасаясь, что он рассердится, если он устал, день был такой изнурительный: — В каком часу разбудить тебя завтра? Ты заметил, какое ясное солнце сегодня под вечер? Утром не хотелось приниматься за работу, это весна уже пришла, в воскресенье пойдем прогуляться, а там, чего доброго, выскочит какая-нибудь вертихвостка, и тогда, понятное дело, только я тебя и видела, а? Господи, как уже поздно, идем, сын мой, идем спать, пора в постель, послушай, что там говорят о погоде, да не забудь выключить транзистор, утром встанем пораньше, а я еще немного посижу пошью, не говори мне, что свет слабый, что я испорчу глаза, ты точь-в-точь как твой отец, он всегда мне это говорил, ну-ка включи мне жаровню, тебе легче нагибаться, посмотри на это деревянное яйцо для штопки, ты так любил с ним играть, как видишь, я его сохранила... Нет, не зови меня по имени, мне это не нравится, ну иди же, иди, нечего меня улещивать, тебе завтра рано вставать, надо подать заявление о своем прибытии... А там, где ты сейчас, надо

подавать заявление о приезде или отъезде? Нет? Ну знаешь, тебе повезло, жаловаться не на что... Пстой, а не забыли мы за этой болтовней завести будильник? Заведи-ка его, только осторожно, сын, осторожно. Знаешь, мне его дали в премию на рынке, какие-то парни с телевидения что-то там рекламировали, кажется мыло. И понимаешь, я сумела ответить на их вопросы, а как бы ты думал, конечно, сумела. Правда, не помню, о чем они спрашивали: что такое асумбре¹, кто похоронен в Сантьяго, сколько раз надо прочесть «Верую», чтобы яйцо сварилось в мешочек... А еще о Мадриде: когда бывает первое в году гулянье перед праздником, где находится улица Феррас... Видишь, как просто. На другой день в клубе сказали, что в телевизоре я получилась очень хорошо: улыбаюсь и седых волос не видать...

1969

КОЛЧЕНОГИЙ

Нет-нет, что вы, никакого беспокойства. Для меня это дело привычное, чего там. Еще какое привычное. Да к тому же рассказывать о своей жизни—все равно что выправлять какую-нибудь бумагу в полиции или в приюте или подавать куда-нибудь прошение... Тебя выслушают, испишут большой лист бумаги, справятся по картотеке—и в ящик стола. И со святыми упокой. Так что лишний раз рассказать... С чего начнем? В моей жизни все было на один лад. Одни напасти. Несчастливым родился, вот оно что. Сызмальства переболел всеми болезнями, какие есть на свете, на них никто уж и внимания не обращал. Все потом говорили, что только чудом жив остался, это я от других слышал, сам-то я об этом ничего не помню. Как я понимаю, выкарабкался потому, что живучий, ведь тогда не было ни пенициллина, ни прочих нынешних снадобий. Потом эта история с хромой ногой, сами понимаете, одно прозвище чего стоит: эй, колченогий, ну-ка, хромой—я этим был сыт по горло. Покорно благодарю. Народ в нашей деревне был жалостливый, что и говорить. Мальчишки по дороге в школу бросали в меня камнями, чтобы посмотреть, как я подскакиваю, а потом то же самое делали и парни,

¹ Мера жидкостей, равная 2,16 л.

когда под вечер приводили мулов к коновязи. Они этим старались развлечь наших деревенских красоток, те всегда хохотали, когда в меня попадал камень или когда я падал, увертываясь от голышей. Я думал, война мне поможет, все сразу так изменилось, такая началась заваруха. Да куда там... Нам пришлось уйти из деревни, она вся была разрушена, что ж тут поделаешь, бомбы да бомбы, по правде говоря, я не понимаю, зачем было бросать столько бомб, хватило бы и одной, вы только представьте себе: глинобитные домишки да ограды из камней, земляные погреба, в общем — деревня как деревня. Уцелела только часть церкви, которую строили еще мавры, оно и понятно. Не буду вам рассказывать, что мы там оставили, потому что ушли полуодетыми, в чем были. Никто в меня не бросал камни, все помирали со страху и заботились только о том, чтобы захватить с собой хоть какие-нибудь пожитки... Я пошел, конечно, куда меня повели, и там началось все сначала. Эй, хромоногий! Чтоб тебе пусто было! И кому нужны такие калеки! И так далее все в том же духе. В общем, и на новом месте очень скоро мне не стало проходу. Уж лучше бы меня увели во Францию, как я теперь думаю. Говорят, повидеешь чужие края — ума наберешься. Но ясное дело, если бы не война, дома было бы лучше. Что и говорить. А там я с самого начала был «из тех». Как будто то, что со мной случилось, замарало меня раз и навсегда. Мне сказали, что я должен очиститься, выправить все, что надо, и я подумал, что речь идет о моей хромой ноге, что нужно сделать операцию, чтоб ее выправить, но оказалось, надо было только ходить то в гору, то под гору, обивать пороги: поручительства, рекомендации, жалобы, угрозы — черт подери, что об этом рассказывать, все это было так давно. А с ногой стало еще хуже: оступишься, упадешь, пинки, голод, и я привык все время закрываться рукой, защищая голову, — что поделаешь, если на тебя все шишки сыплются. Наконец, за неимением лучшего и благодаря тому, что на это место других желающих не было, я заделался почтальоном того городка, где мы поселились, называть его не буду, так, на всякий случай, много тут ярких радетелей, которые, все как один, зовут меня к ответу: и профессии-то у меня нет, и никаких военных заслуг, и сверх всего я еще и хромой. Да еще пришлось держать экзамен, всякие там упражнения, диктовка, надо было

кое-что знать и о карте Испании, ну, это, знаете, было не так уж трудно, лишь бы знал, где какая из окрестных деревень и какие города поблизости... Но карта Испании мне нравится, она красивая, и не одно воскресенье я провел, разглядывая ее, водил пальцем по рекам и горам. И даже сейчас храню несколько книжечек из тех, что раздают туристские агентства, это самое хорошее путешествие, ни тебе багажа, ни расписаний, что хочешь, то и смотришь... Но я отвлекся от своего рассказа, мысли не туда повернулись, вы уж извините. Жил я в доме тетушки Бласы, вдовы причетника, это была обрюзгшая ворчливая старуха, кормила меня кое-как и вскрывала все письма, какие попадались ей под руку, из-за этого у нас бывали небольшие перепалки. Но все-таки я был счастлив: у меня была чистая постель, балкон, выходящий на улицу Вердуго, с геранями и всем прочим, стол с жаровней, покрытый клеенкой, на которой и была изображена карта Испании. Я всегда садился у Гибралтарского пролива, тут вода и там вода, а на берегу — Тарифа. Там мне было хорошо, и я сам выучил даже тройное правило, которому учитель не смог меня научить. Он говорил: этот чурбан, да еще с таким уродством, не осилит даже сложения, посмотрите на него — чистый кенгуру. И он заставлял меня наливать чернила в чернильницы, стирать с доски, собирать фасоль на его огороде или поливать цветы в горшках, которые выращивала сеньора учительница, злая галисийка, ей нравилось показывать икры старшим ребятам на переменке... Там же я начал читать кое-что о завоевании Америки, я почитывал, а тетушка Бласа брюзжала: Америка, Америка, куда все это нас заведет... В ту пору все шло, как вы уже знаете, очень хорошо, но вот вдруг прорвало плотину водохранилища. Ну, что тут было... Тетушку Бласу нашли на четвертый или на пятый день, ее уже раздуло, меня позвали опознать труп, это было недалеко от Моры, а с ней нашли корову, тоже раздутую, всю в грязи и глине, вы только представьте себе... Бедная тетушка Бласа, подумал я, тебе уж не придется вскрывать письма. Но мне и самому не пришлось больше иметь дело с письмами, как же иначе: все новое, новый городок, новые люди, новая плотина, новый почтальон, весь в сияющих бляхах и пуговицах, и, конечно, другая тетушка Бласа, помоложе, с транзистором и газовой плитой, а я

остался не у дел. Пришлось опять начинать сначала. Тогда я думал, что лучше б мне остаться в глине с теми, кто погиб, так бы я вылечил свою хромоту раз и навсегда, но голод не тетка... Опять все сначала. Сам я никогда ничего решить не мог, мне посоветовали, и я стал рассыльным, как говорят, мальчиком на побегушках, понимаете? Хоть что-то делать—и то хорошо, люди не так уж обращают внимание на мой недостаток, я уже не Колченогий, а Посыльный или что-нибудь еще в том же духе. И понимаете, мне это подошло, хоть не всякий этому поверит. В те годы всего не хватало, голод, войны, бедствия, а я разносил пакеты с едой, колбасы, фрукты. Всякие пожитки, плетеные корзины или глиняные горшки со свиной колбасой... Разве лучше было парням, которые служили в армии, или жили по ту сторону границы, или прислуживали в городе большим господам? Мне жилось неплохо, я даже женился. Пруден была девица пригожая, из хорошей семьи, и в приданое за ней дали кучу домашней утвари. Теперь, когда все это позади, меня нисколько не задевают шуточки соседей насчет моей хромой ноги и любви моей жены к танцам. Может, она и слишком уж ими увлекалась, но имела же она право повеселиться, разве не так? Ее частенько видели с этим шалопаем, с этим хватом Кинтином, сыном аптекаря. Ну и что из того? Чего только народ не придумает! Как будто все остальные—из миндального теста. Говорю вам, все шло хорошо до того дня, когда Пруден неудачно разрешилась от бремени, поздно мы добрались до больницы, шел сильный снег, и никто не хотел нас везти, никто не хотел протянуть руку помощи, но, как бы там ни было, надо еще благодарить бога и всех святых. Это было еще не самое плохое. Правду говорят, что беда не ходит одна... По весне, когда на каштанах уже лопались почки, мы погорели... Дом сгорел дотла. Я-то в это не верю, но поговаривали, что поджег его сам хозяин, чтобы получить страховку, не знаю, не скажу... Пожар получился страшный, вы, наверное, слышали, о нем писали в газетах: деревянные домишки с решетчатыми, оплетенными и обмазанными стенами—адский костер. Наша кровать, мы купили ее за наши кровные денежки в Пуэбле, и глиняные горшки, и пластмассовые—тогда они только начали появляться,—и гвоздика, и альбаака, и свадебная фотография, и школьная тетрадка

Пруден с образцами каллиграфии, и шаль с бахромой, подарок Кинтина, растак его... Нет, не буду ругаться непотребными словами, это нехорошо. Не говоря уж о том, что он раза два навестил Пруден в больнице, перед тем как она умерла, и так было ясно, что он к ней равнодушен, но что толку было ее навещать, бедняжка была вся в бинтах и мазях, почти лысая, брови выгорели, стоны да кровь... Поверьте мне, тяжело было на нее смотреть. Что тут говорить—умерла. И вот я снова один, ни кола ни двора, а теперь еще и вдовец.

Это был удар—ну за что?—вы меня понимаете. Огонь такая штука—убивает быстро, с ним не совладаешь. Мне осточертели соболезнавания, я их слышать не мог. Бедняга Хромой! Один как перст. Если бы хоть у них был ребенок. Хоть бы кухня осталась... Народ у нас добрый, я это вам уже говорил. Порода такая. И снова я стал самым что ни на есть последним хромым из всех хромых, ведь никто не дал мне ни гроша, нет, куда там, а вдруг я с горя пушу деньги по ветру себе на погибель. Накопить их ох как трудно, вы со мной согласны? И как-то спозаранку, чтоб меня никто не увидел—а спал я на конюшне, где стояли пожарные лошади,—я ушел из городка. Даже ни разу не оглянулся, к чему? Но знаете, я не плакал, характер у меня сильный. Сам не знаю, как оказался в Барселоне. Шел много дней, видел, что виноград созрел и его уже убирают, заработал на подхвате немного деньжонок, но скоро виноградники опустели и меня застigli первые холода. Понятно, что шел я слишком долго, но... Хромая нога не пускала. Устроился каменщиком и сторожем на стройку. Там строят много домов, вы это знаете, и немало иностранцев приходят посмотреть. Быстро уладил все свои дела. Кровать и несколько ящиков в подвале того самого дома, который строили... Хорош я был в своих лохмотьях, туристы приходили посмотреть на меня, фотографировали, не знаю, что уж они говорили об Испании, даже приносили с собой всякие вещички, чтобы меня сфотографировать, потом уносили обратно, как-то раз принесли жилет тореро, потом—четки из ракушек, фигурку Фатимской божьей матери, а однажды привели осла в нарядной сбруе. Ну и типы, для чего им были эти фотографии? Я-то думал, что, когда я стою смиренно перед фотоаппаратом, на фотографии не видно, что я хромой, скорей всего,

поэтому они меня и снимали. Эти иностранцы — тоже жалостливый народ. Вот так я и тянул ляжку. До тех пор пока в руки мне не попала эта чертова бумажонка, как будто свалившаяся с неба. Стал я ее читать, а тут откуда ни возьмись жандармы. Нет-нет, к чему подробности. Схватили, ничего слушать не стали — и в тюрьму на хорошенький срок. Ясное дело, я был человек пришлый, скорей всего, сам и поджег свой дом — вот до чего додумались, — а если этого мало, так я еще и «из тех», и к тому же хромой, вот именно, хромой, и не знаю уж, что там еще за мной нашли. А потом выпустили, опять-таки не сказав за что, вернее, за то самое, за что посадили, но к этому времени стройка закончилась, красивый домина получился, многоэтажный, наверняка с отоплением и прочими штучками, о которых трубит реклама в газетах. Но моего подвальчика как не бывало. Выбросили на свалку мою кровать, пружинный матрац, чемодан, ладанку Пресвятой Девы Милующей, она висела на стене как память о Пруден. Начальство страшно на меня рассердилось — глядите, как хитро, — за то, что я оставил работу без предупреждения. Ну, я сразу же ушел оттуда, вид у меня, наверно, был дикий, борода отросла, а там теперь ходили чисто выбритые и хорошо одетые люди и на меня поглядывали с интересом, того и гляди снова примутся фотографировать. Вам нетрудно догадаться, что я снова пустился в путь, но теперь уже, едва завидев парочку гражданских гвардейцев¹, спешил подойти к ним и смиренно просил, чтобы они меня зарегистрировали, быстренько сообщал им все свои данные, не скрывая ничего, а вдруг да... Простите, этот кашель... Ерунда. Скоро для меня все уладится, вот увидите, очень скоро. Да, сейчас я работаю здесь садовником, каждое утро спускаюсь в город купить что кому надо — хлеба, молока, газеты, журналы — и выполняю поручения обитателей приюта: сигареты, шампунь для волос, мыло «Вальда», стельки или каучуковые прокладки от мозолей — словом, все, что попросят, они же не белые вороны, о чем речь, мы все тут обездоленные. По вечерам у меня времени хоть отбавляй, и я могу в полное удовольствие разглядывать свою ногу — она все сохнет и уже превратилась бог

¹ Во франкистской Испании гражданские гвардейцы выходили на дежурство только по двое.

знает во что, как-нибудь я соберусь с духом, оторву ее и устрою ей пышные похороны, честное слово, и тогда им придется искать другого садовника, и я представляю себе, вижу глазами памяти в свободные вечера, как этот новенький встает ни свет ни заря, берется за шланг для поливки, дергает сорняки тут и там — их семена разносит ветер, — сгребают сухие листья, потеет, таская по газону косилку, которая давно уже на ладан дышит, и ходит осторожно, чтоб не помять цветы матушки Аделы, а то останется без сладкого и не будет смотреть телевизор после ужина, вижу, как он спускается по тропинке, чего доброго тоже хромая, за молоком и яйцами и мочегонным для управляющего, дона Сехиса, и каждые две недели идет в участок, и улыбаюсь, заранее зная, о чем будут спрашивать его жандармы при входе в город, и становлюсь в очередь с туристами, которые охотятся за оборванными испанцами, да, друг мой, да, здесь, в подвалах строящихся домов, я ведь могу зайти куда угодно без заявлений и поручительств и не нуждаюсь в добрых и полезных советах сеньора судьи, я гляжу, не обжигаясь, на вечный огонь, в котором горит Пруден, а иногда играю в кубики с малышом, который у нас не получился, тем лучше для него, да-да, не спорьте, и я ношу пакеты для тех, кто сидит в каталажке, или для тех, кто уехал далеко-далеко, им тоже не сладко, попали из огня да в полымя, и я загоняю обратно в водохранилище всю воду, ушедшую через прорванную плотину, и расставляю все, как было раньше: дома, занавески, улицу Вердуго, балкон с цветочными горшками, городской бар, комод с рубашками, клеенку с Гуадалквивиром и Гибралтаром, отдаю тетушке Бласе все письма, пусть узнает обо всем и поворчит, ведь она тем и была счастлива, да и что в этом такого, и я смеюсь над всеми, кто обзывал меня хромоногим и швырял в меня камни, я представляю себе, что с ними случилось, одни умерли, другие живут скучно, вот именно: скучно. Только вот я не знаю, как восстановить мою родную деревню, сделать ее такой, какой она была до бомбежки, это было бы лучше всего — я так думаю. А под конец все растворяется в нескончаемом воскресном вечере, он бывает так хорош. Вам приходилось когда-нибудь почувствовать, как хорош воскресный вечер, когда сидишь дома один и смотришь, как дневной свет густеет в пять часов, в шесть, как свежее, холодает? И

ты никуда не спешишь... Не замечали? Конечно, вы человек ученый, а ученые люди ничего не замечают, простите меня, они немного твердолобые, думают, как улучшить мир, но не замечают, каким может быть воскресный вечер, поди узнай—почему, но сегодня как раз воскресенье, и мне не надо пятиться в страхе, прикрываясь локтем от человеческой жестокости... О господи, если бы все это было на самом деле и все они были бы здесь, грелись на солнце в пять часов... Если вы когда-нибудь еще заедете сюда, пожалуйста, привезите мне хорошую карту Испании, хочется посмотреть, как у нас идут дела...

1969

ЧЕРЕПАХА И АХИЛЛ

Черепашке никогда не догнать Ахилла. Но и Ахилл, сколько бы ни бежал, никогда не догонит черепаху.

Когда это было, я уже не помню, врезалось в память только само событие. Ненастным днем мы хоронили профессора. Зимний ветер, налетавший резкими порывами, швырял нам в лицо ледяную изморозь. Под стать погоде оказалась и печальная церемония. Поначалу мы собирались организовать большую прощальную демонстрацию. Огромная процессия медленно шла бы за катафалком, движение на улицах перекрыто, и безмолвная толпа заявляла бы целому городу, что значил этот человек при жизни, сколько он продолжал значить, несмотря на его смерть. Даже мелькала мысль о листовках, полных намеков, но от этой идеи отказались, чтобы не давать полиции повода к провокации... А кончилось все ничем... Большая траурная демонстрация не состоялась. И похороны были лишены даже малой доли торжественности, соответствовавшей месту, которое усопший занимал в нашем интеллектуальном мире, не было даже того, что обычно сопровождает погребение стольких посредственностей,—ни парада учеников, несущих на плечах гроб, ни машин с венками от различных официальных и полуофициальных организаций, ни торжественного кортежа дряхлых академических знаменитостей... Ничего этого не было... Были обычные похороны, прошедшие при ужасающем равнодушии большого города, как будто хоронили безвестного человека. За похоронной машиной ехало несколько автомобилей, а в них—последние и немногочисленные приверженцы профессора: они быстро пересекали улицы, смешиваясь с потоком сотен и сотен торопящихся по своим делам машин... Причину этого последнего поражения никто не

мог толком объяснить. Говорили о давлении со стороны властей, о страхе в определенных кругах, о раздорах и разногласиях между различными группами вечно разъединенной оппозиции... Как бы там ни было, но только мы, немногочисленная группа людей, встретились на кладбище, где хоронили самоубийц. Холод, дождь да небольшое незащищенное пространство, на котором нашли последний приют те, кто отказался от всех земных надежд; слова, полные веры в человека и в несчастную родину, высеченные на надгробиях людей, составивших славу прошлого века, хотя гонимых и поносимых при жизни,— все это повергло меня в такое глубокое уныние, что, пока засыпали землей могилу, где покоился наш бедный и любимый учитель, я не мог отделаться от мысли, что конец его был не только простым и естественным, но, более того, являлся последним, главным уроком, в котором нам указывался единственный путь, по которому следовало идти. Последний поступок, за который некоторые так критиковали профессора, на самом деле логически вытекал из его, да и нашей жизни, из того, кем были мы и какое значение имели... Это была неумолимая судьба, которую нам навязывала грустная история нашей родины...

Думаю, что более-менее таким было настроение, владевшее небольшой кучкой людей, в тягостном молчании окруживших могилу. И все же когда холмик был насыпан, когда мы возложили на простую и бедную могилу венки, то попытались скрасить церемонию, как это принято в таких случаях. Один из бывших учеников профессора — уже много лет, как нашего учителя отстранили от кафедры, и учеников молодых, активно работающих у него не было — прочел отрывки из его трудов. Другой взволнованно, хотя и коротко сказал о том, чем была жизнь профессора, что она означала для всех нас и какой пример нам подавала; и наконец еще один ученик говорил о свободе, которую искали все великие люди, о чем свидетельствуют их произведения и их последний выбор: о свободе, которая была путеводной звездой человека, с которым мы только что простились навсегда, и которая, если мы ее добьемся, целиком отдав себя борьбе, будет лучшим памятником ему...

Когда эта короткая церемония закончилась, мы стали расходиться небольшими группами. По дороге домой я еще

раз убедился в полном равнодушии огромного города, ничего не ведающего ни о похоронах, ни об этом человеке. Мир следовал своим путем, даже не подозревая о нашем существовании. Настроение мое совсем испортилось, и я почувствовал себя совершенно одиноким. Кем мы были, что значили, какую роль играли? Я сказал об этом В., процитировав «Макбета», который, хотя и не понял, откуда эта цитата, снова резко осудил мой пессимизм. По его словам, я преувеличивал, у меня были пораженческие настроения... Положение было не таким безнадежным, как мне казалось. Нас еще рано сбрасывать со счетов.

Рано... Какими далекими казались дни, когда наши имена зажигали энтузиазмом университет, когда мы открыто возглавляли любую демонстрацию и если попадали за это в тюрьму, то поднимали шумиху ведущие зарубежные газеты... Как далеки были теперь те времена, почти забыты. Теперь... кем мы были теперь? Писателями... Писателями, которые ничего не публикуют, и одна из причин — никто не хочет читать... Или художниками. Но разве кто-нибудь за пределами нашего небольшого круга знает хотя бы, что означает слово «искусство»? Интеллектуалами... Какое глупое, напыщенное слово! Оппозицией... Да о какой оппозиции можно говорить? Кто составляет эту оппозицию? И оппозицию кому?..

Сказочка для дурачков. Да, к чему обманываться. Похороны старого профессора — лучшее доказательство. Присутствовало только четверо близких друзей... И причина тому совсем не полицейские репрессии, не разногласия внутри оппозиции, как утверждают. И хотя доля правды и в этом есть, настоящая причина в другом... Она в том, что нас четверо. Четверо наивных мечтателей, которые постепенно смиряются, или исчезают, или кончают с собой, как несчастный человек, которого мы только что похоронили.

Мне стало совсем грустно. В., оптимистически настроенный, продолжал критиковать меня, обвиняя в пораженческих настроениях, как всегда упорно утверждая, что скоро все изменится. Сколько же времени это все продолжается? Я был еще ребенком, когда один мудрый и либеральный профессор математики, выгнанный со своей кафедры, радостно предсказывал неизбежное падение того, кого вот уже столько лет люди зовут Великим Старцем. Сколько же лет прошло с тех пор, как старый профессор, друг моего

отца, произнес эти слова? Теперь точно и не скажешь. Знаю только, что тогда я был ребенком, и вот уже на пороге старость... Сколько раз за прошедшие годы слышал я, как повторяли эти слова? Сколько людей, как тот профессор, с надеждой предсказывали близкое падение режима, а потом сами сошли в могилу, унеся с собой несбывшуюся надежду? И все продолжается по-прежнему, под жесткой властью Великого Старца. И какая разница, что вот уже несколько лет он нигде не показывается, давая повод самым нелепым слухам? Значение имеет лишь то, что он, властный, невозмутимый, требующий, как идол, поклонения, продолжает распоряжаться нашими судьбами. А за этим вездесущим образом скрываются группировки, когда-то давшие ему власть, поддерживающие ее и по сей день, так же как пять тысяч лет назад прятались халдейские жрецы за глиняным божком Маруком...

Я отделался от В., с его оптимизмом, который жизнь все равно опровергнет. В. меня утомляет. Я вижу, как он невесело ходит кругами около меня, подстерегая, что я делаю, как будто хочет уличить в ошибке. Я скрываю от него, что я пишу, позволяя ему самому догадываться... Простившись с ним, я зашел в бар на площади, чтобы согреться. Это и был тот бар, где я в первый раз увидел их.

Должно быть, они вошли сразу после меня и остались около дверей, в углу стойки. Еще раньше, чем я увидел их, мной овладело какое-то странное, неприятное ощущение, без сомнения, предшествовавшее их появлению. Их наружность, необычная и привлекающая внимание, покорила меня, больше всего раздражала абсолютная одинаковость. Это была как будто удвоенная фигура, простое отражение, лишенное логики и смысла. С некоторых пор я избегаю зеркал, их множащей лживости. Этим и объясняется мое удивление и неприязненное ощущение при виде двух фигур, бессмысленно повторяющих одна другую. Одинаковым было все — рост, прическа, усики, темно-зеленые солнечные очки в пол-лица, абсурдные в этот дождливый вечер. Старомодные плащи — такие когда-то носили фотографы, делавшие моментальные фотографии, — как в примитивном сайнете, их нелепые фигуры. Конечно, я не мог удержаться и настойчиво разглядывал их, стараясь не забывать о приличиях. Могу уверить, что, наверное, я был самым скромным из всех присутствующих, и любопыт-

ство мое ничего общего не имело с той развязной насмешливостью, которую шумно выказывали остальные, с их веселыми замечаниями по поводу нелепых плащей и солнечных очков. Подчеркиваю — я все время держался в рамках приличий и не дал своим поведением ни малейшего повода к каким-либо особым проявлениям враждебности с их стороны. Как бы то ни было, близнецы оставались невозмутимыми и ели с полным равнодушием к переполоху, вызванному их появлением. Я посмотрел на них еще немного, а затем, расплатившись, вышел.

Вход в метро был в нескольких шагах от бара. Я спустился и проехал несколько остановок, погруженный в свои невеселые мысли, когда заметил, что как раз напротив меня, прислонившись к двери, стоят эти странные близнецы, синхронно покачиваясь в такт движениям поезда.

Народу в вагоне было немного, поэтому, увидев эту зловещую пару, неожиданно возникшую передо мной, я не мог не вздрогнуть от смешанного чувства отвращения и страха. В этом полупустом вагоне близнецы выглядели угрожающе, совсем не так, как в баре. И хотя я понимал нелепость своего страха, успокоиться не мог и вышел из метро, не доехав до нужной остановки.

По дороге домой я продолжал думать о них, когда, пройдя улицы две, случайно повернул голову и заметил, что они идут следом. Я испытал то странное ощущение, когда вам кажется, что сердце останавливается на мгновение, а потом начинает бешено прыгать в груди. Сомнений не оставалось: близнецы преследовали меня.

Напрасно пытался я трезво осмыслить происходящее. Напрасно говорил себе, что это нелепо и не имеет ни малейшего смысла. Впустую убеждал себя, что это всего лишь злосчастное совпадение и эти двое идут за мной потому, что им по пути... Ни одно из этих соображений меня не успокоило.

Для того чтобы развеять сомнения, я сделал последнюю попытку. Вместо того чтобы идти домой кратчайшей дорогой — а мне оставались каких-нибудь двести метров, — я свернул в первый попавшийся переулок. Я живу в старой части города, и когда тут сворачиваешь в сторону от двух-трех главных улиц, оказываешься в лабиринте корот-

ких извилистых переулочков. Скоро я очутился в самом центре этого лабиринта, пересекая то одну, то другую пустынную улицу. Минут десять я шел очень быстро. И вдруг остановился. Я был на небольшой старинной площади, с двумя-тремя особняками — периода Римской империи — и старинным фонарем, который вот-вот должен был осветить все своим нежным меланхоличным светом. Тишина пустынной площади была нарушена звуком шагов, звонко отдающихся по вымощенной камнем улице, ведущей на площадь — как раз по ней только что прошел я. Испугавшись того, что могли значить эти шаги, я кинулся к этой улице. Лишь только я выглянул, как тут же убедился — сомнений больше не оставалось — омерзительные близнецы преследовали меня...

И тут я начал зигзагообразное бегство, петляя по запутанному лабиринту переулков, отлогих улиц, узких переходов и проходных дворов, бегство, способное сбить с толку самого ловкого сыщика. Я как будто перенесся на сорок лет назад, в далекую молодость, когда в кармане у меня была пачка листовок, на которых еще не просохла краска множительного аппарата, а меня захлестывал страх, заставлявший в каждом прохожем видеть агента политической полиции. Или как будто я вышел с тайного собрания, после которого каждый из присутствующих возвращался домой самой длинной и неожиданной дорогой. Прошло почти сорок лет... И все это время страх почти никогда не покидал меня, я никогда не мог избавиться от давящего ощущения, что кто-то следит за каждым моим шагом, хотя, с тех пор как позади осталось безумие молодости, поведение мое было корректным по отношению к властям и я считаю себя примерным гражданином. Это я могу утверждать с полной уверенностью.

Ну вот... Я думал об этом, пока распутывал нить моего лабиринта. Ощущение, что меня преследуют, физически преследуют, всегда подспудно жившее во мне, сейчас пробуждалось, более сильное, чем когда-либо.

И все же — говорил мне голос разума — это необъяснимо и бессмысленно. Почему, за что меня сейчас преследуют и терзают? Я не сделал ничего, абсолютно ничего, в чем меня можно было бы обвинить... Уже бог знает сколько времени я не занимаюсь политической деятельностью. Я обычный человек, а не какая-нибудь

знаменитость, одно существование которой является вызовом режиму и может стать поводом для скандала, а потому за ним нужна слежка. Я же — обычный, незаметный человек, посредственный, почти никому не известный и забытый. Посредственность может быть преимуществом, и большим. А кроме того, повторяю, я ничего не делаю, ни во что не вмешиваюсь. Иногда я встречаюсь с В., с Р., с М. ... Но ведь это совершенно невинно. Конечно, мы разговариваем на определенные темы. Но это все равно что говорить о женщинах или бое быков — никому не вредит. Хотя, конечно, возможно, кто-то и следит за нами, подслушивает. Я всегда говорю это В., но он очень неосмотрителен. Мне нравится выбирать пустынные места, какой-нибудь уголок за деревом или около самой двери в кафе, — места, куда никто не может подойти незамеченным. Удобно, конечно, обвинять меня в боязни открытого пространства. Но лучше не пустословить...

Кроме того, существовали мои выступления в печати... Но и они не могли бросить на меня тень. Последние публикации, к тому же всегда под псевдонимом, были всего лишь критическими заметками, полными аллегорий, и печатались за границей, обращенные к моим постоянным читателям — эмигрантам, а вернее, к детям эмигрантов, поскольку сами эмигранты почти все уже умерли; касались же они единственной интересовавшей их темы — гражданской войны, такой далекой, что она уже почти стала легендой. К тому же эти статьи и рассказы появились много лет назад. Что же касается моей родной страны, то тут вот уже более тридцати лет я не опубликовал ни строчки... Кроме того, если быть логичным, мои выступления в печати никак не могли вызвать преследований. Таким образом, единственная причина — сегодняшняя церемония, похороны профессора. Но ведь они были официально разрешены, эта немногочисленная и, я бы сказал, вполне лояльная церемония не должна была повлечь преследования или репрессии. А кроме того, почему именно я, такой незаметный, должен был стать объектом преследований? Хотя, с другой стороны, они могли распространяться на всех. Возможно, что в эти самые минуты за каждым из присутствовавших на похоронах шла пара сыщиков... Но ведь это лишено смысла. Мы числились в полицейских

картотеках, были слишком хорошо известны, и уже довольно давно всем нам позволяли влачить спокойную жизнь, хотя, с другой стороны, мы вели себя совершенно нейтрально... Может быть, им нужно дополнить свою картотеку, посмотреть на примере этих жалких похорон, не возрождаемся ли мы, как птица Феникс, из пепла... В безумном блуждании по запутанной сети переулков все казалось мне абсурдным и незначущим.

С другой стороны, отвратительные близнецы не могли быть полицейскими. Все в них словно специально было предназначено привлекать внимание; а ведь полицейским необходима маскировка... Но если они не из полиции, то почему преследуют меня?.. А если полицейские, то почему ведут себя вразрез с самыми элементарными требованиями их ремесла?

Так думал я во время своего панического бегства, но утишить растущий страх не удавалось. Наоборот, он все рос и достиг пароксизма, когда, войдя в подъезд моего дома, оглянувшись, я увидел, как близнецы выходят из-за угла как раз в тот момент, чтобы заметить, куда я вошел.

С острым ощущением удушья я поднялся по скрипучей лестнице. Войдя в квартиру, я тут же повалился в старое кресло, набитое конским волосом. Бесконечно долго сидел, не зажигая огня, напряженно прислушиваясь к скрипу ступенек на лестнице. Но повсюду царило глубокое молчание. Наконец я собрался с духом, встал и подошел к окну. Улица, слабо освещенная старым фонарем, была пустынна. Я прижался пылающим лбом к холодному стеклу и несколько минут стоял так, глядя на одинокую улицу и вслушиваясь в тишину. Наконец, я отошел от окна и зажег свет...

Было холодно. Я поднес спичку к старой бутановой печке, которая начала гореть несовершенным, голубоватым огнем. Часть газа уходила в воздух и очень скоро у меня разболелась голова. Я снова уселся в продавленное кресло. Кругом книги, сваленные на полу, папки с беспорядочными бумагами, папки, в которые я годами складывал мои записки, почти все незаконченные, все неизданные... Постель, служившая мне одновременно и софой. Столик около постели с полуразвалившейся пишущей машинкой. На деревянной откидной полке радиоприемник, по которому, невзирая на помехи, я когда-то ловил зарубежные радиостанции и который теперь, после

того как вот уже много лет вышли из строя его лампы, казался мне просто бессмысленным хламом. Это, да еще небольшая комната с плитой и старым холодильником, и неприглядная каморка, где помещалась ванная и туалет, и составляло мой домашний очаг. Более сорока лет одиночества смотрели на меня...

Бутерброд с копченой колбасой, яблоко и чашка крепкого чая — вот и весь мой ужин. Прошел почти час, и теперь-то уж они, без сомнения, не придут... Хотя могут и выждать где-нибудь, притаившись, чтобы посмотреть, не выйду ли я, не отправлюсь ли в какое-нибудь компрометирующее место, готовые идти за мной по пятам и выслеживать. Или они попросту выжидают подходящего часа, часа арестов, который приходит с наступлением глубокой ночи... Тогда-то они и забирают человека, полусонного, беззащитного, не способного к сопротивлению... В другие времена такими ночами я жег... Жег книги, бумаги, все, что, на мой взгляд, могло показаться подозрительным... Хотя что до книг, то тут всегда трудно определить, где кончалось дозволенное и начиналось запрещенное... Я уже столько их сжег, столько разодрал, что, думаю, моя библиотека просто асептична. У меня остались только художественные произведения, книги, которые можно купить в любой книжной лавке города. Но даже теперь я до конца не уверен. Ведь, как я уже сказал, не существует четко определенных границ; в последней инстанции, это всегда критерии тех, кто делает обыски.

Ночи напролет я сжигал книги, листовки, подпольные издания... Потом я собирал золу и спускал ее в туалет... Это было сложным и кропотливым делом... Не так-то просто отделаться от золы. Даже забавно, сколько я всего сжег за свою жизнь... Даже сборники одного поэта, которому теперь устраивают чествования... Другими словами, никогда не знаешь, что покажется им хорошим, а что — плохим. Но сейчас — нет... Как бы они ни придирались, теперь им ничего не найти... Сжигать больше нечего, нет ничего компрометирующего...

И вдруг я вспомнил про свой роман... Я так давно к нему не притрагивался, что и забыл о нем... Он был тут, в одной из этих папок. Более пятисот разрозненных и перемешанных страниц, хаотичное повествование — вот что являли собой мои воспоминания, рассказ обо всем,

что произошло в эти бесконечные годы...

Когда я писал их, у меня не было намерения печатать это при настоящих обстоятельствах, и поэтому работал я без всякой внутренней самоцензуры. По сути, эти страницы пропитаны давней надеждой, надеждой на то, что однажды все переменится и тогда можно будет свободно высказать то, что чувствуешь... Да, это, конечно, был настоящий динамит... Я пошарил взглядом среди сваленных в кучу папок и нашел ту, что скрывала состав преступления... Вот она в моих руках... Да, это представляло опасность, и немалую... Ведь там были даже неуважительные слова в адрес Бессмертного Старца, просто оскорбления...

Мне все вдруг стало ясно... Непонятно каким образом — ведь я всегда хранил полное молчание об этой рукописи — им стала известна моя тайна... Поэтому-то меня и преследовали... А значит, этой ночью придут арестовывать.

Я поднялся и, весь дрожа, направился в кухню с увесистой папкой в руках. Там я взял спички и пошел в туалет. Но когда, стоя над унитазом, я чиркнул спичкой, чтобы поджечь этот ворох бумаг, мужество оставило меня. Ведь над ними я трудился более двадцати лет... Конечно, пока это были не более чем разрозненные записи, заметки, никак не соединенные между собой. Но значили они для меня гораздо больше. Это была надежда, что однажды все изменится, что однажды я стану свободным и рукопись, которой я посвятил большую часть своей жизни, приобретет смысл и ценность... А сейчас я сам собирался превратить ее в горстку пепла. Это было все равно что сжечь самого себя...

Помню, как я вернулся в комнату с папкой в руках и рухнул на постель. Нет, сжечь это я не мог... Несколько часов, не раздеваясь, пролежал я на постели, погрузившись в состояние прострации. Я знал, что должно произойти что-то ужасное, и эта уверенность парализовывала меня. Но в то же время я чувствовал неспособность оказать какое бы то ни было сопротивление надвигавшемуся. И так я лежал, напряженно ожидая неизбежного, со слепой религиозной покорностью перед лицом неотвратимой судьбы... Так пролежал я несколько часов и наконец заснул... Тогда-то мне впервые и приснился тот сон. Меня пытаются разубедить, но я-то знаю, что было

именно так. Все остальное — не более чем желание запутать меня, поймать в расставленные сети. К тому же после, все чаще, хотя и с различными вариациями, сон этот возвращается ко мне. Но до той ночи он никогда мне не снился.

Небольшое селение на юге нашей страны. Улицы чисто выбеленных домов ведут к узкой полоске пляжа с крупным грязным песком. Натянутые сети. Лодки, перевернутые на песке.

Ноги при ходьбе увязают. Идти трудно. Я едва передвигаю их в этом вязком, как клей, песке. Иду, высоко поднимая тяжелые, будто свинцом налитые ноги, навстречу лодке, которая плывет к берегу.

У двух людей, выпрыгивающих из нее, нет лиц. У них есть головы — кажется, на картине Чирино я видел что-то подобное, — а вместо лица пустой овал. Возможно, поэтому они кажутся одинаковыми. Я не помню ни их фигур, ни одежды. Только захлестнувший меня ужас.

Я бегу по узкой извилистой улочке беленых домов. Она беспредельно удлиняется, кажется, ей не будет конца. А под ногами — темный, вязкий песок, как и на пляже, в нем глубоко увязают мои ноги, и, чтобы вытащить их, нужно прилагать невероятные усилия. Я не вижу своих преследователей, но чувствую постоянно за плечами их тягостное присутствие. Передо мной — открытая дверь, за ней — спасение.

В мрачной и прохладной прихожей слышится назойливое жужжание летней мошкеры. Затемненный коридор ведет к закрытой двери. Я толкаю ее. В первую минуту меня ослепляет свет. За столом перед раскрытой папкой с множеством машинописных листов сидит человек; неподвижный, с головой погруженный в свои мысли, он, кажется, не замечает моего присутствия. Берет один из листов. Бережно, почти любовно вырезает из него бумажного человечка. Потом открывает альбом с черными обложками и очень осторожно наклеивает человечка на одну из его страниц. Я стою неподвижно и молча. Я знаю, что эта папка — моя, что тот листок написан мною. Оглядываю стены комнаты. Повсюду цветные литографии с изображениями Пресвятой Девы, которая, кажется, сверлит вас взглядом... Я отделяюсь от земли, как прыгун в высоту, снятый замедленной съемкой... В своем медленном полете легко проникаю через стену... Сначала я не

узнаю ни места, ни спутников... И вдруг все становится ясным—направляемся к кладбищу. Хоронят профессора, и меня окружают мои друзья—В., М., А., С. (хотя довольно странно, что С. находится здесь, ведь его уже больше года нет в живых). Но с другой стороны, похороны совсем не те. Мы идем пешком за катафалком, который везут лошади, а кладбище, куда мы идем,—кладбище в небольшом городке, где прошло мое детство. Все происходящее очень похоже на проводы нашего школьного преподавателя физики—мы шагаем двумя рядами за катафалком, построенные по классам, а на лицах у нас написано деланное сожаление... Только теперь мы хороним профессора, и мы уже не дети, а взрослые, соратники по оппозиции, интеллектуалы, выступающие против режима,—В., М., А., С. (С., который умер больше года назад...). Мы идем по дороге, обсаженной рожковыми деревьями, платанами и каштанами, к ограде, из-за которой виднеются стройные верхушки кипарисов. Прекрасный день. Солнце, мягкое и ласковое, озаряет небо цвета индиго, в воздухе разлит аромат смородины, и монотонный звон колоколов, вызывающих с белой колокольни по усопшему, медленно поднимается, смешиваясь с торжественно кружащими в небесной голубизне орлами. Во сне я отчетливо различаю цвета и не нахожу в этом ничего странного или противоземного. Именно в такие дни мы прогуливали занятия в школе и приходили на склон, где было расположено кладбище, чтобы съесть тут принесенный из дома завтрак, хлеб с сыром, а осенью и весной расставить силки на непоседливых коноплянок. Но сегодняшней день не для радостных детских забав... Хоронят учителя, и вот мы уже стоим вокруг вырытой могилы, пока мужчины на крепких веревках опускают туда гроб... Двое могильщиков начинают забрасывать яму землей... И в этот момент я с ужасом вижу, что у них одинаковые пустые овалы вместо лиц, нет ни бровей, ни глаз, ни носа, ни рта, ни волос—лишь пустота, которую надо заполнить. Я вижу эти пустые лица—лица моих преследователей, вижу, как они склоняются надо мной сверху, засыпая меня землей... Ведь это я лежу в могиле, внутри гроба, через крышку которого видно, как они взмахивают лопатами; и земля, падая на крышку гроба, давит неизбывным тягостным грузом; эта невыносимая тяжесть

лишает воздуха мои легкие, наполняя их страшным смятением—оно растет и в конце концов взрывает мой сон на тысячи кусочков, оставляя мне сладостное утешение проснуться. Я радостно вздыхаю—наконец-то живой, освободившийся от гнетущего кошмара...

Проснувшись, я вспомнил сон во всех деталях. Это было первое, что пришло мне в голову, и я подумал, что он приснился мне только что. Возможно, я действительно видел его в этот раз, но уже не впервые. Пробудившись от кошмара, я подумал было, что лежу на постели, в своей тесной комнате. Но смутно понял, что это не так. Я действительно был в своей комнате, когда очнулся от кошмара, но сейчас находился в другом месте. Это заставило меня предположить, что сон был не реальностью, а лишь воспоминанием о другом, давнем сне...

Я лежал в незнакомой постели, в незнакомой комнате, где двумя параллельными рядами стояли, сверкая железом и белизной, кровати. Я всегда ненавидел удвоения, которые, кажется, преследуют меня... Мало-помалу с удивлением и испугом я начал узнавать и понимать, что меня окружало. У человека, лежавшего на соседней кровати, нога была в гипсе; у его соседа справа—рука подвешена на сложном переплетении тросиков с грузами; у соседа слева красовалась подчелюстная повязка. Без сомнения, я был в больнице. Но как я тут очутился? И вдруг я отчетливо все вспомнил.

Вспомнил, как проснулся—не теперь, а много лет назад, давно, бог знает, сколько времени прошло,—от своего кошмара. Проснулся там, в убогой комнате, освещенной бледным утренним светом, и понял, что ничего не произошло, что никто не пришел арестовывать меня. Постепенно кошмарный сон отступал, как отступали и воспоминания о том, что произошло накануне. Все оказывалось просто нелепой случайностью, абсурдным сцеплением бессмысленных фактов. Ничего не случится. Беспокоиться не нужно...

Но когда я вышел на улицу, кошмар возобновился. И с такой силой, что с полным основанием можно сказать: только тут он по-настоящему и начался.

Затем последовали несколько безумных дней, когда сводящие с ума близнецы с тоненькими усиками, темными очками, в нелепых плащах уличных фотографов следова-

ли по пятам, чем сводили меня с ума. Где бы я ни был, там оказывались и они: в кафе, на улице, в дешевом ресторанчике, где я обычно обедал... Я заметил их даже в кино, куда однажды случайно забрел. Они никогда не подходили близко, ни разу не сказали ни слова... Они просто находились там же, где и я...

Не могу точно сказать, сколько дней длилась эта глупая и бессмысленная слежка. Не могу описать охватившее меня отчаяние. Такие вещи нужно пережить, чтобы понять. Однажды, когда их ужасное присутствие особенно меня тяготило, а страх мой почти достиг размеров безумия, я вернулся домой раньше обычного. Входя в подъезд, я повернул голову, чтобы увидеть, продолжается ли по-прежнему это необъяснимое преследование. Сзади не было никого. Поднявшись по скрипучей лестнице, я вошел в квартиру. Невозмутимые и одинаковые, сидя на моей собственной кровати, близнецы ждали меня...

Легко судить, критиковать других, не побывав в подобных обстоятельствах... Просто и легко говорить о поспешности, глупости, даже безумии... Легко и просто рассуждать, находясь вне ситуации, в уверенной, надежной позиции. Но я утверждаю, что те, кто так спокойно и трезво рассуждает, на моем месте сделали бы то же самое — в ужасе бросились бы вниз по лестнице...

Это все, что я мог вспомнить. Говорят, что я буквально влетел под колеса автокара, когда выскочил на улицу. И вот теперь я за это расплачиваюсь, лежа в больнице. Однако я не могу сообразить ни сколько времени тут нахожусь, ни насколько тяжело мое состояние, ни что у меня повреждено.

Скоро я узнал, что раны мои незначительны. Несколько гематом да легкое сотрясение мозга, поэтому меня и уложили. Но гораздо труднее оказалось выяснить — это была настоящая тайна, — когда я поступил в больницу, сколько времени находился там, сколько пробыл в бессознательном состоянии или... под действием наркотиков. Обычно говорят о снотворных, транквилизаторах... Сколько времени все это длилось? И для чего такая таинственность, к чему секреты?

В больницах ощущение времени быстро теряется... Поэтому я не знал, сколько времени пробыл тут. Однажды после обеда улыбающаяся белокурая медсестра сказа-

ла, что меня выписывают. Я встал, привел себя в порядок и несколько часов терпеливо ждал. Наконец вошла медсестра и велела мне следовать за ней.

Я шел за женщиной длинными белыми коридорами до двери матового стекла, которая вела в комнату с письменным столом и небольшим диванчиком. Мужчина, сидящий за столом, просматривал историю болезни. Медсестра подвела меня к нему.

Это был молодой мужчина в сером костюме, без сомнения очень дорогим, и очках в золотой оправе. Правый глаз у него без конца дергался в нервном тике. Он поднял голову и улыбнулся мне с профессиональной любезностью.

— Пожалуйста, садитесь. В., М., А.?

Я кивнул. Все происходящее рождало смутное недоверие. Я не знал, чего хочет этот тип в безукоризненном сером костюме, но не ждал ничего хорошего. Слишком уж самоуверенно он держался, видно, что привык побеждать, а это меня, несчастного парию, пугало и раздражало одновременно. К тому же еще он принадлежал к типу людей, способных вывести из себя и более уравновешенного человека...

— Простите,—продолжал он,—если я отниму у вас несколько минут. Но это обязательная процедура в нашей клинике в случаях, подобных вашему, своего рода формальность. Хотя я считаю, что пациентам она приносит большую пользу.

Такое вступление нимало не способствовало тому, чтобы успокоить меня или развеять скрытую враждебность. Я продолжал замкнуто молчать.

Я не раз слышал упреки, будто сам воздвигаю стену, которая меня отделяет от окружающего мира. Они называют это аутизмом и, несмотря на то, что мне самому так очень удобно, стараются сломить это сопротивление. Тактика охотника. Но им не мешало бы учитывать и хитрость жертвы...

— В цивилизованном обществе медицина не должна лечить только органические заболевания. Ведь человек единое целое. Поэтому хотя без травматолога и не обойтись, но только им не обойдешься: Его работу нужно дополнить. И тут-то и нужна моя скромная профессия— социальная психология.

Поверьте, мне претит подобная болтовня. Такой

человек может говорить часами. Иногда он делает вид, что ему нравится слушать вас, но на самом деле он способен слушать лишь самого себя. Говорит ли он или молчит, притворяясь, что слушает меня, не имеет значения. На самом деле говорит всегда только он... Говорит изящно, легко, красиво. Слова скользят и скользят, как вода в белоснежных унитазах. Чистый, естественно льющийся, бесконечный ручеек. Его экзотичная безупречность вызывает у меня отвращение и тошноту...

— Ведь любое уличное происшествие является социальным фактом. Не знаю, понимаете ли вы это... Уличное происшествие серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Это... как бы сказать... нечто вроде проективного теста... Вы слушаете меня?

— Да, конечно... Что мне еще остается...— Замкнувшись в моем враждебном молчании, укрывшись за стеной молчания, я слежу за ним...

— Другими словами, речь идет об определении степени социальной ответственности.

— Социальной ответственности? — неожиданно для самого себя спросил я...

— Конечно. Я же вам объясняю, что уличное происшествие — это социальное явление. Кроме того, в этом случае есть две стороны...

— Другими словами, вы хотите найти виновного, распределить ответственность?

— Совсем нет. Я вижу, вы меня не понимаете. Тут, к счастью, не суд. Мы стараемся никого не обвинять, а просто помочь людям, вылечить их...

— Меня уже выписали...

— Конечно, конечно. Но я говорю о другом выздоровлении. Вернемся к несчастному случаю. Он произошел. Что это означает? Для меня все не так просто. Раз он произошел, значит, имеет место психологический сбой...

У меня уже начинает болеть голова. Эти бесконечные разговоры, топтание на месте, всегда кончаются одинаково — головной болью. Ничего не поделаешь, придется терпеть.

— Я не понимаю. Какой сбой? У кого?

— Возможно, у водителя автокара, ведь это он наехал на вас...

— Водитель автокара?

— Возможно, у него была скрытая неконтролируемая агрессивность. Возможно, он неосознанно стремится к убийству...

— Что за глупость! Я стремглав выбежал из подъезда и сам буквально влетел под колеса этого несчастного...

— Так было на первый взгляд. А кроме того, я всего лишь высказал предположение... Возможно, у него и нет стремления к убийству... Возможно, в вас живет неосознанное желание умереть...

— Все мы в какой-то степени хотим умереть...

Вот так со мной всегда. Каждый день я даю себе твердое обещание не вступать в его игру. И неожиданно для самого себя у меня выскакивает какая-нибудь фраза, неподходящее слово, за которое он тут же ухватывается и начинает его крутить по-всякому, запутывая меня в свою паутину.

— Нет, простите... Не все мы желаем смерти. Вы считаете это безумным, потому что сами хотите умереть. Вы проецируете на остальных свои желания и обобщаете.

Наверное, меня подводит память. Ведь разговор этот состоялся давно, и столько всего случилось с тех пор. С другой стороны, все было столь абсурдно, ирреально, что могли произойти самые фантастические вещи. Но могу поклясться, что в то мгновение человек изменился — изменилось его лицо, одежда. Теперь на нем белый халат, очки в золотой оправе исчезли, исчез и невыносимый нервный тик. И все же я знаю, что это он, по-прежнему он.

Разве не было это безумием, не уступающим преследовавшему меня раньше кошмару? Какой смысл был в этом? Я пришел за выпиской, чтобы покинуть больницу, в которую не помнил, как попал... И вот я сижу, слушаю, как меня обвиняют в скрытом стремлении к самоубийству...

— Хорошо, не надо раздражаться... Это всего лишь гипотеза... Точно так же я предположил, что водитель неосознанно хотел вас убить... Просто рабочая гипотеза... Ее еще нужно доказать...

— Как?

— Просто поговорить.

— А с водителем вы разговаривали?

— Да, конечно...— Он рассеянно смотрел в потолок.

Положил правую ногу на стол и уставился в потолок, как будто мыслями был далеко, думал о чем-то постороннем.

— Да, конечно,—повторил он, помолчав.—Я с ним разговаривал. Знаете,—добавил он,—в нем нет ничего, абсолютно ничего, что могло бы заинтересовать меня...

— Значит...

— Он абсолютно нормален, если вы это хотели сказать... А точнее говоря, он прекрасно социально адаптирован. Он полностью принимает свою социальную роль, и ее незначительность не рождает у него ни чувства фрустрации, ни внутренних конфликтов...

— Значит, это я...

— Вы совершенно другое дело. Во-первых, вы человек образованный, культурный... У таких людей, как правило, гораздо больше проблем, говоря профессиональным языком. Кроме того, ваше призвание...

— Призвание?

— Да, призвание, как бы это сказать... быть против, плыть против течения.

— Против течения... Да, это, к сожалению, так.

— Конечно. Но мы должны спросить себя—почему? Если человек с высоким интеллектуальным коэффициентом отдает свои способности деятельности, которая не пользуется в современном обществе и в умах современных людей никаким уважением, то жизнь его становится сложной, достаточно ненадежной... Разве это не означает направить оружие против самого себя? Вы недавно сказали... «Все мы в какой-то степени хотим умереть». Но это не так. Хотят этого немногие... И вы среди них...

Он может говорить об этом целыми днями. Копаться в мельчайших нюансах. Сначала попадаешь в ловушку и начинаешь следить за ходом его мысли, спорить с ним, горячиться... Пока не понимаешь, что это хуже, что просто принимаешь навязанные правила игры, попадаешься на его удочку. Тогда я замолкаю, замыкаюсь в непробиваемом молчании. Но он и тут не отступает. Как фокусник, он вытаскивает из рукава новую карту—сопротивление анализу... И опять все сначала.

С другой стороны, этот человек беззастенчиво врет. Например, когда речь заходит о моем сне. Он настаивает, что в первую нашу беседу я ничего об этом не рассказывал. Но я отчетливо помню, что именно тогда и поведал ему все. Теперь уже не знаю почему, с чего это мне

вздумалось откровенничать. Хотя, возможно, я что-то путаю. Ведь мы столько раз говорили о моем сне, о преследовавших меня повсюду близнецах, которые, по его словам, еще один сон, и ничего больше...

— Почему вас преследуют? — спрашивает он. — Почему вы считаете себя объектом постоянной слежки? Поймите, это нелепо. Никто никого не преследует... Если вы утверждаете, что за вами следят, чего на самом деле не происходит, значит, вы боитесь, что вас будут преследовать... Или, если говорить точнее, вы хотите, чтобы вас преследовали...

Какая ирония постоянно выслушивать подобные рассуждения! Я, который прожил жизнь в мире постоянной слежки и преследований, когда я вскакивал, дрожа, среди ночи, едва заслышав шаги на лестнице, я, у которого в доме бесчисленное число раз оставались друзья, боявшиеся ночевать в своей квартире, друзья, у которых я сам не раз находил приют, я, которому так хорошо известно, сколько людей было арестовано, исчезло бесследно, сколько погибло, я, привыкший к страху, как к воздуху, которым дышу, — я должен теперь выслушивать, что все это только мои фантазии, только мое вытесненное желание.

Не могу вспомнить, как ни стараюсь, о чем мы говорили в первый раз... Ведь после этого мы столько раз вели подобные беседы, я столько раз сидел в этом кабинете, что все последующие накладываются на первую, стирают ее, размывают. Это тогда он сказал мне, что близнецы не существуют, что эта история мне приснилась, а единственная реальность — мои два покойных брата, мои маленькие братья, которым я завидовал и чьей смерти желал, радуясь, когда их не стало?.. Чертов психоаналитик! Отец, авторитарность, непокорность, выливавшаяся в бунт, самонаказание, определяющее жизнь каждого, обуславливающее его профессию, экономическое положение, отношения с другими людьми, оппозицию установленному порядку и социальным институтам. Эдипов комплекс, комплекс вины, маргинальность, танатос... Он сидит за внушительным столом, этот жрец в белом халате, и он объясняет все, подгоняет все одно к одному. И этот мир становится лучшим из миров. Великий Пангос говорит, разглагольствует, анализирует... У меня нет больше сил, я не могу сопротивляться... Не могу

сказать, что заставило меня тогда выйти, не дослушав до конца его фразы. Возможно, я решил, что не обязан терпеть дальше бессмысленную болтовню, что я человек свободный, а больница—это не тюрьма. Возможно, я ничего подобного и не думал. Это был немотивированный поступок, один из тех, что мы совершаем, сами не зная толком почему. Ясно было одно: я не мог больше выносить этот нелепый разговор и вышел.

Я открыл дверь и оказался в длинном коридоре. Я пошел по нему, спокойный, серьезный, даже не оборачиваясь, чтобы взглянуть, не идут ли за мной. Завернув за угол, я увидел в конце коридора дверь матового стекла, за которой, без сомнения, был вестибюль.

Я толкнул ее—и закричал, почти не отдавая себе отчета... Я кричал, еще не понимая, где нахожусь, кричал раньше, чем мог собраться с мыслями и осознать—передо мной была стена, покрытая цветными литографиями с изображениями Пресвятой Девы, глаза которой сверлили вас насквозь, стол, где лежала папка с разрозненными материалами и листками из моего романа, человек, тщательно вырезавший из них человечков и наклеивавший их в черный альбом...

Вот и все. После этого меня привезли сюда. Та история была для них всего лишь предлогом. С другой стороны, жаловаться мне особенно не на что. Меня хорошо кормят—так я не ел никогда в жизни. Что до моей комнаты, то она удобнее моего убогого жилья. Единственное, что плохо,—выходить нельзя... Но в конце концов, длинные прогулки во дворе так похожи на наши дружеские встречи в кафе...

Ведь мы здесь снова все вместе. Когда меня привезли, я встретил тут Д., Л. и З. Прямо тут, во дворе. А ведь мы ничего не знали об их судьбе, строили бесконечные догадки, думали, что они эмигрировали во Францию, Англию или в Мексику... Но нет, они были тут...

Затем постепенно прибыли и все остальные. Сначала М., после него В., Р. и А. ... Один за другим, все мы кончили здесь...

И теперь, встречаясь во дворе, мы разговариваем так, как привыкли за все эти годы... Осторожно, почти шепотом, чтобы никто нас не услышал. В. по-прежнему самый неосмотрительный. Он меня раздражает: вечно

строит из себя героя, всегда он в победителях, всегда критикует других. Теперь он взялся вынюхивать, что я пишу. Я же прячу рукопись от него, потому что знаю — он раскритикует. Скажет, что я пораженец, что не верю в наше дело, что потерял надежду на будущее. И особенно теперь, когда он повсюду восторженно заявляет, что Великий Старец умер и нас вот-вот выпустят на свободу. Мы не очень его слушаем, но надежда все-таки живет в душе каждого из нас.

Что же касается их, с их беседами, анализом, попытками реадaptации, с их утверждениями, будто то, во что мы верим, в действительности не существует, что жизнь совсем не такова, как ее видим мы, то они раздражают, но не более. Они никогда нас не убедят и не переделают. Им не добиться, чтобы мы видели то, чего мы видеть не можем... Поэтому я пишу. Это моя форма защиты, способ противопоставить подлинную историю тому вымыслу, которым они нас пичкают. К тому же так я набиваю руку. Ведь несмотря на то, что мне придется начинать все сначала — они забрали все мои бумаги, все записи, все, над чем я трудился сорок лет, — я решил написать мой роман заново. Когда-нибудь все это кончится. Мы все станем свободными. И этому свободному миру — на суд каждого я отдам роман «Мои победные годы...».

1975

ДРАМАТУРГИЯ

ВЗЯТИЕ МАДРИДА

Драматический фарс в двух картинах с эпилогом

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

41

Франко.
Мола.
Ягуэ.
Варела.
Кейпо де Льяно.
Пеман.
Епископ Саламанкский.
Два фалангиста.
Три марокканца.
Беженцы.
Голоса и тени.
Боец Народной милиции.
Повешенный.
Старик.
Мать.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Центральная площадь городка Леганес недалеко от Мадрида. В глубине здание аюнтамьенто. Вокруг — дома с открывающимися окнами и дверями. Вечереет. Откуда-то доносятся звуки труб и барабанов. Иногда вдруг наступает тишина — тягостная и глубокая, символизирующая драму огромной массы людей. Неожиданно врываются тревожные звуки: хлопает дверь, раздается протяжный крик «а-а-ай!», выстрел, собачий лай, шум голосов, шаги... Следует иметь в виду, что все действие разворачивается как бы в двух различных планах: реальном и конкретном, происходящем на сцене, и невидимом или почти невидимом, таинственном; этот второй план, мир горя и обвинения, не присутствует полностью, но окружает и давит.

Голоса и Тени еще больше, чем шумы, образуют этот второй мир пьесы, являясь своеобразным хором. Вначале Голоса звучат приглушенно, издали. Но по мере развития действия они приближаются, создают свой собственный мир и в конце концов окружают и побеждают другой,

реальный. Это происходит в тот момент, когда Тени выходят на сцену и принимают участие в действии; тем самым второй мир, горя и обвинения, выходит на первый план. Успех пьесы, ее интерпретация и постановка будут зависеть от того, насколько удастся дать не только жизнь, но и развитие этому второму миру — параллельному, драматическому и почти ирреальному.

Актеры должны играть в масках, каждый персонаж представляет собой шарж на изображаемое им лицо. Напротив, Тени должны быть строго реалистичными, полными достоинства, без малейшего намека на карикатуру.

Когда поднимается занавес, сцена пуста: тотчас же выбегает группа беженцев — мужчин, женщин и детей — и пересекает сцену слева направо. Они охвачены паническим ужасом, бегут согнувшись, чуть ли не на четвереньках. За спиной — узлы с одеждой, в руках вещи. Исчезают в боковых улочках, задыхаясь от быстрого бега. Только одна молодая женщина падает посреди площади; узел ее развязался, одежда и мелкая утварь рассыпались по земле.

Беженка. Они идут сюда! *(Смотрит налево. Растрепанные волосы, блуждающий взор. Ужас на лице.)* Они идут сюда, ой, мамочка, идут сюда. Что же мне делать? Сил у меня больше нет! Хочу бежать, а не могу! Задыхаюсь! Я их слышу, они уже близко! *(Падает в обморок.)*

Вбегают Три марокканца и Два фалангиста с пистолетами в руках.

1-й фалангист. Арриба ¹, Эспанья! Мы переловим всех красных, как зайцев!

Начинается фарс, и игра актеров должна быть похожей на буффонаду.

2-й фалангист. Мадрид уже наш! Армия Новой Испании непобедима! Да здравствует Национальная армия!

Марокканцы не отвечают. Они увидели лежащую женщину, рассыпавшиеся по земле вещи и собираются ее ограбить.

1-й фалангист. Ты что, оглох? Да здравствует Национальная армия! Вива! *(Ударяет одного из марокканцев ногой.)*

1-й марокканец *(машинально, не отрывая взгляда от вещей беженки)*. Вива!

2-й и 3-й марокканцы. Вива! *(Подхватывают с насмешливым видом. Один из них накрывает женщину и ее*

¹ Букв.: вверх (исп.). Вперед, Испания! — лозунг фалангистов.

вещи накидкой, чтобы фалангисты не заметили и не захватили себе.)

1-й марокканец (2-му). Иметь большой машина (о часах). Тс-с!

2-й марокканец. Вива!

1-й фалангист (с пистолетом в руке быстрым шагом обходит площадь; видно, что изображает из себя храбреца, а сам боится). Красные! Красные! Паф! Паф! Паф! Есть здесь красные? Дайте мне их, я им кишки выпущу! Мы сейчас ими закусим прямо тут, на площади!

2-й фалангист (из франтов). Ну как, друзья марокканцы, элегантно я выгляжу для завтрашнего парада в Мадриде? Завтра... Раз, два, три... Мы пройдем по улице Алькала. Да здравствует наш главнокомандующий хенералисимо Франко! Вива!

Марокканцы (равнодушно, думая только о своей жертве — женщине). Вива!

Голос матери (душераздирающий, очень далеко). Сынок!

2-й фалангист (высреленне). Великую Испанию ждут великие свершения!

1-й фалангист. Все красные разбежались от страха! Испугались моего пистолета! Завтра в Мадриде я буду героем парада! Я этой штучкой тысячу человек отправил на тот свет! Тысячу человек!

Марокканцы (льстиво). О! Тысячу человек!

1-й фалангист (скачет и поет)

Мадрид уж пал,
И завтра там будет генерал.
А красная голытьба
Разбежится кто куда.

Марокканцы и Фалангисты берутся за руки, скачут и поют на площади, повторяя слова песенки.

Голос старика (в насмешку наигрывает на окари-не мелодию холостильщика поросят).

1-й фалангист. Смотрите-ка! Что это? Республиканская тряпка на балконе аюнтамьенто! Сорвать ее, сорвать немедленно! Там, наверно, укрылся какой-нибудь красный. (Снова достает пистолет.) Эй, вы, красные! Если кто там есть из ваших, пусть поднимет руки, я ему пулю влеплю! Давайте вывесим на балконе наш славный флаг. И нужно еще приготовить ужин для генералов.

2-й фалангист. Славное знамя родины! Пешли!
(Входят в здание аюнтамьенто.)

Марокканцы подбегают к беженке, чтобы захватить ее вещи. Сбрасывают накидку, роются в вещах, ссорятся.

1-й марокканец. Мой машина! Мой!

2-й марокканец. Нет, мой!

Все трое марокканцев вырывают друг у друга часы. Ими наконец овладевает 1-й марокканец, который привязывает их веревкой.

2-й марокканец. Мой красивый женщин! (Хватает женщину, лежащую в обмороке. Она слабо стонет.)

3-й марокканец. Мой женщин! Мой белый женщин!
(Спорят.)

Голос повешенного. Марокканцы! Стая стервятников над Испанией! Марокканцы!

1-й марокканец (садится, пробует завести часы). Я иметь три машина, три! (Показывает трое часов, подвешенных к поясу. У других марокканцев тоже много всяких вещей.)

2-й марокканец. Женщин, вставай! Я есть храбрый. Моя любить испанские женщин! О, Мадрид, завтра в Мадрид!

3-й марокканец (хватает ботинки и вешает их себе на плечо. Он обвешан многими другими вещами). Ты, машина. Ты, женщин. Я забирай все, все...

Голос матери (уже ближе). Сыночек!

Барабаны и трубы звучат более отчетливо. Слышны шаги марширующих солдат. Входят радостные Франко, Мола, Ягуэ, Кейпо, Пеман, Епископ. Персонажи карикатурные, граничащие с гротеском. Мола и Ягуэ метут пол, по которому ступает Франко. Епископ, подобрав сутану, благословляет направо и налево. Кейпо держит в руке бутылку, еще две в каждом кармане мундира. Сзади идет Пеман с двумя крылышками за спиной, в руке у него лира и большая гвоздика в петлице.

Неожиданно открывается окно, и в нем появляется Тень старика. Белая борода. Играет на окарине первые аккорды национального гимна. Затем окно вдруг закрывается.

Тени, которые, начиная с этого момента, вступают в действие, являются тенями умерших. Поэтому играющие их актеры должны иметь соответствующий вид, а их голоса — напоминать говорящих мертвецов.

Кейпо. Микрофон! Пеман, знаменитый поэт, не забудь распорядиться, чтобы наверху установили микрофон.

Мола (метет возле того места, где стоят марокканцы. Прогоняет их метлой). А что вы тут делаете, негодяи? Не

видите, что идет главнокомандующий? Площадь должна быть чистой, пустой и чистой! А здесь какой-то базар!

Ягуэ. Оставь их, Мола. Не видишь, они реквизируют. Наверняка это агенты нашего казначейства. Надо конфисковать у красных все ценности.

Мола. А эта женщина? Чего тут лежит? Я не хочу, чтобы главнокомандующий ее видел. Вы ее убили?

2-й марокканец. Мой женцин, красный. Хотел убежать.

Ягуэ. Тогда она покойница, героические мои солдаты.

Мола. Ну хватит. Убирайтесь отсюда, да поскорей. Завтра в Мадриде у вас будет возможность поработать для нашей казны.

Марокканцы улыбаются, кланяются, собирают вещи и уходят, все обвешенные награбленным, так что на них смешно смотреть. Один тащит часы, привязанные за веревку, другой взваливает женщину себе на спину и уходит с ней, кряхтя от тяжелой ноши.

Епископ (*подходит к Пеману*). Похоже, эти марокканцы утащат несчастную женщину.

Пеман. Не имеет значения. Расы сближаются, когда речь идет о спасении цивилизации.

Епископ. Действительно, какая прекрасная картина! Марокканцы оказывают помощь белой женщине. Эй, морос, моритос, подождите-ка. Сейчас все мы крестоносцы одного святого дела — нашего дела. Дайте-ка я надену на вас наплечники, чтобы они отвели от вас вражеские пули. (*Надевает на них наплечники и благословляет.*) Какая покорность Христу, бедные наши овечки!

Тень бойца Народной милиции (*в проеме двери, которая быстро открывается и закрывается во время его речи*). Священники и епископы, военные и наемники, что вы делаете с Испанией! Что вы делаете! Бандиты!

Пока идут сцены с марокканцами, в другом месте беседуют Франко и Кейпо. Кейпо старается все время налить Франко вина, тот жеманно отказывается. Кейпо часто отворачивается и пьет.

Кейпо. Какое выступление по радио я сегодня подготовил, мой дорогой генерал Франко! Я и Пеман будем воспевать подвиги наших войск — хесту. Ведь это так называется?

Пеман. Именно так, хеста, то бишь эпическое описание подвигов национальных войск, взявших Мадрид.

Кейпо. Олэ! Ну и талант у этого парня! Хочешь выпить, поэт? Мы, андалузцы, не можем обойтись без глотка нашего любимого вина—мансанилья,—оно веселит сердце. Мола и Ягуэ—скоты. Всегда на уме военные заботы, стратегические планы... Я, в душе, думаю, что они невежественные. Тебе не кажется? Ты и я выступаем перед публикой, мы артисты, мы великие люди, черт побери. Такие, как Франко, как Мола, как Ягуэ, делают историю, но мы, ты и я, Пеман, ее воспеваем, и каким голосом! Слушай, кстати, я вчера получил письмо от одной почитательницы... У меня много почитательниц здесь, в этих краях, верных национальному делу. Пишет, что влюблена в мой голос. Ха, ха, ха! В мой голос. И просит сообщить ей марку какого-нибудь моего любимого вина или эликсира, чтобы полоскать горло по утрам. Ха, ха, ха! *(Пьет.)*

Пеман. Мансанилья! Солнце моей Испании!

Кейпо. Верно. И доложу я вам, что нет ничего лучше мансанилья, чтобы прочистить горло. Ну как, поэт, еще по глотку?

Пеман. Небольшое возлияние, совсем чуть-чуть. *(Пьет.)*

Тень старика *(в том же окне, что и раньше)*. Трам-пам-паны, они пьяны.

Кейпо. Прикажи, чтобы поставили микрофон. Не забудь. Сегодня ночью надо будет передать важные известия.

Тень матери *(в другой двери, стоит на пороге. Это мать с ребенком на руках, его лицо изуродовано осколком авиабомбы, говорит с болью)*. Сынок, сынок мой! Убийцы! *(Исчезает.)*

Франко ходит по сцене из стороны в сторону, остальные следят за его движением, поворачивая головы.

Франко. Я говорю...

Все. Тише, говорит хенералисимо...

Франко. ...что Мадрид не может оброняться.

Все *(очень довольные, подхватывают)*. Не может оброняться! Никоим образом! Не может оброняться!

Мола. Моя колонна наступает со стороны Сьерры.

Ягуэ. Моя колонна идет через Хетафе.

Кейпо *(снова пьет)*. А моя—чрез Херес и Вальдепеньяс.

Пеман. Колонна Варелы молниеносно наступает через Карабанчель. Сейчас она должна уже быть у Толедского моста.

Франко (*очень довольный, театрально жестикулирует*). Мадрид, Мадрид, ты уже наш! Теперь осуществляются все мои мечты! О, какой завтра будет день триумфа! Аплодисменты, здравицы, цветы, улыбки... Едет главнокомандующий! Победитель, спаситель Испании! А я — на моем белом коне, статный, спокойный — посматриваю по сторонам, одариваю улыбкой ликующую толпу... Вот так, вот так... (*Важно прохаживается между двумя рядами друзей, словно репетируя.*)

Все (*изображают уличную толпу. Улыбаются, радуясь победе фалангистов*). Вива Франко! Да здравствует спаситель Испании! Да здравствует вождь Национальной армии!

Епископ благословляет его; Пеман, изображая женщину, посылает воздушные поцелуи.

Тень повешенного (*на пороге другой двери. Она появляется в темноте, висящая на веревке*). Спасители, что вы спасли? Убийцы, трусливые бандиты, звери, вырвавшиеся на дороги Испании, вы оставляете на своем пути реки горя и горячих слез — от жгучей ненависти и бессильной ярости!

Франко. Спасибо, верный мой народ, спасибо.

Переход.

Мола, ты приготовил мне новый мундир для завтрашнего торжества? А кресты, награды мне на грудь? Я хочу, чтобы у меня вся грудь была в крестах. Хочу, чтобы мой мундир и награды были лучше, чем у итальянцев.

Мола. Все готово, хенералисимо. Крестов хватит на обе стороны. От плеч и до самого живота. Хочешь еще?

Франко. Нет, достаточно. Это хорошо. Если будет солнце, то такой блеск... А ты, Ягуэ, подготовил лошадь и сбрую для парада? Чтобы лошадь была что надо. И шпоры нужно начистить как следует. Чтобы блестили. Пусть все сверкает. Какая это радость — парад!

Пеман (*декламирует*)

Под Франко конь-огонь,
Шерсть лоснится —
Что белая горлица!

Ягуэ. Все готово, хенералисимо. У вас будет самый хороший конь в армии, с кордобской сбруей и серебряными подковами.

Франко. Заметь себе, славный Пеман: кордобская сбруя и серебряные подковы. Ты должен написать поэму, которая меня увековечит.

Пеман. У самого Сида не было лучшей поэмы
(декламирует и брэнчит на лире)

из:

На улицы нашей столицы
Вступает победно Франко.
На коне из Кордобы сбруя,
Серебром отливают шпоры.
А за ним — его генералы.
Ягуэ, воин бесстрашный,
Мола, в сраженьях прославлен,
И Кейпо велеречивый.

Тень старика (в окне, которое открывается и закрывается)

...А за ним легион убитых,
С криком зывая к мести.

Тень матери (появляется с ребенком на руках, боязливо жмется к стене). Убитый мой сыночек! Ты погиб под развалинами дома, разрушенного фашистской бомбой! Убийцы! (Исчезает.)

Франко. А вы, сеньор епископ, могли бы ехать со мной рядом как кардинал Сиснерос¹ нашего времени!

Епископ улыбается и склоняется в поклоне.

Пеман (декламирует)

А по правую руку — епископ
Представляет святую церковь.
Ведь и армия наша и церковь
Бьются за одно дело.

Тень старика (в окне)

¹ Сиснерос, Франсиско Хименес де (1436—1517) — исповедник Изабеллы Католической, провел реформы испанских религиозных орденов. Возведен в сан кардинала папой Юлием II.

Идут два злодея,
Один другого свирепее.

Тень бойца Народной милиции (*выходит из двери, как раньше Тень матери*). Не войти вам в Мадрид, проклятые убийцы! Не войдете вы в Мадрид! Мои товарищи лягут в землю, но отстоят город! Вы подошли к нему, но Мадрида вам не взять, у вас уже глаза горят от вожделения, как у хищной птицы, которая видит свою добычу, но не может схватить — так хорошо она защищена, будто железный еж.

Кейпо (*Пеману, стоящему рядом*). Знаете, у меня в голове все вертится одно выступление...

Пеман. В вашей золотой голове, генерал Кейпо, без конца что-то вертится...

Кейпо. Радио готово? Я горю желанием поскорее выступить перед моими дорогими радиослушателями... Еще рюмочку, поэт?

Пеман. Совсем маленькое возлияние.

Отворачиваются и пьют.

Тень старика (*в окне, которое открывается и закрывается*). Дать бы тебе, гаду, крысиного яду!

Кейпо (*обращаясь к Епископу*). Ваше преосвященство, а как вы насчет возлияния, выпивки или поддачи? Это самый настоящий херес! Из лучших погребов Испании... У нас в Испании есть такие вина!.. (*На ухо*.) Когда в Севилью пришли немецкие и итальянские войска, я выкатил им бочки самого лучшего вина. Если бы вы слышали, как они славили Национальную армию!

Епископ. Конечно, конечно, ненависть к коммунизму объединяет наши страны в единую Родину. Какие великие люди — Гитлер, Муссолини, наш Франко!

Пеман. Это Карлы Великие наших крестовых походов!

Епископ и Пеман беседуют между собой.

Франко (*с генералами Мола и Ягуэ, в другой группе*). Который час?

Ягуэ. Восемь, хенералисимо.

Франко (*нетерпеливо меряет комнату широкими шагами*). А генерала Варелы все нет.

Мола. Ну, он такой удалец, что в этот час наверняка

по Эстремадурскому шоссе добрался до самого центра — площади Пласа-Майор.

Франко (*с возмущением*). Ты что мелешь, Мола? А мой завтрашний парад? Ты что же думаешь, что какой-то там генерал Варела может испортить мне парад? Да я его за это из армии выгоню! Первый, кто должен войти в Мадрид, — это я!

Мола. И это будет справедливо. Я вот уже несколько месяцев назад мог бы войти в Мадрид со стороны Сьерры, да не захотел. Ведь ты был в то время в Африке, и я подумал, что не могу лишиться тебя этой чести, мы же ведь люди особые, военная косточка (*бьет себя театральным жестом в грудь*), для нас честь дороже жизни.

Ягуэ. О нас должна судить история!

Франко. Как о спасителях Испании! А мертвые нас благословят!

Тень матери (*снова появляется, как и фаньше*). Будьте вы прокляты, детоубийцы! Сынок, сыночек мой! Будьте прокляты вы, стервятники, раздирающие детское тело, чтобы вырвать из него жизнь и покончить с ней, как свертывают шею птенцу! Будьте прокляты вы, пьющие невинную кровь распостертых на асфальте младенцев слепыми ночами ужаса, разрываемыми грохотом и безутешными криками матерей! Сынок, сыночек мой! (*Исчезает.*)

Слышен приближающийся цокот копыт. Все смотрят в ту сторону.

Франко. Может, это он, Варела, вождь марокканских легионеров? Посмотри-ка, Ягуэ. Ведь его легионы — лучшая часть моих войск!

Ягуэ выглядывает за угол улицы.

Тотчас же появляется Варела — энергичный, со стеком в руке. Быстро подходит к Франко, вытягивается перед ним.

Варела. Хенералисимо... (*Опускается на колено перед Епископом и целует ему руку с кольцом.*) Ваше преосвященство...

Епископ. Благословляю тебя во имя господа. Твои легионеры наводят ужас на красных.

Варела снова обращается к Франко.

Тень старика. Ох, ну и пес — черт его принес! Музыка! (*Играет национальный гимн.*)

Варела. Мои конные легионеры ожидают вашего

приказа, чтобы вступить в Мадрид. Они занимают позиции возле Мансанареса, Толедского и Сеговийского мостов. В Мадриде нет противника! Враг бежал под натиском моих славных марокканцев. Там теперь осталась только преданная нам пятая колонна. Я только что связался с ней, все ожидают вас с музыкой и фейерверком. На улице Алкала и на проспекте Кастьяна воздвигают огромные триумфальные арки, чтобы отметить ваше вступление. Сотни плотников спешно строят трибуны для дипломатов и гостей. Балконы украшены нашими прославленными флагами! Завтра война кончится! Мадрид — наш!

Все смешно пляшут от радости.

Франко (*обнимает Варелу*). Браво, генерал Варела! Передайте мои поздравления своим героям-легионерам. Я хочу, чтобы завтра моим эскортом были именно эти войска-освободители. Это большая честь!

Варела. Это большая честь для них, хенералисимо! Ведь если легион оказывает честь Франко, то и Франко оказывает честь легиону.

Франко. Запиши, поэт, эту новую строфу.

Пеман (*декламирует*)

И стяги легиона,
Прославленные в сраженьях,
Идут с генералом рядом,
Его осеняя славой.

Кейпо. Микрофон! Где микрофон? (*Пьет.*) Свихнешься тут от радости!

Епископ (*крестится*). Да защитит нас бог! Господь слышит нас! Он дарует нам победу!

Франко. Мадрид! Взять Мадрид!

Мола. В аюнтамьенто! Пошли в аюнтамьенто! Там, наверно, нам ужин приготовили.

Открывается дверь на главный балкон аюнтамьенто, фалангисты срывают республиканский флаг и поднимают монархический. Все обращают внимание на эту перемену.

Франко. Поднимают наш флаг, славный флаг родины, стяг наших предков, символ нашего единства и нашего будущего величия! Смир-р-но!

Все вытягиваются перед флагом и поднимают руку в фалангистском приветствии.

Тем временем Тени постепенно появляются из дверей домов и окружают сцену, описывают круги по сцене, задумчиво и почти одновременно рассказывают о своих горестях и обвинениях.

Тень старика. Сегодня буйное веселье—завтра тяжкое похмелье! *(Несколько раз повторяет свою присказку и играет на скрипке.)*

Тень матери. Сыночек мой, любовь моя, сердце мое! Мадрид отомстит за твою смерть, смерть маленького ребенка, у которого была мать, был дом, был тихий сад, где ты играл. Спи, сынок, спи спокойно—за то, что никогда тебе больше не проснуться, отомстят защитники Мадрида! Убийцы заплатят за твое вечное, ледяное молчание! Они заплатят!

Тень повешенного. Палачи и преступники заплатят за свои злодеяния! Народ покарает предателей и повесит вас, как вы повесили меня, негодяи!

Тень бойца Народной милиции. Вы не войдете в Мадрид, гады! Пусть каждый твердо стоит на своем месте! Они хотят опозорить тебя, обесславить, смешать тебя с грязью, Мадрид! Но вы не пройдете, свора бешеных собак! Будьте тверды и стойки, товарищи!

Тени постепенно слабеют, тают, смешиваются с вечерними сумерками, в то время как генералы, печатая шаг, направляются в аюнтамьенто.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Зал в аюнтамьенто Леганеса, черные занавеси. Двое фалангистов готовят большой стол для ужина. В стороне, на треноге,—микрофон. Прямо на стене—большой портрет Франко в смешной позе. По другую сторону зала—большое зеркало. Когда начинается действие, в зале горит свет. Потом, по ходу действия, его гасят. Невидимый и драматический мир испанской трагедии здесь постепенно становится все более и более заметным и в конце концов завладевает сценой, оттесняя генералов с их фарсом на второй план...

Сильный ветер и буря как бы символизируют горе природы, делающей ночь еще более страшной.

В этой картине скорбные Тени-обвинители появляются на сцене как вполне реальные лица. Тем не менее следует иметь в виду, что это не живые существа, а покойники. Поэтому актеры должны говорить сдержанно, двигаться угловато, несвободно и, насколько возможно, как бы в невесомости. Одеты они должны быть в черное, даже Боец

Народной милиции. У него на шее красный платок, голова перевязана бинтом с кровавым пятном, у пояса — ручные гранаты.

Повешенный появляется с веревкой на шее. У всех Теней бледные, неживые, восковые лица; ребенок, которого несет на руках Мать, окровавлен — видно, что это жертва фашистской бомбардировки.

1-й фалангист (*входит с подносом и тарелками. Идет прямо к портрету Франко, вытягивает руку в фалангистском приветствии*). Хенералисимо! Хенералисимо! (*Начинает накрывать на стол*.) По правде говоря, такой храбрец, как я, должен не находиться в услужении у генералов, а командовать сотней. Шел бы я себе завтра по улице Реколетос, гордый, статный, и женщины смотрели бы на меня с восхищением. Ну а что касается заслуг, то их у меня больше, чем у кого-либо, — недаром я был самым смелым в нашей фаланге. Помню, в Севилье за один вечер уничтожил пятьдесят красных. В Мадриде — десять за один час. В Бадахосе — сто за пятнадцать минут. И в других местах так же. Навальмораль, Талавера, Толедо... Везде я совершал подвиги... Но верно говорят, что в мире полно завистников. Если бы не подножки, которые мне постоянно подставляли, я бы сейчас был уже капитаном. Никак не ниже! В тылу процветают паразиты, у кого есть рука, а смельчаки вроде меня делают грязную работу. Нет, хватит, эта ночь будет последней. Сегодня я поговорю с главнокомандующим, пусть он меня повисит в чине.

2-й фалангист (*входит с фюмками на подносе. Очень доволен, напевает*)

Мадрид уж пал. И завтра
Там будет генерал.

(*Как и 1-й фалангист, идет к портрету Франко и вытягивает руку в фалангистском приветствии*.)

1-й фалангист. А победоносный главный штаб тоже придет?

2-й фалангист. Они что-то там маракуют над картами. Очень смеются. Все довольные такие. С Мадридом все кончено, дружище. «А красная гольтьба разбежится кто куда». (*Напевает*.) Ты, наверно, уже знаешь, что в Мадриде не осталось ни одного красного.

1-й фалангист. А жаль. Где же я теперь покажу свою храбрость, если не смогу убивать красных на

улицах? Пистолет у меня всегда вычищен и смазан.

2-й фалангист. Все в Валенсию удрали. Об этом вчера по радио говорил генерал Кейпо де Льяно, замечательную речь произнес. Сказал, что правительство сбежало во Францию на самолете. И кстати, отпустил несколько недурных шуточек насчет Ларго и Прието¹, которому «при этом» пришлось трудновато — ты же знаешь, он у них самый толстый. Ха, ха! (*Смеются.*)

1-й фалангист. Какой же он остроумный, наш генерал!

... Ветер раздувает занавеси. Слышен звон разбитых стекол.

1-й фалангист (*выхватывает пистолет*). Кто там? Выходи, а то башку продырявлю! Красный, наверно? (*Боязливо подходит к окнам и смотрит, не прячется ли там кто-нибудь. 2-й фалангист в испуге забился в угол.*) От врага всего можно ожидать. Кругом одни предатели. Иногда даже под столом.

2-й фалангист (*осторожно заглядывает под стол*). Нет, под столом никого нет.

1-й фалангист. Это ветер. (*Прячет пистолет в кобуру.*) Плохая ночь.

Слышны шаги и громкий смех. Это идут генералы. Фалангисты со вскинутыми вверх руками встречают их под портретом Франко. Впереди идут Франко и Варела, за ним Ягуэ и Мола. Позади всех шествует Епископ, благословляя присутствующих. Последними идут под руку Кейпо и Пеман, провозглашая здравицу в честь Севильи и пресвятой девы Макаренской².

Франко. Вы — справа от меня, ваше преосвященство. А ты, Варела, садись сюда. Так что с одной стороны будет представитель святой церкви, а с другой — героический легионер. Церковь и армия — оплот новой Испании, которую мы создаем и увенчаем завтра взятием Мадрида.

Кейпо, увидев микрофон, тотчас же бежит к нему.

Кейпо. Дорогие радиослушатели! Друзья мои!

¹ Ларго Кабальеро, Франсиско (1869—1946) — ультралевый социалист, премьер-министр и военный министр первого правительства Народного фронта (сентябрь 1936 — май 1937); Прието, Индалесио (1883—1962) — правый социалист, входил в 1936—1937 гг. в состав правительства Народного фронта.

² Названной так по имени Макарены — квартала в Севилье, где находится ее изображение.

1-й фалангист (*с уважением*). Генерал, он еще не включен.

Кейпо (*стремясь продемонстрировать свое остроумие*). Это странно. Каждый куда-нибудь включен. А если нет — то исключен. (*Смеется собственной шутке*)

1-й фалангист (*в сторону*). Мне бы только смелости хватило... Сегодня такая прекрасная возможность. Ладно, попозже поговорю с хенералисимо...

Садятся за стол. Фалангисты выходят.

Мола. Плохая сегодня будет ночь. Сильный ветер, холодно, и, кажется, пошел дождь. Погода не благоприятствует нашим войскам.

Франко. Замолчи, Мола, вечно ты чего-нибудь боишься. Собака залает, ты уж и испугался. (*Тихо, чтобы не слышал Пеман.*) Ты ведь у нас интеллектуал, и этим все сказано. Чего же Варела не боится за свой легион?

Варела. Моих закаленных в боях легионеров такой ерундой не испугаешь. Их храбрость не зависит от времени и пространства. Я поклялся, что завтра они войдут в Мадрид, и они там будут.

Франко. Вот как говорят настоящие генералы.

Мола. Я мог бы уже войти в Мадрид...

Франко. Молчи! Нет тебе оправдания! Сначала ты не мог продвинуться за Сьерру¹. Испугался нескольких консервных банок, которые были у красных.

Кейпо. Хенералисимо, насчет консервных банок я первый сказал...

Франко. Я всегда цитирую великих мыслителей. Ты и Пеман — лучшие умы испанской интеллигенции.

Кейпо и Пеман улыбаются, наклоняют головы.

Кейпо. Спасибо.

Пеман. Моя голова как андалузская гвоздика: сплошной аромат.

Кейпо. Ну если твоя голова пахнет гвоздикой, то моя — мансанильей.

Ягуэ. Когда понимаешь толк лишь в военном деле, интересно послушать, когда говорят о цветах, — очень просвещаешься...

¹ Имеется в виду горная цепь Сьерра-де-Гуадаррама к северу от Мадрида.

Появляются Фалангисты с носилками, на которых несут три большие бутылки с вином. Завидев их, Кейпо встает и помогает поставить бутылки на стол. Фалангисты уходят.

Кейпо. Ребята, давайте-ка сюда, скорее. Вы ведь знаете, я из Севильи, так что кому, как не мне, быть виночерпием. *(Ставит бутылки поближе к себе.)* Признаюсь, у меня есть свои слабости.

Епископ. Сын мой, а у какого раба божьего их нет?

Франко. У всех великих людей есть слабости.

Кейпо. Я не отрицаю, мои слабости — это вино, речи по радио и красивые женщины.

Епископ. Это свойственно всем людям. Вполне простительные грешки.

Пеман. А таким крупным личностям, как мы, они даже придают пикантность.

Кейпо. Просто диву даешься, как умные люди все понимают!

Фалангисты приносят закуски.

Франко. А, вот и яства. Последний ужин в боевой обстановке. Завтра мы будем в Мадриде и устроим первый ужин победы. Ваше преосвященство, благословите.

Все встают.

Епископ. Отче наш...

Молятся. Хором отвечают: «Аминь». Крестьятся. Затем Епископ благословляет всех. Садятся.

Кейпо. А теперь — есть и пить! Давайте весело отпразднуем последнюю ночь гражданской войны. Мы вполне заслужили это за наше самопожертвование во имя родины. *(Пьет.)*

Слышно, как свистит ветер, крупные дождевые капли бьют в окна. Занавеси раздуваются. Свет колеблется. Издалека доносятся крики отчаяния, словно кто-то страдает и мучается в ночи. Это символ горя Испании, которое вдруг как бы прорастает и становится осязательным, в то время как генералы веселятся.

Франко *(по-прежнему выпрепне)*. И я говорю, дорогие мои друзья, что велика наша слава, потому что мы спасли Испанию, вытащили из болота, куда ее завела шайка марксистских евреев.

Епископ. Божественное провидение...

Франко. Совершенно верно, ваше преосвященство.

Божественное провидение вдохновило всех нас, и особенно меня. Скажу вам откровенно, что часто я не могу уснуть — так меня давит тяжесть славы, которая легла на мои плечи в эти дни победы.

Голос повешённого (*далеко*). Тебя давит тяжесть твоих преступлений, убийца!

Франко (*после некоторой паузы*). Нелегко нам пришлось! Помните? Но мы выполнили свой долг — уничтожили красных! С божьей помощью, благодаря нашей Национальной армии Мадрид взят и мы победили.

Кейпо (*нетерпеливо*). Я горю.

Пеман. Уже горишь, Кейпо?

Кейпо. Ну да, горю желанием объявить по радио такое замечательное известие. (*Смотрит на микрофон и хочет подойти к нему. Он уже почти пьяный.*) Но — еще немного терпения. (*Пьет.*) Пока не время.

Ягуэ. Какая буря!

Франко. Для такой исторической ночи это не так уж и плохо. Пройдет время, и ночь накануне нашего вступления в Мадрид станет памятным событием.

Мола. Если бы это была какая-то простая, обыкновенная ночь, наш поэт не смог бы так блистать. Дождь, ветер, буря...

Варела (*Кейпо, с подтекстом*). Заряженная атмосфера...

Епископ. Как в Ковадонге, как в Вильяларе, как в Гуадалете. Бог помогает христианам через посредство природы.

Пеман (*слегка опьяневший, в прострации*)

И захватили Мадрид
Войска со своими мечами
И бог со стихиями вкупе —
Ветром, дождем и бурей.

Голос старика (*далеко, в сопровождении арпеджио на окарине*)

Никогда Мадрид не сдастся
Генералам-палачам!

Генералы много едят и пьют. Постепенно все пьянеют. Разговор становится шумным и веселым, реплики — гротескными.

Франко. Вина, Кейпо! За нашу обновленную родину! Как же велика радость генералов-победителей!

Кейпо наливает вино. Все пьют.

Генералов, выполнивших свой долг! Генералов, возродивших Испанию!

Кейпо. Да здравствует родина! Да здравствует родина вина!

Франко (*уже сильно пьяный*). Мола, дай-ка мне все наградные кресты! Повесьте их мне на грудь! Хочу видеть в зеркале, как я буду выглядеть завтра на параде в Мадриде! Хочу все кресты! Чтобы вся грудь была в крестах!

Мола. Конечно! Кресты главнокомандующему! Мои, его (*указывает на Ягуэ*) и его (*о Вареле*). Отдадим все наши награды!

Генералы снимают свои кресты и вешают их на мундир Франко, так что вся грудь его оказывается увешанной крестами. Они висят у него даже на животе и на боках.

Франко (*выпячивая грудь*). Прекрасно! Какой же я герой! И какой красавец! Просто замечательно смотрятся кресты на этом мундире и на моей статной фигуре! (*Встает и со смешным самолюбованием смотрит на себя в зеркало.*)

После того как Франко полюбовался на себя, в зеркале появляется трагическая фигура Повешенного с веревкой на шее.

Повешенный. Убийца! Убийца! Посмотри на себя хорошенько, чудовище! Видишь, что ты натворил? Вся Испания в развалинах, смерть косит людей в селах и городах, горячая кровь молодых испанцев, как дурной грязью, забрызгивает удивленные глаза так, что они перестают видеть! Посмотри на себя как следует! Идиот! Жалкая марионетка! Каких тебе крестов еще нужно — разве ты мало их оставил, совершая свой опустошительный марш по дорогам Испании?

Франко некоторое время продолжает смотреть на себя в зеркало; но вот кажется, что в пьяном угаре он увидел страшную фигуру Повешенного. Он бледнеет, как полотно, от страха, не в силах сдвинуться с места. Фигура исчезает.

Франко (*приходя в себя*). Какая чепуха! Нет, ведь ничего нет! (*Проводит рукой по лицу, оцупывает свое тело, с облегчением смотрит на себя в зеркало.*) Это же я! Я! Какой

я красивый! Какое огромное впечатление я произведу завтра в Мадриде! *(Возвращается к столу.)*

Все снова пьют.

Все *(аплодируют)*. Чудесно, хенералисимо, чудесно! Какая статья!

Я гуэ. Слава тебе, главнокомандующему всеми генералами-освободителями!

Епископ. Вас выбрал сам господь бог, генерал Франко!

Варела. Вас можно сравнить разве что с самим императором Карлом Пятым!

Пеман. Вы представляете исторический синтез современной эпохи!

Кейпо. Вы — спаситель народа. Франко, Франко!

1-й фалангист. Если бы я только осмелился! Вот он, момент! Сейчас или никогда! Другого такого случая не будет! *(Обращается к Франко с величайшей почтительностью и что-то тихо говорит ему.)*

Франко *(сразу же, со снисходительностью пьяного)*. Что за вопрос! Конечно! Кем ты хочешь быть? Капитаном? Сейчас сделаем! Нужно давать дорогу новой молодежи! Мола, подготовь-ка приказ о производстве в капитаны этого парня!

Мола берет бумагу и пишет. Затем читает.

Мола. Настоящим приказом я, главнокомандующий Франко, присваиваю чин капитана Национальной армии героическому деятелю Испанской фаланги дону Амансио Гарсиа дель Пераль. Леганés, 7 ноября 1936 года. Главнокомандующий... *(Подает приказ Франко, который, не глядя, подписывает.)*

1-й фалангист *(вытягивая руку в фалангистском приветствии)*. Спасибо!

2-й фалангист *(расстроен)*. Обошел он меня! Карьерист! И я тоже хочу, и я! *(Бежит к Франко.)*

Франко *(даже не выслушав его)*. Мола, еще один такой же приказ на этого малого! Подумаешь, проблема!

Кейпо. Нет, не могу больше ждать, черт побери! Молодой человек, включи-ка микрофон! Наверно, мои радиослушатели ждут не дождутся сегодняшнего выступления! *(Шатаясь, идет к микрофону, который уже подключил один из фалангистов. Говорит по своему обыкновению словно*

пьяный.) Ну, добрый вечер, сеньоры... Очень, очень добрый... Вы уж меня простите, что я сегодня немного того... навеселе, то есть не в себе, то есть я хватил... ну и меня охватило... волнение. И как вы сейчас увидите, для этого была веская причина. Дело в том, что я должен сообщить вам известие-бомбу. Известие-бомбу в тысячу килограммов, такую, как бросают наши летчики, а не эти красные сволочи... У них и бомб-то настоящих нет, а так, бомбочки вроде электролампочек, у которых внутри немного воздуха... Поэтому-то и вреда они нам никакого не причиняют...

Все (*подзадоривая*). Здорово ты их, Кейпо! Крой дальше! Верно говоришь!

Кейпо. Известие, которое я вам хочу сегодня сообщить, такое, что только держись. (*Сам качается.*) Вот увидите... Я хочу рассказать вам одну историю, она будет здесь очень кстати. Речь идет об осле, который хотел скрыть свою ослиную природу, но не знал, как это сделать — то ли перестать реветь, то ли перестать лягаться, и в конце концов решил опустить уши и терпеть палочные удары. Вы, наверно, уже догадались, о ком эта история: конечно, о Миахе¹, о бедняге Миахе. Но сейчас мы не будем заниматься всякими там историями или пикантными анекдотами. Мы почти готовы пожалеть бедных красных, которые бегут, как зайцы, едва завидят солдата Национальной армии. К счастью, в Мадриде ни одного красного не осталось. Все удрали в Валенсию, и там творится такое столпотворение, что и представить невозможно, потому что все хотят как можно раньше смыться из Испании и готовы друг другу глотку перегрызть за место на пароходе, а то и из-за какой-нибудь паршивой доски, только чтобы уплыть скорее отсюда. Несчастные не знают, что наша славная Национальная эскадра ждет их в нескольких милях от берега, чтобы как следует испукать.

Все. Ха, ха! (*Совсем пьяные.*) Олэ, Кейпо! Здорово!

Кейпо. Вы, конечно, зададите вопрос: почему же это красные драпают и дерутся между собой, чтобы поскорее оказаться в море? А все очень просто, друзья мои, очень просто. И вот она, моя бомба: потому что завтра —

¹ Миаха, Хосе (1878—1958) — генерал республиканской армии, руководил обороной Мадрида в 1936—1939 гг.

провалиться мне на этом месте! — мы вступим в Мадрид. Да-да, именно в Мадрид — столицу Испании! Все уже подготовлено. Все готово для нашего вступления в Мадрид. А сейчас всюду, где вы меня слушаете, в ваших домах или еще где, давайте воскликнем вместе: Да здравствует победоносная армия! Да здравствует хенералисимо Франко! Вива!

Все (*аплодируют Кейпо и Франко*). Вива!

Кейпо. Сегодня вечером мы собрались в Леганесе, чтобы подготовить завтрашнее торжество, грандиозный парад, на который мы вас приглашаем. У нас здесь честные и уважаемые люди: хенералисимо, великий Франко, который завтра вступит в Мадрид во главе Национальной армии; героический генерал Варела, командующий иностранным легионом; знаменитый Мола, командующий Северной группой; полковник Ягуэ, командир колонны; его преосвященство епископ Саламанкский, который в этот момент посылает всем вам свое благословение; великий Пеман, певец нации — и не еврейской, а испанской, преданной нашему делу, и, наконец, я, генерал Кейпо де Льяно, тот самый, которого красные называют пьянчугой и болтуном. Ну, от болтуна у меня что-то есть, скрывать не стану; но красные ненавидят меня, потому что я говорю правду, попадаю в самое их больное место. Относительно же того, будто я пьянчуга (*вся эта тирада произносится пьяным голосом*), то я уже много раз повторял, что я трезвенник, что врачи мне пить запретили и что по этой причине я пью только воду. (*Пьет из бутылки.*)

Все. Ха! Ха!

Кейпо. И как я уже вам говорил, мы находимся здесь, у самих ворот Мадрида, в Леганесе... Но не как сумасшедшие¹, а как веселые полководцы победы...

Сильный порыв ветра. Дождь усилился. Свет мигает и в конце концов гаснет. Сцена остается в темноте.

Кейпо (*продолжает свою пьяную болтовню, не замечая, что погас свет*). ...так вот, повторяю, что мы здесь у самых ворот Мадрида, как будто собрались сесть на трамвай и поехать в город перекусить.

¹ В Леганесе находится Национальная психиатрическая больница Санта-Исабель.

Пеман. Тока же нет, Кейпо, и твоя замечательная речь так и пропадет для потомков.

Кейпо (*не соображая*). Я запрещаю отключать ток. Сегодня, когда я в ударе!..

Мола (*фалангистам*). Молодые люди, принесите-ка свечи, чтобы «осветить» нас.

Фалангисты приносят канделябры, ставят их на стол. Все пьяны, и во время речи Кейпо то один, то другой падают на пол или на стол и лежат в смешных позах. Кейпо еще произносит несколько слов, кое-как стоя перед микрофоном, затем тоже падает как подкошенный.

Кейпо. Так что вы уже знаете: завтра—все в Мадрид, смотреть парад на проспекте Кастельяна, который будет грандиозным зрелищем. Все в Мадрид! На проспект Кастельяна! Воздадим честь Франко и Армии! Вива! Да здравствует... (*Кричит и падает.*)

На некоторое время все действующие лица замирают. В этот момент в различных местах сцены появляются тени: Старика, Матери, Повешенного и Бойца Народной милиции. Вначале они просто бродят по сцене, каждая сама по себе, погруженная в свое горе. Затем встречаются, между ними возникает связь, они объединяются: это символ многострадальной Испании, которая живет и будет жить собственной жизнью, что бы ни делали марионетки—участники фарса; символ солидарности ее народа-обвинителя.

Боец Народной милиции (*строго и сдержанно*). Свободные испанцы, товарищи, в чьих жилах еще течет горячая живая кровь! Стойте твердо! Эти сволочи не пройдут! Поклянитесь нами, жертвами, павшими бойцами, которые уже не могут бороться, что они не пройдут, что смертельный огонь ваших винтовок будет непреодолимым препятствием для зарвавшихся предателей! Будьте стойкими! Всегда начеку! Они не продвинутся дальше! Они не могут пройти дальше! Стойте твердо!

Старик. Трам-па-лан-трам, все вы, пьяные гуляки, подохнете как собаки.

Мать (*с мертвым ребенком на руках*). Сыночек мой! Разве ты в чем-нибудь виноват? Они убили тебя с неба, в ясный, веселый день, когда так хорошо было играть с солнцем и бабочками в парках! Прилетело двадцать самолетов! Двадцать плохих черных птиц, которых мы никогда раньше не видели. За что же они тебя убили, сыночек мой ненаглядный, родненький мой!..

Старик. Преступлений у вас много, и Мадрид с вас

спросит строго! Трам-па-лан-трам, все вы, пьяные гуляки, подохнете как собаки!

Боец Народной милиции. Мадридцы, встать! Все на защиту столицы! Остановите их, этих зверей!

Повешенный *(хватает себя за горло)*. У меня болит здесь, вот здесь! Чувствую в горле горькую сухость от веревки! Что стало с вами, со всеми вами, товарищи? Я хочу вспомнить... Разве такое возможно! Налетела кровавая буря! Какие крики! У меня голова распухла от криков задушенных, от криков зарезанных... Какой ужас! Разве такое возможно! У меня болит здесь, меня давит эта грубая веревка, которая отняла у меня свет, точно мои глаза упали в бездонную пропасть бесконечной ночи!

Мать. ...И прилетели из Италии черные птицы, чтобы убить тебя! А ты и не знал, что бывают черные птицы, сыночек! Такой маленький! Какие злые люди, какие черные люди посылают этих птиц убивать детей!..

Боец Народной милиции. Я верю в вас, испанцы, которые еще живы! Если хотите отомстить за нас, если хотите почтить мою память и память всех наших павших бойцов, стойте твердо! Сражайтесь! Не дайте им пройти!

Повешенный. Тысячи, тысячи мертвых, с закрытыми глазами, уже пустыми, не видящими света! Это было словно кровавое море, которое разливалось все шире и шире, которое ослепляло нас всех, которое заливало все дороги и всю землю.

Старик. Трам-па-лан-трам, генеральская свора, Мадрид с вами расплатится скоро!

Мать. Черные птицы, которые сбили солнце!..

Боец Народной милиции. Защищайся, Мадрид, защищайся!

Повешенный. Как у меня сухо в горле, будто у меня там репей! И голова не держится, все падает вниз!

В этот момент Боец Народной милиции подходит к Повешенному и начинает с ним разговор; все очень естественно, не повышая голоса, как будто это обычная встреча знакомых.

Боец Народной милиции. У тебя на шее я вижу длинную крепкую веревку. Тебя что, повесили?

Повешенный. Да, я все стараюсь вспомнить... А перед глазами стоит что-то вроде красного, кровавого облака... Голова у меня тяжелая, как свинцом налита,

совсем не держится. А горло — сухое-пресухое... (Хватается рукой за горло.)

Боец Народной милиции (проводит рукой по бинту, которым обвязана его голова; на бинте видно красное пятно). А у меня, наоборот, голова точно лопнула, раскололась на тысячи кусков. Меня убили в бою. Я пал, защищая Мадрид! Как жаль, что у человека только одна жизнь! Если бы у меня было много жизней, я бы все их отдал за Мадрид и победу! Я был истребителем танков, бойцом ударной бригады.

Повешенный. А, значит, ты герой!

Боец Народной милиции. Нет, всего лишь юноша, который выполнял свой долг в ту минуту: сражаться с врагом. Сражаться до конца, до последнего, и даже сверх своих сил и самой жизни! Сражаться, защищая Испанию и нашу свободу! Италия и Германия при соучастии предателей-генералов хотят захватить нашу страну! Это позор, товарищ Повешенный!

Повешенный. Но им не удастся! Не удастся! Ты погиб, я погиб, много товарищей погибло. Но Испания еще жива. Я чувствую — это как прилив невидимой энергии. Она сопротивляется, атакует, яростно борется. Фашизм не победит! Не может умереть то, что имеет такую жизнестойкость! Можем умереть мы — ведь мы же просто вспышка, дуновение, — но не может умереть жизнь, вечная идея свободы. Эту волну крови смоем другая волна — чистая, светлая, как рассвет приходит после ночи.

Боец Народной милиции. Разве ты не пережил вместе с народом великую эпопею борьбы? Мадрид сумеет отбить врага!

Повешенный. Я был рабочим вожаком. Я вел массы к свободе. Я говорил с ними ясным языком об открытой дороге в будущее. Я говорил им: идите вперед, вперед, будущее за вами, скоро у вас будет мир, где жизнь без голода и рабства даст вам счастье. И вдруг страшное, ужасное утро и жестокие, стальные лица — генералы подняли мятеж, изменили своей присяге. И крики, крики, влажный воздух словно был насыщен кровью... Меня схватили в Саламанке. Меня били, потом связанного привезли на Пласа-Майор и перед огромной толпой повесили вот на этой веревке, которая болтается у меня на шее...

Боец Народной милиции. Так погибло столько людей!

Повешенный. Это был какой-то людской обвал, будто тысячи и тысячи испанцев вдруг свалились в бездну... Негодяи! •

Мать (*в другой части сцены*). Ты такой же холодный, как и я, мой сыночек! В этом безжизненном мире все холодное! И солнце на улице, жаркое солнце, которое зловещей тенью закрыли черные птицы...

Старик (*подходит к Матери*). Ты куда идешь?

Мать. Не знаю. Я брожу по горю, как по остриям мечей. Мой сыночек, убили тебя!

Старик. Трам-пан-лати, они заплатят! Неужели ты думаешь, что преступники останутся безнаказанными? Они за все заплатят, трам-пан-лати!

Мать. Но мой сынок, мой сыночек! Черные птицы не вернут мне моего ребенка!

Старик. Нет, конечно. Он умер от холода, как и я. Все мы умерли от ужасного холода, когда вдруг на рассвете ударил мороз. Понимаешь, я был старым бродягой, ходил по деревням и играл на окарине. Меня схватили в Галисии. Обвинили в том, что я играл «Интернационал», и бросили в тюрьму. Там, на каменном ледяном полу, я и скончался на рассвете. Но ты верь, женщина. Будет так, как я говорю: «Трам-пан-лати, генералы заплатят!»

Подходят к Бойцу Народной милиции и Повешенному и образуют с ними группу.

Боец Народной милиции. Все мы — покойники — на одно лицо...

Старик. Если бы мне хоть чуточку тепла! У меня все внутри заледенело — уже столько дней не было солнца.

Повешенный. Подходите сюда, ведь сама мертвенная бледность объединяет нас.

Мать. Мой сын! Мой сыночек! Я хочу, чтобы были солнце, сад и голубое небо для моего сына!

Повешенный. Подойдите, товарищи. Мы — боль Испании, реки слез Испании — замерзших, превратившихся в немые ледяные горы.

Подходят друг к другу, пожимают руки.

Боец Народной милиции. Боль Испании, которая

обвиняет, горе мертвых, которые требуют возмездия у испанцев — тех, кто еще жив и может противопоставить свои силы и свою ненависть врагу.

Повешенный (*поднимает за волосы голову Франко, который заснул за столом*). Франко, Франко, предатель испанского народа, кровавый убийца, — посмотри на нас! Мы — мир твоих жертв, горе твоих чудовищных злодеяний! Посмотри на нас, генерал-пьяница, генерал-убийца! Мы — лучшая часть Испании, той Испании, которую ты разрушил, которую ты тяжело ранил, которую ты залил благородной и невинной кровью! Франко, Франко, ненавистный зверь, злодей с черной душой, чудовище, — посмотри на нас! (*Отпускает голову, которая, бормоча что-то нечленораздельное, падает на стол.*)

Боец Народной милиции (*тоже хватает голову Франко, но более резко*). Да, Франко, Франко, изменником ты теперь так и останешься на веки вечные. Да, мы — боль того мира, который ты погубил, но у Испании еще осталось достаточно жизни, чтобы уничтожить тебя, чтобы отомстить тебе, чтобы заставить тебя, генерал-предатель, сполна заплатить за твои бесчисленные преступления! Вам не победить! Не победить, проклятые генералы, подлые изменники! Наш народ встал на бой с оружием в руках! Он разгромит вас, победит и уничтожит! (*Отпускает голову.*)

Свистит ветер, колеблет пламя свечей, раздуваются занавеси. Слышатся далекие крики, винтовочная стрельба; от близких оружейных выстрелов дрожат стекла и стены.

1-й фалангист (*вбегают, полупьяный, кричит*). Генерал, генерал, красные наступают! Идут сюда! Они атакуют! (*Трясет Франко и Кейпо.*)

Все просыпаются в испуге, не могут сразу понять, в чем дело, после такой попойки. Говорят что-то бессвязное. Но вскоре начинают понимать происходящее. Слышны оружейные выстрелы. Генералы как-то очень смешно вскакивают, бросаются к лестнице, прыгают с балконов. Кейпо, едва встав на ноги, обнимает микрофон и тащит его с собою, чтобы что-то сказать. Заикается.

Кейпо. Мадрид в руках национальных войск! Сейчас мы пойдем туда, прямо сию минуту! Да здравствует Германия! Да здравствует Италия! Да здравствуют марокканцы и иностранный легион!

Быстрый переход. Сцена и театр оказываются в полной темноте.

ЭПИЛОГ

Занавеси в глубине сцены раздвигаются, и на горизонте возникает залитый огнями Мадрид: он бодрствует, единый и непобедимый. Слышны крики бойцов Народной милиции — они борются, они наступают, начинается героическая оборона Мадрида. Продолжают стрелять орудия, стучат пулеметы.

Тени — неподвижные, невозмутимые, еще более сплоченные — смотрят на панораму ночного Мадрида. Говорят немного громче, чем раньше, но все-таки не обычным человеческим голосом.

Боец Народной милиции. Мадрид готов к борьбе! Он обороняется! Они наступают! Товарищи, стойте твердо! Надо остановить их, остановить и победить!

Повешенный. Я чувствую, что моя голова стала не такая тяжелая, мне легче ее держать, она как-то лучше связана с телом...

Старик (*словно хочет улыбнуться*). А мне вроде стало теплее. По жилам будто мурашки побежали... Там-па-лантут, генералы не пройдут!

Мать. Сынок, сыночек мой! Чувствуешь, как теплый ветерок подул с весенних садов? Родимый мой! Не чувствуешь? Улетели черные птицы! Может, взойдет солнце и снова начнут летать белые бабочки!

Повешенный. Эта веревка уже меня так не душит! И горло не такое сухое...

Мать. Сыночек, маленький мой, что-то еще живет в нас, мертвых!

Все. Да, что-то живет, что-то живет!..

Старик. Это правда. Кажется, будто горячий воздух постепенно растапливает ледяной мир, в котором мы живем.

Боец Народной милиции. Сплотимся, товарищи! Это иллюзия! Всего лишь иллюзия! Наш вечный холод смерти не может никого победить. Иллюзия, чистейшая иллюзия! Дело в том, что нас согревает героизм Мадрида, и этот героизм дает немного жизни нам и всем павшим. Мадрид чтит нашу память! Геройские защитники Мадрида славят павших бойцов! Мадрид посылает нам, в царство мертвых, свой боевой дух, свое горение, свою непреклонную волю к победе! Мадрид, в атаку, вперед к победе! За тех, кто мучился и умер, за тех, кто еще живет и сражается! За вчерашнюю поруганную Испанию, за будущую Испанию победы. Мадрид наступает! Стойте твердо, товарищи! Стойте твердо!

Медленно опускается занавес

РАФАЭЛЬ ДЬЕСТЕ

НА РАССВЕТЕ

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Маркиз Пьедракемада.
Хасинта, его сестра.
Паскалин, интеллектуал.
Медина, лейтенант.
Адела, жена Медины.
Агуэро, капитан.
Капеллини, епископ.
Эчаве, промышленник.
Слуга.
Бойцы Народной милиции.

Испания, июль 1936 года. Провинциальный городок с замком и резиденцией епископа.

Зал в родовом замке. В глубине — окна, по бокам — двери. Старое пианино, портреты конца века, на столике у стены изображение какого-то святого — покровителя семьи. Ночь. Слева появляется высокая фигура, идет, едва переставляя ноги: желтоватое лицо, седые волосы, серая, безликая одежда. Это, несомненно, Маркиз. За ним в нескольких шагах, с высоко поднятой головой, следует его сестра Хасинта: пышная дама, с приятными манерами, считающая себя очень умной. Маркиз падает в кресло. Сестра подходит и останавливается рядом.

Маркиз. Хватит, хватит... Зачем пришпоривать старого коня? Это жестоко и бесполезно, сестра. Жестоко и бесполезно.

Хасинта. У старости есть и хорошее.

Маркиз. Но не у моей. Я расстроен, я хочу лишь одного — покоя. Не хочу больше слышать эти голоса... Они смущают меня, но почему-то не возмущают.

Хасинта. Это возмутительно, что не возмущают!

Маркиз. Конечно, я признаю, что они мне мешают. Ты их слышала?

Хасинта. Надо быть глухой, чтобы не слышать.

Маркиз. Иногда они кажутся мне оскорбительными, несправедливыми. А иногда звучат как обвинение, у них много доводов, которых я не понимаю. Наконец, есть и такие, которые я воспринимаю как глас новой, самоутверждающейся знати, и тогда мне становится стыдно за свой герб.

Хасинта. Не могу слушать, когда ты так говоришь! Я отрекись от нашей семьи! Уйду из этого дома! Возьму ружье и начну стрелять в дьяволов!

Маркиз (*повелительно и сдержанно*). Спокойно, спокойно...

Хасинта. Скажи прямо, возраст здесь ни при чем. Просто ты всегда был ленивым.

Маркиз. Что правда, то правда. Думаю, что я родился не для того, чтобы обрабатывать землю.

Хасинта (*возмущенно*). Еще бы.

Маркиз. И не для драки.

Хасинта. Если бы я была мужчиной!

Маркиз. Не говори глупостей... Нет, я не рожден для работы. Ни—надо признать—для власти. Ни для повиновения. Ни для того, чтобы учиться, получать знания...

Хасинта. В общем, ни для чего!

Маркиз. Ни для чего, да, ни для чего. Может быть, для того, чтобы наслаждаться жизнью. Но это, в конце концов, так скучно! Наслаждаться жизнью... Да знаем ли мы, что такое жизнь? Вот ты, например, знаешь? Можешь ли сказать, что знаешь?

Хасинта. Не нужно быть мудрецом, чтобы ответить. Жизнь—эта жизнь—ничто.

Маркиз. Ничто? Ты уверена? (*С удивлением, которое оказывается неожиданным для него самого.*) Ничто? Нет, это должно быть что-то. Только что? Мы забыли. Мы с тобой две маски или два пустых имени.

Хасинта. Да, ты, наверно, пустой, если только в тебе не сидит Люцифер... Наше имя... Нет, нет! Ведь мы последние отпрыски великого древа!

Маркиз. Сегодня у меня что-то нет желания кичиться. Я, пожалуй, скорее сухая ветка.

Хасинта. Мы—носители славы наших предков, и судьбы, и древних прав, которые было бы глупо позволить у нас отнять.

Маркиз. В принципе все это не больше чем тяжба за наследство. Да, конечно, мы наследники некоего имени и дохода...

Хасинта. И крови!

Маркиз. Хорошо, и крови.

Хасинта. Я всегда была против твоих поездок во Францию. Там ты потерял ту испанскую веру, ту чистоту души, которую завещали нам наши деды. Вот какое наследство ты растратил. А теперь его нужно восстановить! Иди ищи, собирай те крохи, которые, может, у тебя еще остались от нашей веры. Разве ты не чувствуешь, что Испания рушится? Не слышишь боевого клича тех настоящих испанцев, которые хотят ее спасти?

Маркиз. Я тебя не узнаю... Хочешь зазечь меня своими речами? Ну что я могу сделать? Я старый, усталый человек. Пожалуй, развращенный. Не буду с пеной у рта утверждать обратное. Но, кажется, их теперь прилично долбают...

Хасинта. Не употребляй этих ужасных слов. Ангелы-истребители не долбают. Они истребляют.

Маркиз. Ты, Хасинта, человек не нашего времени. Ты не знаешь... Сейчас время науки. Этих ангелов научили тевтонские и итальянские мудрецы. Я знаю, что убивают мертвых...

Хасинта. О чем ты говоришь?

Маркиз. Эта такая тонкая техника, чтобы охладить горячие, неопытные головы, требует больших специалистов... Когда видишь, как человек умирает,—это иногда возбуждает. А когда видишь надругательство над мертвым—бывает, возмущаешься. Но если такая операция повторяется с умом... Ты ведь, голубица, не представляешь себе...

Хасинта. Все это как-то непонятно. Не знаю, что ты имеешь в виду, да и знать не хочу. Нужно поднимать дух.

Маркиз. Я, должно быть, уже труп. Я тебя не понимаю. Поднимать дух!

Хасинта. Послушал бы ты Паскалина! Уж он-то укрепил бы твою веру.

Маркиз (*удивленно*). А кто это—Паскалин?

Хасинта. Не задавай этот вопрос людям, тебя засмеют...

Маркиз. Паскалин, Паскалин... Что-то знакомое... Ну и?

Хасинта (*доверительно*). Он здесь. В нашем доме — да-да, не удивляйся. Он заблудился и попал сюда случайно. Ехал из Мадрида. Хотел сразу же увидеть тебя, но я отложила встречу под тем предлогом, что ему нужно отдохнуть с дороги.* А на самом деле потому, что хотела вначале поговорить с тобой. Мне стыдно за твои экстравагантные манеры, за эту вялость не ко времени. Я хотела, чтобы он увидел перед собой аристократа, отпрыска знатного рода, маркиза Пьедракемада. Но, наверно, напрасно я надеялась...

Маркиз. Мне следовало бы уже давно лежать в нашем фамильном склепе. Ну хорошо, я постараюсь.

Хасинта. Правда, обещаешь?

Маркиз, не отвечая, откидывает голову на спинку кресла, словно собираясь вздремнуть, и вялым жестом выражает свое согласие.

Хасинта (*с радостным лицом на цыпочках подходит к двери, ведущей в соседний зал, зовет*). Паскалин!

Через несколько мгновений появляется молодой человек — бледный, корректный, безукоризненно одетый лицемер.

Маркиз (*словно проснувшись*). Что это?

Хасинта. Это? Это Паскалин, новейший философ нашей старой Испании.

Паскалин. Нашей нетленной Испании. В отношении меня, пожалуй, вы любезно преувеличили. Разумеется, если говорить в узком смысле слова, в каком Сократ впервые его употребил, то я не вижу причин, которые мешали бы мне считать себя философом... (*Несколько удивленный жест Маркиза.*) Я хотел вам сказать, сеньор Маркиз, что я всего-навсего сторонник правды.

Маркиз. Я тоже, мой друг.

Хасинта. Маркиз — человек искренний и благородный, хотя и не всегда проявляет эти качества из-за меланхолии. Ах, если бы он послушал, как ты говоришь о величии нашего дела!

Паскалин. Это величие — в крови маркиза.

Маркиз. А кровь-то такая мутная, дорогой... Как вы думаете, что сейчас происходит?

Паскалин. О, все так просто. Это непременно должно было случиться. Западная христианская культура выходит из маразма терпимости, где она чуть было не погибла, чтобы противопоставить свою несгибаемую стойкость азиатским ордам.

Маркиз. Стало быть, все дело в азиатах?

Паскалин. Это сложный вопрос. (*Собирается прочесть целую лекцию.*) Видите ли, Азия...

Хасинта. Послушайте, Паскалин, нужно, чтобы вы дали советы моему брату, укрепили его дух...

Паскалин. Так вот: знать должна снова обрести свои привилегии, а для этого должна проявить благородство и выполнить свой долг. Защитники древних традиций, которые по своему происхождению...

Маркиз. И все это вы говорите мне? Да вы мечтатель, молодой человек. Скажите мне просто и ясно, что я должен сделать, и не забывайте, что я стар...

Хасинта. Стар и скептичен.

Паскалин (*двусмысленно*). Золото не стареет.

Маркиз. Ах, какое облегчение! Наконец-то я понял. (*Помолчав.*) Можете располагать тем, что у нас осталось. Не возражаешь, сестра?

Паскалин. Я не это имел в виду...

Хасинта. Маркиз все прекрасно понял. (*Торжественно.*) Благодарю тебя, брат. Спасибо, Паскалин.

Паскалин удивлен своим неожиданным успехом.

Быстро входит испуганная женщина. Она прижимает руку к сердцу, словно желая таким образом успокоиться от пережитого страха.

Хасинта. Адела, это ты?

Адела. Наконец-то!

Маркиз. Как вы себя чувствуете, сеньора?

Адела. Подождите, дайте мне отдышаться.

Хасинта. Да скажи толком, что с тобой случилось?

Адела. Ровным счетом ничего. Я сказала слугам, что знаю дорогу, а сама заблудилась в коридорах, попала не знаю куда... Очутилась на чердаке, наткнулась на зеркало... Бог знает что! Это какой-то лабиринт.

Маркиз. Здесь удобно в прятки играть, правда? А что вам известно о муже?

Адела. Да ничего! Ходят самые противоречивые слухи. Одни говорят, что его отряд уничтожили. Это ужасно! А другие говорят, что, наоборот, они кого-то перебили. Дай-то бог!

Паскалин. Действительно, противоречивые слухи. Но, по всей вероятности...

Адела. Никакой тут нет вероятности! Нужно покончить с ними раз и навсегда, сжечь их живьем, порубить на куски...

Маркиз. Спокойно, спокойно. Делается все, что можно. С нашей стороны, если нужны средства...

Адела. Я привезла послание. Вернее, сообщение о том, что скоро к вам приедут; и было бы желательно заранее удалить отсюда всех, кто не заслуживает полного доверия. Дело совершенно секретное.

Паскалин. Если я вам не нужен...

Хасинта. Оставайтесь, Паскалин. Не волнуйтесь, Адела. В этом доме не боятся шпионов. Слуги у нас верные и являются, только когда их зовут. Что же касается этого молодого человека, то на него вполне можно положиться.

Маркиз. А кого мы будем иметь честь... ?

Адела. Наверно, они уже пришли, я ведь столько времени потеряла в этих коридорах! Ужас какой! *(Таинственно.)* Сам монсеньор Капеллини, капитан Агуэро...

Хасинта. Но разве капитан не с красными?

Адела. Так только кажется. А на самом деле — нет. *(Доверительно.)* Он наш самый убежденный сторонник.

Хасинта. Кто бы мог подумать!

Адела. И еще придет дон Каэтано Эчаве!

Хасинта *(Паскалину)*. Миллионер...

Открывается правая дверь, Слуга докладывает.

Слуга. Его преосвященство...

Маркиз идет навстречу вновь прибывшим.

Паскалин *(сестре Маркиза, с жаром)*. Представьте меня!

Маркиз. Ваше преосвященство! Какая честь!

Хасинта. Монсеньор Капеллини!

Капеллини *(подает всем руку с кольцом для поцелуя)*. Да пребудет с вами мир господень! Сеньора! Сеньор Маркиз! *(Протягивает руку Аделе.)* А у нас есть для вас сюрприз, дочь моя.

Адела. Какой, ваше преосвященство?

Паскалин *(выступает вперед)*. Какая это высокая честь для меня! Я так мечтал с вами познакомиться!

Хасинта. Монсеньор, мне очень приятно представить вам...

Адела. Так какой же сюрприз, ваше преосвященство?

Паскалин кланяется, стараясь деланной улыбкой скрыть, что он расстроен своей неудачей, и направляется к двери. Сестра Маркиза,

улыбаясь, тихо говорит о чем-то с епископом и показывает ему глазами, полными восхищения, на Паскалина. Тот замечает, но не подает вида и принимает позу великого мыслителя. Тем временем Маркиз приветствует остальных гостей.

Маркиз. Добро пожаловать, сеньор Эчаве. (*Слегка улыбается капитану.*)

Агуэро. Наверно, вы полагали, сеньор Маркиз, что я воюю на другой стороне?

Эчаве (*похлопывая капитана по плечу*). Сейчас все разъяснится. Мы привезли вам сюрприз, Адела. Так что приготовьтесь...

Адела. Да говорите же, в конце концов, а то не знаю, что и думать. Хороший он, этот ваш сюрприз?

Эчаве. Замечательный! Раз, два... три!

Вновь открывается дверь, и широким шагом входит по-деревенски одетая женщина; заметно, что она в положении. Одни из присутствующих удивлены, другие понимающе переглядываются. Женщина останавливается перед Аделой, какое-то время стоит молча, видя ее растущее удивление, и затем разражается громким мужским смехом, которому вторят гости.

Медина (*переодетый*). Не узнаешь меня, дорогая жenuшка?

Адела. Не может быть! Неужели это ты, Роберто? (*Обнимаются.*)

Медина. Все это пришлось сделать ради нашей родины.

Агуэро. Доложите нам о своей одиссее, лейтенант Медина.

Медина. Ничего особенного.

Хасинта. Должно быть, она была такой героической...

Паскалин. Смотрите, как меняются времена; и однако же, на протяжении веков изобретательность героев остается прежней, она лишь принимает разные формы. Например, Улисс...

Агуэро. *In illo tempore — Ulises*¹. А сегодня другое имя — лейтенант Медина.

Маркиз. Речь идет о каком-нибудь срочном задании, связанном с переходом линии фронта?

Медина. Речь идет о необходимости лично подтвердить шифровку. Мы не знали, получил ли капитан

¹ В то время — Улисс (*лат.*).

Агуэро — так сказать, наш посол во вражеском лагере — это послание, и очень беспокоились. А передавать приказы по радио стало опасно.

Э ч а в е. Следует, ввести Маркиза в курс дела. *(Тихо.)*

Пожалуй, женщин лучше удалить на некоторое время.

Маркиз. Сестра, не хочешь ли угостить нас чем-нибудь? Чтобы слуги тут не мельтешили, спустись-ка сама в погреб. И принеси нам столетнего, хорошо?

Э ч а в е. Прекрасно!

Паскалин. Тысяча восемьсот тридцать шестой! Годом раньше, если мне не изменяет память, умер Сумалакарреги¹.

Маркиз. Адела и молодой профессор могут пойти с тобой. Им будет интересно посмотреть подземные галереи.

Хасинта. Предлог, чтобы удалить дам.

Паскалин. Дам и профессоров.

Адела. Какие страшные вещи они, должно быть, замышляют! Пойдемте, пойдемте скорей отсюда.

Хасинта, Адела и Паскалин уходят.

Медина *(доверительно)*. Наши силы в опасности. Они ждут приказа в казарме и могут погибнуть, если осада, которой они фактически подвергаются, будет подкреплена атакой колонны красных, формирующейся в нескольких километрах отсюда, в Сан-Бласе. Эта колонна будет разделена на два отряда. Один из них — кто будет им командовать, пока неясно, не так ли, Агуэро? — можно было бы направить через этот замок...

Агуэро. Понятно... Не возражаю.

Медина. В таком случае я считаю...

Агуэро. Понятно. Я согласен с этим решением и приложу все усилия, чтобы выполнить свой долг.

Капеллини. Превосходно, капитан. *(Обводит взглядом собравшихся.)* И очень логично. Вам не кажется? Поскольку капитан Агуэро, по иронии судьбы, оказался одним из немногих защитников Божьего дела, пока пользующихся доверием дьявола, он лучше любого другого сможет его обмануть. *(Смеется визгливым смешком.)*

¹ Сумалакарреги, Томас де (1788—1835)—испанский генерал-карлист, прославившийся своими победами над либералами. В 1835 году был тяжело ранен во время осады Бильбао и вскоре умер.

Эчаве. Несомненно, ваше преосвященство, несомненно. (*Вторит смешку епископа.*) Обмануть и дать ему как следует по голове! Как вы думаете, сеньор Маркиз?

Маркиз. Я полагаю, что вопрос мне ясен, хотя в теологии я профан... Однако... давайте говорить потише.

Эчаве (*встревожен*). Кто-нибудь подслушивает?

Маркиз. Нет, никто не подслушивает. Но давайте говорить потише.

Капеллини. Нас слышит Господь — покровитель наших войск. Ему не нужно кричать — но и молчанием его не обманешь...

Маркиз. Конечно, конечно. Наверно, дьявола тоже... Ну а нас... Страх так многолик! И кроме того... Все это слишком запутанно!

Агуэро. Сеньор Маркиз, может быть, в этих словах скрыто недоверие ко мне?

Маркиз (*с легким удивлением*). К вам? По правде говоря, я еще не совсем понимаю, в чем дело.

Эчаве. Пожалуй, сеньор Маркиз имеет основание для недоверия. Капитан Агуэро в свое время не присоединился к восставшим. А потому мы будем его считать подозрительным, пока он не докажет верности нашему делу.

Агуэро. Вы же ничего не знаете, сеньор Эчаве! Сеньор Маркиз, какое заблуждение! Скажи им, Роберто!

Медина. Положа руку на сердце, я заявляю и клянусь моей шпагой (*безуспешно ищет ее*), да, моей честной шпагой, которой здесь нет, в связи с военной необходимостью и замыслами верховного командования, — клянусь, повторяю, что, во-первых, капитан Агуэро — человек чести, отважный воин, достойный соперничать с Ахиллесом и Мильяном Астраи¹...

Агуэро (*скромно и высокомерно*). Мне не нужно столько лавров, Роберто. Достаточно того, что я — капитан Агуэро. Говори короче. Во-вторых?

Медина. Во-вторых, его сердце и силы всегда были отданы делу монархии, порядка, величия Испании.

Эчаве (*неожиданно взвизгивает*). Монархии!

¹ Мильян Астраи-и-Террерос, Хосе (1879—1954) — испанский генерал, создатель Иностранного легиона в Марокко. Известен своими жестокостями во время национально-освободительного движения в Марокко в начале XX века.

Капеллини *(многозначительно, с нажимом)*. Монархии!

Эчаве. Ну, если бы получилось, было бы неплохо. Согласен, согласен, надо думать о большом. Но, откровенно говоря, сейчас я бы удовлетворился самым малым: порядок, мир, семья, никаких забастовок...

Капеллини. И вера, сеньор Эчаве, и вера.

Эчаве. Да, конечно, без религии ничего этого быть не может... Так вот, вера, религия, мир, семья, промышленность и торговля, скотоводство...

Медина. Всем этим идеалам всегда был верен капитан Агуэро.

Агуэро. Всем этим идеалам, а также нашему, особенному, как человек военный.

Медина. Да, нашему традиционному идеалу, каким является престиж военного мундира. *(Бьет себя кулаком по вздутому животу, изображающему мнимую беременность.)* Это говорю я, который в этот момент, по несчастному стечению обстоятельств и подчиняясь приказам сверху... Но теперь все это кончилось! Да здравствует военная форма! *(Срывает с себя женскую одежду. Остается в желтой рубашке и форменных брюках.)*

Агуэро *(обняв лейтенанта)*. Ну как? Убедил вас его доклад? Или я еще под подозрением? *(Смотрит на Маркиза.)*

Маркиз. В вас я не сомневаюсь, капитан. Мои сомнения другого характера.

Эчаве *(указывая на военных)*. Неужели армия, эта гарантия порядка, могла отказаться от своих привилегий, погибнуть от слабости и оставить сковородку в руках агентов анархии?

Агуэро. Они бы всех вас зажарили. Да и самого Господа бога тоже.

Капеллини. Господа бога нельзя зажарить, капитан.

Агуэро. Но вас можно, монсеньор. Я имел в виду ваше преосвященство.

Эчаве. Здесь у нас не собор. Давайте не усложнять наши проблемы.

Маркиз. Я только хотел бы знать...

Эчаве. Вы это сейчас и узнаете, во всех подробностях. Капитан вызвался осуществить одно весьма рискованное дело.

Маркиз. Кажется, я начинаю понимать. Меня только

интересует, какая роль во всем этом отводится мне...

Капеллини. Вы должны предоставить свой замок в качестве крепости для нашей святой борьбы.

Маркиз. Может, я неверно понял, но мне кажется, что в истории нашего рода еще не было подобных случаев...

Капеллини. Кто из ваших предков, Маркиз, отказался бы использовать этот замок как крепость для победы над Сатаной?

Эчаве. Они зажарили бы вас... Поверьте мне. С таким врагом нечего церемониться. Они бы вас зажарили.

Капеллини. Маркиз сумеет услышать голос своего долга.

Агуэро. А я выполню свой.

Медина. Никто лучше его не сумеет выполнить самую деликатную часть этого дела. Не у каждого есть такие способности.

Эчаве. А удастся ему убедить полковника?

Медина. Агуэро сумеет сыграть на его слабой струнке.

Агуэро. Никуда он не денется. Я этого старика изучил досконально. (*Ерничая, принимая стойку «смирно».*) Господин полковник! Разрешите отдать жизнь за родину!

Медина (*принимая участие в комедии*). Выразайтесь яснее, капитан!

Агуэро. Может, вы мне не доверяете? Кто бросил тень на мою честь?

Маркиз (*с легкой гримасой*). Не знаю, будет ли здесь уместно это слово.

Эчаве. Вы имеете в виду слово «честь», Маркиз? Слова—это слова. Главное—дух. Слово убивает, дух оживляет. Не правда ли, ваше преосвященство?

Капеллини. Все в воле Божьей. Думать сейчас—кошунство. Наша святая церковь в опасности. Говорите, капитан, что внушает вам божественное провидение, и не бойтесь незначительных ошибок в толковании. Боязнь эта была бы равносильна гордыне! Самые светлые умы из наших мистиков не могли правильно истолковать глас божий, который они слышали в краткий миг своего экстаза, впадали в легкие еретические ошибки и, однако... Однако умерли в святости. Ego te absolvo¹, капитан.

¹ Оправдываю тебя, отпускаю тебе грех (*лат.*).

Есть ученые мужи, они сумеют объяснить твои невинные заблуждения и причислить тебя к лику святых...

Агуэро. Спасибо, ваше преосвященство. Честно говоря, для меня все это темный лес. Я человек простой, грубый, невежественный. Я выполню свой долг, как мне велит сердце. Скажу даже «честь», почему бы и нет? *(Снова вытягивает руки по швам.)* Господин полковник! Может, вы мне не доверяете? Большую тень бросили на мою честь! *(Кричит в исступлении.)* На мою честь! *(Вызывающе и вместе с тем со страхом смотрит по сторонам.)* На мою честь!

Медина *(играя роль полковника)*. Успокойтесь, капитан, и скажите ясно, о чем вы просите.

Агуэро. Я прошу дать мне возможность умереть за Рес... Как мне осточертело это слово!

Капеллини *(мягко)*. Смелее, капитан, смелее!

Агуэро. Прошу дать мне возможность умереть за Республику. *(Преображаясь после небольшой паузы, словно видя перед собой сомневающееся лицо полковника.)* Меня кто-то оклеветал. Я вижу это по вашему лицу, господин полковник. Какая-то крыса — таких здесь множество, — чтобы выдвинуться, очернила меня из зависти. Снимите с меня эту невыносимую тяжесть бесчестия и позора! Доверьте мне командование верными Республике силами! *(Делает вид, что рвет на себе волосы, стонет в отчаянии, но вдруг, не в силах более сдерживать смех, начинает хохотать. Этот смех душит его.)* Да здравствует Рес... Республика! Республика трудящихся!

Роберто и Эчаве, зараженные смехом Агуэро, громко хохочут. Его преосвященство улыбается, делая рукой знаки, означающие отпущение греха. Маркиз, смущенный и недовольный, закуривает.

Женщины *(у двери)*. Можно?

Маркиз. Да-да, входите!

Капитан приводит себя в порядок. Все принимают серьезный вид. Паскалин несет бутылки, покрытые паутиной, Адела — поднос с рюмками. Вперед выходит Хасинта, сестра Маркиза.

Хасинта. Сеньоры! Ошеломляющее известие!

Паскалин. Божественный парадокс, великая загадка.

Медина. Какая же?

Хасинта. Прибыли марокканцы!

Эчаве (*очень обрадован*). Правда? Настоящие?

Паскалин. Самые что ни на есть.

Эчаве. Мы спасены!

Капеллини. Здесь они станут цивилизованными.

Маркиз. Вы так думаете, ваше преосвященство?

Капеллини. Несомненно... Рядом с нами, разделяя наше воодушевление...

Эчаве (*скребет в затылке*). Как бы не цивилизовались слишком скоро... Время есть, время есть...

Паскалин. Сколько загадок таит в себе история! Кто бы из крестоносцев мог подумать, что мавры будут спасать христианскую цивилизацию!

Эчаве. Ну, эти церемониться не станут.

Агуэро. Я служил в Африке и могу это гарантировать.

Медина. Не говори глупости, Агуэро. Мавру никогда с христианином не сравнить. Если христианин разойдется...

Капеллини. Да будет все ради мира духовного...

Эчаве. Давайте оставим сейчас абстрактные рассуждения.

Медина. Арриба, Эспанья!

Все (*с заговорщицким видом*). Арриба!

Тем временем Паскалин откупорил бутылки, а Адела подает рюмки. Хасинта села за пианино и играет какую-то бесцветную, старую мазурку. Адела подходит к ней. Все присутствующие чувствуют себя как на вечеринке.

Хасинта. О, я так давно не играла! Пальцы не слушаются...

Адела. И все-таки ты сегодня в ударе.

Паскалин (*Маркизу*). А вы любите музыку?

Маркиз. Раньше, когда я танцевал...

Паскалин. Разве можно сказать, что вы старый! Вы в самом зрелом возрасте. В возрасте настоящего аристократа.

Маркиз. Титулы ничего не стоят, когда их нельзя использовать для получения наслаждений.

Паскалин. Я имел в виду другое.

Маркиз. Тогда я вас не понимаю.

Маркиз подходит к группе, которую образуют Эчаве, епископ и военные. Смущенный Паскалин садится у пианино.

Эчаве. Сеньор Маркиз, нам нужен ваш совет....
(Смотрит на капитана Агуэро.)

Агуэро. У нас есть отряд гражданской гвардии для засады. Часть людей поставим у окон, выходящих на площадь. Остальные займут позиции на перекрестках. Если, как я рассчитываю, мне доверят командование красными ополченцами на площади, оружие поставим в козлы... Понятно?

Маркиз кажется ошеломленным и обескураженным. Все смотрят на него с тревогой.

Капеллини. Пойдемте, Маркиз. Мы не должны вмешиваться в решение военных вопросов. Это дело капитанов, они знают в этом толк... А Маркиз предоставляет свой замок в качестве крепости для борьбы за наше дело. Не так ли, Маркиз? *(Берет его под руку и ведет к двери. Маркиз слабыми жестами выражает свое согласие.)*

Эчаве и лейтенант Медина вопросительно смотрят на капитана Агуэро.

Агуэро. Я ожидаю только приказа сеньора Маркиза. Маркиз *(оборачиваясь)*. Только этого? *(Неопределенно улыбается.)*

Капеллини *(властно)*. Разве вы не поняли, капитан?

Агуэро наклоняется, словно проявляя уважение, в то время как удивленный Маркиз с каким-то восторгом, смешанным со страхом, смотрит на Капеллини. Лицо епископа выражает такую уверенность и участие, что Маркиз чувствует облегчение, освобождаясь от всякой ответственности и вручая себя полностью попечению Капеллини. Почти детское выражение покорности на лице епископа вдруг меняется: теперь на нем можно прочесть немой приказ капитану. Агуэро — бледный, страшный, готовый выполнить любое распоряжение — радостно вытягивается в струнку перед мужчинами, затем отходит к дамам и целует им руки. В глубокой тишине, кажущейся гротескной, поворачивается на каблуках и широкими шагами направляется к двери.

Эчаве. Удачи, капитан.

Капеллини. Бог поможет вам, генерал...

Агуэро резко останавливается и, словно не в силах выразить переполняющие его чувства смирения и признательности, оборачивается, опустив руки, к епископу, готовый упасть перед ним на колени.

Агуэро. Я пока еще этого не заслужил, ваше преосвященство.

Хасинта. Было бы желание!

Агуэро. Майор Медина! Поручаю вам командование силами обороны. Обеспечьте их прибытие и распредели-

те, как сочтете нужным. *(Уходит, важно, ступая, словно настоящий генерал.)*

Адела *(радостно обнимает мужа)*. Майор мой! Какая прекрасная карьера!

Медина. Первое распоряжение: создаем службу Красного Креста из присутствующих здесь дам.

Адела. Слушаюсь.

Хасинта. К вашим услугам.

Медина. Тогда пойдите и приготовьте на всякий случай бинты и арнику.

Адела *(испуганно)*. А что тут будет?

Направляется к выходу, Адела идет за ней.

Эчаве *(почти официальным тоном)*. Слуги у дверей предупреждены?

Медина. Да, нужно только подтвердить приказ.

Паскалин. Если я могу чем-нибудь помочь...

Маркиз *(побледнев)*. Нет, этим должен заняться я лично.

Медина. Спасибо, сеньор Маркиз.

Маркиз быстро направляется к выходу — как человек, приступающий к действию, чтобы найти в нем оправдание своему решению.

Капеллини. Вы прямо огонь, Маркиз, прямо огонь.

В ответ на эту лесть Маркиз как-то зловеще улыбается и поспешно выходит.

Медина. Скоро привезут оружие. А пока давайте сделаем жизнь повеселее. *(Разливает вино в фюмки, подает одну фюмку Паскалину.)* Возьмите для поднятия духа, молодой человек, вам придется нам помочь.

Паскалин. Я готов, но, откровенно говоря, не знаю, о чем идет речь.

Эчаве. Планы главного штаба!

Медина. Разве вы не в курсе?

Паскалин. Нет. На совещании в главном штабе я не присутствовал... Да и объяснений никаких мне не нужно. Я только спрашиваю, что я должен делать.

Капеллини. Прекрасно сказано, молодой человек.

Медина. То, что вам предстоит сделать, очень просто. Когда это красное стадо потеряет осторожность...

Епископ скромно отходит в сторону.

Стрелять! Вот и все. Успех операции обеспечен.

Эчаве. Не волнуйтесь, молодой человек, ими командует капитан Агуэро.

Медина. Генерал...

Эчаве. Ими командует генерал Агуэро. Понятно?

Паскалин. Кажется, я начинаю понимать. Речь идет... о комедии...

Медина. О комедии? Да вы понимаете, что говорите? Речь идет о военной хитрости, о тщательно спланированной операции. А вы...

Эчаве. Если не хотите нам помочь... Мы никого не принуждаем.

Капеллини. Пойдемте со мной, молодой человек! *(Отводит его в сторону. Доверительно.)* И чем меньше будете знать, тем лучше. *(Достает длинный наплечник и надевает на него.)*

Паскалин блаженно улыбается, чувствуя себя полностью освобожденным от всякой ответственности.

Вновь появляется Маркиз. Он едва передвигает ноги, от былой осанки не осталось и следа — впечатление такое, как будто у него другой скелет. Говорит слабым голосом, с какой-то застывшей улыбкой.

Маркиз. Все в порядке. Они уже входят... под предлогом обыска. Вижу, что вы изобретательны. *(Смеется коротким смешком.)*

Медина. Пойду расставляю их по местам.

Паскалин *(преобразившись)*. Могу я вам помочь?

Медина уходит, за ним идет Паскалин. Эчаве, епископ и Маркиз остаются одни. Они расположились в креслах; епископ и Эчаве, сидя рядом, начинают конфиденциальный разговор. Немного поодаль сидит Маркиз.

Эчаве *(повышая голос, словно приглашая Маркиза принять участие в разговоре)*. Если наши расчеты верны, они должны прийти на рассвете.

Маркиз *(после некоторой паузы, пораженный)*. Что вы сказали?

Капеллини и Эчаве вновь начинают говорить тихо.

Светает, слышен нарастающий шум — на площадь перед замком входит отряд. Уже можно различить отдельные голоса, бойцы Народной милиции выкрикивают лозунги.

Голос Агуэро. Стой! *(Воцаряется тишина.)* Здесь, на этой площади, прежде чем мы пойдем дальше и дадим бой этим... безумцам, я хочу подбодрить вас и... похвалить за храбрость. Я говорю «похвалить», потому что

поднимать ваш и без того высокий дух нет никакой необходимости. Бойцы! Сыны народа! Славные защитники законности! Вы спасете Испанию! Долой мятежников! Да здравствует Республика!

Все *(очень громко)*. Ура!

Эчаве, Маркиз и Его преосвященство, стоя, с огромным вниманием прислушиваются к происходящему на площади.

Эчаве *(осторожно подходит к окну, смотрит вниз и комментирует)*. Капитан подымает сжатую в кулак руку. Кто бы мог подумать, что он из наших! *(Сам тоже поднимает вверх кулак, словно иллюстрируя свои слова.)*

Капеллини. *Vade retro!*¹

Эчаве разжимает кулак и превращает революционный жест в фашистское приветствие.

Голос Агуэро. Бой предстоит упорный, но вы народ стойкий и не такое выдерживали. Отдохнем немного. Приказы нужно выполнять до конца. Да здравствует Народная милиция!

В зал входит Хасинта и Адела и подходят к окнам, чтобы незаметно наблюдать за тем, что происходит на площади перед замком.

Эчаве. Женщинам лучше уйти отсюда во внутренние комнаты.

Хасинта. Эта комната расположена выше всех остальных.

Капеллини. Море будет бушевать там внизу...

Маркиз. Но брызги могут долететь и сюда наверх...

Адела. А что будет? Что должно произойти?

Хасинта. Я и знать этого не хочу. Мы не должны вмешиваться в мужские дела.

Адела. Мне неприятна эта таинственность! Почему они все держат в секрете? Кажется, все в курсе дела, кроме меня.

Хасинта. А куда ушел Паскалин?

Капеллини. Мое благословение укрепило его, и он выполняет свой долг.

Эчаве. Дамы Красного Креста могут удалиться.

Маркиз. По крайней мере отойти в глубь зала.

Эчаве *(наблюдает у окна, озабоченно)*. Куда это исчез капитан Агуэро? Что-то его не видно.

¹ Изыди! *(лат.)*

Капеллини. Отойдите от окон. Малейшая неосторожность может нам повредить.

Агуэро (*влетает в комнату*). Все в порядке, то есть в беспорядке.

Выражение страха, недовольства, любопытства на лицах присутствующих, которые окружают Агуэро.

Адела. Боже мой!

Эчаве. Я волновался за вас, генерал, вас не было видно.

Хасинта (*Аделе*). Пойдем со мной. (*Отводит ее в сторону, но Адела с любопытством смотрит назад, на мужчин.*)

Агуэро. Я распорядился дать им вина и разрешил отдохнуть перед маршем... Которого, естественно, не будет.

Бойцы-ополченцы нестройно затягивают какую-то народную песню. Постепенно песня крепнет, люди поют о долинах и пшеничных полях.

Хасинта. Эта песня напоминает мне о детстве. Когда мы жили летом за городом, на берегу Томильяра... (*Маркизу.*) Ты помнишь?

Маркиз. А вашему преосвященству о чем-нибудь это напоминает?

Епископ пожимает плечами, достает молитвенник и начинает тихо читать молитву, крестясь каждый раз, когда переворачивает страницу.

Адела (*неожиданно вскрикивает*). Что это со мной, пресвятая богородица? (*Бежит по комнате, рвет на себе волосы.*)

Хасинта. Не сходи с ума. Ну что ты делаешь? Иди сюда, давай вместе молиться.

Хасинта и Адела падают ниц перед изображением святого.

Маркиз (*громко, изменившимся голосом*). Дело-то наше — дрянь... А, друг Эчаве?

Эчаве. Что? Вы меня напугали, сеньор Маркиз!

Агуэро. А почему не подают сигнала? Может, их там хор усыпил? Нам не до развлечений. Ладно, сигнал подам я сам. Ну все приходится самому делать!

Вытаскивает пистолет, подходит к окну и стреляет.

Женщины, полумертвые от страха, убегают в другие комнаты. Слышен ружейный залп, затем начинается строчить пулемет, на фоне общего шума слышны отдельные выкрики, как отголоски прежде единого хора,— все это в тонах, приглушенных стенами, коридорами и

перегородками. Выделяются громкие крики, которые раздаются почти до конца пьесы.

Громкие крики. Предатели! Труссы! Предатели! Предатели! Предатели!

Эчаве (*очень наивно*). Кого это они называют предателями?

Агуэро. А вы до сих пор не поняли? Вас, меня, сеньора Маркиза. И вас тоже, господин теолог, не пряхтесь за свою молитву.

Эчаве. Я—предатель? Да я ведь только плачú.

Капеллини. Я отпускаю грехи, капитан, я отпускаю грехи... Разве этого не достаточно?

Громкие голоса. Стреляли из замка! Предатели! Предатели! Нужно их схватить! Предатели! Предатели!

Маркиз. Кто предает и что здесь предадут? Почему нам не скажет об этом какой-нибудь ангел или черт?

Капеллини. Хватит кощунствовать! Воля божья глаголет устами церкви, а многие темные существа служат ее карающей десницей.

Агуэро. Значит, выходит, что я—темное существо? Стало быть, пусть это темное существо, эта карающая десница, катится к чертовой матери в преисподнюю, а Маркизу, и этому богачу, и епископу пусть херувимчики пятки чешут и славу поют? Убейте меня, ни черта не понимаю! Или все тут предатели, или никто!

Эчаве. Мне кажется, вы не совсем трезвы, капитан.

Маркиз. Наверно, он тут комедию ломает. Нет, дело наше дрянь. Придется защищаться, как крысам, вот что я вам скажу. Да мы и есть крысы.

Вбегают лейтенант Медина и Паскалин со своим длинным наплечником.

Медина. Они смяли охрану у дверей! Вы что, с ума тут посходили? Не слышите, что я вам говорю? Они смяли охрану у дверей! Бой идет уже в самом замке. Надо обороняться!

Паскалин (*проходя*). Ваше преосвященство, мы спасемся? (*Уходит с лейтенантом Мединой.*)

Агуэро (*осторожно смотрит в окно*). Не надо строить иллюзий. Все кончено.

Маркиз. Стало быть, мы в мышеловке.

Капеллини. Не нужно отчаиваться. Самое благоразумное сейчас—спрятаться. Наверно, найдется такое

место, где это стадо нас не учует. Как вы думаете, сеньор Маркиз?

Маркиз открывает настежь окно и ждет... Епископ крутится по комнате, ищет, куда бы спрятаться. Эчаве словно оцепенел. В этот момент шальная пуля с площади попадает Маркизу прямо в лоб. Он падает на спину.

Слышно, как по коридорам идут бойцы Народной милиции.

Смертельный страх охватывает епископа и Эчаве.

Агуэро. Я свою задачу выполнил. А теперь спасайся кто может. *(Решительным шагом направляется навстречу бойцам-ополченцам. Вскоре из коридора слышится его голос.)*

Агуэро. Сюда, ребята! У меня нюх будь здоров! Я тут предателей обнаружил!

Голос одного из бойцов. Руки вверх, жалкий комедиант!

Голос Агуэро. Вы что, спятили? Я же ваш капитан!

Слышен выстрел, падение тяжелого тела.

Эчаве. Уловка не прошла. Ну а мы что будем делать?

Капеллини. Молиться. Мы пропали.

Эчаве *(как будто его осенило, почти радостно)*. Давайте! Живо! Вот в чем спасение! Мне вдруг в голову пришло. Быстро! Мы можем... покончить с собой. Притвориться, разумеется. Не волнуйтесь, епископ. Спокойно!

Подходит к убитому Маркизу, мажет себе лоб его кровью. То же самое делает епископ. Вытаскивают пистолеты, принимают позы покончивших с собой людей и стреляют в воздух. Почти тотчас же появляются двое бойцов Народной милиции. Смотрят по сторонам. Проходя, пинают мнимых убитых.

Один из бойцов. Эти готовы. Сами себя наказали. Пошли дальше.

Другой боец. Зато мы патроны сэкономили.

Пересекают зал и уходят.

Вскоре начинают медленно подниматься Эчаве и его преосвященство. Но, повернув головы, чтобы оглядеться, они вдруг с удивлением замечают, что на них предусмотрительно направлены винтовки. Они так и замирают — полусидя, в самых невероятных позах. На лицах — величайшее изумление. И вдруг испускают протяжный, безумный крик ужаса!

Медленно, в полном молчании проходят бойцы Народной милиции — в их твердой поступи чувствуется неизбежное наступление скорого рассвета.

ЮНАЯ ПАРТИЗАНКА

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Нинья, партизанка.
Первая старуха.
Вторая старуха.
Третья старуха.
Первая девушка.
Вторая девушка.
Третья девушка.
Кобриса, старая женщина.
Пилар Косая.
Карменсита Спекулянтка.
Маруха.
Берланга.
Медсестра.
Братик Ниньи (5 лет).
Братик Ниньи (1 год).
Вердинегро.
Тристан-макй.
Мартинико.
Капитан-фалангист.
Два немецких офицера.
Священник.
Фрай Жозе (французский монах-доминиканец).
Себастьян (могильщик).
Судья.
Секретарь суда.
Крестьянин.
Иезуит.
Партизаны:
Педрисо.
Пастух.
Астуриец.

Кармона.
Монтиньо.
Чамуско.
Топете.
Мико.
Сантиэстебан.
Дон Пепин.
Колао.
Неизвестный.
Паренек с аккордеоном.
Два гражданских гвардейца.
Врач.
Марокканцы.
Гражданские гвардейцы.
Фалангисты.
Полицейские.
Альгвасилы.
Дети.

Действие происходит в Испании в наши дни¹. Верхний Арагон, близ франко-испанской границы в Пиренеях, между Хакой и районом Эчо-Ансо. Очень снежная зима.

Действие первое

ИСПАНИЯ БЕЗ СНА

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Полночь. Интерьер уединенной горной хижины. Сцена освещена только светом от поленьев, горящих в большом очаге под железной вытяжкой в форме колокола. Возле очага — спящая Нинья². Рядом с ней — младший братишка, лет пяти, а в колыбели — второй, годовалый младенец; оба спят. В углу, скрытые тенью, три старухи. Все три — в одинаковой типичной одежде испанских крестьянок, но в трауре с головы до ног, покрыты черными накидками. Две из них сматывают пряжу, третья старуха ткет.

Когда поднимается занавес, на сцене стоит полная тишина. Через некоторое время издали доносится голос.

¹ Пьеса написана в 1945 году.

² Девочка, девушка (*исп.*).

Голос за сценой

(поет)

Ты — дочь сна, говорят,
Голубка моя дорогая!
И когда я к тебе ни приду,
Ты всегда почитаешь.

Старухи, оставив работу, выходят из своего угла, переговариваясь.

Три старухи

(таинственно бормочут)

— Сон, как тлеющий уголь,
Пламя под пеплом прячет.
— Сон разжигает душу,
Едва свет очей притушит.
— Спи;
Человек во сне лишь
Наедине со смертью.
— Сон — любовник туманный,
Ветер его развеет.
— Облачно-снежный всадник!
— Кто пред ним двери закроет?
— Сон — это призрачный рыцарь.
— Тень, что вне времени бродит.
— Виденье из дымки обманной.
— Кто пред ним двери закроет?
— Нет каудильо-тирана,
Что смог бы огнем и железом
Сковать кровавые цепи
Для человеческой думы.
— Пленив летучие ветры,
Тучи не остановишь.
— Коль хочешь, чтоб эхо смолкло,
Кричать тишину не заставишь.

Голос за сценой

«Чем же мы с тобою
Снег напоминаем?
Ты — чистотою,
А я — тем, что таю».

Три старухи
(сменяя друг друга)

— Сон под дымкою пепла
Пламя твое скрывает.
— Пламя в очах погаснет—
И разгорится в думах.
— Спи;
Человек во сне лишь
Может думать о смерти.
— Сон—ледяной любовник
В одеждах хрустальных снежных;
Легкой стопой убегает,
Тяжелым шагом приходит.
— Сон покоряет замки.
— Сон города осаждает.
— Сон тебя окружает.
— Повсюду подстерегает.
— Сну все двери открыты.
— Сон не знает засовов.
— Для сна темниц не найдется.
— Для сна палачей не бывает.
— Пеплом сна ты укрыта,
В воздухе тенью витаешь.
— Ты—снеговая туча,
Сон, слетающий с неба.
— Спи;
Человек во сне лишь
Может грезить о смерти.

Голос за сценой
(ближе)

«Ты—дочь сна, говорят,
Голубка моя дорогая!
И когда я к тебе ни приду,
Ты всегда почиваешь».

Нинья
(просыпается)

Почему обо мне поется?
Зачем зовет меня песня?

Три старухи

— Потому, что сама ты—песня.
— Сама ты—призыв и пламя.

Нинья

Ах, горе мне, горе, горе!
Сплю я, но сна мне нету.
Ах, горе мне, горе, горе!
Живу я, но нет мне жизни.

Нинья встает и делает несколько шагов по сцене под причитания старух.

Три старухи

— Нинья!

— Нинья!

— Нинья!

Нинья

Мне снилось, что я не грежу
(Мне снилось, что не спала я),
Что сон мой совсем не сном был,
Жила я жизнью иною.

Три старухи

— Нинья!

— Нинья!

— Нинья!

Наступает напряженное молчание, прерываемое стуком в дверь. Дверь открывается, и появляются Вердинегро, Тристан-маки и Мартинико—крестьяне-партизаны. Нижняя часть их лиц закрыта до глаз платками, которые они тут же снимают. Старухи остаются стоять в стороне, Нинья—в центре сцены.

Вердинегро

(*Мартинико.*)

Привяжи коней-то.

(*Нинье.*)

Нинья,
По пятам идут за нами.
Все, что есть, давай скорее.
И оружие! Мы уходим!

Все трое входят и закрывают за собой дверь. Во время всего дальнейшего разговора Нинья быстро ходит по сцене, доставая оружие и раздавая его партизанам. Старухи помогают ей. К спящим детям подходит Мартинико, следом за ним—Тристан.

Мартинико
Спят твои детишки, Нинья?

Нинья
Тише, а то их разбудишь!

Тристан
Не твои ли уж сыночки?

Нинья
Не сыночки, а братишки.

Вердинегро
Поскорей давайте! Слышал
Я у речки конский топот.

Три старухи
— Кто-то им донес, наверно!
— Каждый шаг их будет проклят!
— Пусть подохнут, кровопийцы!

Нинья
Много их?

Вердинегро
Мы не считали.

Тристан
Едут в гору потихоньку—
Опасаются засады.

Вердинегро
Мы должны опередить их,
Чтоб они остались с носом!

Нинья
Нужно вам еще до света
Ускакать от них подальше!

Вердинегро
Мартинико! Быстро, парень!
Мы спешим, ведь ты же знаешь!

Мартинико

За моей кобылкой резвой
Даже пулям не угнаться!

Вердинегро

Зря кичишься ты, красавец,
Безрассудною отвагой.

Мартинико

(Нинье.)

Я твоим очам вверяюсь,
Чтоб меня оберегали.

Нинья

Не смогу же я очами
Осветить дорогу в поле!..

Мартинико

Твои очи светят ярко,
Словно звезды в ясном небе.

Вердинегро

Мартинико, Мартинико!
Поскорей же! Поздно будет!

Мартинико

Нинья, весточку пришлю я,
Как во Францию приеду.

Нинья

Стоит только до границы
Вам добраться — и спасетесь!

Мартинико

Скоро мы вернемся, Нинья!
Душу здесь я оставляю.

Нинья

Не шути так, Мартинико!
Дьявол ведь до душ охотник...

Партизаны открывают дверь, собираясь уходить. Предварительно Вердинегро выглядывает наружу и осматривается.

Вердинегро

Ну, пошли! Смотрите, тени
там — у речки и пониже.
Видно? Тише!.. Нет, не слышно.

Тристан

Я боюсь, что путь отрезан
Нам к горам.

Вердинегро

Мы их обставим,
Обойдем кругом. Быстрее!
Ну, пошли, Мартин! За ним
Ты иди, Тристан.

Тристан

Уходим.

Мартинико

Да, пошли.

Все трое выходят, растворяясь в темноте. Дверь остается открытой, и в ее проеме постепенно начинает ясно различаться заснеженное поле, над ним — высокое звездное небо и облака. Нинья стоит в дверях и смотрит наружу. Услышав, что старший из детей проснулся, подходит к нему. Старухи продолжают стоять в дверях, глядя в поле.

Мальчик

Нинья, мамочка! Мне страшно!

Нинья

Тише, мальчик мой, не плачь!
Ты не бойся, мой хороший,
Нинья рядом, я с тобой.

(Ласкает его. Пауза.)

Помнишь, я тебе певала,
чтоб скорее засыпал:
жил-был рыцарь Дон Мартинос,
был он девушкой, как я.
Дэвица в мужской одежде
воевать пошла с врагом...
«— Мне колет мужской купите,—
просит девушка отца,—

— дайте мне оружье ваше
и лихого жеребца.
— По очам тебя признают,
по очам, красавица.
— Опущу я очи долу,
коль увижу мóлодца.
— По груди тебя признают
по высокой, дéвица.
— Под одеждой грудь я скрою,
сердца стук умерится.
— По ноге тебя признают,
ножки мáлы, дéвица.
— Сапоги набью я ваши
Ватой— и наденутся...»

Старуха

Спит?

Нинья

Под песню засыпает,
Глазки закрываются.
«— Как должна я прозываться,
прозываться, батюшка?
— Дон Мартинос будешь, дочка,
так же, как твой батюшка...»

(Прерывает пение и, видя, что мальчик уснул, продолжает петь, пропуская некоторые строфы и понизив голос.)

«Во дворце во королевском
Не признал ее никто,
Только юный королевич,
Что влюбился горячо...»

Издали слышатся выстрелы.

Старуха

Слышишь?

Нинья

Слышу: стреляли
Невдалеке от ущелья.

Старуха

Наверно, по горной теснине
Путь отрезали нашим.

Старуха
Нет, они проворны...

Нинья
(в волнении)
Что там?

Три старухи
— Снег.
— И тени.
— Тучи.
— Пусто.
Выстрелы слышатся ближе.

Нинья
Вновь стреляют! Кони скачут!

Старуха
Вижу, вижу: скачут к дому!

Нинья
Это наши!

Старуха
Наши? Вряд ли...

Старуха
Наши дали знать бы песней.

Нинья
Распевать не время песни!

Старуха
Слышу крики я и ругань.

Старуха
Кони близко! Притворимся...
Нинья, песню пой свою.

Нинья
(поет, как прежде)
«Дон Мартинос только взглянет —
душу всю берет в полон.

— Прикажи, сын мой: с тобою
пусть на море едет он.
Коли рыцарь наш — девица,
будет трусить и дрожать.
Выслушав приказ достойно,
Рыцарь горько стал рыдать.
— Что случилось, Дон Мартинос,
отчего рыдаешь ты?..»

(*Старухам.*)

Много их?

Старуха

Я слышу много
Голосов. Пой дальше, Нинья.

Нинья

«Своего коня лихого
снежно-белого седлал.
По-над нивами на склонах
Быстрой птицей пролетал.
По-над нивами в долинах
Не видал, как проскакал...»

В то время, как Нинья произносит последние строки, в дверном проеме появляется группа возбужденных мужчин; среди них — фалангисты, гражданские гвардейцы, марокканцы и Два немецких офицера, которые выходят вперед, предводительствуемые Капитаном-фалангистом.

Капитан

Что такое?
Что вы делаете тут?

Нинья

Замолчите! Дети спят!

Все на мгновение замолкают от неожиданности, в то время как Нинья продолжает петь, как бы не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

Нинья

«...Приезжает в дом отцовский,
Все бегут ее обнять.
А девица просит прялку:
Не отвыкла ли, мол, прясть...»

Капитан, за которым неотступно следуют немецкие офицеры, молча

делает несколько шагов, приближаясь к Нинье. Она же продолжает петь, будто не замечая этого.

Нинья

«...Не проси, Мартинос, прялку —
Ничего ты не спрядешь!
Ты с войны домой вернулась —
На войну опять уйдешь.
Вот он, рядом, твой любимый,
тебя хочет увести...»

Нинья замолкает, глядя на Капитана глазами, полными страха и ненависти. Она не отходит от детишек, словно боясь, что их могут отнять у нее. Капитан, как бы продолжая строчки баллады, произносит мрачным тоном.

Капитан

Притворяться бесполезно,
Вот он. Ну-ка, погляди!

Пока Капитан произносит следующую реплику, все мужчины входят в дом. Теперь в дверном проеме видно повешенное тело Мартинико.

Мы в залог его оставим
Здесь, повешенным в дверях.
А попозже, на рассвете,
Вас обоих заберем!

Капитан делает знак уходить, и все идут за ним. Немецкий офицер останавливает Капитана.

Офицер

Неужели часового
Не поставите вы здесь?

Капитан

Не волнуйтесь, он не нужен:
Лучший страж ее — мертвец!

Все направляются к выходу. В это время Нинья поднимается на ноги и, в ужасе глядя на труп Мартинико, отчаянно кричит, будто внезапно обретая голос.

Нинья

Вы — убийцы-иностранцы,
Весь ваш род я проклинаяю!
Проклинаю кровь гнилую
Всех предателей-испанцев!

Капитан

Прежде чем вопить, подумай!
Осторожней выражайся!
Если мы сейчас уходим,
То с рассветом возвратимся!

Все уходит. В дверях к Капитану подступают Старухи. На их лицах — осуждение.

Три старухи
(с издевкой)

Вы куда сейчас пойдете?

Капитан

Вам не ясно? На охоту!

(Уходит.)

Наступает тишина. Кажется, будто Три старухи и Нинья затаили дыхание, чтобы расслышать последние отзвуки затихающих вдали голосов и шагов.

Старуха
(как бы сомневаясь)

Уехали!..

Нинья

(приходя в себя после охватившего ее ужаса)

Далеко ли?

Старуха

Да, и очень!

Нинья

Так что ж я медлю?!
Спасать Мартинико надо!

Нинья бросается к телу Мартинико, снимает его и волоком подтаскивает к очагу, туда, где спят ее братья. Устраивает тело поудобнее, как будто Мартинико жив и нуждается в отдыхе, подкладывает ему под голову какие-то мягкие вещи. Все это она проделывает так заботливо, словно перед ней — ребенок.

Старуха

Что же думаешь ты делать?

Голос Ниньи постепенно приобретает иной оттенок, ее движения также меняются, становясь несколько странными и в то же время более

уверенными; юная девушка на глазах превращается, судя по голосу и манере поведения, во взрослую, решительную женщину.

Нинья

Он душу
Свою мне вручил, прощаясь.
И я отомщу убийцам!

Старуха

Ты подумай прежде, Нинья!

Нинья

Я уж думала довольно!

В этот момент в проеме двери, оставшейся открытой, как и прежде, настезь, появляется конь партизана и неподвижно стоит там до конца картины. Заснеженное поле и глубокое ночное небо за ним как бы освещены неким волшебным светом.

Нинья

(продолжает склоняться над телом убитого партизана, как раньше склонялась над братишкой, убаюкивая его)

Ах, горе, горе!
Спишь, но сна тебе нету!
Ах, горе, горе!
Жива я, но нет мне жизни!

Три старухи

— Нинья!

— Нинья!

— Нинья!

Нинья

Мне снилось, что я не грежу
(Мне снилось, что не спала я).
Сон этот совсем не сном был.
Жила я жизнью иною.

Три старухи

— Нинья!

— Нинья!

— Нинья!

Нинья

Почему о тебе поется?
Зачем зовет тебя песня?

Потому, что сама я — песня,
Сама — и призыв, и пламя.

Пеленою сна я укрыта,
Я — летучее пламя!
Я — легкое облачко пепла,
Падающая снежинка...

Спи!
Человек во сне лишь
Может грезить о смерти.

Три старухи постепенно отступают в тень, туда, где находились в начале картины, и вновь принимаются сматывать пряжу и ткать, в то время как Нинья, рядом со спящими малышами, продолжает укачивать мертвое тело Мартинико, словно живого ребенка.

Нинья

Пепел сна — мои очи,
Пепел, что пламя смиряет.
Сон — любовник туманный.
Сон — это призрачный рыцарь.
Сон — ледяной любовник,
Который тает с рассветом.

Сон, как тлеющий уголь,
Пламя под пеплом прячет.
Он свет очей погасит,
Но разжигает душу.
Спи!
Человек во сне лишь
Наедине со смертью.

Медленно опускается занавес

Конец первой картины

КАРТИНА ВТОРАЯ

Кладбище. Светает. На сцене — испанский Священник, французский монах-доминиканец Фрай Жозе, могильщик Себастьян. Затем Нинья с покойником. В конце картины появляются Три девушки.

Священник. Годы уже на позволяют мне так быстро ходить. Стало тяжело в гору подниматься.

Фрай Жозе. Еще солнце не взошло. Вот этот?

Священник. Он самый.

Себастьян (*его не видно, слышно только голос. Поет.*)

Между жизнью нашей и смертью
Есть свет, который сияет,
И другой, который меркнет.
Но есть лишь одна тень
Между жизнью твоей и моей,
И ждет она ночь и день.

(*Выходит на сцену, несет заступ и кирку на плече.*)

Что это вы, падре, к нам в такую рань?

Священник. Ты, я вижу, тоже торопишься.

Себастьян. Все времени не хватает. Хотя тех, других, мы не хороним. Но ведь кто убивает, сам тоже помирает.

Фрай Жозе. Естественным путем?

Себастьян (*уклончиво*). Да как вам сказать... А, падре?

Священник. Ну, по крайней мере они умирают не по своей воле.

Себастьян. Нет, конечно. А знаете ли вы, падре, кого мы сегодня ждем? Саму сеньору донью Маргариту, первую из всех маргариток...

Священник. Была первой, ты хочешь сказать.

Себастьян. А, значит, вы уже знали? И то правда, уж такая она старая была, эта добрая сеньора. Что ни морщина, то расстройство, а где расстройство — там червь... Не правда ли, падре?

Священник. А это, Себас, тайны исповеди. Слушай, я привел с собой важного гостя, так что не будем терять время — он торопится. Хочет сейчас же отправиться... ну, в Уэску. И желает с тобой поговорить. Вот это — падре Жозе, а это — Себастьян, честный человек, то есть хороший...

Себастьян. И к тому же могильщик, готовый услужить сеньоре донье Маргарите.

Священник. Я вас пока оставляю, чтобы вы могли поговорить. Пойду посмотрю на своих...

Себастьян. На своих друзей?

Священник. Мы все здесь друзья.

Себастьян. Наверно, прочтете «Отче наш» какому-нибудь покойнику, который вовсе этого не заслуживает...

Священник. Что ты понимаешь! *(Выходит.)*

Себастьян. Ах, если бы все мы были такими хорошими!

Фрай Жозе. Что?

Себастьян. Было бы хуже. И все мы были бы хуже.

Фрай Жозе. Хуже?..

Себастьян *(неожиданно посерьезнел и сменил иронический тон и печальное выражение лица)*. Я слушаю вас, Фрай Жозе...

Фрай Жозе. Видишь эти четки? За каждую бусину — один. Понимаешь?

Себастьян. Наполовину.

Фрай Жозе. Наверное, у твоей жены найдется тонкая иголка или булавка...

Себастьян. Я вдовец...

Фрай Жозе. Ну, тогда у твоих дочерей...

Себастьян. Они не живут со мной.

Фрай Жозе. Значит, найдется у тебя. В каждой из этих бусин спрятано сокровище, понимаешь?..

Себастьян. Понимаю. Четки — как счеты... которые надо свести. За каждую — имя и крест.

Фрай Жозе. Человек и место.

Себастьян. Понятно.

Фрай Жозе. А все остальное скажет тебе эта молитва. *(Дает ему бумагу.)*

Себастьян *(берет бумагу)*. Здесь по-латыни?

Фрай Жозе. Эту латынь ты хорошо понимаешь.

Себастьян. Еще бы...

Тем временем появляется верхом на коне Нинья, на ней одежда убитого партизана Мартинико, лицо закрыто платком. За спиной — винтовка, в руке — пистолет. Мешок с покойником перекинут через луку седла. Себастьян, Фрай Жозе и Священник с удивлением смотрят на нее.

Себастьян. Кто ты? Что тебе здесь надо? Чего ты хочешь?

Нинья молча слезает с коня, затем снимает мешок, который тяжело падает на землю, так что все понимают, что в нем находится. Нинья, с пистолетом в руке, обращается к Себастьяну.

Нинья. Отнесешь его *(показывает на мешок)* туда наверх, ты знаешь — где сосны, и похоронишь рядом с моими; смотри, чтобы никто не узнал...

Себастьян. Нинья!

Нинья. Я не Нинья! *(Срывает с лица платок.)*
Я — Мартинико. Нинья умерла вчера вечером. Ее убили. Она в этом мешке. *(Толкает мешок ногой.)* Падре, мой братики остались совсем одни — без матери, без Ниньи. Возьмите их, пока те, другие, не забрали.

Священник. Я возьму их, Нинья, не беспокойся. Но тебе не годится поступать так, как ты поступаешь. Что это за одежда? Что ты собираешься делать? Отвечай!

Нинья. Я — Мартинико. Вчера вечером, когда мы шли за оружием, за нами следили... *(Замолкает, глядя на Фрай Жозе.)*

Себастьян и Священник. Говори, говори, не бойся.

Фрай Жозе. Сегодня ночью из порта приехали несколько человек... французов, я хотел сказать... а также испанцев...

Себастьян. Так только говорится: «испанцев»...

Фрай Жозе. И беглых немцев... Они повстречались с вами, когда вы поднимались в горы, спасаясь от преследования. Ведь так, Мартинико?

Нинья. Да, так. То есть, наверно, так. Теперь я понимаю, почему... Но тогда... А где Тристан и командир?

Фрай Жозе. Арестованы, в деревне. Но мы заболтались. Нинья, если хочешь, давай поменяемся одеждой — у меня больше сил, чем у тебя, чтобы быть Мартинико...

Нинья. Сил, но не души! Эта одежда словно приклеена ко мне его кровью, теперь это моя кожа, мое тело. Ее можно отнять у меня только вместе с жизнью!..

Себастьян. Говорить бесполезно! Время уходит. Я знаю Нинью, падре. Она своего мнения не меняет. Скоро совсем рассветет, но нам ли бояться дня? Нинья, пойдём со мной. Отнесем это куда надо. К твоим. А потом помолимся за них. Ты и я. Нинья, мы возьмем эти четки и прочитаем им долгую молитву. Пошли.

Уходят. Конь идет за ними.

Фрай Жозе. Да благословит их господь!

Священник. Да поможет бог всем нам!

Входят Три девушки, они одеты по-деревенски, но так занесены снегом, что кажутся фантастическими существами. Говорят очень быстро, перебивая друг друга.

Три девушки. Падре! Правда, что Нинья умерла?

— Что ее убили?

— Что какой-то партизан тайно привез ее, чтобы похоронить?

— Это правда?

Священник. Это и правда, и неправда.

Девушка. Как это?

Фрай Жозе. Как все в этом мире — ни правда, ни ложь.

Девушка. Пусть будет правда или неправда, но скажите: Нинья жива или нет?

Священник. Наполовину: как ты и как я.

Девушка. Наполовину жива и наполовину мертва? Как дьявол?

Фрай Жозе. Как все.

Священник. Мы все находимся между живыми и мертвыми.

Фрай Жозе. Смотрите: если пойдете вверх вдоль стены, где лежит много снега, то, когда подниметесь наверх, на самый верх, к соснам, увидите перемешанные снег и землю... И свежую могилу... Помолитесь перед ней.

Девушка. А за кого нам молиться? За Нинью?

Священник. За нее... и за нас... За всех.

Священник и Фрай Жозе уходят.

Три девушки

(говорят, сменяя друг друга)

- На рассвете, когда
- Разгорится утренняя звезда,
- Я скажу, о чем думают тени.
- Не скажу, что говорит эхо.
- Я скажу, что не знают живые.
- Не скажу, что известно мертвым.
- Я скажу тебе...
- Мы тебе скажем...
- Нет цветов на снегу.
- Только ледяные узоры.
- Когда рассветать начинает
- И сильнее мерцает Венера,
- Я скажу, чего ждет земля,
- Когда носит смерть в своем чреве.
- Не скажу, о чем снег мечтает,
- Укутав притихшую землю.
- Я скажу тебе...

— Мы тебе скажем...
— Цветы на снегу бывают
Лишь в нашем воображенье.
— Когда солнце взойдет
И спрячется утренняя звезда,
— Я скажу, о чем думают дети,
Слушая стариков молитвы.
— Не скажу, о чем думает дьявол,
Чувствуя, как рога выпирают.
— Я скажу тебе...
— Мы тебе скажем...
— Под снегом цветок рождается,
Что ветер сломать не может.
— Когда солнце в яркий полдень
Все добела раскаляет,
— Я скажу, что слышат глухие,
— Не скажу, что слепые видят.
— Я скажу, что мудрец не выдаст.
— Не скажу, что глупец болтает.
— Я скажу тебе...
— Мы тебе скажем...
— Спит под снеговым покрывалом
Цветок, неподвластный смерти.

Занавес

Конец второй картины

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Большой зал, в которых обычно проходят заседания муниципальных органов или суда. Трибунал, состоящий из фалангистов и Двух немецких офицеров. Полицейские, гражданские гвардейцы и т. п. Всего шесть или семь человек. Вердинегро, Тристан-маки под стражей, со связанными руками и заметными следами пыток. Какой-то секретарь все время печатает на машинке, отрываясь только для того, чтобы принести или отнести бумаги. В глубине сцены — большой балкон, который, видимо, выходит на площадь селения. Две (или больше) боковые двери. Старые стулья и столы. Все это грязное, носит явную печать насильственного разрушения. На стене — большой портрет Франко со скрещенными на груди руками; его видно отовсюду. Полдень. На столе, за которым заседает трибунал, стоят стаканы с вином и кофе с молоком. Клубы табачного дыма. Все тепло одеты, в головных уборах, кроме партизан. Громко разговаривают друг с другом, отчего в зале очень шумно. Наконец, Судья стучит рукой по столу.

Судья. Секретарь, запишите показания свидетеля.

Крестьянин (*крупный мужчина, неуклюжий, говорит точно пьяный*). Я еще раз вам повторяю, что я его видел позавчера—этого Вердерона или Вердинерона (*смех*), или как там его зовут,—он выходил под вечер, а может, когда уже стемнело, из дома сеньора Священника...

Судья. Это ты уже говорил. А этого (*указывает на Тристана*) ты знал? Он тоже был с Вердинегро?

Крестьянин. Нет, сеньор Судья, Вердинегро был один.

Судья. Ты уверен? Смотри, говори правду, а то знаешь...

Крестьянин. Клянусь Пресвятой Девой, сеньор Судья, не вру!

Судья. Ну ладно. Пока хватит. (*Тихо говорит стоящему с ним рядом.*) Пусть высыплют этому болвану как следует, может, скажет что-то новое... Для дачи показаний был вызван сеньор Священник. Он пришел?

Крестьянин уходит в сопровождении двух охранников.

Секретарь. Он, наверно, ждет на улице. (*Выходит.*)

Немецкий офицер. А этих больше не хотите допрашивать?

Судья. Они не скажут ни слова, хоть шкуру с них спусти.

Входит Священник.

(*Встает и говорит.*) Подайте стул сеньору Священнику. Простите, что я вас вызвал, падре, но дело очень важное...

Священник. Я всегда готов служить правде и справедливости.

Судья. Так что извините за допрос. Вы знаете этих людей?

Священник (*подходит к партизанам*). Их так избили, что никто не узнает, даже если был раньше знаком... Я знаю—или мне кажется, что знаю,—одного из них.

Судья. Кого именно?

Священник. Рамона Мартина, которого, по-моему, называют Вердинегро—Темно-зеленый. Я знаю его как прекрасного человека, очень трудолюбивого, каких мало...

Судья (*прерывает*). Извините, что я перебиваю вас, сеньор Священник! Я только спросил, знаете ли вы его.

Священник. А я хотел вам ответить, что знать-то я его знаю хорошо; но видеть его мне тяжело: не понимаю, за что его так...

Судья. Я вновь прошу, сеньор Священник, только отвечать на мои вопросы и ни о чем меня не спрашивать. Если, разумеется, вы не хотите занять мое место.

Священник. Избави бог!

Судья. Ну а чтобы бог избавил, начните с того, что постарайтесь сами избавиться.

Немецкий офицер (*Судье*). Скорее, не теряйте времени! Спросите Священника...

Судья. Вы говорили, сеньор Священник, что знаете вот этого, Рамона Мартина; да, его зовут именно так. А теперь скажите, не был ли он у вас в воскресенье, позавчера вечером?

Священник (*смотрит на Вердинегро*). Не знаю, что-то не помню... Позавчера вечером?

Судья. Да-да, вечером в воскресенье, позавчера... Вспомните хорошенько...

Вердинегро. Скажите ему правду, падре, правда никому не вредит...

Судья. Тебя не спрашивают!

Охранник бьет Вердинегро по лицу, у того появляется кровь.

Священник (*возмущенный, хочет вмешаться, но затем сдерживается*). Да, он был у меня.

Судья. Спасибо, сеньор Священник, я вижу, вы ничего не собираетесь скрывать и хотите помочь правосудию. А теперь скажите, о чем собирався с вами говорить или с какой целью приходил к вам этот... несчастный. Не для исповеди же, в конце концов!

Священник. Простите, сеньор Судья, но я должен вам заметить, что этот вопрос мне кажется неуместным. Этот человек приходил исповедоваться.

Всеобщее удивление и беспокойство. Вердинегро смотрит на Священника долгим взглядом.

Судья. Я не знал, что он такой набожный. А разве для исповеди, сеньор Священник, ходят не в церковь?

Священник. Туда ходят исповедоваться перед богом. Я же вам сказал, что он приходил исповедоваться ко мне.

Шум в зале.

Судья. Тише! Я, сеньор Священник, не силен в теологии. Не поясните ли вы мне, что это за исповедь?

Священник. Это исповедь одного человека перед другим.

Судья. А она тоже носит тайный характер?

Священник. Да, по обоюдному согласию двух человек...

Шум в зале усиливается.

Судья. Тише! Прошу соблюдать тишину! (*Стучит по столу.*) Значит, сеньор Священник, мы можем рассуждать так, что подобная исповедь имеет место не столько между честными людьми,

Шум в зале.

сколько между преступниками, заговорщиками, соучастниками какого-нибудь преступления; так как к вам это не относится, то не могли бы вы сказать мне, в чем вам исповедовался Вердинегро? Подумайте, не спешите с ответом, я не хочу вас торопить...

Священник. Мне нечего думать. Вердинегро пришел ко мне, чтобы просто рассказать, поведать правду, за которую он борется...

Судья. Ну и что же это за правда, которая нуждается в такого рода домашней исповеди,

Смех в зале.

сеньор Священник?

В этот момент фалангисты начинают о чем-то говорить между собой, в разговор вступают оба немецких офицера. Альгвасил подходит к Судье, что-то шепчет ему на ухо, затем выходит. Вскоре возвращается в сопровождении невысокого толстого Иезуита в очках, который направляется к столу и по знаку Судьи подходит к нему и что-то тихо говорит.

Судья. Если вы устали, сеньор Священник, мы прервем допрос на некоторое время... только на некоторое время, потому что правда, о которой приходил поведать вам Вердинегро, относится к таким правдам, за которые борются—и не только словами, но и с оружием в руках. А мы как раз и хотим узнать—очень хотим, сеньор Священник,—где это оружие спрятано. Выпейте воды, сеньор Священник...

Тот делает отрицательный жест.

Может, хотите вина, кофе?.. Ну хорошо. Я просто боялся вас утомить. Тогда будем продолжать... А пока немного отдохните.

Тем временем Иезуит подходит к Священнику, который смотрит на него с отвращением, смешанным с беспокойством.

Иезуит. С разрешения сеньора Судьи я хочу вас поприветствовать. Вы, возможно, меня не помните...

Священник (*после некоторой паузы, отчеканивая каждое слово*). Я прекрасно вас помню. (*Отворачивается от протянутой руки, показывая всем своим видом, что не желает говорить.*)

Иезуит. И все же я думаю, что вы не очень хорошо меня помните. У нас был с вами разговор... годиков этак четыре, пять, а может, шесть назад... В Сарагосе. Вы, со свойственной вам добротой, оправдывали...

Священник (*прерывая*). Повторяю, я прекрасно вас помню. А еще лучше — тот разговор, о котором вы упомянули. Убежден, что нам с вами не о чем говорить...

Иезуит. Жаль, сеньор Священник, очень жаль — ведь я хотел вам помочь!

Священник. Помочь в чем?

Иезуит. Выйти из этого очень трудного положения, в котором вы очутились из-за своей доброты, своей чрезмерной доброты...

Священник. Нет никакой чрезмерной доброты, падре, нет никакого трудного положения, а что касается помощи, то меньше всего я ожидал и хотел бы получить ее от вас.

Иезуит (*с иронией*). От кого же тогда?

Священник (*тем же тоном*). Только от бога.

Иезуит. Я служу ему. Мы оба ему служим...

Священник. Но по-разному. А служить — что ж, дьявол тоже ему служит.

Иезуит (*улыбаясь*). Для вящей славы. Божьей, естественно...

Священник. Естественно может быть — дьявольской... А сверхъестественно — божьей.

Иезуит. С момента нашей последней встречи вы стали более искушенным в теологии, сеньор Священник, и мыслите более тонко...

Священник. Наверно, так было угодно господу...

Иезуит знаком показывает Судье, что его попытка безрезультатна.

Судья. Прошу внимания! Продолжим.

Слышатся шум, крики, выстрелы... В зал врываются партизаны во главе с Ниньей, лица закрыты платками до самых глаз. Они развязывают арестованных, те берут оружие. Судья и немецкие офицеры падают, сраженные насмерть; такая же судьба постигает и охранников. Остальные убегают. Среди всеобщей суматохи отчетливо слышен следующий ниже диалог.

Нинья (*подхватывая последнее услышанное ею слово*).
Продолжим!..

Священник (*Иезуиту*). Воистину неисповедимы пути господни! Теперь я вам помогу. Уходите отсюда, уходите скорей, вон туда...

Иезуит убегает через дверь.

Голоса: «Портрет! Портрет!» На сброшенный на пол портрет Франко партизаны кидают фашистские книги и бумаги, топчут их ногами.

Нинья (*партизану, который подходит к Священнику и смотрит на него с подозрением*). Чего смотришь? За дело, живо! Нельзя терять ни минуты! Скорее!

Тристан и Вердинегро вешают на балконе тела Судьи и Двух немецких офицеров.

Священник (*который бесстрастно наблюдал за всем происходящим, с горечью*). Это ваше знамя?

Вердинегро. Пока да!

Нинья. Идите с нами! А то они вас убьют.

Священник (*решительно*). Я остаюсь.

Тристан и Вердинегро. Идемте!

Священник. Мой долг — быть здесь. А вы идите и выполняйте свой...

Тристан. Но вас убьют!

Священник. И это вы советуете мне избежать смерти?

Нинья. Он прав. Пошли!

Тристан и Вердинегро. Пошли!

Нинья и Тристан медлят, не зная, как лучше проститься со Священником. Тот раскрывает партизанам свои объятия, они обнимаются. Нинья и Тристан целуют ему руки. Все уходит.

Издали доносится песенка в ритме хоты, которую поют уходящие партизаны. Ее слова произносит Священник:

Народ войну свою ведет

Наперекор всем бедам.

Испания тогда уснет,

Когда придет победа.

Занавес

Конец третьей картины и первого действия

Действие второе

НЕВИДАННАЯ ЗВЕЗДА

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Укрытие вроде пастушеской хижины высоко в горах, занесенных снегом. Догорает вечер, на западе небо окрашено в синие и серые тона. У входа горит костер, партизаны Педрисо и Пастух стараются сделать пламя побольше. Они вооружены. Внутри—партизаны Астуриец, Кармона, Монтиньо и Чамуско. Они тепло одеты, без оружия; лежа на земле, играют в карты. В углу, как и в первом действии, на корточках сидят Три старухи: две разматывают моток шерсти, третья ткет. Все молчаливо занимаются своим делом, затем один из игроков бросает свою карту, напевая.

Монтиньо

Если любишь, то поймешь:
Я похож на абрикос

(бросает карту):

Если с ветки он сорвался,
Значит, воробью достался!

(Бросает еще одну карту.)

Кармона

Арагонец молодой
Угостил меня водой.
Абрикосом закусила—
И косточку проглотила.

(Колеблется, какой картой пойти, затем меняет карту и бросает ее.)

Чамуско *(держит в руке карту, обдумывая, как лучше пойти)*

Хотите знать, почему
Рога так идут сатане?

(Собирается уже пойти картой, которую держит в руке, но останавливается, наконец ходит ею. Остальные с нетерпением следят за его действиями.)

Астуриец *(которому не понравился ход)*

Да все потому, что в аду
Он женат на твоей жене!

(Все смеются.)

Кармона (*которому тоже не понравился ход*). Черт бы тебя побрал! Ты что, другой картой пойти не мог?

Чамуско. А ты чего хотел? Чтобы я тебе какого-нибудь каудильо подбросил?

Монтиньо. Вот вам каудильон! (*Бросает карту.*)

Кармона. Подумаешь, валет! Против этого хенера-лисимо у нас козырь есть: дама. Нинья-партизанка!

В этот момент слышится песенка наподобие частушки. Кто-то совсем близко поет:

Нинья, Нинья, твои груди
Будто снежные вершины.
Разреши мне их потрогать,
Пусть рука заледенеет!

Услышав песенку, все, точно по сигналу, встают. Педрисо кричит: «Кончай игру!» Затем на сцене появляются Вердинегро, Нинья и Тристан-маки с оружием, засыпанные снегом. Подходят к костру, чтобы согреться.

Монтиньо. Идет снег?

Тристан. Перестал!

Кармона (*подает ему мех с вином*). Выпей-ка!

Все трое вновь пришедших поют.

Пастух (*сидя у входа*). Что нового?

Вердинегро. Ничего. Только надо отсюда сматываться.

Все с нетерпением ждут, что скажет дальше Вердинегро.

Педрисо. Так. Давай выкладывай.

Вердинегро. Все, кроме одного из нас (*показывает на Нинью и Тристана*), должны снова быть на границе сегодня на рассвете.

Педрисо. Будет дело?

Вердинегро. Да, будет.

Нинья. Я остаюсь.

Чамуско. Ты — одна?

Кармона. Может, ты хочешь с ней остаться?

Вердинегро. Пусть карты решают! Кто из нас троих...

Нинья. Должна остаться я. Ты не можешь, потому что ты наш командир; Тристан тоже не может, потому что только он знает людей с той стороны.

Тристан (*с колодой карт в руках, вопросительно смотрит на Вердинегро; наконец тот дает знак начинать*). Раз, два, три, валет, дама...

Кармона. Повезло тебе, Нинья! Твоя карта! Наверно, бог помог!

Астуриец. Или дьявол!

Монтиньо. Ну, в аду-то мы будем!

Вердинегро. Тогда пошли скорее, пока светло, чтобы к ночи спуститься... Живо!

Все берут оружие, готовятся в путь. Наступает момент расставания — партизаны смущены, не знают, как проститься с Ниньей. Наконец все уходят.

Монтиньо. Удачи тебе, Нинья!

Нинья. Вам тоже!

Кармона. До завтра, Нинья, и пусть взойдет солнце!

Нинья. Желаю тебе его увидеть!

Чамуско. Чтобы мы все его увидели! Я хотел бы остаться, Нинья, чтобы ты не была здесь одна...

Нинья. Удачи тебе, Чамуско!

Партизаны уходят. Остаются Вердинегро, Тристан и Нинья.

Вердинегро. Дело этой ночью предстоит нешуточное, тебе придется трудно. Беглецы переходят границу, фалангисты им помогают. Когда пойдешь через лес, будь осторожна. Много снегу, ночью будет плохо видно. Вряд ли кого-нибудь встретишь, но на всякий случай будь начеку.

Нинья. За меня не бойтесь. Я знаю, что надо делать.

Тристан. Это нам известно. Но, бывает, ты действуешь слишком рискованно.

Нинья. У меня своя звезда. *(Улыбается и пожимает им руки.)*

Вердинегро и Тристан молча уходят, помахав на прощанье Нинье рукой.

Нинья остается одна. Пауза. Затем издали слышится песенка:

Обманутая ожиданьем
Удара коварной смерти
Жизнь должна быть сильней, поверьте,
Чем ее разочарованье.

Старухи, оставив свою работу, встают и подходят к Нинье, которая стоит у костра и смотрит на закат.

Три старухи

Торжествует жизнь, поверь ты,

Над предчувствием угрюмым.

Твои собственные думы —

Островок в потоке смерти.

Нинья

Наслаждаясь иль скорбя,
Не постигнешь жизни цену,
Ибо новые на смену
Боль и радость ждут тебя.
Все прошедшее любя,
Надлежит тоску умерить.
Не желай так страстно смерти:
Коль уходят навсегда
Радость или же беда,
Торжествует жизнь, поверь ты.

Разве не права та страсть,
Что стремится без оглядки
Быть мечтою перестать
Или горькой, или сладкой?
И не бойся ощущать,
Что она, увы, не вечна.
Не живут ведь бесконечно
Ни добро, ни зло, подумай!
Торжествует правды власть
Над предчувствием угрозным.

Тем, кого ты сам жалеешь,
Даришь ты свои идеи,
Обезумев от тоски.
Но, в безумцев тех людей лишь
Этим самым обратив,
Понимаешь, что один
Ты меж безумных.
А они, добра желая,
Вновь тебе же возвращают
Твои собственные думы.

Жить едва успев начать,
Твой обман, твою насмешку,
Жизнь, успела я узнать.
Губ моих избег поспешно
Твой изменчивый поток.
Мне достался лишь глоток.
Жажды я не утолила.
Ловкий трюк судьбы, поверьте!
То не жизнью вовсе было—
Островком в потоке смерти!

Старуха

Жизнь всегда сильнее, поверь ты,
Всяких разочарований.
Нинья, горе не обманет
Пусть тебя — ты выше смерти!

Нинья

Да, да, о смерти я мечтаю
И друга лучше не желаю.
Мое туманное мечтанье —
Должно быть, смерти ожиданье.
Звезда, не виданная мною!
Тобой живу, одной тобою!
Твой свет в моих глазах сияет.
Откуда он? Что освещает?

Слышатся молодые звонкие голоса, и на сцену выбегают Три девушки, все в снегу. Они громко, почти крича, произносят свои реплики.

Три девушки

— Вот она!

— Она!

— Нинья!

Кто видел то же, что и я?

Нинья

В жизнь гляжу я. Смерть я вижу.
Пробудившись, что увижу?

Девушка

Кто ко всему, что видит, слеп...

Нинья

...зывается Гнев.

Девушка

А пониманья выше мера...

Нинья

... у Веры.

Девушка

Той, в грезах о недостижимом...

Нинья

Надежда имя.

Девушка

В себя глядит, скрывая боль...

Нинья

Любовь.

Девушка

Кто о забытом помнит, знаешь?

Нинья

То Жизнь людская.

Девушка

Кто, не любя, тебя желает?

Нинья

То Смерть, я знаю!

То могила!

Три девушки

Восторжествует жизни сила!

Нинья

Жизнь, о тебе мои мечтанья,

Но вижу смерть в себе самой.

Три девушки

— Мечтой становится желанье.

— Твоей душою.

— И тобой.

Нинья

Звезду мою с собой ношу я,

И друга лучше не ищу я.

Смерть, близко виданная мною,

Неужто я живу тобою?

Тень смерти гасит глаз сиянье,

Длит без конца мое страданье.

Во мне мечта зажглась, как сон;
Откуда и зачем мне он?

Три старухи постепенно отходят в глубину сцены. В то время как
затухает огонь в очаге и сгущается сумрак, три девушки декламируют
стихи.

Три девушки

— Об Испании мечтай, партизанка;
— Эти грезы ветер вздымает;
— Их облачными жерновами
В слезы перетирают;
— Они исчезают, как тени;
— Как угли, горят, разгораясь;
— Снежинками к белоснежным
Ногам твоим припадают;
— Крепко тебя сковали
Цепи этих мечтаний;
— Вода эти грезы уносит!
— Воздух их отбирает!
— Снег для души твоей, Нинья,
Саван из грез сшивает!
— Об Испании мечтай, партизанка.
— Мечтай и пой свою песню.

Нинья

Горе моей Испании!

Три девушки

— Так, как плывут по рекам
Песни вершин скалистых,
Так гимн мечты отдается
В душе человека чистой.
— Душа не солжет и словом.
— А жизнь тебя не обманет.
— Всей душой и всей жизнью
Тот, кто любит, мечтает.
— Об Испании мечтай, партизанка,
О тебе пусть мечтает Испания.
Ее надежды вдыхай ты
Мечты открытою раной.
— Грезы — снегá на далеких
И мрачных горных вершинах.
Слова, растаяв, вольются

В поток, что шумит в теснинах.
То, юная партизанка,
Голоса, что слышишь в мечтаньях.
— Мечта тебя сна лишает.
— Мечта твою душу ранит.
— Об Испании мечтай, партизанка.
— Мечтай и пой об Испании!

Нинья

Горе моей Испании!

Три девушки

— Пока не окрасит тучу
Солнце румяным цветом,
Скользит она тенью бессонной
Под звездного неба светом.
— Глаза твои цвета неба,
Юная партизанка,
Горят, когда ярким румянцем
Лицо твое вспыхнет жарко.
— Близится ночь твоей боли,
Час звездный твоих терзаний.
— Юная партизанка,
Алой зари партизанка!
— Ни белых снегов, ни пены
Твоей чистоте нет равных.
— Грезы, что вовсе не грезы,
Сковали тебя коварно.
— Грез и снов твоих цепи
Пленили юную душу.
Оковы огня и крови
На ножках твоих воздушных.
— Воительница, партизанка!
— Слава тебе, отважной!
— Одна ты, смерть тебя ищет.
— Одна тишина на страже.

Медленно опускается занавес

Конец четвертой картины

КАРТИНА ПЯТАЯ

Ночь. Таверна «Эль Астуриано» в предместье города Хака. В глубине сцены, возле двери, большое окно, выходящее в открытое поле. Сцена должна быть разделена таким образом, что часть ее представляет собой безлюдную улицу на окраине города.

На сцене Кобриса, старуха, пьет вместе с тремя женщинами неопределенного возраста; можно предположить, что они моложе, чем выглядят,—такие они оборванные, неопрятные, несчастные. Это: Пилар Косая, Карменсита Спекулянтка и Маруха. По другую сторону, возле стойки,—пьяные Мико, Топете и Сантиэстебан, из богатых крестьян. Владелец таверны, Дон Пепин, тучный и еще крепкий мужчина, с редкими седоватыми волосами. Ему помогает управляться Берланга, пустая бабенка, которую замечают, лишь когда она кричит тонким, каким-то визгливым голосом. Ясная ночь, сверкает снег. А в таверне—накурено, холодно, плохо пахнет. Все действующие лица кутаются во что попало. В углу Паренек старается подобрать какую-то мелодию на аккордеоне. Из большого радиоприемника несутся резкие, отрывистые звуки.

Топете. А я тебе говорю, что Священник—их связник, его давно нужно было повесить...

Сантиэстебан. Ну, ты и демигод... то есть демидог...

Мико (*поправляет*). Демагог, дурья башка... Произнести как следует не можешь...

Сантиэстебан. Так я ж почти не пил! Дай-ка чего-нибудь хлебнуть... Вот мы—он и я—говорили тут, что ты вообще против священников, как все вы в вашей фаланге... А бабы стали такие страшные...

Топете. Конечно, это к присутствующим здесь дамам не относится... (*Делает непристойный жест и указывает на девушек, сидящих за столом с Кобрисой.*)

Мико. Дам надо уважать... (*Предлагает стакан вина одной из девушек; та ударяет его, вырывает стакан и обливает его вином. Мико хочет побить ее, но остальные девушки не дают ему это сделать.*)

Маруха. Эй ты, хам! Вести себя не умеешь, пьяница!

Мико. Замолчи, а то убью! Подумаешь, какие! Предложил выпить этой... этой... Ну ладно, этой или другой, какая разница... Разве это оскорбление, черт побери? Это же гелантность...

Кобриса. Вы все перепились! Вам пора давно идти спать...

Карменсита. И не платите ничего!

Топете. Мы еще о-го-го! Хоть куда! А эти... эти увядшие маргаритки... только поглядите на них... (*Посылает им воздушные поцелуи.*)

Карменсита. А ты пьяница, нахал, итальянец!
Сантиэстебан. Что-о? Итальянец—это оскорбление?

Пилар. Нет, что ты, совсем наоборот! Вот сказала! Мико *(с налитой рюмкой)*. Я пью... *(пьет)* за отсутствующего!

Топете *(пьет)*. А мы чтобы всегда пили!

Маруха. До бесчувствия!

Кобриса. Ты смотри, язык-то не распускай, а то тебе его укоротят либо того хуже... Ты меня понимаешь! Эти люди очень плохие!

Пилар. Во как!.. И эти, и те...

Маруха. Какие—те?

Карменсита. Слушай, замолчи... Напились вы тут, что ли, женщины... Скажи лучше, кто это пришел с Колао?

Во время разговора в таверну вошли двое мужчин: один старик; из местных, по прозвищу Колао, другой—молодой человек, хорошо одетый. Идут и садятся в стороне за стол.

Берланга *(подходит, чтобы обслужить их)*. Что для вас?

Колао. Мне—что всегда, а сеньору...

Неизвестный. А мне пива...

Пьяные с недоверием смотрят на Неизвестного и переговариваются между собой.

Колао. Много народу погибло?

Неизвестный. Точно не знаем. Наверно, много. И раненых тоже.

Колао. Они пустили под откос поезд в тот самый час, когда взорвали динамитом склад.

Неизвестный. Я думаю, этим они не ограничатся. Но мы идем за ними по пятам. И непременно схватим. Особенно Нинью...

Колао. Это же зверь! Самая страшная из них! Раз-два—и ищи-свищи, а ее и след простыл! Я уж думаю, не призрак ли она...

Неизвестный. Мы этого призрака повесим на крепчайшей веревке, чтобы больше не исчез.

Колао. Чтоб уж навсегда исчез! *(Крестится.)*

Неизвестный. Зачем вы это делаете?

Колао. Так просто... Кто его знает! Боюсь я ее, этой Ниньи...

Неизвестный. Только этого не хватало! Вы ее, наверно, ведьмой считаете...

Колао. Больше... Это сам дьявол!

Берланга подает.

Неизвестный. Не можете ли прекратить эту музыку? Берланга (*кричит визгливым голосом парню*). Эй ты, парень, перестань играть!

Мико. А то на тебе сыграют!

Неизвестный. Я имел в виду не этого паренька, а старую рухлядь (*о приемнике*)...

Топете (*стараясь завязать разговор с Неизвестным*). К нам приходят известия...

Неизвестный (*пьет*). Пусть лучше не приходят.

Колао тихо объясняет что-то пьяным. У них сразу становится испуганный вид, говорят с Неизвестным заискивающим тоном.

Мико (*быстро идет к приемнику, сталкивается с двумя другими пьяными, которые тоже спешат услужить Неизвестному*). Как скажете! Эту рухлядь и впрямь лучше не слушать!.. (*Выключает приемник*).

Маруха (*тихо другим женщинам*). Я знала этого человека...

Карменсита (*с горечью*). Наверно, в твои хорошие времена...

Пилар. Пойди и поговори с ним. И мы все узнаем.

Маруха. Подождите. Оставьте меня! Я должна его вспомнить. Как его звали...

Входят на сцену со стороны поля и идут к двери таверны партизаны Вердинегро и Чамуско. На них крестьянская одежда, поверх — накидки, какие носят в горах.

Вердинегро. Так что сделала Нинья?

Чамуско. Просто невероятно, как быстро она все делает! Стоит с тобой рядом, глядь — а ее уже нет... Только видишь вспышку... много дыма... И понимаешь, что там была она...

Вердинегро. Войдем!

Чамуско. А этот Дон Пепин — надежный человек?

Вердинегро. Он из тех астурийцев, с тридцать четвертого года¹. Мы тогда шли под землей, в темноте, ощупью жизнь искали...

¹ Имеется в виду революционное восстание испанских трудящихся в октябре 1934 года, особенно жестоко подавленное в Астурии.

Чамуско. Вы тогда из самого ада на четвереньках
выползли...

Вердинегро. Ну так как? Ты готов?

Чамуско. Как штык!

Вердинегро. Тогда пошли!

Входят и садятся за стол. К ним хочет подойти Берланга, но ее опережает Дон Пепин.

Дон Пепин. Что принести?

Вердинегро. Они пришли?

Дон Пепин. Нет.

Вердинегро. А эти—кто?

Дон Пепин. Одного ты знаешь: это Колао или
Выжатый—его так зовут, потому что он прошел—или
его заставили—через все и от него одни выжимки
остались; про другого я ничего не знаю, но могу
предполагать.

Вердинегро. Священник придет?

Дон Пепин. Думаю, нет. За ним следят; он, считай,
как заключенный. Но кого-нибудь пришлет.

Паренек играет на аккордеоне мелодию астурийской песни.

Маруха. Вот это я люблю. *(Поет.)*

Как роза ты
Александрийская: белеешь,
Но с наступленьем темноты
Всегда краснеешь.

Лишь о тебе мечтаю
Всю ночь напролет, без сна,
И от любви сгораю
К тебе, моя весна...

Пилар. Ха! Да ты и петь-то не умеешь, каркаешь как
ворона! Уж лучше я спою вам хоту! *(Напевает.)*

Вердинегро и Чамуско с беспокойством смотрят на Маруху.

Неизвестный *(явно недовольный, спрашивает у Колао).*
Кто она? Сюда много астурийцев ходит?

Колао. Она-то что. А вот эти двое мне не нравятся.

Топете *(Пареньку).* Слушай, парень, с каких это пор
у тебя стало получаться на аккордеоне?

Паренек. С тех пор как меня научили.

Мико. И кто же это тебя научил?

Паренек. Кто, кто... Тот, кто сам умел!

Сантिएстебан. Парень, давай еще!

Мико. Еще? А вот я сейчас ему покажу, этому сопляку!.. *(Бросает взгляд на Неизвестного и замолкает; чтобы скрыть свое смущение, пьет.)*

Неизвестный. Здесь всегда много пьяных?

Колао. Есть кое-кто... но все надежные. *(Смотрит на партизан.)* А этих я не знаю. Никогда их не видел.

Так как Паренек продолжает играть, Мико запекает гнусавым голосом, фальшиво.

Мико

Высокие деревья
Ветерок колышет...

Маруха *(прерывает его)*. А тебя какой ветерок сюда принес, ворон клювоносый?

Мико хочет побить ее, другие не дают.

Неизвестный встает. Тотчас же наступает тишина.

Неизвестный. Сколько с меня? *(Колао.)* Я не хочу скандала. Пошли.

Берланга подходит, чтобы получить деньги; в это время Маруха встает и обращается к Неизвестному.

Маруха. Очень приятно, ваша светлость!

Всеобщее замешательство. Воспользовавшись им, Паренек подходит к партизанам и дает им какую-то бумажку.

Паренек. Эту записку мне передал наш Священник. Здесь известия для Ниньи...

Вердинегро берет и быстро прячет записку.

Неизвестный *(хочет отстранить рукой Маруху)*. Я вас не знаю. Извините. *(Хочет уйти.)*

Маруха. А, значит, не узнаешь? Ну что ж! Меня это не шокирует. Все так меняется! Ты тоже очень изменился...

Неизвестный. Еще раз говорю, что я вас не знаю. И я тороплюсь, простите... *(Старается еще более решительно отстранить Маруху.)*

Маруха. Ладно, хорошо... Я не собираюсь тебя задерживать. Но я думала, ты меня вспомнишь. Особенно после той неприятной ночи, которую мы провели вместе

в Саламанке... Шесть лет пролетело... и ты... А я вот она!
Неизвестный (*останавливается, удивленный*). Маруха! Ты? А как же ты здесь...

Маруха. Ты хочешь сказать—и в таком виде... Говори, не стесняйся, я не обижусь... от ярко-небесного цвета до выцветшего красного, как видишь, всего один шаг... Но если бы ты знал, что это такое... Как будто во сне падаешь в глубокий колодец! Жаль, что ты спешишь... А то бы я тебе рассказала... Куда же ты собрался? (*Используя растерянность Неизвестного, берет его под руку и ведет к своему столу.*) Всего на пару минут. Это две мои подружки... И Кобриса—она ни голубая, ни красная, но прекрасный человек... Не знаю, может, до тебя и не дотянула... (*Смеется.*)

Неизвестный (*оправившись от растерянности*). Извини, Маруха. Я не могу тебя выслушать, у меня сейчас нет времени... Мы еще встретимся...

Пилар. Ха! После дождичка в четверг...

Неизвестный. Сейчас это невозможно... Если тебе что-нибудь нужно, если я могу тебе в чем-то помочь, приходи ко мне завтра в отель...

Маруха. Может, я тебя не застану!

Неизвестный и Колао идут к двери в глубине сцены, через которую они вошли; неожиданно дорогу им преграждает Вердинегро, в то время как Чамуско угрожает пистолетом трем пьяным, притворяясь, что держит под прицелом и хозяина таверны. Женщины отходят в сторону.

Вердинегро. Нет, друг, сюда нельзя, попрошу в другую дверь—нам надо поговорить...

Видны вспышки, почти сразу же слышатся три-четыре выстрела. Неизвестный и Колао падают на пол, через несколько секунд раздается мощный взрыв—все дрожит, ослепительный свет заливает таверну, освещает небо за окном, отражается на снегу...

Женщины испуганно вскрикивают и прячутся, пьяные, спотыкаясь и падая, стараются выбежать из таверны. Чамуско подходит к Вердинегро.

Чамуско. Пошли отсюда! Скорей!

Оба партизана выходят через боковую дверь по направлению к полю, откуда они пришли. Вердинегро падает на заснеженную землю.

Чамуско. Ты ранен?

Вердинегро. Смертельно... Возьми это. (*Протягивает ему записку, которую передал Паренек.*)

Чамуско (*стараясь поднять его и взвалить на плечи*). Я понесу тебя!

Вердинегро *(жадно вдыхает воздух)*. Бесполезно. Тебя схватят.

Чамуско *(с запиской в руке)*. Где у тебя была записка?

Вердинегро. Здесь, на груди... с этой стороны... *(Показывает на сердце.)* Отдай ее Нинье...

Чамуско. Она вся в крови...

Вердинегро. Быстрее... Чамуско... беги... Оставь меня... Это твой долг, давай беги... Скорей, скорей... *(Голос у него слабеет, говорить становится все труднее.)*

Чамуско *(понимая, что его товарищ умирает, не решается расстаться с ним)*. Я могу тебя понести...

Вердинегро *(говорит больше жестами, чем голосом)*. Нет... нет... нет... Ты видишь ее, Чамуско? Это Нинья! Она взорвала пороховой склад! Нинья! Вспышка... много дыма... там... Ты видишь ее? На небе!..

Чамуско становится на колени, берет у покойного оружие, забирает все вещи из карманов; затем, сдерживая рыдания, покрывает его накидкой и убегает. Сцена по-прежнему залита странным белым и красным светом со зловещим блеском. Из глубины сцены доносятся звуки аккордеона — это, как и раньше, играет Паренек, Маруха раздирающим душу голосом пост.

Маруха

Как роза ты
Александрийская: белеешь,
Но с наступленьем темноты
Всегда краснеешь...

Перемена декораций.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Декорации меняются, но красный свет предыдущей картины сохраняется, теперь он освещает заснеженный сосновый лес. В чаще леса, на маленькой полянке, — шалаш, перед ним — остатки костра; во время действия костер постепенно разгорается и в финале картины горит ярким красным светом. Этот свет смешивается с тем, который пронизывает лес.

На сцене появляется Нинья, за ней идет конь (в дальнейшем он так и остается рядом с Ниньей). Полночь, в небе ярко горят звезды. Все в этой картине — движения, голоса — приобретает черты нереального, похоже на сон. Одновременно с Ниньей, но с другой стороны появляются Три старухи, одетые как ведьмы. В центре сцены они встречаются.

Три старухи
Куда же уходит Нинья?

Нинья
Откуда пришли старухи?

Три старухи
Они грезили об Испании.

Нинья
Я сама об Испании мечтаю.

Три старухи
— Испания, о которой мечтаешь,—
Это сон, что тебе приснился.
— А мы тебе с колыбели
Твердим, что все это сказка.
— Сказка, что конца не имеет.
— Песня, что имеет лишь начало.
— Начинает и не кончает
Твердить тебе одно и то же.
— Это рассказ девчонки.
— Это сплетни старухи.
— Время меж пальцев уходит,
Словно песок струится.
— Ты говоришь об этом, когда поёшь:
Сегодня уж есть, если вчера уж было,
А завтра непременно будет.
— Ты поёшь об этом, когда говоришь.
— Нинья, отчего глаза твои
Будто грустные фиалки?
— Что за пепел появился
В твоих черных волосах?
Что за сон крови и снега
Твою душу будоражит?
— Олень Евстафия Святого
Нес на себе Христа¹.
— У лани, что ведет тебя,
Во лбу горит звезда.

¹ Имеется в виду предание о Святом Евстафии — римском солдате, впоследствии полководце, который однажды на охоте якобы увидел оленя, несущего на рогах распятого Христа.

— Что за тень тебе душу сжигает?
— Что за свет леденит твое тело?

Нинья

В душе у меня — нож острый,
Он сердце мое пронзает.

Старуха

Ты мечту об Испании
Несешь в душе, Нинья,
Когда тебе видится нож,
Что сердце твое пронзает.

Нинья

Боли сильней быть не может!

Старуха

Ни радости неоспоримей!

Нинья

Ни печали нет и ни смерти,
Чтоб сильнее была этой боли.
В глазах у меня серый пепел.
И в слезах кровавых топлю я
Светлую мечту об Испании.
Как хотела бы я,
Чтобы она стала явью!

Три старухи

— Мечтай, Нинья, мечтай и пой!
— Мечтай, юная партизанка!
— Жизнь, о какой ты мечтаешь,—
Это жизнь, что тебе приснилась
На самом пороге смерти!
Испания в ней отразилась,
Как в зеркале ясном,
Что в сердце твоём сокрыто.
— Если плачешь ты кровью, Нинья,
То останешься с кровью и плачем;
Так с рекой остается ложе,
Что воды ее направляет:
Чем сильнее бегут те воды,
Тем сильнее оно их усмиряет.

— Ты смотришь на ноги свои, но
Это не ноги, а следы твои, Нинья.
— Спи, Нинья, и пусть приснится,
Что лежишь ты на траве мягкой,
Что нежная зелень тебя ласкает,
Тишиной пахнет сладкий воздух.
— Пусть приснится тебе, что спишь ты!
— Что ты спишь, просыпаться не хочешь!

Как только Старухи произносят последние строки, Нинья бросается на землю и сразу засыпает. В этот момент на сцену выходят Три девушки. Они кажутся какими-то фантастическими существами в своих заснеженных одеждах—словно волшебницы из сказок. Тем временем Старухи собираются вокруг спящей Ниньи, в руках у них прялка, веретено и ножницы; они работают, олицетворяя известный образ Парк, богинь человеческой судьбы. Постепенно туманная дымка окутывает спящую Нинью, и она исчезает; затем снова появляется в той же неясной дымке в глубине сцены и медленно пересекает ее, ведя коня в поводу. Все это происходит в то время, как Три девушки декламируют стихи.

Три девушки

— И снится Нинье в лесочке,
Что снег перестал быть белым—
Он своей белизны устыдился
И пунцовым стал от смущенья.
— Что луна стала вдруг пурпурной
И глядит на мир красным глазом.
— Что красные звезды смотрят
На горизонт багровый.
— Что все ярким огнем пылает,
И течет кровавая лава
По темным лесистым склонам:
— Зажигая по пути тени,
— Оставляя за собой пепел,
— Возрождая в ярких вспышках,
— Рассыпая пригоршни кораллов,
— Что рубиновым светом сверкают
В грохоте подземных кузниц.
— И снится сон нашей Нинье:
Что белая лань стала красной,
Что бежит она вместе с речкой
И краснеют текущие воды.
— А лань стала яркой звездой,
Пятиконечную, красной.

— И кажется Нинье, что слышит
Она слабый и тонкий голос,
Что в воздухе этом холодном
Звенит как ручей и песня.
— Сосны руки свои изгибают,
Стараясь убрать помеху,
Чтоб мог проходить тот голос
Через снежинки слов.
— И говорит ей тот голос:
«Волшебная партизанка,
Я — снег и жгу твои руки,
И сердце воспаляю
Снегом, что его обескровит.
— Нинья, моя партизанка,
Слушай во сне мой голос.
— Когда эта ночь промчится,
Краски зари багряной
Погасят звезды сиянье
Красной, пятиконечной.
— Если мигнут твои очи,
Ты почувствуешь своим взглядом,
Как мерцает звезда ночная,
Как стучит твое юное сердце.
— Нинья, девочка-партизанка,
Ничего не страшись, иди смело;
Ступай прямо за красной ланью,
Что возле воды пламенеет,
Что окрашивает цветом алым
Все, что догнать сумеет.
— Иди, Нинья, за ее следом,
Следом в небе летящей птицы,
Рыбы, в чистой воде скользящей,
Звуком шагов твоих воздушных» —
Так сказал голос; и Нинья,
Не боясь, вперед двинулась смело.
— Одна, совсем одна среди сосен,
Окруженная глубоким снегом.
— Одна со своею одной мечтою.
— Одна со своею одной Испанией.

Медленно опускается занавес

Конец шестой картины и второго действия

Действие третье

ВЕСНА ПОД СНЕГОМ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Уголок при въезде в селение. Источник. Три девушки в крестьянских одеждах, с кувшинами, сидят у каменного ограждения источника. Рядом на земле расположились Дети—они внимательно слушают Священника, сидящего в центре. Раннее утро.

Священник (*читает книгу*). «Увидев народ, Иисус взошел на гору, и, когда сел., приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное...»

Мальчик. Можно спросить, сеньор Священник?

Священник (*ласково*). Конечно, сынок. Спрашивай.

Мальчик. А кто это—нищие духом?

Девочка (*прерывая его*). Дураки! Правда ведь, сеньор Священник?

Священник. Нет, дочка, нет. Нищие духом—это те, кто хотя и имеют что-то, много или мало, но живут так, как будто у них нет ничего, словно бедные.

Мальчик. Значит, сеньор Андрес—нищий духом? Папа говорит, что он жадный, потому что у него денег много, а живет он как будто ничего не имеет.

Священник. Ну, это совсем другое дело, сын мой. Ему нужно было бы отдать все, чтобы стать нищим духом.

Мальчик. Тогда нищий духом и настоящий нищий—одно и то же?

Священник. Почти, почти одно и то же, если и у одного и у другого есть любовь к ближнему...

Девочка. А кто это—ближний?

Мальчик. А что такое Царство небесное?

Священник. Друзья мои, давайте не торопиться. Если вы будете спрашивать все сразу и обо всем, я не смогу ответить ни на один вопрос. Дайте мне сначала закончить чтение...

Дети замолкают.

«И, отверзши уста свои, стал их учить, говоря: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Мальчик (*нетерпеливо прерывает*). Сеньор Священник, а кто такие—кроткие?

Священник. Кроткие—это хорошие, скромные лю-

ди, которые терпеливо переносят несправедливые преследования...

Мальчик. И это они наследуют землю? Значит, будут отбирать землю у тех, у кого ее много, потому что они кроткие?

Девочка. Какой ты глупый! У кого много земли — те другие! Они не хорошие! Они плохие!

Священник. Плохие — это те, кто несправедливо имеет много земли... Потому что они не обрабатывают своими руками, не любят ее, не делают ее плодородной...

Мальчик. Это те, кто отнял ее у хороших людей, да?

Священник. Да, да. Но дайте же мне дочитать до конца, а потом будете спрашивать... «Блаженны плачущие, ибо они утешатся...»

Девочка. Можно спросить, сеньор Священник?

Священник *(ласково)*. Спрашивай, спрашивай...

Девочка *(колеблется)*. А плакать — хорошо или плохо?

Мальчик. Разве сама не знаешь, что хорошо?

Девочка. А если хорошо, почему же тогда бог говорит, что тот, кто плачет, утешится?

Священник *(вздыхает)*. Ах, дети, в какое трудное положение вы меня ставите! Того, кто плачет, утешает Господь своими слезами...

Мальчик. А я плачу, только когда меня бьют или когда у меня что-нибудь болит...

Другой мальчик. Потому что ты трус!

Мальчик. Сам трус! *(Хочет ударить его.)*

Священник. Тише, тише! Слушайте дальше... «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо насытятся...»

Мальчик *(не может сдержаться, прерывает)*. А когда насытятся, что они сделают? Потому что папа говорит, что он сыт по горло... что мы все сыты по горло... этой жизнью, которую...

Священник *(делая вид, будто не слышит)*. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят...»

Девочка *(прерывая)*. А как можно узреть Бога?

Священник. Сердцем. Так же как видишь тех, кого любишь, хотя они и далеко. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божьими. Блаженны изгнанные за правду...»

В этот момент его прерывают другие дети, которые с криками вбегают на сцену.

Подросток. Сеньор Священник, скорей... пойдете, вы сами увидите, скорей, скорей!..

Священник (*испуганно*). Что случилось?

Подросток. Нинью схватили!

Второй подросток. У въезда в деревню!

Третий подросток. Ее убьют, ее убьют!

Священник. Тише, дети, тише!.. Расскажите, как вы узнали... Как это произошло...

Подросток. Все знают! Ее отвели в казарму гражданских гвардейцев...

Входят два гражданских гвардейца, все замолкают и смотрят на них со страхом.

Гражданский гвардеец. Сеньор Священник, нам приказано вас привести...

Священник (*сразу обретший свое обычное спокойствие*). Прямо сейчас?

Гражданский гвардеец. Да, прямо сейчас.

Священник. Тогда пошли. (*Детям, которые что-то говорят друг другу.*) И вы тоже идите, идите домой. А завтра утром, как сегодня, приходите ко мне сюда...

Девочка. А вы придете?

Священник. Да, дети мои, приду, непременно приду... Ну, а теперь ступайте, не шумите, идите спокойно... (*Гладит детей по головке и уходит в сопровождении гражданских гвардейцев.*)

Перемена декораций.

У источника появляются Три девушки в окружении Детей и начинают декламировать стихи.

Три девушки

— Выходит из леса Нинья,
Не зная, поет иль мечтает;
На небе заря алеет,
Чистый звенит колокольчик.
— Как далеко от людей!
— Как от домов далёко!
— Но как близки они сердцу,
Оно всегда о них помнить будет!
— Этот дым, что приметен взору
В предрассветном тумане зыбком,
Неизвестно, огня какого
Есть послание надежды.

— Глядит по дороге Нинья
В озерца голубое око.
Его солнечный луч растопил
(Дротик златого светила).
Оно стало зеркальцем ярким —
Так приятно в него посмотреться!
— Бела она, словно лилия,
И розовая, будто заря!
— В ее волосах янтарных
Солнце погреться любит.
— Пахнет смолой и жасмином.
— А на вкус — как роса и иней.
— И вдруг она крик испустила,
И сердце от страха сжалось:
— Увидела Нинья в небе
Две тени в объятьях друг друга,
Скошенные сверканьем
Невидимой грозной косы.
— Вышла из леса Нинья,
Спустилась по склону крутому
В долину, между деревьев,
Ласкающих нежно дали.
— На землю с небес спустилась
«Дочь сна», как ее называют.
И слышит в источнике светлом
Об этом песенку Нинья.
— Приходит Нинья в деревню,
Но никто ей уже не поет:

Г о л о с

«Ты — дочь сна, говорят,
Голубка моя дорогая,
И, когда я к тебе ни приду,
Ты всегда почиваешь».

Т р и д е в у ш к и

— Однажды холодным утром
Смерть ее разбудила.
— Как зверь какой, из засады
Фаланга, злая волчица,
Отца, мать и брата с сестрой схватила
И унесла с собою их жизни.
— Ей оставив на попеченье

Двух малолетних братьев.
— Один к ней ручонки тянет
И мамой ее называет.
— А другой в колыбельке плачет
И зовет ее только слезами.
— Седлает Нинья гнедого.
В далекое едет поле.
Ржанье крови разносит
Гор громовое эхо.
— И вода становится красной,
Едва песню заслышит эту:

Г о л о с

«Если хочешь, чтоб я полюбил,
Скажи, что́ ты хочешь.
Не хочу, чтоб меня ты любил—
А то бросишь!»

Появляется Нинья в партизанской одежде; она ведет коня.

Н и н ь я

Не хочу проклятой крови,
Не хочу, чтобы рождались
От меня такие дети,
Что способны отказаться
От мечты своей навеки!
Я—воинственная амазонка,
Я—дева, чиста и невинна;
Грудь свою отдала я смерти
И жар своих чувств—тоже.
Я—Нинья, что только хочет
Партизанкой быть, и не плакать,
И погибнуть, как мужчина,
Раненная из засады.

Т р и д е в у ш к и

— Сжимается грудь у Ниньи.
Нет, сердце ее не обманешь.
— Песенку напевает,
Струится источник светлый:

Г о л о с

«Нинья, Нинья, твои груди
Будто снежные вершины.

Разрешите мне их потрогать,
Пусть рука заледенеет».

Нинья

Если, враг, ты меня коснешься,
Рука у тебя отсохнет.
Амазонка я, несу гибель,
Я мщу за мою душу.
И рука, что меня коснется,
Обуглится тут же, сразу,
И отпадет от тела,
Точно сломанная ветка.

Нинья исчезает.

Три девушки

— Песенка звенит в небе,
Словно жаворонок в лазури;
Журчит ручеек в долине,
Рассказывая негромко
То, о чем умолчала Нинья.
— А песенка, будто птица,
К небесам неудержно рвется:

Голос

«Чем же мы с тобою
Снег напоминаем?
Ты — чистотою,
А я — тем, что таю».

Три девушки

Нинья, нежная голубка,
Девочка-партизанка,
Зачем ты пришла в деревню,
Зачем ты в свой дом вернулась?

Голос Ниньи

— Пришла я к своим братишкам,
Что остались одни, без призора.

Три девушки

— Коза у порога стояла,
Говорящими глядела глазами...

И такая была в них печаль,
Оттого что увидели Нинью!
Зачем ты вернулась, Нинья,
Зачем в свой дом возвратилась?

Голос Ниньи

— Я вернулась за малышами,
Что без присмотра остались.

Три девушки

— В холодном и мрачном доме
Плакали ребятишки.

— А на улице за углом
ее ожидала засада.

— Коня под нею убили.

— Упала, раненная, в канаву.

— Тело ее истерзали и

Лицо разбили прикладом.

— Вода бежала с ней рядом—

Это снег в горах растаял,—

Как бежала в сосновой роще

Меж деревьев и по полянкам

Пугливая лань золотая,

Заколдованная девица.

Сочились кровью, как раны,

Слова, что над полями летели,

Когда сказала она: «Умираю

За мечту о моей Испании!»

Перемена декораций.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Когда вновь зажигается свет, зритель видит маленькую комнату вроде камеры-одиночки, с зарешеченным окном в глубине. На походной кровати или на носилках лежит Нинья, она полураздета, в крови. Врач и Медсестра оказывают ей помощь. Неподалеку стоит Иезуит из первого действия. После долгого молчания начинается диалог— тихим голосом, как у постели больного.

Врач (*продолжая свое дело, Иезуиту*). Судья и все остальные ушли?

Иезуит. Ушли.

Врач. А они вернутся? Не сказали?

Иезуит. Ничего не сказали, но, я думаю, они уже считают это бесполезным...

Врач. Может, они пошли за Священником, для очной ставки?

Иезуит. Вы полагаете, это возможно?

Врач. Нет.

Пауза.

Медсестра. Еще помазать?

Врач. Как хотите.

Иезуит. Думаете, не поможет?

Врач. Сейчас уже все равно, сколько она протянет — часы или минуты... Коллапс может наступить в любой момент. (Пауза. Иезуиту.) А вы выполнили свою миссию?

Иезуит (холодно). Да.

Врач (горько). Вашу собственную или ту, которую вам поручили судьи?

Иезуит (сухо). Обе.

Врач (жестко). Я тоже выполнил свою миссию... Только свою собственную...

Врач идет к тазику помыть руки, снимает халат, приводит себя в порядок. В этот момент в дверях появляется Священник в сопровождении гражданских гвардейцев; он быстрым взглядом окидывает комнату и все понимает.

Врач. Проходите, сеньор Священник, проходите... Вы пришли слишком поздно...

Гражданский гвардеец. А где сеньор Судья?

Врач. Ушел. Подождите на улице.

Гражданские гвардейцы выходят. Священник бросается к телу Ниньи, опускается на колени у ее ног, закрыв лицо руками. Долгая пауза. Врач, Иезуит, Медсестра молча смотрят.

Священник (холодно). Что вы сделали?

Иезуит. Все... что должен был сделать. Я выполнил свой долг.

Врач. Мы все выполняем наш долг в этих случаях, сеньор Священник. Я тоже выполнил свой долг. И только.

Священник. И только? Разве вы не знаете, как...

Врач. Как умирает человек — это единственное, что я знаю, сеньор Священник; возможно, падре, который здесь присутствует, знает больше о том, что вас, вероятно, интересует: как ее убили... Я же могу лишь сказать, что у нее два пулевых ранения, которые не угрожали бы

ее жизни... я думаю... (*смотрит пристально на Иезуита*), если бы она не потеряла столько крови... Я знаю, о чем спрашивают ваши глаза, сеньор Священник, но ответить вам не могу. Это не моя специальность... и не моя техника. Это избитое, истерзанное тельце, которое вы видите... могло бы—не правда ли, падре? (*Иезуиту*)—могло бы жить... И я вам говорю, сеньор Священник, что это дело другой техники... Которую я не понимаю... ее применяют судьи, чтобы заставить говорить человека, после чего он замолкает навеки... Но эти таинства, сеньор Священник, вы и падре, наверно, сможете объяснить лучше меня. Ведь они относятся к тому, что вы называете, если не ошибаюсь (*улыбается*), промыслом божьим... Наука здесь бессильна. До свидания, сеньор Священник, до свидания, падре... Мне уже нечего здесь делать. (*Медсестре, которая вопросительно смотрит на него.*) А вы останьтесь, побудьте до конца. Всего хорошего, сеньоры. (*Уходит.*)

Около агонизирующей Ниньи остаются Священник, Иезуит и Медсестра. Священник берет руки Ниньи в свои, стараясь, чтобы она его узнала. Нинья стонет и, кажется, узнает Священника.

Священник. Нинья, моя юная партизанка! (*Снова припадает к ее ногам, рыдая.*)

Медсестра. Вы так любили ее?

Иезуит. Ваши слова неосторожны, сеньор Священник; (*Медсестре*) сеньорита и я их не слышали.

Священник (*выпрямившись и овладев собой*). Вы сказали мне, падре, что уже сделали все. Вы предложили ей исповедаться?

Иезуит (*холодно*). Да.

Священник. Она отказалась?

Иезуит. Наполовину.

Священник. Как это? -

Иезуит. На мои вопросы: веришь ли в бога, в нашу святую мать-церковь?—она не ответила «нет»...

Священник (*с надеждой*). Не ответила «нет»?

Иезуит. Не ответила «нет», но сказала: да, я верю в мой народ, верю в Испанию...

Священник. Из-за того, что человек верит в них, перед ним не закрывается путь к вере в бога. Вы отпустили ей грехи, хотя бы условно?

Иезуит (*холодно*). Нет.

Священник. Но почему?

Иезуит. Не могу предположить, что она раскаялась...

Священник. Но ведь и иного тоже нельзя предположить... *(Подходит к Нинье.)* Посмотрите на нее. Не кажется ли вам, что это окровавленное, истерзанное тело похоже на тело Спасителя?

Иезуит. Вы бредите, сеньор Священник! Какая ересь!

Священник. Телесные муки каждого человека — это страсти Христовы. Это его следы. Я их вижу. Я их узнаю. Это израненное тело; эти струйки крови, текущие по рукам и ногам... Разве не напоминают они, падре, святую фигуру распятого Христа?

Иезуит. Какой ужас!

Медсестра *(Священнику)*. Она кончается! *(Старается поправить Нинье волосы и закрыть ноги, но это ей плохо удается — тело вдруг охватывает предсмертная дрожь, словно оно хочет поскорее покончить со своей собственной агонией.)*

Священник. Ego te absolvo... in nomine Patris et Phillio et Spiritu santi, amén¹.

Медсестра повторяет: «Амен» — и опускается на колени.

Иезуит *(падает на колени и закрывает лицо руками)*. Господь! Господь!

Наступает страшное молчание, слышен шум голосов на улице. Наконец дверь открывается и входят два гражданских гвардейца. За ними — толпа людей, Марокканцы и фалангисты. Вперед выходит Судья; не обращая никакого внимания на мертвое тело и словно не зная, что произошло, он обращается к Священнику.

Судья. Сеньор Священник, вы арестованы. Будете находиться под домашним арестом до особого распоряжения. *(Иезуиту.)* А вы, падре, тоже уходите отсюда... Пойдете с нами...

Священник *(сломленный, печально)*. Что вы хотите делать?

Судья *(грубо)*. Пошли!

Гражданские гвардейцы хватают Священника и толкают его к выходу. Иезуит хочет вмешаться, но Священник останавливает его жестом.

Священник. «Блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут нарече-

¹ Отпускаю тебе грехи твои... Во имя Отца и Сына и Святого духа, аминь *(лат.)*.

ны сынами божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное...»

В этот момент Иезуит решительно останавливает Гражданских гвардейцев, толкающих Священника к выходу, бросается к его ногам и целует ему руки.

Иезуит. Простите!

Священник (*поднимая его*). «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить на меня...»

Гражданские гвардейцы оттаскивают Священника и уводят; Иезуит неподвижно стоит, точно пригвожденный к полу; Медсестра рядом с ним с ужасом наблюдает за всей этой сценой. Группа фалангистов направляется к мертвому телу, и в этот момент гаснет свет.

Перемена декораций.

Снова появляются, как и прежде, Три девушки и Дети у источника.

Три девушки

— Положили ее тельце

Бедное на носилки.

— И уже мертвую повесили

На высокой ветке.

— Снег, такой сердобольный,

Всю ночь поет ей песни,

Убаюкивает ветками

Да укутывает морозцем.

— Ты была партизанкой, Нинья,

Партизанкой была бесстрашной

И умерла, как мужчина,

Раненная из засады.

— А мечта твоя, Нинья,—

Это мечта всей Испании.

— Со смертью твоей геройской

Надежда стала мечтою.

Перемена декораций.

Вначале на сцене темно; постепенно светлеет, и становится виден горный пейзаж со снегом и соснами. По снегу медленно идут партизаны, видны лишь их силуэты. Слышно, как они говорят между собою.

Чамуско. Далеко ее затащили!

Кармона. И высоко!

Монтиньо. Словно для того, чтобы руками не достать!

Педрисо. Даже глазами!

Пастух. Иди за мной, Монтиньо. Мы ее снимем с

дерева, а они пока под снегом, в земле, приготовят ей дорогу на небо...

Астуриец. Быстро не получится: трудно пробить ледяную корку. Мать, тебе отдаем ее — она всегда была твоей и какое-то время нашей!

Тристан. Она всегда будет нашей!

Себастьян. Глубже, глубже и скорей, скоро рассвет!

Перемена декораций.

Вновь появляется хор.

Три девушки

— На заре схоронили Нинью
В снегу партизаны.

— И такой пошел снег,
Чтоб укрыть ее, такой снег,
Что возник обелиск из снега,
Белый сверкающий холм.

И тишина завернула ее
В грез своих саван.

— Безмолвные горы ее приютили.

— Безмолвные горы ее стерегут.

— Одна лежит, партизанка Нинья,

— Одна, как мечта; одна, как Испания.

— И когда пройдут партизаны

По этим снегам высоким,

Возьмут они от Ниньи

Всего по чуть-чуть, не больше:

— След ее легкий,

— Души ее вздох,

— Звук ее имени,

— Эхо шагов.

— Это здесь бывала Нинья,

Партизанка зари алой,

К небу взор свой обративши,

А к земле — оружие мести!

— И покой ее могильный

Тишина оберегает.

— Здесь сама Весна уснула,

Погребенная под снегом.

— Но про то никто не знает,

Даже тени облаков.

— Лишь другая партизанка
Может эту воскресить!

Перемена декораций.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Высокая снежная вершина. Могильный холмик, занесенный снегом.
Входят Три старухи, закутанные в черные накидки, и садятся у
могилы.

Три старухи

— Какой неудержный обвал
Пепел и снег обрушил

На светлую эту душу,
Цвет жизни ее сорвал?

— Но как же душа велика,
Навстречу идущая горю,
Предчувствующая, что вскоре
Смертный настанет час.

— Так горькое семя подчас
В сладком сокрыто плоде.

Три черные фигуры Старух застывают у могилы, точно статуи, и входят
Три девушки, которые проходят вперед в ритме танца, как в конце
второй картины.

Три девушки

— На рассвете, когда

— Разгорится утренняя звезда,

— Я скажу тебе, о чем думают тени,

— Не скажу, что говорит эхо.

— Я скажу тебе...

— Мы тебе скажем...

— Нет цветов на снегу,

Только ледяные узоры.

— Когда рассветать начинает...

— И сильнее мерцает Венера...

— Я скажу, что не знают живые.

— Не скажу, что известно мертвым.

— Я скажу тебе...

— Мы тебе скажем...

— Под снегом цветок родится,

Что ветер сломать не может.

— Когда солнце взойдет

— И спрячется утренняя звезда...
— Я скажу, чего ждет земля,
Когда носит смерть в своем чреве.
— Не скажу, о чем снег мечтает,
Укутав притихшую землю.
— Я скажу тебе...
— Спи под снеговым покрывалом,
Цветок, неподвластный смерти!

Конец пьесы

1945

СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ

Мачадо, Антонио (1875—1939)—поэт, прозаик, эссеист. Оказал огромное влияние на развитие испанской поэзии XX века. В годы франкизма превратился в символ духовного сопротивления молодой художественной интеллигенции. Изучал в Мадриде философию, затем в Париже—филологию. После трехлетнего отсутствия вернулся на родину и преподавал в провинциальной школе—сначала в Сории, затем в Сеговии. Первая книга его стихов, «Одиночество», опубликована в 1903 г. Кроме поэзии (сборники «Поля Кастилии», «Новые песни» и др.), писал прозу. Особенно популярна его философская книга «Хуан де Майрена» (1934). Гуманист и демократ по убеждениям, активно выступал в защиту Республики в годы гражданской войны, поставил свое творчество на службу народу. В январе 1939 г., когда франкисты заняли Каталонию, покинул Испанию и, хотя был тяжело болен, пешком перешел Пиренеи. Через несколько дней после этого скончался в приграничном французском городе Кольюр.

Эрнандес, Мигель (1910—1942)—поэт, драматург. Родился в глухой провинции, в крестьянской семье, в юности был пастухом, учился самостоятельно по книгам. Талант его был высоко оценен читателями и критиками сразу же после выхода в свет первого сборника стихов, «Знаток луны» (1933), написанного в классическом стиле. Созреванию его дарования, обретению собственного языка и форм выражения способствовало творческое общение с Висенте Алейсандре и Пабло Нерудой, в результате чего в поэзии М. Эрнандеса стали усиливаться народные мотивы. В первые дни гражданской войны вступил добровольцем в прославленный 5-й полк, созданный коммунистами, стал комиссаром. Его стихи тех лет (собраны главным образом в сборнике «Ветер народа», появившемся в 1937 г.) были исключительно популярны в республиканской Испании. После поражения Республики попал в руки франкистов, был осужден на смертную казнь, замененную 30-летним заключением. Скончался в тюрьме. До последних дней писал стихи, которые посмертно изданы в сборнике «Кансьонеро и романсеро разлук».

Альберти, Рафаэль (1902)— поэт, драматург, эссеист, общественный деятель. Начинал как художник, затем стал писать стихи, за которые (вместе с Херардо Диего) в 1924 г. был удостоен Национальной литературной премии (сборник «Моряк на суше»). Член Коммунистической партии Испании с 1931 г. Основатель и редактор журнала «Октябре», вокруг которого группировались революционные и прогрессивные литераторы Испании. В годы гражданской войны активно участвовал в борьбе против фашизма, был редактором журнала «Моно асул», секретарем Союза антифашистской интеллигенции. После поражения Республики эмигрировал в Аргентину, затем жил в Италии. Активный участник движения за мир, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1965). В 1977 г. вернулся в Испанию, был избран депутатом в первые послефранкистские кортесы (по списку Компартии). Активно участвует в борьбе за демократию и социальный прогресс, за предотвращение войны. В 1983 г. удостоен крупнейшей литературной премии испаноязычного мира, премии им. Сервантеса.

Алейсандре, Висенте (1898—1984)— поэт. Первую книгу стихов («Обстановка») опубликовал в 1928 г. Испытал на себе влияние сюрреализма, в его поэзии сильные философские мотивы. За книгу стихов «Разрушение или любовь» (1934) ему была присуждена Национальная литературная премия. В годы гражданской войны находился на стороне Республики, хотя ввиду тяжелой болезни, которой страдал с юности, не мог активно участвовать в событиях. Остался в Испании после поражения Республики, превратившись со временем в своего рода наставника молодых поэтов, настроенных нонконформистски. Постепенно стал отходить от сюрреализма и (особенно после сборника «История сердца», появившегося в 1954 г.) пришел к поэзии, основанной на воспевании общечеловеческих ценностей. Член Королевской академии языка и литературы. В 1977 г. В. Алейсандре была присуждена Нобелевская премия.

Фелипе, Леон (1881—1968)— поэт. Был фармацевтом, затем стал театральным актером, уехал в США, где преподавал литературу. Его поэзия носит на себе заметный отпечаток влияния Уолта Уитмена, которого поэт, однако, органично адаптировал к испанским литературным традициям. Первый сборник его стихов («Стихи и молитвы путника») появился в 1928 г. Когда началась гражданская война, Л. Фелипе вернулся в Испанию из Панамы, где преподавал в институте; выступал в защиту Республики со страстными и гневными стихами, часто носящими характер поэтических памфлетов. В 1938 г. эмигрировал, жил в Мексике и других странах Латинской Америки, опубликовал ряд поэти-

ческих сборников, в которых писал о войне и изгнании. Умер в Мексике. Удостоен Национальной литературной премии этой страны.

Сернуда, Луис (1902—1963)—поэт, эссеист. Первый сборник стихов опубликовал в 1927 г. («Профиль воздуха»). Для поэзии его характерно значительное влияние англосаксонской литературной традиции (Л. Сернуда переводил также Шекспира и Гёльдерлина) и испанского романтизма (прежде всего Адольфо Беккера). В 1936 г. опубликовал стихотворный сборник «Действительность и желания», в который включил все изданное до этого; в последующие годы дополнял эту книгу новыми стихами. В годы гражданской войны активно выступал на стороне Республики, сотрудничал в литературном журнале «Ора де Эспанья», вокруг которого группировалась левая художественная интеллигенция. После окончания гражданской войны эмигрировал, жил в Англии, США, затем поселился в Мексике. Кроме поэзии и прозы, занимался также литературоведением. Умер в Мексике.

Альтолагирре, Мануэль (1906—1952)—поэт, драматург, кинематографист. С 1926 г. стал издавать литературный журнал «Литораль» и поэтическую серию под тем же названием. Первый сборник его стихов («Поэзия») появился в 1930 г. Активно поддерживал Республику в годы гражданской войны, по окончании ее эмигрировал: жил сначала на Кубе, затем в Мексике, где издавал книги испанских поэтов. В 40-х годах увлекался кино, снял несколько фильмов. Погиб в автомобильной катастрофе во время поездки в Испанию в 1952 г. Известен и как переводчик, в частности переводил Пушкина и Шелли.

Гарфиас, Педро (1901—1967)—поэт. Член Коммунистической партии Испании. Первую книгу стихов («Три желания») опубликовал в 1920 г. В годы гражданской войны был политическим комиссаром «Батальона Гарсеса», военным корреспондентом газеты «Френте Рохо». Его стихи и романсы, написанные в те годы, собраны в сборниках «Поэзия войны» и «Герои Юга». Опубликованные в 1938 году, они пользовались большой популярностью. После поражения Республики эмигрировал, жил и работал в Мексике.

Прадос, Эмилио (1899—1962)—поэт. Учился в Германии во Фрайбургском университете. После возвращения на родину вместе с М. Альтолагирре издавал журнал «Литораль». Первый сборник стихов («Время») опубликовал в 1925 г. Активный участник группы поэтов, сотрудничавших в журнале «Октябре». В годы гражданской войны принимал участие в обороне

Мадрида, работал в секции пропаганды министерства просвещения, сотрудничал в журналах «Ора де Эспанья» и «Моно асул», был соавтором книги «Всеобщий романсеро гражданской войны в Испании» (1937). После войны эмигрировал в Мексику, где много и плодотворно писал до самой смерти.

Эррера Петере, Хосе (1910)—поэт, прозаик, публицист, драматург. Впервые опубликовался в 1936 г. (сборник рассказов «Роженица»). Был близок к журналу «Октябре», участвовал в работе Союза революционных писателей и артистов, сотрудничал в прессе компартии. В начале гражданской войны добровольцем вступил в 5-й полк, был редактором полковой газеты «Милисиа популар». За книгу стихов в прозе «Мадридская сталь» был удостоен Национальной литературной премии (1937). После поражения Республики эмигрировал, жил в Швейцарии, писал стихи, произведения для театра, прозу, посвященную героической борьбе испанского народа против фашизма.

Серрано Плаха, Артуро (1909)—поэт, прозаик. Первый сборник его стихов («Бесконечное изгнание») опубликован в 1936 г. Активно сотрудничал в журнале «Ора де Эспанья». Эмигрировал в Аргентину, жил потом во Франции, в США, где опубликовал сборники поэзии «Стихи военной и мирной поры» (1944), «Галоп судьбы» (1959), сборник рассказов «Небо и развалины» (1943), роман «Дон Мануэль де Лора» (1946). На русском языке издается впервые.

Хиль Альберт, Хуан (1906)—поэт, прозаик, эссеист. Начал писать стихи в годы гражданской войны—сборник «Таинственное присутствие» (1936) и др. Был секретарем журнала «Ора де Эспанья». После окончания гражданской войны эмигрировал в Мексику, где, продолжая заниматься стихами и прозой, издавал литературные журналы и работал в издательствах. На русском языке издается впервые.

Варела, Лоренсо (1912)—поэт. Впервые стал печататься в годы гражданской войны. Был культурным пропагандистом («бойцом культуры») в различных подразделениях республиканской армии. После поражения Республики эмигрировал в Латинскую Америку, жил в Мексике и Аргентине.

Сендер, Рамон Хосе (1902—1982)—прозаик, журналист, эссеист. Первый его роман («Магнит») посвящен колониальной войне в Марокко (1930), написан в форме репортажной прозы. В этом и ряде других произведений и репортажей, последовавших в 30-е годы, Р. Х. Сендер заявил о себе как убежденный противник

монархии, реакции, милитаризма и колониализма. В 1935 г. был удостоен Национальной литературной премии за роман «Мистер Уайт в кантоне». Активно выступал на стороне Республики, написал ряд произведений («Контратака», 1938, «Ветер в Монклоа», 1940, «Король и королева», 1947, «Пять книг Ариадны», 1957, и «Реквием по испанскому крестьянину», 1960), посвященных событиям гражданской войны. После поражения Республики эмигрировал, жил в Мексике и США, выпуская роман за романом, среди которых выделяется эпопея «Хроника зари» (1942). Произведения Р. Х. Сендера неоднократно издавались в прошлом в СССР. Включенная в сборник повесть «Реквием по испанскому крестьянину», признанная критикой как одна из наиболее ярких творческих удач автора, на русском языке публикуется впервые.

Искаррай, Хесус (1908—1981)—прозаик, журналист. Член Коммунистической партии Испании. В 30-е годы начинал как журналист, стал писать прозу. В годы гражданской войны—военный корреспондент. В 1938 г. ему присуждена Национальная литературная премия. После войны эмигрировал, жил в разных странах Европы, написал романы—«Яма» (1947), «Мадам Гарсиа за стеклом» (1953) и др. В 40-х годах побывал нелегально в качестве корреспондента среди партизан, действовавших в Испании против Франко (книга репортажей «С партизанами Леванта»). Входил в руководство КПИ, был редактором газеты «Мундо обреро».

Гарсиа Павон, Франсиско (1919)—прозаик, эссеист, театральный критик. В юношеские годы находился в республиканской зоне, жил в Ла-Манче (Томельосо), впоследствии ставшей главным местом действия его романов и рассказов. Окончил Мадридский университет, доктор философии и филологии, преподавал в Высшей школе драматического искусства, руководил издательством «Таурус». Впервые опубликовался в 1946 г. (роман «Рядом с Овьедо»). Автор многих романов, в том числе написанных в полудетективном жанре и объединенных главным действующим лицом—Плинию. Лауреат многих почетных литературных премий. Дважды (1946, 1956), за романы «Рядом с Овьедо» и «Рыжие сестры», удостоивался премии «Надаль»; получил премию литературной критики в 1968 г. Произведения Ф. Гарсиа Павона переведены на многие языки, в том числе и на русский. Публикуемые рассказы взяты из книги «Либералы» (1958).

Аяла, Франсиско (1906)—прозаик, литературовед, социолог. Изучал философию и социологию в Германии, преподавал в Мадридском университете, сотрудничал в журнале Ортеги-и-

Гассета «Ревиста де Оксиденте». Начал печататься в 30-е годы — сборники рассказов «Боксер и ангел» (1929), «Охотник на заре» (1929) и др. После окончания гражданской войны эмигрировал, жил в Аргентине, Пуэрто-Рико и США, где преподавал социологию в университете и продолжал писать. Главные темы его творчества — гражданская война в Испании (сборник «Баранья голова», 1949), проблема тирании в латиноамериканских странах (сборники «Узурпаторы», 1949, «Собачья смерть», 1958) и др. Ф. Аяла также автор ряда фундаментальных работ и многочисленных статей по вопросам социологии.

Ауб, Макс (1903—1972) — прозаик, драматург, эссеист. Начал печататься до начала гражданской войны, сборники рассказов того периода («География», 1929, «Зеленая фабула», 1933) и произведения для театра написаны под влиянием сюрреализма и испанского философа Ортеги-и-Гассета. В годы войны был сотрудником испанского посольства в Париже, в 1939 г. интернирован французскими властями в концентрационном лагере для бойцов республиканской армии в Алжире. В 1942 г. ему удалось выехать в Мексику, где он занялся литературой, написав ряд ярких произведений о гражданской войне и судьбе республиканцев, оказавшихся в изгнании. Особое место в творчестве М. Ауба занимает тетралогия «Магический лабиринт», включающий романы «Закрытое поле» (1943), «Кровавое поле» (1945), «Открытое поле» (1951) и «Миндальное поле» (1963).

Калдерс, Пере (1912) — прозаик, драматург. Пишет на каталонском языке. Начиная творческий путь как художник. После окончания гражданской войны эмигрировал во Францию, затем вернулся на родину. Начал печататься в 40-е годы. Неоднократно удостоивался самых почетных литературных премий Каталонии: премия Раделя за сборник рассказов «Особые воспоминания» (1942), премия Виктора Катала за сборники рассказов «Хроника сокрытых истин», «Люди из другой долины» и многие другие. Написанная по мотивам его рассказов пьеса «Танавиана» (1979) была поставлена во многих театрах Испании. Переведен на основные языки мира.

Феррес, Антонио (1924) — прозаик, журналист. Уехал из франкской Испании в 40-е годы, преподавал в университетах Венесуэлы, Мексики, США. Первый роман («Забастовка») опубликовал в 1959 г. Удостоен премии города Барселоны за роман «С пустыми руками» (1964), премии «Сесамо» — за сборник рассказов «Колибри с длинным языком» (1977). А. Ферресом написаны также (в том числе в соавторстве с Армандо Лопесом

Салинасом) книги репортажей, в которых, как и в его романах, сильны социальные мотивы. Его произведения переведены на многие языки мира.

Андухар, Мануэль (1913)—прозаик, поэт, драматург, литературный критик. В 30-е годы занимался журналистикой. Стал писать прозу после окончания гражданской войны, когда, побывав во французском концентрационном лагере для республиканских бойцов, эмигрировал в Латинскую Америку. Жил в Мексике, позже в Чили. События в Испании 1936—1939 годов стали главной темой его творчества, им посвящено множество рассказов и повестей, а также роман-трилогия «Накануне». В 60-х годах вернулся в Испанию. В 1983 г. удостоен Национальной литературной премии. На русском языке публикуется впервые.

Фустер, Жауме (1945)—прозаик, журналист, театральный критик. Пишет на каталонском языке. Опубликовал первый рассказ в 1961 г. Вышедший в 1972 г. роман «Карьера» имел большой успех во всей Испании, был экранизирован, поставлен на телевидении и на радио. Успехом пользовался также его роман «Валенсийская корона» (1982).

Самора Висенте, Алонсо (1916)—прозаик, эссеист, филолог. Доктор филологии, академик-секретарь Королевской академии языка и литературы, член-корреспондент Королевской академии Галисии и Колумбийской академии языка; читал лекции во многих университетах мира. Автор фундаментальных работ по языкознанию и литературоведению. Как писатель работает в жанре короткого рассказа-монолога. Первую книгу опубликовал в 1955 г. За повесть «Застолье» в 1980 г. удостоен Национальной литературной премии.

Мартинес Менчен, Антонио (1930)—прозаик. Окончив школу и не найдя работы, уехал в ФРГ, где был простым рабочим. Вернувшись на родину, занялся литературой. Первое опубликованное им произведение—роман «Пять вариаций» (1963). Затем следуют повесть «Pro patria mori» (1977), сборник рассказов «Ограда» (1968). Публикуемый рассказ взят из книги «Инквизиторы» (1977).

Аркинада, Сесар (1900—1964)—испанский прозаик, драматург, журналист. Член Коммунистической партии Испании. Первое опубликованное им произведение—роман «Турбина» (1930), за ним последовали романы «Бедняки против богачей» (1933), «Земельный передел» (1934), для которых характерны очень четкие и ясные социальные мотивы. Главный редактор газеты «Газета литерария». Принимал активное участие в борьбе с

фашизмом, писал для театра, выпустил книгу «Река Эбро» о гражданской войне. В 1939 г. эмигрировал в СССР, продолжал писать, переводил на испанский язык русских и советских писателей, был редактором испанского издания журнала «Советская литература». . Драматургия С. Арконады на русском языке публикуется впервые.

Дьесте, Рафаэль (1899)—драматург, прозаик, поэт, эссеист. Пишет на испанском и галисийском языках. В 20-е годы занимался журналистикой, позже стал писать для театра. В 1935 г. жил во Франции и Бельгии, изучая в этих странах постановку театрального дела. В годы гражданской войны был директором театра «Эспаньол» в осажденном Мадриде, написал для сцены несколько коротких пьес, в которых в остроагитационной форме разоблачался фашизм. Вместе с Хилем Альбертом был основателем журнала «Ора де Эспанья». После войны эмигрировал во Францию, потом жил в Аргентине, читал лекции по испанской литературе в университетах ряда стран, занимался издательским делом. На русском языке публикуется впервые.

Бергамин, Хосе (1895—1984)—прозаик, поэт, драматург, эссеист. Начал писать прозу и произведения для театра еще в 30-е годы. В 1933 г. основал известный литературный журнал «Крус и райа» либерального левокатолического направления, в котором печатал первые произведения М. Эрнандеса и других прогрессивных литераторов. Автор многочисленных произведений. После гражданской войны эмигрировал в Мексику, основал там издательство «Сенека», затем жил в Венесуэле и Уругвае. В конце 50-х годов вернулся в Испанию, где подвергся гонениям за левые взгляды, и вновь покинул страну, поселившись во Франции. Окончательно вернулся в Испанию только после смерти Франко. Публикуемая в сборнике пьеса впервые издана в 1943 г. с иллюстрациями Пабло Пикассо. На русском языке публикуется впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

Хуан Кобо. Испания: пушки и музы	3
--	---

ПОЭЗИЯ

Антонио Мачадо

Мадрид. <i>Перевод В. Столбова</i>	20
«Преступление было в Гранаде...» <i>Перевод А. Гелескула</i>	20
Дневные раздумья. <i>Перевод Ю. Петрова</i>	21
Смерть раненого мальчика. <i>Перевод М. Самаева</i>	22
Поэт вспоминает поля Сории. <i>Перевод П. Грушко</i>	22
Весна. <i>Перевод М. Самаева</i>	23
Гимн. <i>Перевод О. Савича</i>	23
«Россия, благородная Россия...» <i>Перевод Ф. Кельина</i>	24
«Испания, от моря и до моря...» <i>Перевод П. Грушко</i>	25

Мигель Эрнандес

Ветер народа. <i>Перевод А. Гелескула</i>	26
Пожар. <i>Перевод П. Грушко</i>	28
Интербригадовцу, павшему в Испании. <i>Перевод А. Гелескула</i>	29
Над телами мертвых. <i>Перевод А. Гелескула</i>	29
Пабло де ла Торриенте, политкомиссару. <i>Перевод А. Гелескула</i>	31
«Нет, он не пуст — окрашен...» <i>Перевод О. Савича</i>	33
Песня женатого солдата. <i>Перевод П. Грушко</i>	33
Агония прощаний. <i>Перевод А. Гелескула</i>	35
Война. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	35
18 июля 1936—18 июля 1938. <i>Перевод О. Савича</i>	36
«Гнетет поля предчувствие дождя...» <i>Перевод А. Гелескула</i>	36

Рафаэль Альберти

Оборона Мадрида. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	38
Интернациональным бригадам. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	39
«Вы не погибли...» <i>Перевод Д. Самойлова</i>	39
Эль-Пардо. <i>Перевод Б. Пастернака</i>	40
«Солдаты спят...» <i>Перевод Д. Самойлова</i>	40
Мадрид осенью. <i>Перевод А. Ревича</i>	41
Крестьяне. <i>Перевод Б. Пастернака</i>	43
«Шагать, не дорогами, не полями...» <i>Перевод М. Ваксмахе- ра</i>	43
Пабло Неруде, после всего пережитого. <i>Перевод С. Гонча- ренко</i>	44
Илье Эренбургу в Буэнос-Айресе. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	45
Смертельно ненавижу. <i>Перевод А. Садикова</i>	45
Хулиану Гримау, расстрелянному сегодня в Испании по обвинению в «военном мятеже» 1936 года. <i>Перевод С. Гончаренко</i>	46
Галоп. <i>Перевод Д. Самойлова</i>	47

Висенте Алейсандре

Неизвестный солдат. <i>Перевод И. Чежеговой</i>	48
---	----

Леон Фелипе

Плач мой... Море... <i>Перевод В. Столбова</i>	50
«Скажи, Испания...» <i>Перевод В. Столбова</i>	51
Словно ты... <i>Перевод А. Гелескула</i>	52

Луис Сернуда

Испанская элегия. <i>Перевод Е. Толстой</i>	53
Испанец говорит о родной земле. <i>Перевод Б. Дубина</i>	55
Родина. <i>Перевод В. Столбова</i>	56

Мануэль Альтолагирре

Пролог. <i>Перевод И. Чежеговой</i>	58
Песнь жизни и надежды. <i>Перевод И. Чежеговой</i>	59
Последняя смерть. <i>Перевод Е. Толстой</i>	60

Педро Гарфиас

Ода Испании. <i>Перевод А. Садикова</i>	65
Лозунги. <i>Перевод О. Савича</i>	66
Федерико Гарсиа Лорке. <i>Перевод Е. Толстой</i>	67

Эмилио Прадос

Октябрьский плач. <i>Перевод И. Чежеговой</i>	69
Прощание с интернациональными бригадами. <i>Перевод Е. Толстой</i>	70
В небытии с Федерико Гарсиа Лоркой. <i>Перевод А. Садикова</i>	71

Хосе Эррера Петере

«Слушайте нас, мадридцы...» <i>Перевод О. Савича</i>	76
Война насмерть. <i>Перевод О. Савича</i>	78

Артуго Серрано Плаха

Добровольцам-интернационалистам. <i>Перевод Е. Толстой</i>	80
Песнь свободе. <i>Перевод А. Садикова</i>	82

Хуан Хиль Альберт

Прощание с минувшим годом. <i>Перевод Е. Толстой</i>	87
--	----

Лоренсо Варела

Слова в огне. <i>Перевод А. Садикова</i>	89
--	----

ПРОЗА

Рамон Хосе Сендер

Реквием по испанскому крестьянину. <i>Перевод А. Синянской</i>	92
--	----

Хесус Искаррай

Няня Лена. *Перевод Е. Хованович* 142

Франсиско Гарсиа Павон

История про то, как Хосе Рекинто и Николас Николавич
поженились на Саграрио и Пепе из Пуэрто-дель-Сегура,
провинции Хаэн. *Перевод Х. Кобо* 169

Про столяра-анархиста, неудачно прозванного Пророком
Матфеем. *Перевод Х. Кобо* 184

Франсиско Аяла

Тахо. *Перевод С. Имберта* 192

Возвращение. *Перевод Н. Снетковой* 219

Макс Ауб

Хромой. *Перевод С. Имберта* 264

Театральный задник. *Перевод М. Куени* 283

Безмянный январь. *Перевод В. Федорова* 293

Песня. *Перевод Н. Сердюковой* 313

Пере Калдерс

Потерянный батальон. *Перевод П. Скобцева* 317

Антонио Феррес

Когда нас убьют. *Перевод П. Скобцева* 325

Дорога. *Перевод П. Скобцева* 327

Мануэль Андухар

Лучший из нас. *Перевод П. Скобцева* 334

Гильермо из Каспе. *Перевод М. Куени* 347

Жауме Фустер

* Гибельное одиночество. *Перевод Н. Матяш* 369

Алонсо Самора Висенте

На улице Феррас. <i>Перевод В. Федорова</i>	383
Колченогий. <i>Перевод В. Федорова</i>	396

Антонио Мартинес Менчен

* Черепаха и Ахилл. <i>Перевод Н. Матяш</i>	404
---	-----

ДРАМАТУРГИЯ

Перевод М. Деева

Сесар Арконада

Взятие Мадрида.	426
----------------------	-----

Рафаэль Дьесте

На рассвете.	453
-------------------	-----

Хосе Бергамин

Юная партизанка.	473
Хуан Кобо. Справки об авторах	531

ВОЙНА НАЧИНАЛАСЬ В ИСПАНИИ
ИСПАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ
О НАЦИОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЙНЕ

Составитель *Хуан Кобо*

Редактор *Н. Матяш*
Младший редактор *Л. Серикова*
Художественный редактор *М. Трубецкой*
Технический редактор *Т. Сафонова*

ИБ № 2981

Сдано в набор 10.10.85. Подписано в печать 7.02.86. Формат 84×108 1/32.
Бумага типогр. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Условн. печ. л. 28,56.
Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 28,35. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1718. Цена 3 р.
Изд. № 2538

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Zubovskiy bulvar, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО
«Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

ВОЙНА НАЧИНАЛАСЬ В ИСПАНИИ